

Виктор Сокирко и Лидия Ткаченко

**Жизнь и поражения советского
инакомыслящего
(школьные годы)**

Том II

Москва, 2015

Оглавление

Предварение	5
Раздел 1. Моё первое и главное путешествие на Запад в Германию-Польшу (1946-48гг.)	6
Раздел 2. Наша жизнь в подмосковном Мазилове	20
Раздел 3. Жизнь моей младшей тётушки Сони	27
Раздел 4. Жизнь моего единственного дяди	42
Раздел 5. Мои главные школьные годы в филёвской 590-ой школе....	57
<i>Идеологический спор, от которого я веду начало своего инакомыслия</i>	57
<i>Мой самый первый жизнеучитель Николай Георгиевич</i>	60
<i>Библиотекарь Петр Петрович – мой первый учитель</i>	62
<i>Первая мысль о подполье и реальная стычка с ним</i>	64
<i>Как выпалывала советская школа хулиганское непокорство.....</i>	70
Раздел 6. На родине отца, в Шевченково	72
Раздел 7. Старшие классы – начатки открытого инакомыслия	88
Раздел 8. Поиски романтики и первой платной работы (как школьник всё же стал матросом)	105
Приложение 1. "Умирающий Königsberg" (сценарий диафильма) ..	108
Приложение 2. Письмо Г.Скорикову	118
Приложение 3. Жизнь и стихи Миколы Сокирко (1923-1943гг.)	
Рассказ об одной украинской судьбе	124
<i>Объяснения составителя.</i>	124
<i>Происхождение.....</i>	125
<i>Детство.....</i>	127
<i>Детское творчество. 1936 год.....</i>	128
<i>Хулиган.....</i>	135
<i>Отрочество. 1937-38 годы.</i>	139
<i>Зашифрованные стихи. 1940-1941 г.г.</i>	148
<i>Военные годы. 1941-1943гг.</i>	162
<i>"К братьям родного края!.....</i>	167
<i>Стихи Миколы Сокирко (на украинском языке).</i>	171

Приложение 4. Красовитов Юрий Иванович (19.03.23-28.12.92)	
Воспоминания	197
Приложение 5. Рассказы Ю.И.Красовитова о жизни и о войне	381
Приложение 6. Воспоминания Нины Ивановны Красовитовой (24.05.1917-26.05.2010гг.)	464

Предварение

Начатые в томе 1 воспоминания В.В.Сокирко о предках по маминой линии, соединивших в его родословной русскую и украинскую линии, и дошкольных годах, в томе 2 продолжаются и охватывают школьные годы. В первый класс в 1946 году он пошёл в советскую школу (в здании лицея) в бывшем немецком городе, незадолго до этого ставшим польским, Швейднице, и учился до апреля 48г., до мобилизации отца, когда семья переехала в подмосковное тогда Мазилово. Описание обстановки в послевоенной школе и собственных внешкольных занятий, в основном историей нашей страны и мировой, вполне может найти читателей и заинтересовать исследователей 40-50-ых годов.

Летом 1954г. Витя с родителями впервые приехал в Украину на родину отца в бывшее село Кириловка, где почти за 100 лет до рождения Витиного отца увидел свет божий Т.Г. Шевченко (и потому село теперь называется Шевченково). Немногие сведения об отцовских предках, были дополнены (тогда и в последующие годы) воспоминаниями украинских родственников. Рассказал Витя и о родных тётях и дяде, взрослая жизнь которых прошла в основном в Москве, у него на глазах.

В Приложения включены сценарий нашего диафильма «Кёнигсберг» 1970года, запускание которого Витя остро переживал, т.к. два года жизни в детстве на немецкой земле сделали его «немного немцем», и Письмо к нашедшему нас ровеснику, которому тоже досталось в ранние школьные годы приобщиться «духу мирной Германии» и с которым Витя поделился фотографиями почтовых открыток с текстами, из найденных его отцом в брошенном немецком доме двух альбомов, один из которых уцелел.

Основное «заполнение» Приложений – Витина перепечатка (с самодеятельным переводом) текстов и стихов не успевшего стать взрослым его двоюродного дяди Николая и перепечатанные Витей воспоминания украинских родственников (Нины и Юры Красовитовых).

Л.Ткаченко март 2015г.

Раздел 1. Моё первое и главное путешествие на Запад в Германию-Польшу (1946-48гг.)

Лет через тридцать после нашего переезда из заводской комнаты в Филях в четырехкомнатную кооперативную квартиру в Печатниках, меня неожиданно окликнул сосед по дому: «Простите, но Вас я, кажется, припоминаю. Вы в первом классе не у Лидии Ивановны учились? Да-да, город Швейдниц, в Польше, бывшей Германии...»

Конечно, я помнил свою первую учительницу, но был просто поражен способностью одноклассника опознать в постаревшем мужике семилетнего мальчишку. Конечно, мы разговорились, и хотя близкие отношения у нас так и не сложились (довольно скоро я перестал его встречать), но этот человек походя подарил мне очень интересную мысль. Он заметил, что все, кто хоть часть детства провел на Западе, стали не во всем советскими людьми, как бы изначально расширив себя на Запад. Правда, у него это детское время длилось около пяти лет, но и я, пробывший там всего пару лет, сразу с ним согласился.

После окончания войны мой отец не спешил с демобилизацией – он ведь и войну начинал профессиональным военным авиатехником. Квартира в Харькове была разбомблена, жена с сыном жили временно у родителей в Москве. Начинать надо было с нуля. Наверное, он рассчитывал остаться в армии навсегда, и ему это обещали. Как подтверждение последовало разрешение на перевоз семьи по месту службы в Германии.

За несколько месяцев до поездки за нами, осенью 1945г., у отца с сослуживцами была "экскурсия" в побеждённый Берлин, от которой в семейном альбоме остались виды отца у стены и на крыше рейхстага, колонна на площади и девушка-регулировщица.





Ранней весной 46 года, собрав за несколько дней документы и пару чемоданов белья, мы покинули хмурую мартовскую Москву. Сама поездка «на чужбину» запомнилась лишь ночной пересадкой в знаменитом Бреслау (нынешний Вроцлав) из нашего привычного теплом и уютом общего вагона со спальными вторыми полками в какой-то сидячий неудобный польский вагон с проваленными багажными сетками над головами, в котором ехали до города Лигниц.

Но вот ночное вселение и утреннее пробуждение в двухэтажном немецком особняке с палисадником на перекрестке небольших улиц показались мне сказочными. Огромные бархатные диваны, стенные шкафы, гигантские напольные маятниковые часы, блестящий черный рояль перед парадной лестницей и куча чего-то непонятного. Еще запомнилась старинная сабля, с которой я играл очень недолго – все-таки сабля не игрушка, да и припасенная отцом заводная кошка на колесах, передвигающаяся по огромным комнатам, была интереснее. Из переполненной комнатушки в стандартном

доме на московской окраине с дровяными салями, общими отхожими местами на морозной улице, частными чадящими керосинками на мрачной коммунальной кухне мы вдруг перенеслись в невиданные хоромы, да еще в роли новых хозяев. Прямо по поговорке: «из грязи – в князи». Впрочем, к моим родителям эту уничижительную поговорку относить было бы несправедливо. В отличие от мародеров (а их хватало в Советской армии) моим родителем не приходило даже в голову считать себя «победителями» или «законными князьями». Они выросли из крестьян-солдатских детей и по духу были разночинцами. Этот особняк в Лигнице так и остался для нас временной игрушкой. Кстати, он был слишком велик для рядовой офицерской семьи, и второй этаж заняли другие офицеры, которые свое жизненное обустройство начали с выбрасывания на улицу рояля руками своих бойцов. Помню, как родителям было не по себе от этой первой «культурной операции» соседей, но и сил препятствовать вандализму не было. Они не чувствовали себя виноватыми перед исчезнувшими хозяевами лигницкого особняка за то, что живут в нём, но вот крестьянский стыд за разрушение не ими созданного богатства был. И я помню возмущение отца «нашими», которые заходя в немецкий дом, старались прежде всего напакостить, раздирали богатые гардины на портняки или еще хуже – разводили костер на паркете при исправных печах – «Зачем?» Его возмущение естественно соединялось с восхищением добротностью и разумной устроенностью немецкой жизни: «У них даже коровы сами себя поят в автопоилках». Такие отзывы я слышал и от других фронтовиков, закончивших войну в Германии. Как правило, их наблюдения соединялись с безнадежным выводом: «Наши так никогда не смогут!».

Российская эта безнадежность была основана, к сожалению, на богатом историческом опыте вечно подневольной жизни и работы не на себя или на равного тебе потребителя, а на властелина. Краткие расцветы экономической свободы типа НЭПа, когда русские мужики могли начинать

делать хорошо и разумно для себя и иных товарищей по рынку, кончались жуткими катастрофами типа коллективизации и голодомора. Тогда выживали лишь те, кто мог украсть колоски с колхозного поля и выглядеть победнее. Именно такой опыт и вносился в родовую память, в знаменитый русский менталитет. Но эта привычка к бедной и вороватой жизни начинала трещать и наводить тоску о лучшей доле при сопоставлении с опытом жизни иных народов.

В большом Лигнице мы жили недолго. Через несколько месяцев отца перевели в городок Швейдниц, на краю которого располагался военный аэродром с раскуроченными немецкими и советскими самолетами, так что занятый ремонтом отец приходил обедать домой прямо с аэродромного поля. Нас поселили в более привычные для советских людей условия, в какие-то служебные помещения с коридорной системой, но в трех отдельных комнатах. Быт наладился довольно быстро, тем более, что теперь мы приехали уже не с парой чемоданов, а с целым грузовиком семейной мебели и барахла.

Городские кварталы были от нас совсем рядом, и потому именно Швейдниц остался в моей памяти главным немецким городом, в котором я прожил свой первый класс. Как помнится, он был очень похож на типичные немецкие городки на почтовых открытках, правда, с частыми развалинами от бомбежек, где мы, детвора, любили находить разные занятные предметы (слышно было и о трагических подрывах на неразряженных боеприпасах.) Потом еще долгие годы я помнил запахи руин и запущенных подвалов. Эту часть Германии союзники передали Польше взамен отобранных СССР Западной Украины и Белоруссии. И потому всем немцам предстояло поголовное выселение на Запад (или в Сибирь в случае сопротивления). Они в подвалах еще оставались и старались не попадаться русским завоевателям на глаза. Только немецкие женщины рисковали подходить к русским «фрау» с просьбой о работе (стирка, мытье полов и т.п.) для пропитания. Первые этажи городских улиц постепенно заселялись польскими торговцами, но сам каменный город был еще немецким и

именно он остался мне на жизнь не картиной, а родным ощущением, сгруппированными в памяти какими-то кусками. Осязательные ощущения от немецкого города я испытал вновь в июне 1969, когда мы приехали в Калининград, бывший Кенигсберг¹ (см.Приложение 1). Знакомство с Кёнигсбергом было началом знакомства с западными землями Союза.

...Жаркий летний день. По единственной городской улице длиннющей колонной в течение многих часов движется советская кавалерийская часть со всем имуществом. Они, наверное, где-то будут загружены в эшелоны и отправлены на родину. Идти им тяжело и нет никакой радости на лицах. И мне это запоминается контрастом к летним праздничным эшелонам 45 года, когда через Москву на родину возвращались в теплушках победители, швыряя в ликующих филевских мальчишкам немецкими монетами и еще чем-то интересным. А сейчас кавалеристам тяжело, но дома будет еще тяжелее... И они об этом догадываются.

А вот другое воспоминание – радостное от свежести после купания в пригородном озере с загоранием на гладких гранитных плитах. Всезнающие ребята говорят, что эти плиты готовили на памятник Гитлеру. Лежать на них хорошо, хотя и страшно. Говорят, недавно с них нырнул какой-то парень в озеро и не вынырнул, напороввшись на железный штырь.

И ещё. Я почему-то бегу с мальчишеской ватагой по полю, с воплем забегаю в сторожку, хватаю с ее стены парусную модель и с тем же воплем мы убегаем обратно мимо ошалевшего от нас сторожа. Что это и зачем – не помню, кроме дикого вопля-восторга от грабительского набега. Подобного восторга я больше никогда не испытывал. Странно, что именно в немецком Швейднице мне довелось участвовать в русской хулиганской команде, чтобы не испытывать этого больше никогда. Почему? Может, проснулась совесть от растерянного лица немецкого (или польского) сторожа, наверняка доброго, но ограбленного нами, и я уже тогда потерял все шансы стать

¹ <http://www.sokirko.info/Part3/Koenigsberg/index.html>

бандитом или карьеристом, стать успешным в российских условиях...

Но основные нравственные уроки мне всегда давала мать. Первую четверть первого класса она неотступно сидела со мной, пока я выполнял довольно суровые домашние задания заслуженной и всеми уважаемой Лидии Ивановны. Обозначенное в букваре задание надо было повторить в тетради десять раз. Наверное, я просто выл от натуги, но мать не отступала и награждала потом пирожками за усердие, пока мне не стало легко делать задания. Она смогла не обозлить меня, а помогла преодолеть себя и понять, что хорошая работа и учеба гораздо проще решает все жизненные проблемы, чем канюченье или хитрость. Увидев, что яправляюсь, мама раз и навсегда прекратила заставлять, но не забывала регулярно интересоваться моими отметками и успехами. Примерно также доброжелательно вела себя и учительница. В общем, мне сильно повезло с ними обеими.



Первоклассники. Витя в верхнем ряду крайний слева

В первом же классе мать отучила меня от домашнего воровства. Оно проявилось довольно невинно: одноклассник принес какую-то захватывающую модель самолета и сказал, что может ее уступить за сорок рублей. Это были небольшие деньги – школьный завтрак стоил десятку, и я рассчитывал их сбрасывать, Но поскольку я знал, где лежат родительские деньги, то решил временно позаимствовать красную тридцатку.

Однако мама быстро обнаружила пропажу, и реакция ее была безжалостной. Приобретенный крадеными деньгами самолет был уничтожен без всякой надежды на восстановление, а с меня взято обещание впредь никогда и ни при каких обстоятельствах не брать ничего без спроса.

В Швейднице мы прожили только год. Условия для оккупационных советских войск закономерно ужесточались, пока их вообще не загнали в казармы. Следующим местом службы отца стал русский закрытый военный городок при аэродроме под Заганом на польско-германской границе. В советскую школу ребятишек ежедневно возил грузовик с брезентовым верхом, так что Заган мы видели только мельком, а из рассказов мамы, изредка вместе с другими женщинами выезжавшей в город, я мог слышать только о торговле с «высокомерными панами» и о словесных стычках с ними. Вполне понятно, что поляки лишь терпели русских «освободителей», а те отвечали им «взаимностью».

С тех времен помню антипольский анекдот в нашей семье. Поляк спрашивает русского, когда советские войска выполнят обещание покинуть Польшу, а тот отвечает: «Когда польский бело-красный флаг окончательно покраснеет» (кстати, так собственно и происходило в течение почти полувека). Позже, когда мне было неловко за антипольский настрой в семье, я связывал его с давней польско-украинской враждой, но потом понял – не в традициях дело.

Мою мать особенно возмущало, что из голодающей в 47 году России в относительно сытую Польшу шли хлебные эшелоны. Такова была сталинская политика подкармливания враждебного польского населения, наплевав на вымирание

собственных покорных «граждан». Понятно, что маме, посылающей из Польши родителям в голодную Москву продуктовые посылки, было обидно сознавать, что в ответ на советскую помощь она слышит от поляков не сочувствие и благодарность, а пожелание скорейшего исчезновения. Мотивов сталинской политики мама не знала, хотя в Сталине не сомневалась. Я помню, как на одном из застолий мама хотела поднять тост «За Сталина!» и получила от знакомого офицера: предупреждение: «Это будет неуместно».

Со временем я понял, как хорошо, что мы быстро уехали домой, в свое российское «стойло», а при Горбачеве распостились-таки с имперской мечтой о покраснении Польши. Спасибо ему за это!

Надежды отца на продолжение армейской службы не оправдались. Армию-победительнице урезали и сокращали пинками и даже унижениями. Естественно, про последнее говорил не молчавший отец, а возмущающаяся мать.



Русские жёны офицеров, г. Швейдница, сентябрь 1946г.
Мама с подругой (она же отдельно) сидят в центре.



Именно так она восприняла отмену для фронтовиков почти всех крохотных льгот и выплат за боевые ордена и медали. Но это была мелочь. Гораздо хуже, что начало меняться отношение к отцу. Ему стали настоятельно рекомендовать демобилизацию, подчеркивая, что есть только один путь остаться в армии: поступать на учебу в военную академию ради получения прав на карьерный рост. Но шансов на поступление в Академию с учетом возраста и всего лишь средне-технического образования (да и то, на украинском языке) в условиях тогдашней конкуренции у моего отца почти не было.

Отсутствие высшего образования работе сутками на аэродроме не мешало, но дослужить 25-летний, необходимый для военной пенсии срок, мешало, ибо угрозе попасть в безжалостную очередь на демобилизацию подвергались и на более близкие к начальству офицеры. Отец, в конце концов, сломался и подал ожидаемый начальством рапорт. И как мать ни просила еще сходить и упросить дать дослужить оставшиеся два с небольшим года, он остался непреклонным: «Раз я стал не нужным, уйду». Наверное, он сделал правильно, сохраняя свое

человеческое достоинство, тем более что его просьба, наверняка, не была бы удовлетворена. Ибо старинное правило «мавр сделал свое дело – мавр должен уйти» заменилось еще более жестким «умри ты сегодня, чтобы я или мой кореш мог жить завтра». Я не доучился второй класс в заганской школе. В апреле 48 года – мы вернулись к маминым родителям в Москву.

И только после перестройки, в 1993г., получив загранпаспорт и возможность велосипедных поездок по Германии, Польше и всей Европе, мы сделали попытку вернуться в моё детство. У немецкого Герлица мы пересекли польскую границу и мимо крупного и сегодня Загана доехали до старого Лигница. Но я его не узнал. А дальше получилось ещё хуже. За время долгого велопробега от Брюсселя, шины Лилиного велосипеда пришли в негодность, а на разбитой бетонке, ведущей в Швейдниц, они стали просто разлезаться. Нам пришлось пешком возвратиться на вокзал и дальнейший путь до Бреслау(Вроцлав) и до Москвы делать на поезде.

Мое возвращение в Швейдниц всё же состоялось, но только виртуально с помощью объявившегося в Интернете сайта о советской школе в этом городе, на который меня вывел соученик, прочитавший раньше появившиеся на нашем сайте мои воспоминания о поездке на Запад. Теперь на нашем сайте присутствует собрание подобранных в то время почтовых немецких открыток²(см. Приложение 2.) Так они спасены от забвения, и хотя до сих пор не переведены на русский язык, но своим видом напоминают о знакомом с детства прекрасном мире.

А весной 1948 года мы поехали в Москву богатыми, как победители, за счет Германии. Грузовой двухосный вагон был загружен почти доверху мебелью и трофеевым имуществом, ставшим собственностью трех офицерских семей, которые сами ютились на узлах тут же. Конечно, досмотр польских пограничников в конфедератках с язвительными улыбками на лицах («Давайте-давайте, тащите быстрее немецкое барахло»)

² <http://www.sokirko.info/family/Schweidnitz/>

был достаточно поверхностным, тем не менее наш эшелон тащился медленно, с бесконечными многочасовыми остановками, прежде чем его поставили под разгрузку где-то рядом с Филями, откуда через день заводская полуторка за несколько рейсов перевезла все немецкое богатство... на «дачку». Оказалось, перед нашим приездом дед на свои трудные сбережения купил половину развалившегося за войну деревенского дома в соседней подмосковной деревне Мазилово («дачку», по его выражению), где нас и заскладировали вместе с «барахлом». Первые месяцы мы жили в нем, как в сарае. Слава Богу, весна-лето 48 года не было холодным, а до осени отец успел как-то укрепить и утеплить дом (сложили печь, поставили зимние рамы, обшили тесом и фанерой), который стал главным домом моего детства (с 3-го по 8-й класс). А уничтожен он был в годы моего студенчества и хрущевских пятиэтажек, которые ликвидировали не только сталинские кварталы «стандартных домов соцгородов» (слава Богу), но заодно и такие деревни, как мое родное Мазилово с нашим домом. Утешает лишь то, что дед Митрофан успел в своём доме пожить несколько лет, выйдя на пенсию.

В мае 48 года я уже учился в филевской школе, мать сразу стала заводской медсестрой «Москватоли», а отец, не долго думая, по протекции деда поступил на трубный завод в транспортный цех. Фронтовик, капитан ВВС взамен учебы в Академии стал рабочим-кладовщиком и оставался им практически до глубокой старости. Да, он не был карьеристом – говорю я без сожаления и с любовью. Ведь я привык им гордиться, в том числе и за решительный отъезд из бывшей Германии-Польши,

До сих пор в моем доме есть привезенные трофейные вещи, как зrimая память о чудесной стране моего детства. Вообще-то вслед за родителями я привык не очень ценить вещи, иной раз даже пренебрежительно называя их «барахлом». Но теперь, когда уже почти вся жизнь прожита с ними, когда с ними сроднились дети и знакомятся внуки, я вижу, что был не

прав в принятом в моей среде к ним пренебрежении. Ведь они – богатство, которое не оценить деньгами,

И тем не менее, главное сокровище – в личной памяти. Так уж получилось, что именно в Германии я увидел добрый фильм про Золушку по сценарию Евгения Шварца, бережно пересказавшего сказку Ш.Перро. И именно тогда киношный облик маленького королевского городка-дворца у меня соединился с обликом старого силезского городка Швейдниц и стал буквально главной сказочной памятью моего детстве, сделал меня немного немцем задолго до того как я стал русским дедом двух немцев, внука и внучки. И думаю, что еще и потому я в жизни такой счастливый. Спасибо, моя Германия! Надеюсь, что ты уже не в обиде за присвоенные нами вещи – в них осталась добрая о тебе память.

Раздел 2. Наша жизнь в подмосковном Мазилове

Итак, весной 1948 года мы быстро вернулись в Москву, вернее в купленный дедом деревенский полудом в соседнем Мазилове. Здесь прошли нелегкие, но в целом для меня благополучные позднесталинские годы, когда я впитывал коммунистично-партийное одноверии отца. На чердаке мазиловского деревенского дома, в пыли и обломках старых икон я нечаянно наткнулся на часть старого учебника «Закона Божия» и с интересом прочёл её. Но воспринимал эти страницы я как сказки, старые христианские легенды. Естественным образом, от радио и школьных книг я, стал обычным филевским школьником, напичканный «научными и космическими фантазиями».

И всё же остатки деревенского быта Мазилова и старых Филей, правда, замусоренного гниющими кузовами машин в пойме речки Фильки, и реставрируемый, хоть и медленно, царственный храм в Филях приучали душу к мысли о том, что это все есть общее наследие моей страны, России, которое мне надо помнить слитно с памятью о своих православных предках. И действительно уже нет ни деревень Фили и Мазилово, ни речки Фильки, но жива торжественная память прекрасного Покровского храма в Филях.

У моего деда Митрофана Степановича в те годы практически не было авторитета. Жена по старинке оказывала ему уважение, но младшие дети, особенно Соня, почти в глаза ему дерзили и упрекали за скопидомство и несовременность, ссылаясь на пример его старшего, более удачливого брата Ивана Степановича: и под раскулачивание не попал и с начальством умел ладить. Покупку участка земли с половиной избы в Мазилове они считали отцовской глупостью, но оказалось, что таким «нерасчетливым поступком» дед обеспечил жильём семью дочери Татьяны и тем определил мое собственное почти

деревенское детство взамен барабанных филевских подворотен. И только сейчас я могу оценить всю удачность для меня этого дедова «скопидомства», позволившего ему, а по сути, нам, иметь свою недвижимость. Да, жизнь в деревенском доме была совсем нелегкой, связанной с ежедневными хождениями по грязи еще не засыпанных противотанковых рвов к филевским заводам, в магазины и школу, с вечной заготовкой дров и ношением воды из дальнего уличного колодца, с кормлением кур и поросенка...



Но зато овражные спуски на санках к чистой Фильке зимой, зеленая от травы наша Полевая улица летом, с удобными местами для игры в городки, пригодный для купания недалекий проточный пруд у Филевского лесопарка делали для матери неприемлемой даже мысль об отправке меня из дома в пионерлагерь. Ни одного пионерлагеря я так и не узнал. Знал только свой мазиловский дом, посильные по двору обязанности и чтение взахлеб. Кстати, именно летом я очень много

времени проводил один, но одиночества мне даже как будто не хватало. Поэтому в хорошую погоду я уставал из пары половиков и коврика у стены террасы собственное бунгало, куда и забирался не только с учебниками перед экзаменами, но и просто с книгами. Так купленный дедом и перестраиваемый вместе с отцом дом в Мазилово как бы вложил в меня на всю

последующую жизнь простые мещанские желания и привычки. Я стал нормальным мазиловцем, подмосковным жителем. Кстати, сразу за нашими окрестными огородами и колхозным полем тянулись Белорусская железная дорога и Можайское шоссе, ведшее к огородам под картошкой на Поклонной горе, за ними виднелся таинственный лес «калининской», на деле, сталинской ближней, кунцевской дачи – и еще дальше поднимались краны высоток Московского университета.

Деревня получила название от старинного занятия её жителей, смазывающих деревянные оси и ступицы колес дегтем и проводивших иной тележный ремонт карет и телег, съезжавших в неё с Можайского тракта. Особое впечатление моего детства было связано с тем, что один из одноклассников принес в класс пушечное ядро, найденное им на своем огороде у Поклонной горы. Конечно, французы здесь не держали своих огневых позиций, но вот потеря ядра одной из отступающих русских колонн была понятной. Для нас же это была встреча с реальной историей почти на соседнем огороде. А с другой стороны деревни лежал барский пруд, из которой вытекала речка Филька, которая впадала в Москву-реку прямо у Западного порта уже достаточно грязной. У Кастанаевки и нашей деревни она была еще прозрачной, пригодной для купанья и пескарных запруд.

Слава Богу, еще жив и здоров Александр Павлович Аракчеев, мой одноклассник со 2-го по 4-й класс 590 московской (филевской) школы и сосед по деревне Мазилово. И потому в нашей с ним памяти до сих пор еще жива подмосковная деревня Мазилово со всеми ее яркими от детства впечатлениями. Мы не были соседями: я жил на Полевой улице, ближе к Москве и железной дороге, Шура – подальше на Главной улице, которая потом, после слияния Мазилова и Кунцева с заводской Москвой стала прямым продолжением Кастанаевской улицы Москвы, сразу за сельским магазином и колхозным домом культуры, но ближе к началу деревни у деревенского пруда, из которого вытекала наша Филька. Главный пруд моего детства жив до сих пор, хотя уменьшен до

прямой неузнаваемости. А ведь именно его я впервые решился переплыть на мяче и лишь потом, обретя уверенность, переплыл соседнюю Москву-реку, по которой ходили грузовые и пассажирские теплоходы и в которой даже тонули старшеклассники из нашей школы, как говорили, едва ли не на глазах друзей. Мой путь к купанию часто шел именно через дом Шуры, вернее, пристройку к дому. Жили они с матерью (отец погиб на войне) очень бедно и потому гораздо чаще именно Шурик приходил в наш дом, где были и книги, и немецкие часы с боем, и мягкие стулья. Для него наш дом был подобием богатого, почти барского дома, хотя на деле, конечно, все это «богачество и культура» были очень относительны. Но, как я сейчас понимаю, они для Шурика в его детстве были очень важны, примерно, как для меня самого была важна поездка в сказочную Германию. Можно

сказать, что для Шурика знакомство с нашим домом было опосредованное знакомство с Европой, через которое и он стал тоже чуть европейцем. Наша взаимная расположенность оказалась долгой, можно сказать, на всю жизнь, хотя могла прекратиться после окончания 4-го класса и перевода всех старшеклассников, живших в деревне Мазилово, в школу Кунцевского подчинения. Она была ближе к дому Шурика, а наш дом, по мнению родителей, был ближе к московской школе и потому мы разошлись, но как оказалось, не навсегда. Заслуга в верности этому детскому знакомству принадлежит прежде всего Шурику, который уже давно отслужил армейский срок, перестал быть Шуриком, откликается на имя Саша, имеет



приличную электромонтерскую профессию, большую семью, внуков и даже правнучек, но по давней с детства привычке связывается со мной на Новый год в день рождения по телефону каждый год и даже приезжает. И пока он это делает, я продолжаю благодарить его за живую память.



Другой мой одноклассник-дружок Валерий Антипов был приездим (его отец-офицер вечно кочевал по гарнизонам, вплоть до начала своей учебы в Академии Генерального Штаба) и появился в нашем классе довольно поздно, но был очень разговорчив и развит. Жили они в деревне

Фили на Красной улице (параллельной будущей линии метро) в бедном деревенском доме. Но зато рассказов от него я услышал немало (особенно впечатлила меня трагедия бывшего немецкого линкора (крейсера) «Императрица Мария», погибшего в Севастополе, прямо у берега). Ещё у меня была переписка с Валерием примерно этих лет и студенческих – в ней слышатся отзвуки наших юношеских споров. В последний раз мы виделись с Валерием, уже после окончания института (он кончал Харьковский авиационный институт) на его свадьбе, а потом дороги наши разошлись.

Еще более кратким было время юношеской дружбы троицы из школы 590, к которой я примыкал и которая в 1954 году перешла в бывшую женскую школу 63: Толя Михеев, Валерий Дутлов, Володя Гулин.



4 "е" класс, учительница Нина Ивановна, я справа от неё



6 "е" класс, математичка Нина Ефимова, я смотрю в парту

На фото 1954 года я с Соней и мамой в огороде, а также соседка Зоя – дочь погибшего в войну прежнего хозяина

мазиловского дома. Мне запомнилось, что она смеялась над милиционерами-«краснооколышными», «петухами» звала их.



Раздел 3. Жизнь моей младшей тётушки Сони



Но прежде чем описывать свое взросление, в основном, на книгах, я должен описать влияние на меня своих ближайших родственников по маме, близких мне по возрасту: её младшей сестры Сони и еще более младшего брата Степы. Они тоже были Глобенками, но совсем не похожими на деда и бабушку. Он уже не были ни православными, ни деревенскими, а стали городскими советскими пионерами, позже комсомольцами. Вот их фото примерно 34 года. Обычная слободская приезжая семья. В них еще видна деревенская бедность, почти голытьба, буквально спасенная отцом из голодомора и попавшая, почти сразу в московские пионеры. Правда, в свою способность прокормить младших детей в городе, Митрофан не сразу поверил, да и опасность внезапного ареста еще долго висела за спиной. Наверное, с этим связана его попытка устроить девятилетнюю Соню в няньки (Сонина обида нащептывала, что

было ей тогда всего семь лет). От Сониного рассказа веяло паническим страхом ребенка, которого родной отец держит крепко за руку и расспрашивает совсем чужих тёtek-дядек, гуляющих в Филёвском парке, «не нужна ли в няньки их ребенку семилетняя девочка, вот эта, да, совсем дешево, за кормежку...» И может, чувствуя страх ребенка, москвичи не принимали «выгодное предложение». Пришлось деду перестать пристраивать Соню, и ей досталось обычное детство, в котором были родительские заботы, школьная жизнь, подружки.

Со Степой Митрофану было, наверное, проще – он стал обыкновенным филевским мальчишкой. Я об этом сужу по запомнившему разговору с давно уже выросшим Степаном. В то время (начало 70-х годов) наша дочка Галя ходила в детский сад, расположенный в Филёвском детском парке. «Детский парк, – с удовольствием протянул Степан, – мы в нём гоняли футбол, и один раз к нам приехал в сопровождении заводского начальства сам Хрущев. Он был тогда первым секретарем Московского горкома партии. Хрущев был своим дядькой. Он спросил нас: "Как Вам играется, пацаны?" И даже классно ударил по мячу. Все это было давно. Хрущеву в то время было, как и моему отцу, около 40 лет»

Но, кстати, знакомство на футболе с самим Хрущевым Степана не избавило от отцовской выволочки за плохую учебу... Не знаю, насколько справедливым было такое наказание, но именно под этим предлогом на одни из последних летних каникул отец устроил его на работу на своем заводе, к знакомым мужикам в бригаду печной сварки труб. Это была довольно тяжелая работа (я знаю потому, что сам через 30 лет проработал неделю помощником прокатчика на трубосварочном стане в ночную смену, а это было легче), но Степа выдержал испытание с честью и в последующие годы учился только на «хорошо». Урок отца пошёл ему впрок. После окончания седьмого класса он поступил в Лесотехнический техникум и кончил его в 44 году, после чего был призван в армию и служил в Черниговском запасном авиаполку в качестве техника по вооружению. В 1946 году его демобилизовали.

Соня же кончила школу в 41 году и поехала погостить к сестре Насте, где и попала под немецкую оккупацию. Война Гвинтоворе почти не затронула, но многие годы Соне пришлось писать в автобиографии, что в войну была в оккупации, родителям приходилось следить, чтобы Соня об этом не болтала.

Впрочем, каких-либо серьезных ограничений в работе и передвижении, Соня, как я понял, не испытала. Она вслед за Степой поступила в лесотехнический техникум, в комсомол, потом на работу в Министерство. Я со смехом вспоминаю ее рассказ времен учебы в лесотехникуме, как ее посыпали на работу с военнопленными немцами на лесные делянки. И как она, имея небольшой росточек, взбиралась на подходящий пень и обращалась к приданным ей заключенным; «Фрицы! Слушай мои пояснения!.. Ясно!?!» А ведь года еще не прошло, как она сама вполне могла оказаться в числе ост-арбайтеров, угнанных уже в Германию и слушающих там совсем другие команды.

Фото 41 года. Настя и Соня в Гвинтовом. Между ними их двоюродный брат Фёдор Иванович, который потом погиб на войне.



Мое общение с Соней происходило в годы нашей жизни в мазиловском доме при её гостевании перед очередной поездкой в качестве пионервожатой в пионерский лагерь для

детей министерских сотрудников. Почему-то начальство любило ее туда засылать. Именно от Сони я услышал о нравах пионерских лагерей и она приносила детские книжки, в числе которых были не только сказки, но и любимый том рассказов Гоголя про Украину. В соединении любви Сони к стихам («Евгения Онегина» она читала наизусть) и к спектаклям (с детства помню ее фото в костюме какой-то модной дамы некоего любительского спектакля), я чувствовал в ней и свой упущенный для любви к искусству шанс.



Соня, как самая младшая и «обижаемая» отцом часть семьи, конечно, мечтала выйти замуж, понятия о замужестве имела самые возвышенные и потому неверные, а значит, была обречена на ошибку. И она сделала ее самым банальным способом, полюбив залетного шофера Анатолия, и, как выяснилось довольно скоро, недавно отсидевшего срок и не имевшего даже своего угла. У Анатолия оказалось довольно ума, чтобы не только понравиться Соне, но и прописаться в дедовой квартире, несмотря на его возражения. Тогдашний закон был на стороне «молодых». Но после нескольких ужасных

сцен, Соня Анатолия просто возненавидела, рожать ребёнка от него не захотела. Спасти ее могли только близкие: родители и старшая сестра. Таня была знакомы с врачами из поликлиники и смогла с ними договориться на совершение подпольного абортов, гарантируя не только помочь в операции, но все необходимые условия и скрытность... Это был обычный зимний день. От меня требовалось наносить много воды и «долго ходить в кино» (кажется, тогда как раз шло «Падение Берлина»).

Всё прошло благополучно, без осложнений. Анатолий же как-то быстро после этого исчез из жизни Сони и из дедовой квартиры. Наверняка не обошлось без понятной ментовской угрозы, типа «будешь возникать – сядешь серьезно!» Но для Сони эта печальная история с абортом и разводом оказалась несомненным благом, приуготовив ее к встрече с истинно любящим ее человеком Игорем Николаевичем Мендиным. Он был ее коллегой по Министерству и пришел туда из армии, вернее, из флота времён советской оккупации Порт-Артура, в которой он участвовал как моряк Тихоокеанского флота. Он был неразговорчив и скромен и потому никаких рассказов о флотском быте я не помню, как будто их и не было.

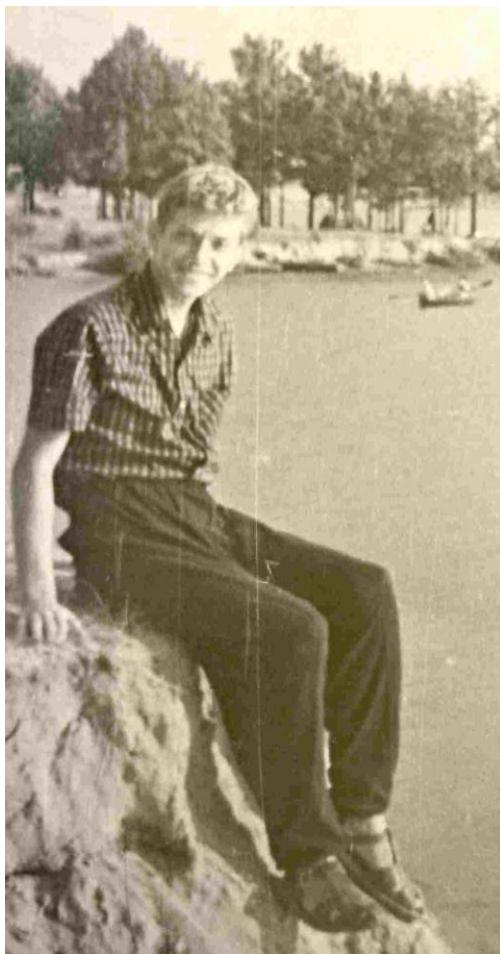
Теперь Соня поселилась в десятиметровой комнате Игоря и его мамы, в деревянном доме на окраине Москвы. Здесь же родился любимый сыночек Коля. Через несколько лет в жизни Сони произошла серьезная перемена: Игорь Николаевич закончил заочный лесотехнический институт и уехал вместе с женой и сыном главным инженером в один из мурманских леспромхозов. Я не помню, сколько лет провела эта семья в



суром мурманском климате, но в Москву Игорь Николаевич вернулся уже госплановским работником и в нормальную панельную квартиру в Новогиреево. Вскоре им был выделен дачный участок недалеко от станции Морозки.







Мама Игоря, бывшая дворянка, к тому времени скончалась, сын Коля из шумного пацана превратился в малоуспевающего школьника (у него, к сожалению, оказался какой-то врожденный «диагноз», что к окончанию школы дало ему освобождение от армии).



Их семейная жизнь как-то выровнялась на среднемосковском уровне, вплоть до конца, который наступил неожиданно рано.

Но первой в земле близ Морозок упокоилась моя бабушка Поля (на этом фото она с дочкой Настей). Она скончалась 2 июня 1976 года. Ей было 82 года.

В шестидесятых она похоронила и супруга, и



его брата – Митрофана и Ивана Степановичей, а за свой последний год проводила на вечный покой дочерей: болевшую нефритом Татьяну и ничем не болевшую, но решившуюся пойти на пенсионный отдых Настасью. Так что к спокойному уходу к Богу, в мир иной, моя бабушка была готова. В нашей памяти осталась последняя встреча с ней на даче в Морозках, примерно за год до ее смерти (диафильм «Два Переславля³»), и ее улыбка с вечным заветом «Не серчай!».



³http://www.sokirko.info/Part2/2_Pereslawlja/index.html



осуществиться так и не удалось...

Прошло еще 8 лет, и в таком же месяце июне, на той же даче скоропостижно умирает Соня. Я не помню от чего. Знаю только, что последние годы она безуспешно боролась с высоким давлением. На проводах присутствовала осиротевшая семья Глобенко и молодые родственницы со стороны бабушки Поли, живущие в подмосковном Барыбино. Был, конечно, совершен потрясенный Игорь Николаевич.

Последние годы бабушка провела, слава Богу, в какой-то гармонии, в ближайшем общении с Соней, всегда жалевшей ее. Тем более что Игорь Николаевич практически закончил к тому времени строительство дачного дома на своем участке и всё, наконец, устроилось, как у «людей». Правда, была у него еще одна мечта – собственная машина, но этой (наверное, и Коли-Сониной) мечте





Он даже производил впечатление помешанного, особенно когда упорно возвращался к тезису о том, что врачи ошиблись, и Соня совсем еще не умерла. Нам оставались только надеяться, что это помешательство у него пройдет после похорон. Но этого не случилось – он много времени стал проводить на могилах бабушки и Сони, приезжая туда из Москвы чуть ли не каждый день. И однажды жители деревни, на кладбище которой были похоронены бабушка и Соня, увидели на могиле Сони застывшее тело Игоря Николаевича. Он умер, как лебедь из русской легенды после гибели подруги, и был

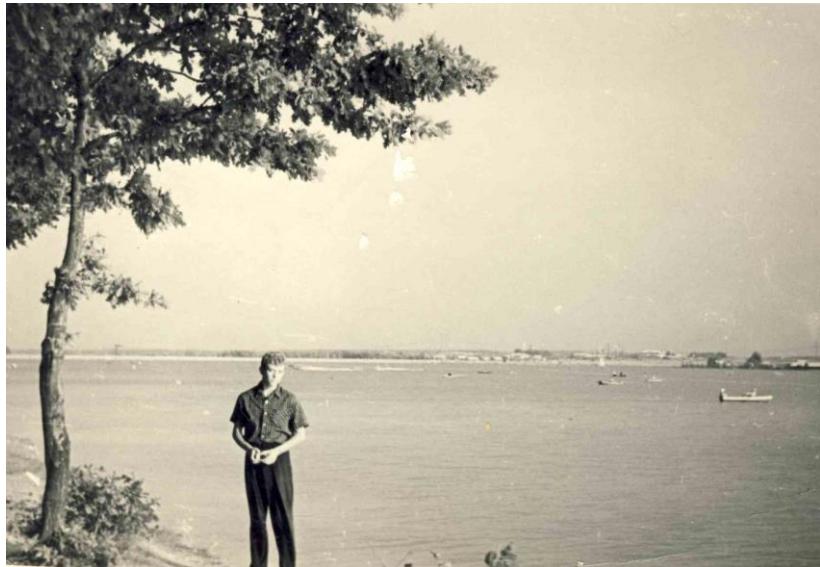


похоронен, конечно, в той же оградке. Умер от своей безысходности, хотя на деле был очень нужен сыну. Тот, хотя давно формально был взрослым и даже окончил автомобильный институт, но на деле, был откровенно слаб на головку и нуждался в житейском поводыре в виде мамы или умной жены. И как жаль, что Соня и Игорь Николаевич так и не успели женить сыночка на бойкой девушке... И ведь находилась такая в числе барыбинских родственниц. Я помню, как ее к нему подводили... Но Коля уже сорвался с материнской узды на «свою дурную свободу» и потому из этой запоздалой семейной попытки спасения (путём пристройки Сониного сына и его свободной квартиры, даже двух -- и бабушкина была на него переписана) ничего не получилось. Почему?

Да, причина банальна: Коля был во многом просто "дурным парнем" из-за своего стремления быть умнее и значительней самого себя. Скромность и не очень большие, но очевидные достоинства Сони и Игоря Николаевича в нем как бы вырождались, аннигилировались в огне его постоянного критиканства родителей. То, что в Соне меня восхищало, например, ее любовь к гитаре и стихам, у Коли вызывало лишь раздраженные, шуточки и отторжение, и это встречало у нас, его окружающих, глухое непонимание. Аналогичные пренебрежение у Коли вызывал отец, все делавший прежде всего для него. Все это сильно огорчало Соню, но жаловаться ей было не на кого и оставалось только надеяться на будущие изменения. Дождаться же изменений к лучшему не удалось ни отцу, ни матери.

Все доставшееся от родителей наследство: квартира, дача, образование были пущены Колей на распил и расточение. Коля попал в разряд печально известных «жертв психического террора». В наших пасхальных встречах с родственниками, традицию проведения которых принял на себя самый старший теперь в семье Степан Глобенко, мы все чаще слышали от еще приходившего Коли Мендрину рассказы, как мучают его за стенами квартиры радиоголоса с угрозами и оскорблениеми, и пропускали их мимо ушей. В те годы не вызывавшие нашего

доверия люди пугали друг друга подобными рассказами, и мы приняли для себя им не верить. Коля стал активным участником массовых поселений на Красной площади разных протестантов, в том числе и протестующих против психотеррора и требующих возможности переезда на Запад, якобы свободный от этого страха. По влиянием своих новых знакомых, Коля официально отказался от советского гражданства, сдал паспорт и выехал в еще безвизовую Чехословакию, откуда намеревался перейти в «свободную от коммунизма» ФРГ. До намеченного городка Коля доехал, но при путешествии пешком через погранзону был задержан чешской полицией и отослан в Москву без права возвращения в свободный мир и без всяких прав где-либо жить и работать в России (ведь он отказался от российского паспорта). «Новые друзья», «помогшие» ему избавиться от родительской и дедовой квартир и дачи, правда, помогли найти жилье и работу. После неудачной поездки на запад прекратились его приходы на Пасху к Степану. Только иногда он показывался к двоюродной



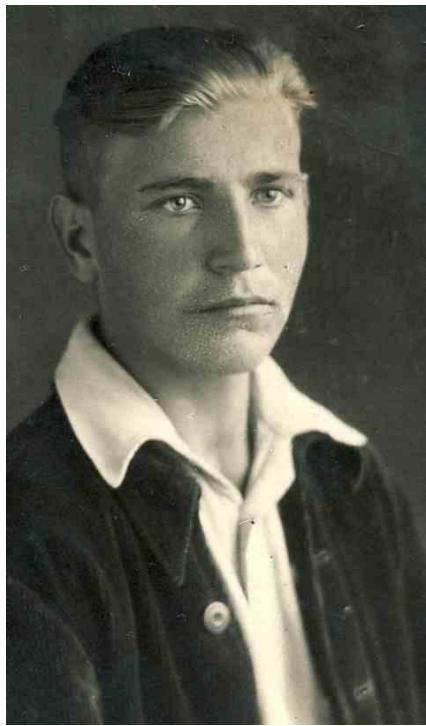
сестре Лиде по старой памяти с той поры, когда она еще приезжала к его родителям на дачу, и рассказывал что-то успокоительное о себе. Работал он сварщиком в какой-то

строительной бригаде, в командировках, жил в общежитии, естественно, одинок, на жизнь не жаловался, про «радиоголоса» ничего не говорил. Нас успокаивало, что Коля живой, а дальше – «как Бог даст!» Последний раз Лида специально мне звонила после прихода Коли, который опять рассказал что-то успокоительное про сварку и общежитие, как будто именно в этом он нашел свою гармонию и захотел, чтобы Лида об этом узнала... Но я это известие связал со своим обращением к районному следователю с просьбой помочь установить местожительство Николая Мендрина, ранее прописанного по адресу бабушки.., поскольку у нас, его родственников, есть опасение, что он или убит, или неправомерно содержится в психбольнице из-за желания лиц, заинтересованных в окончательном обладании этой квартирой. По запросу я получал телефонное разъяснение, что в связи с неоплатой счетов квартира поставлена на учет, а все имевшиеся в ней вещи куда-то сданы на хранение. В разговоре я объяснил следовательнице, что меня волнует, прежде всего, судьба самого Коли, а не старых вещей и даже квартиры. И вот показав Колю Лиде, люди, которые наблюдают за судьбой выморочных квартир, дали понять обеспокоенным родственникам, что их беспокойство понятно, но оно неосновательно, ибо он жив и здоров.

Щемящая судьба наших родных, ныне покоящихся на церковном кладбище в Подосиновиках близ станции Морозки: бабушки Поли из рода Путивльских однодворцев, тети Сони из рода московских раскулаченных пролетариев и дворянского сына Игоря Николаевича, беспокоит нас. Каждое лето, после Пасхи мы посещаем их могилы и грустим, уже почти не надеясь, что единственный сын Коля Мендрин вдруг откликнется на родной зов из земли.

В апреле 2010г Коля позвонил, мы встретились и съездили на кладбище в Морозки. И опять Колин телефон не отвечает.

Раздел 4. Жизнь моего единственного дяди



У меня не было старшего брата, но зато был дядя Степа, с лихвой его заменивший. Он старше меня на 13 лет и это удачная разница в возрасте для ввода ребенка в мир взрослых людей, а с другой стороны для подачи ему примера силы и взрослоти.

Именно таким примером я воспринял его сразу после нашего возвращения из Германии и вселения в мазиловский дом. Этот дом требовал поначалу много сил и рабочих рук, и Степан предоставлял их с полной отдачей. Недавно пришедший из послевоенной армии, он был в полном расцвете сил и молодости.

Как лихо, за один день, они с дедом и отцом соорудили дровяной сарай, который потом вкупе с туалетом и свинарником стал главным хозяйственным комплексом нашего двора. Потом, почти в одиночку, за несколько дней Степа выкопал и перенес к забору громадные кусты акации и тем самым перепланировал наш огород. Для меня и впоследствии работа Степы была замечательным примером того, как можно добиваться желаемого практически в одиночку.

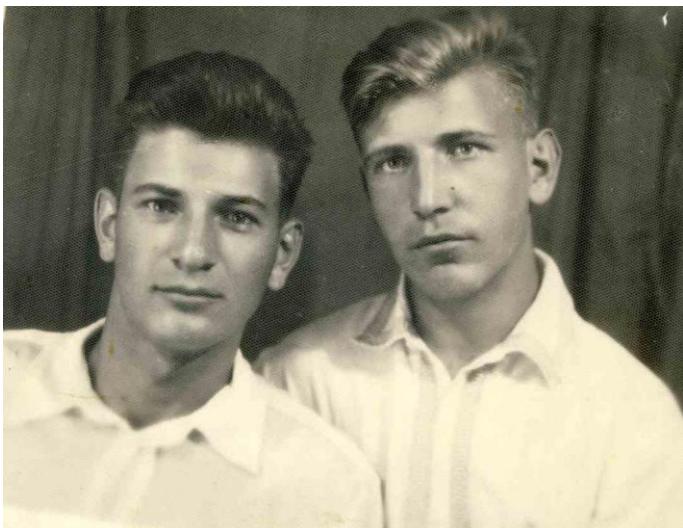
И у меня бывали случаи упорной работы, итогом которой я мог гордиться, и я сознавал, что брал в этом пример с дяди Степы.

И ещё запомнился разговор с ним, чуть ли не в моих начальных классах, о том, как со временем люди умнеют, меняются их взгляды, они становятся осторожнее. Видимо, он был созвучен моему тогдашнему настроению поиска революционного подполья.

От того времени в моей библиотеке лежит книга Игнатьева «Записки партизана. В предгорьях Кавказа», которая была вручена Степану от профкома Министерства лесной промышленности за «активное участие в избирательной кампании 1947 года». Степа наверняка ее даже не раскрывал, а сразу передарил мне. И правильно сделал, ибо автор её нашел во мне весьма благосклонного читателя. Книжка содержит немало легендарных или просто выдуманных историй: и про героическое подполье, и про уничтожение в душегубках краснодарских евреев, и про советских разведчиков в виде фашистских гауляйтеров (вроде Штирлица) и т.д.

Взрослые книги про настоящую войну мне пришлось читать много позже, а советские сказки про подвиги в войну пришли на младшие школьные годы и, как-то соединяясь с рассказами о войне очевидцев, не сильно отдавали ложью, и даже порой толкали на мысли о правде подполья, но не антифашистского, а скорее, запретного, антисталинского. Вспоминая разговор со Степой об осторожности, я догадываюсь, что и он был близок к таким настроениям, но уже успел переболеть ими и потому столь спокойно делился этим опытом со мной в качестве некой прививки.

Довольно скоро Степан (на следующем фото он справа) познакомил родителей, а потом и всю семью со своей сослуживицей Марией, ставшей его женой (на фото она стоит справа). Марии было тогда 21 год, а в 22 года она родила дочку, в 26 – сына.





Союз Марии и Степана был крепким и счастливым, но не безоблачным и распался через 25 лет. К этому времени их дети дочка Таня (на правом фото стоит между Соней и Марией) и сын Саша были уже взрослыми. Так что глобенковская ветвь от сына Степана вполне удалась.

Моя мама не одобряла выбор Степы, не подружилась с Марией. Что мне остаётся сказать, кроме как «ожаль». Мария из старинного подмосковного полукрестьянского рода Васильковых, на деле, составила спасение и счастье Степана и всей глобенковской семьи. Почему же мама ошиблась? Думаю, что она слишком поверила в комсомольскую активность молодой Марии, хотя на деле это была лишь девичий наряд перед замужеством. «Пришла пора, она влюбилась»... в крестьянского сына и стала «век ему верна». Через год после рождения дочери Мария начала учёбу в лесном техникуме (за Таней смотрела старенькая родственница, давно жившая в семье Васильковых) – не хотелось сильно отставать от мужа, ведь он к этому времени уже учился в Лесотехническом вузе. Подобно Игорю Мендрину (но ещё раньше, в 1954 году) он окончил Лесотехнический вуз и отправился с семьёй директорствовать в шпалоделательный леспромхоз на Енисее.



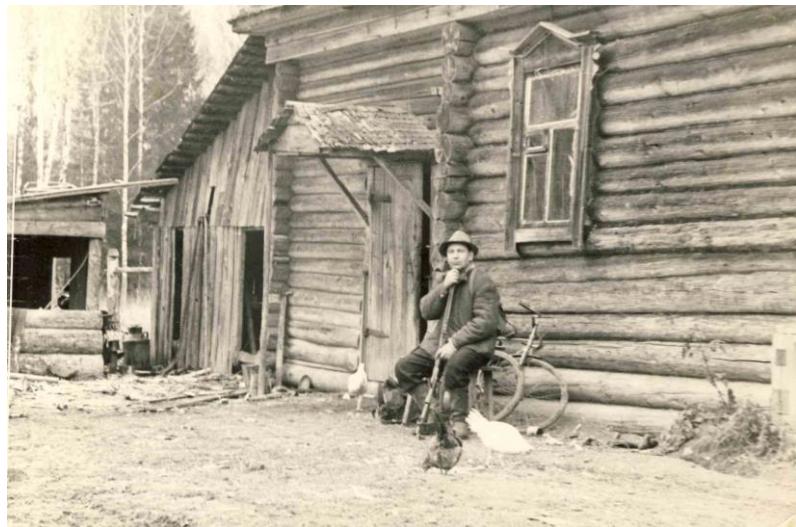


Степан в леспромхозе на Енисее, 60-ые годы



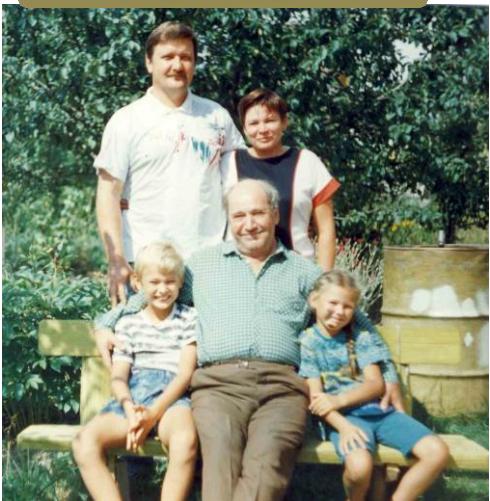
Казачинское на Енисее, 60-ые гг.

На нижнем фото Степан с лесниками.



На этом фото Степан один

Именно там, в Казачинске, у них родился сын Саша, а от него со временем, уже в Москве Машенька и новый Ваня Глобенко — Иван Александрович.



Три поколения Глобенков

Рождение сына как будто вызвало новый поток энергии у Марии- имея диплом техника лесной промышленности, онаправлялась с работой старшего инженера (на совещаниях "лесных дел мастеров" в Красноярске женщина была одна - Мария Никитична).

Семь лет жизни и работы в Сибири дали им обоим осознать свою значимость. Перед пенсиею он охотно отправился в командировку в Красноярский край, чтобы вновь увидеть "свои места", повстречаться со знакомыми и друзьями. А в Москве у Степана была, в основном, работа в разных должностях в Министерстве Лесной промышленности, были две трёхлетние командировки в Венгрию в качестве лесосдатчика, передававшего венграм заказанные ими в СССР лесоматериалы.

И ещё в Москве подрастали внуки: Саши-Танины Ванечка и Машенька, а в 1992 году дочка Таня пополнила число внуков, родив Ирочку.



В Судаке,

Степан – дружинник.



Перестройка, случившаяся в предпенсионные Степановы годы, не дала ему шанс приватизировать какой-нибудь

леспромхоз, т.е. стать, например, «сибирским олигархом». Теперь, уже зная печальную судьбу большинства сибирских олигархов, можно порадоваться за Степана, что печальная судьба этого соблазна его миновала. Он остался только заслуженным пенсионером и мелким крестьянином, на какое-то время соединив свою жизнь с ленинградской учительницей-крестьянкой Верой...

В последние годы своей жизни, Степан, последний из детей Митрофана и Поли, стал очень похожа на... старшего



брата хмурого отца – насмешливого дядьку Ивана, но только без его вечной присказки-издевки «собака тебя заводила», а совсем по-доброму. Кстати, и сейчас я не понимаю причины распада брака Степана и Марии... Могу только предположить, что ему к концу жизни надоело играть вторичную роль при

умной жене (так часто бывает). И надо признаться, что свою вторую, свободную жизнь, он вел, на мой взгляд, весьма достойно. Он ушел из семейной квартиры на частный сектор, но довольно скоро, как ветеран войны получил от своего Министерства "однушку" в борисовской новостройке, а потом своими руками соорудил "дачку" недалеко от Тучкова и оставил ее любимым, надежным наследникам.

Он все делал правильно, хотя в политическом смысле вдруг стал своеобычным, например, Горбачева считал предателем, достойным расстрела прямо у Кремлевской стены. Предателем же он посчитал и Зюганова, примкнув напоследок к сталинистской ВКП(б). Уж не знаю, какими словами он доказывал свою правоту недораскулаченному, но уже покойному православному отцу. Наверное, их недоговоренный спор так и остался в веках не доведенным до понятного мне итога... Хотя в последние годы мы ежегодно с ним встречались на Пасху, по традиции, заведенной еще его отцом и матерью, и свято им продолженной. Именно на пример Степана в своих

ежегодных предпасхальных переговорах с родственниками теперь ссылаюсь и я, как старший из ныне живущих глобенковских потомков.









Это последние фото с отцом. Стоят слева направо Лида Мухортова (Епишина), я, Лиля, Наташа Епишина – Лидина дочка, Тамара Петровна – вторая жена отца и Степан. Трех из сфотографированных уже нет в живых: отец умер 5 августа 1990г., Степан – 3 июня 1997г., Лида Мухортова – 24 января 2000г.

Раздел 5. Мои главные школьные годы в филёвской 590-ой школе

Идеологический спор, от которого я веду начало своего инакомыслия



В 1951 году мне было 12 лет, я уже кончил начальную школу и отличался любознательностью. Заинтриговавший меня родительский спор был не нов, потому что касался весьма болезненной для семьи тайны раскулачивания деда.. Моя мать, помнившая свое счастливое босоногое доколхозное детство, иногда «возникала», вернее обобщала несчастье семьи до несчастья всего народа с этой самой «коллективизацией», от которой

пошли голод и нищета деревни, но возмущалась этим она только в кругу личной семьи, т.е. перед своим единственным другом – мужем Володей и ничего не понимающим сыном. В надёжности мужа она не сомневалась никогда, но вот момент пробудившегося внимания сына упустила.

В отличие от матери, детство отца проходило по началу в благополучной семье портного. Но в первую мировую войну родители расстались, мать ушла, а после гражданской войны и отец Клим умер от тифа. Володя вырос сиротой на руках бабушки и воспитанником местного комсомола и партячейки, конечно, принимая участие во всех их делах. Мне он рассказывал о закрытии деревенских храмов со сбрасыванием колоколов и сжиганием икон, но вот про раскулачивание

молчал, может, жалея жену, и может, и правда, судьба в виде комсомольской путевки на учебу в киевский техникум дозволила ему избежать участия в этом народоубийстве. Тем не менее выслушивать антипартийные филиппики своей жены ему было трудно, как трудно менять взгляды своей молодости. Да и верность партийной идеологии, пусть воспринятой очень светло и поверхностно – заставляла его возражать по типу: «Ты ничего не понимаешь».

И вот в какой-то из родительских споров ввязался я, до той поры молчавшее их продолжение – на стороне явно неубедительного отца. Я заявил, что мама не права, потому что надо учесть голод рабочих. Мол, крестьяне перестали продавать хлеб в город, и потому партия вынуждена была провести коллективизацию. Не знаю, откуда я взял эти аргументы – может, из учебника начальной истории СССР, а может из отцовского учебника «История ВКП(б)», который все партийцы изучали ежегодно заново, вплоть до темной «философской» 4-й главы, а вот их дети, оказывается, добирались и до «причин коллективизации».

Впечатление от моего выступления на родителей оказалось оглушительным. Отец просто замолчал, мать ограничилась сходу только переносом отцовской реплики про «ничего не понимаешь» с себя на меня, а чуть позже просила никогда никому не рассказывать про их никому не нужные разговоры. Наверное, в тот момент тень Бутырки, а если говорить тогдашними словами «тень черного ворона» (МГБ-ного воронка) явственно нависла над ними обоими – и над «дочерью недораскулаченного» и над «недопосаженным в 1938 году молодым почти партийцем». И от кого вдруг пахнул этот ужас? – От единственного сына, родной кровиночки, который так неожиданно «поумнел» и даже стал опасен, Бог знает, что он мог запомнить из наговоренного меж собой и что мог рассказывать кому угодно и где угодно... Страх перед «Павликом Морозовым» всегда сидел в душах самых правоверных советских родителей.

Но сейчас я думаю, что мать зря опасалась моей «болтливости»... Я уже давно перенял от всех своих родственников жуткий страх и тотальный запрет на «болтовню об этом» даже с ними... Помню, как моя смешливая тетя Соня, еще девчонкой застрявшая в войну у сестры в оккупированной родной деревне Гвинтовое (потом долгие годы ей приходилось мучиться на учебе и работе с этим анкетным клеймом: «В детстве пребывала на оккупированных территориях»), вздумала описать картинку с немецкой листовки, как Сталин с Буденным и Ворошиловым пляшут гопак на изможденных крестьянских телах. Родные ее отругали так, что она надолго затравленно замолчала. Нет, наша семья недораскулаченных и недопосаженных была не из болтливых.

Но вообще-то в первые послевоенные годы люди, стали гораздо смелей, и в разговорах распускали языки, травили едва ли не антисоветчину: и про генералов, вывозящих трофеи из Европы эшелонами, и про чудо выживания русских баб на коре или 150 г хлеба в сутки в голодном 1947 году, когда власти гнали эшелоны с хлебом в присоединяемую Европу, и про отмененные выплаты и проездные за боевые награды(чем особенно возмущалась мама), про грабительскую денежную реформу и про многое иное. «Органы», занятые после войны подавлением партизанских движений в Прибалтике, Польше, Западной Украине, а также своих банд из вернувшихся домой военных героев, не очень-то обращали внимание на антисоветские разговоры, но в последние годы жизни Сталина стали более усердны на этом направлении – за разговоры хватали чаще, потому и люди вновь стали больше бояться.

Больше в моем присутствии родители о «таком» не спорили. Мне кажется, они вообще перестали о политике разговаривать, надеясь на мое благоразумие, другие интересы и что «пронесет». И на самом деле тогда меня «пронесло». Я же всего этого просто не заметил, самодовольно решив, что раз на мои доводы мама не возразила, значит, за мной победа. На деле, у матери было что возразить на мои «партийные аргументы». Ведь она-то все сама видела, как из недавно сытых украинских

деревень ползли обессиленные от голода селяне и умирали прямо на столичных харьковских улицах, мешая проходу горожан на работу, а городские службы завели команды, которые грузили мёртвых и обессиленных, но еще не умерших селян на подводы и выгружали всех за городом в смертные рвы.

Но эти мамины рассказы я вспоминал много позже, когда уже сам был убежден во вредоносности колLECTивизации. А тогда итог был таким: мой первый идеологический спор произошел с мамой-«диссиденткой», в котором я защищал отца и линию партии, был во всем неправ, но своей открытостью так напугал их обоих, что спор наш прекратился на полуслове и навсегда. Черная тень тюрьмы споры всегда замораживает. Тем более, что Сталин еще был жив и казался вечным . Но слава Богу, вечным он не был.

Мой самый первый жизнеучитель Николай Георгиевич

Честно скажу, я не заметил прекращения родительских споров, потому что к тому времени приобщился к запойному чтению и вошел в самое великое и бессмертное человеческое сообщество – омут книг с их множеством героев и авторов. Начало этому виртуальному общению положила мама, приносившая мне книги, списанные в макулатуру по ветхости или «вредности», например, детские стихи Льва Квитко (она около года работала медсестрой на заводе «Москва-толь» куда свозили списанные книги), а еще вместе с отцом покупала книги в подарок, положив начало моей личной библиотеке. Но развернулось это общение в целостный мир только в школьной библиотеке с ее двумя тысячами томов и необычным библиотекарем Петром Петровичем Соколовым.

Но прежде чем подробней о нем рассказывать, я хочу отдать дань памяти еще одному, еще более раннему своему учителю, от которого у меня остались только имя-отчество –

Николай Георгиевич, благородный облик старорежимного интеллигента типа Чехова или Циолковского (ведь от революции прошло всего около 30 лет) и его любовь к труду и порядку. Наверное, ему просто не позволяли быть школьным учителем, поэтому в школе он был лишь хозяином каморки рядом с актовым залом, в которую сносили для ремонта и хранения самые разные учебные пособия типа карт и плакатов. Еще он ремонтировал и даже заново шивал потрепанные книги, а также показывал учебные фильмы на узкопленочном проекторе в актовом зале (самым популярным был фильм по рассказу Циолковского о полете на Луну). Дело это было трудоемким и в помощники ему приходили члены кинокружка, потому что показывать фильм было очень интересно и почетно, тем более что Николай Георгиевич старался обеспечить нам как можно большую самостоятельность. Но, думаю, от ремонта плакатов и книг, а еще больше от проявления в нем старой добрых России моя душа в те самые страшные сталинские годы получила много больше. И, наверное, от него пошла моя любовь к чтению дешевых книжек по астрономии и технике и будущее пристрастие к партизанскому кино.

«Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется» – сказал поэт, а в случае Николая Георгиевича отзыв шёл от его облика и жизни. Вместе с еще одним мальчишкой мне пришлось видеть, как искренне плакали его соседи по коммунальной квартире, прощаясь с ним, умершим. Ни единственным словом не противоречил он еще живому тогда Стalinу, но ведь в душах причастных к нему школьных мальчишек, вроде меня, остался живой совестью и примером именно он, а не всесильный вождь с его якобы вседесущей пропагандой.

Где-то в середине жизни я осознал, сколь щедрой была ко мне судьба, наградившая приязнью очень мудрых стариков, почти старцев. Последними в их череде были Григорий Соломонович Померанц (слава Богу, еще здравствующий), священник Сергей Александрович Желудков и историк Михаил Яковлевич Гефтер... Наверное, от живого соприкосновения с ними укрепилась моя вера в бессмертие человеческой души.

Библиотекарь Петр Петрович – мой первый учитель

Петр Петрович Соколов пришел к нам в пятый класс учителем русского языка, но довольно скоро был переведен на должность библиотекаря, как «психованный» и неспособный управляться с шумящим классом, легко доводившим его до бессильного брызгания слюной. В войну он получил тяжелое ранение и две контузии, был комиссован, но не выправился. Попытки окончить МГУ он не оставлял до старости, но, как я понимаю, и должность библиотекаря была для него благодеянием. Но вот еще большим благодеянием оказался он для меня, прилежного члена библиотечного кружка и на деле его единственного ученика. Конечно, учителем я называю Петра Петровича условно, потому что, обладая немалыми знаниями, никакой системы в меня не вкладывал, если не считать элементарных сведений по библиотечной систематике, но делал он многое больше. Со мной, он общался на равных по самым разным, не только книжным поводам, хотя и их у нас было очень много. Он не спорил, не дискутировал, а как бы делился своим – и это западало.

Например, по теме справедливости коллективизации он лишь осторожно поделился собственным опытом участия в ней: их учительский колLECTИВ очень долго и неуспешно убеждал крестьян вступать в колхозы, но когда появилась знаменитая статья Сталина «Головокружение от успехов», организованные учителями колхозы все же устояли, в то время как в соседнем районе колхозы, возникшие под «воздействием» агитаторов из артиллерийского полка, полностью развалились. В его рассказе не было ничего неожиданного и противоречащего сталинской трактовке событий, но какие-то насмешливые интонации рассказчика об агитаторах-артиллеристах не опровергали, а сливались с маминой правдой о голоде.

Еще пример, более поздний. В библиотеке обнаружились никем не читанные книги конца 30-х годов – стенографические отчеты о процессах над «врагами народа»: Бухарином, Рыковым и другими. Несмотря на газетный стиль, от книг веяло ужасом монстров, спокойно признававшихся в преступлениях, ничем не лучших, чем у гитлеровцев в военных кинохрониках. Но главный мрак веял от иного: от давно поселившегося у меня неверия в эти признания и от догадок, какими именно пытками эти признания были вырваны... Это был реальный Мордор...

Никаких пояснений и разоблачений от Петра Петровича по поводу этих отчетов я не получил, но зато именно он мне сказал, что наша незаметная и крайне молчаливая учительница Милиция Антоновна была когда-то замужем за осужденным и пропавшим где-то «врагом народа», но вот «она прощена» и оставлена учительницей (правда, только в младших классах), а ее сын после ареста отца попал в психушку, но сейчас уже вернулся к матери и та ищет для него работу (он приходит иной раз в нашу библиотеку). Петр Петрович ничего не связывал, но книжные ужасы про врагов народа вдруг оказались передо мной в виде страдающей женщины и ее искалеченного сына, и сочувствие теснило сердце.

Наверное, всё вместе: и чтение стенографических отчётов, и книга Веры Кетлинской «Мужество», и влияние Петра Петровича подвинули меня уже после окончания института на первый кадры и тексты моего первого диссидентского диафильма «Обыкновенный куль⁴», где отожествлялись фашизм и сталинизм. Сейчас знаю, что на такие догадки решались Василий Гроссман, чуть позже Михаил Ромм, и библиотекарь Петр Соколов наталкивал на эту мысль простого мальчишку.

Но не только такими картинами из жизни питал меня мой «Харон с реки забвения – Леты» (нет, памяти) на книжном берегу. Бывали у него и совершенно неожиданные,

⁴<http://www.sokirko.info/Part71/Ob.kult/>

парадоксальные оценки. Так, однажды я поделился с ним «догадкой» о том, что по примеру возникновения марксизма после смерти Маркса, ленинизма после кончины Ленина, у нас будет сталинизм после кончины – еще живого вождя народов. Мгновенным ответом Петра Петровича о жизненности маоизма я до сих пор восхищаюсь. «Нет, – ответил он, – есть марксизм-ленинизм и ничего другого не нужно. А вот возникновение маоизма после смерти китайского вождя вполне вероятно – так уникально его учение». И Петр Петрович оказался совершенно прав. Сталин в глазах многих людей остался лишь продолжателем Ленина или, напротив, исказителем его дела, а маоизм, как живое движение, известно миру до сих пор. Но одновременно он был прав и с позиции тогдашнего официоза.

Не сомневаюсь, что очень многое из забытых оценок Петра Петровича ушло в мою подкорку, определило интересы и вопросы и, наверное, действует в ней до сих пор. Так, в самые глухие времена всеподавляющей сталинской пропаганды я вырос совсем не партийным винтиком, а нормально думающим дитем книг и всей мировой культуры. И это происходило не только со мной. Так, по-человечьи и как бы невзначай будет происходить всегда и диктатура любых умников, даже самых бесчеловечных типа Гитлера или Пол Пота, окажется бессильной против океана людей, их традиций и культуры.

Первая мысль о подполье и реальная стычка с ним

Почему-то я запомнил первую московскую осень, когда в голову пришла мечтательная мысль о героическом участии в подполье революционного типа, которое борется с господствующей ныне несправедливостью. Это было чем-то вроде грез наяву, когда услышанные по радио сюжеты о героических молодогвардейцах или народовольцах оживали и я оказывался их числе. Наверное, такие естественные фантазии посещали многих мальчишек, становясь порой навязчивой

идеей и стержнем стихийно возникающих антисталинских кружков старшеклассников – легкой добычи карательных стервятников, а сейчас так создаются кружки экстремистов или даже террористов.

Моя «фантазия», наверное, наткнувшись на таивший в душе семейный страх, к тому же я не имел друзей, с которыми мог бы делиться такими догадками. Мысли о справедливом подполье всё же успели оформиться, потому сразу же после поступления в московскую школу я оказался вовлеченным в конфликт с реальным хулиганским подпольем. Кстати, многие из моих знакомых до сих пор оскорбляются (думаю, неосновательно) моим включением шпаны и уголовников самых разных мастей в разряд подполья только на основе сознательного неприятия ими общепринятых человеческих установлений.

Честно говоря, моя погруженность в мир книг была частично вызвана отверженностью в среде одноклассников, вернее, даже враждебностью к господствующей в классе группе. Я был им классово чужой, поскольку приехал из «сытой Германии», был похож на упитанного интеллигентного барчука и был как «отравлен» культурой Запада. Действительно, еще в Германии я был обычным советским мальчишкой и помню дикий восторг, с каким бежал вместе с более взрослой «шпаной» грабить и крушить сторожку какого-то немца на овощном поле. А по приезде в Москву всю эту дикость с меня будто рукой сняло.

В те годы деревня Фили стала типичной заводской окраиной Москвы, рядом с огромным авиационным заводом и мелкими предприятиями, застроенной стандартными двухэтажными домами или срубами разоренных филевских улиц и иных поглощенных деревень, где взамен сельских порядков восторжествовали нравы молодежных ватаг с их периодическими драками и выяснением отношений вплоть до подростковых войн. Самоорганизация ватаг шла главным образом по дворам больших домов из рабочей молодежи, но

захватывала и начальных школят. Самих «войн» я уже не застал, но как происходило подчинение им, испытал на себе.

Надо сказать, что детсадовские военные годы (с 43-го по 46 годы) я провел в типичном филевском стандартном доме и был обычным филевским малышом, в меру голодным и в меру компанейским, с общими впечатлениями и заботами – от суровых аэростатниц с заградительными баллонами и великолепных победных салютов – до копки огородов под картошку, распилки дров на зиму и девчоночных театральных представлений в чьем-то очередном сарае. И если бы после войны отец не вывез нас с матерью на два года к месту своей службы в части Германии, переданной потом Польше, то, наверное, я бы совершенно естественно, как все, из филевского детсадика переместился бы в филевскую школу, не теряя местных контактов и привычек.

Но совсем не худеньким я вернулся из Германии. В уркаганный «3-й "Е"» класс 590-й мужской школы 1-го сентября пришёл рослый, ухоженный отличник с красным галстуком на шее, без друзей и понимания, кто кого должен уважать и бояться. И расплата за это непонимание наступила сразу, вернее, на второй день сентября. На перемене меня стал задирать какой-то вертлявый щуплый мальчишка из моего класса по фамилии Бучнев и легко добился, чтобы я его оттолкнул. Тут же подскочили два пацана побольше и сделав вид, что разнимают, зашептали: «Нет, не здесь, а во дворе после школы, стычка по правилам, только, чур, не сбегать... » Я ничего не понимал и лишь согласно кивал головою. Вокруг меня сконцентрировалось какое-то тихое внимание одноклассников: «Как покажет себя этот откормленный новенький?»

По филевским понятиям я показал себя позорно: был побит по правилам и сразу, почти не осознав, как все произошло.

Нас поставили в круг, сумки отложив в сторону, и сказали: «Ногами не драться, до первой крови. Давайте!» Я никогда не умел и до сих пор не умею драться («бить человека

по лицу я с детства не могу»), поэтому в те секунды только нелепо и, наверное, по-девчоночьи, размахивал руками по легко ускользающему противнику, пока не получил два сильных удара по носу. Потекла обильная кровь с невольными слезами и тут же драка была прекращена с приговором: «Хватит, ты побежден!» Бучнева поздравляли, мне чуть сочувствовали, но только слегка, пораженные отсутствием сопротивления у такого здорового бугая. Последствия произошедшего я начал понимать далеко не сразу.

От мамы не укрылся мой расквашенный нос. Узнав все детали стычки (кроме имени обидчика – запрет на жалобы и ябеды в советских детях был абсолютом), она настоятельно советовала «никогда ни драться с хулиганами» – «Не дружи с ними и все»! Конечно, совет этот был неправильным, мальчишку надо было просто приободрить надеждой: «Ничего, учись драться, в следующий раз сможешь себя защитить!», тем более что поступили со мной вполне по правилам. Научившись хоть немного драться, я занял бы какое-то среднее место и приобрел бы друзей.

Но я принял к исполнению мамин совет и потому стал посмешищем. По праву победителя, Бучнев ожидал видеть от меня подчинение и просьбу о покровительстве – или продолжение сопротивления, но не получил ни того, ни другого. Я не просил пощады, но и не защищался, безответно терпел все его пинки и удары, только что не подставлял под удар то правую, то левую щеку (как учили бы Христос и Толстой). Лишь появление учителя или звонок на урок прекращали этот необъяснимый маразм: здоровяк, глотая слезы, молча терпит удары и пинки в половину меньшего задира и не дает никакой сдачи, хотя ему стоит только развернуться... Класс не мог этого понять, естественно, оставляя меня в изоляции. И так продолжалось пару лет, пока моего мучителя не перевели в «ремеслуху».

Когда к концу этого срока мама увидела Бучнева в школе воочию, она была просто поражена. «Да стукни ты его как следует», – чуть ли не закричала она... Но было поздно, мои

отношения с Бучневым и его дружьями уже сложились, я стал другим, не склонным сразу же меняться и следовать даже маминым советам.

По сути два начальных года филевской школы были для меня сильной закалкой, подобием двух лет армейской дедовщины или зоны (недаром они больше всего вспоминались тридцать лет спустя, уже в тюрьме). Эти годы дали телу нечувствительность к пинкам и ударам, даже выработали определенную стойкость и толстокожесть. Так что думаю, если бы не было того первого неудачного маминого совета, я многого лишился бы в своем характере и, в частности, привычки не подчиняться и не отказываться от себя, не прибегая к насилию даже в наших, в общем-то, очень драчливых условиях.

И еще одно неожиданное следствие. Став в неизбежную оппозицию к «хулиганам», я стал соглашаться на пионерские «должности». Учителя назначали меня то звеньевым, то председателем совета отряда, то членом совета дружины, несмотря на то, что получал я от этого лишь очередные порции вражды и пинков со стороны не только Бучнева, но его компаний. В глазах естественного школьного подполья, я был не только малахольным барчуком, не способным дать сдачи, но и «ссученным пионером» (на языке зоны словом «ссученный» обозначают каждого, кто соглашается сотрудничать с администрацией и уже потому заслуживает наказания, как предатель свободы).

И под этим отношением было зrimое основание. Так, иной раз подпольная «компания» напрочь срывала уроки криком: «Пацаны! Директора сегодня не будет – всем айда домой!» Не подчиниться «зову свободы» означало «сдрейфить», т.е. по трусости не пойти с классом, предать его с подозрением на донос, стать изгоем, что было практически невозможно. Но верный уже не только маминому совету, а своей сложившейся традиции «не подчиняться им», я делал это, т.е. не убегал с урока, а оставался в классе одиноким «предателем». Потом с запозданием в класс приходил учитель, спрашивал с деланным удивлением: «А где остальные?», выслушивал мой краткий

ответ «не знаю», удалялся минут на десять в учительскую и возвращался со словами: «Ладно, иди домой!».

Мне кажется, что учителя старались скрыть такие случаи от начальства – уж слишком неприятными могли быть последствия, слух мог дойти до РОНО, тем более, что прогулять несколько часов школьной нудистики хотелось и им (ведь это кто-то из учителей сообщал дезу нашим о том, что «директора не будет»). Поэтому и никаких наказаний прогулявшим не было. И только мне следовало ожидать заслуженное наказание за ослушание. Ведь просто не мог оставаться не наказанным «предатель воли класса и возможный доносчик». Конечно, когда ожидание наказания за предполагаемое ябедничество не оправдывалось, угрозы и мелкие наезды уменьшались, но никогда не прекращались, постепенно трансформируясь просто в ненависть к «не своему», «чужому», пока не дошло до всёобъясняющего «открытия»: «Конечно, он еврей (жид, француз)!»... Но дразнилки меня мало трогали, тем более, что в начале я долго не мог понять, почему слово «жид», которым обычно обзывали воробьев, вдруг применяют ко мне, пока не уяснил, что это тоже самое, что и малопонятные француз или еврей. Да ради Бога! Как говорил мой отец: «Хоть горшком называйте, только в печь не сажайте».

Помнится, в классе появился на какое-то время еврейский мальчишка по фамилии Шварцкопф из рабочей семьи. Он слабо учился, был отчаянно рыжим и вообще, нестандартным евреем, а я симпатизировал ему, хотя он во мне никак не нуждался. В любом случае от антисемитизма сам я был надежно застрахован, что сильно помогло мне в жизни, обеспечив уверенную симпатию со стороны еврейских сверстников

В памяти осталась последняя «тёмная встреча». Это уже был не благородный круг из зрителей поединка по правилам, а сплоченная кучка пацанов на глухой улочке за школой в темную ноябрьскую ночь (мы учились во вторую смену). Никто со мной не разговаривал, потому что и так все было понятно: мне – что пришло время исполнения угроз и будут бить, им – что я не

буду убегать и сопротивляться. Так и вышло – лишь исполнение приговора по кругу кулаками по лицу. Конечно, крови и синяков было довольно, но сильной боли я не замечал, а им бить меня было неинтересно, вроде как по долг... В общем, пока домой я нехотя доплелся, кровь уже унялась, а грязь по лицу вполне размазалась.

Мать, конечно, ужаснулась, но по моему категоричному требованию обещала к учителям с жалобами неходить и, наверное, обещание сдержала. Во всяком случае никаких последствий «темная встреча» не имела. Весной большая часть шпаны нашего класса была из школы отчислена, надеюсь, без всякой связи с наездами на меня, а просто по принятой тогда методе жесткой чистки советской школы после четвертого класса.

Как выпалывала советская школа хулиганское непокорство

В сталинское время существовал закон об обязательном среднем образовании, хотя на деле строго обязательной была только начальная четырёхлетка. А дальше ученик мог продолжить обучение и через три года получить справку о неполном среднем образовании или по желанию, а чаще по бедности семьи (ещё чаще из-за плохих оценок) он переводился на учебу в ремесленное училище полуказарменного образца для обучения рабочей профессии. И хотя окончание училища приравнивалось к семилетке, реально учащиеся получали чуть расширенное начальное образование, что на деле не давало им шансов на жизненное продвижение даже на рабочем пути. Наиболее активных и свободолюбивых из них ждала уголовная судьба.

Следующим рубежом отбора становился конец седьмого класса, которым, собственно оканчивалось обязательное среднее образование. Дальше дети из бедных семей шли на заработки, более состоятельные – в техникумы, чтобы через четыре года

получить средне-техническое полное образование и возможность быстрее зарабатывать деньги, а самые состоятельные оставались в старших классах, причем родители должны были пустить немного, но платить за обучение, надеясь, что дитя после окончания десятилетки преодолеет институтский конкурс и получит уже бесплатно высшее образование.

Так действовала система якобы равного, а на деле кастового образования, которая автоматически отбирала в число действительно образованных наиболее благополучных и послушных, а бедных и ершистых загоняла в раннюю работу, лагерь и смерть. Теперь-то я понимаю, что хотя в детстве меня посещали видения справедливого подполья, на деле в филевской школе я сразу оказался в числе благополучных сторонников учебы и порядка, противников мальчишеской вольницы в своем классе и именно это на всю жизнь привило мне стойкость в антипатии к нелегальщине и полезную привычку не зависеть от оценок окружающих, гордо соглашаясь на роль «гадкого утенка («жида»). Годы своей средней школы я считаю до сих пор самой трудной порой жизни. Даже в Бутырке мне было хоть похоже, но проще.

Теперь я стал объективней и вижу, что мои школьные «мучители» имели на то вполне понятные резоны, как были причины и у меня не «вступать в их ряды». Благодаря ненависти к ним у меня изначально воспиталась неприязнь к романтике и упрямое настаивание на своей обыкновенности. Сейчас у меня, уже забывших боль от их кулаков, возникает даже сочувствие к этим отвязным ребятишкам, наверное, уже давно погубленным своей печальной судьбой. У меня нет на них обид, в детстве они поступали согласно правилам-понятиям подполья, без собственной злости и вины, в жизни оказались много несчастней меня, т.е. того, которого от участия в их подполье своими кулаками они огордили.

Раздел 6. На родине отца, в Шевченково



Двухлетний Володя Сокирко.



Четырёхлетний Володя.

Наверное, с моего 4 класса, в нашем мазиловском доме стал появляться Сергей Данилович Сокирко – мой двоюродный дядя по отцу и родной брат моего погибшего дяди, в чью честь я получил своё имя. Сергей всю войну шоферил в армии, а потом продолжал водить машину сельского техникума и часто наезжал в Москву и дальше в Ярославль, откуда была родом его жена Женя. Так что мы заново познакомились со своими центральноукраинскими родичами. Наверное, от Сергея отец получил известие о том, что в 1952 году в селе скончалась его мать, не прощенная им Антонина Васильевна Сокирко (урождённая Зелинская). История семьи отца осталась для меня непонятной. Я знаю только, что Володя Сокирко родился в изначально счастливой семье портного Клима Сокирко. У нас сохранились две фотографии, где он одет барчуком.



Отдельно отец Володи Клим Иванович , на общем Клим И. и его брат Данила, Володя и его бабушка Марта, внизу Володя и бабушка, укрупнённо



бабушка Марта, а позже он был как бы усыновленовлен комсомольской ячейкой вплоть до своего отъезда в Киевский водный техникум и в последовавшую армию

Но еще до Первой войны наступило их расставание, причем, семья раскололась не на две, а на три части. Клим ушел на фронт, попал в плен, после революции вернулся домой и быстро, в 1922 году, вроде бы, сгорел от тифа.

Володю взяла на попечение



Володя Сокирко второй справа в верхнем ряду



Комсомолец Володя Сокирко (сидит справа) с сельскими пионерами.



Владимир Климентьевич (справа), рядом его кузен Сергей Д., третий мне неизвестен (в Шевченково)

И все это время мать не общалась с ним. Когда в 1932 бабушка Марта умерла, Антонина осталась на попечении бабушкиных родственников Решетило. Кто-то говорил о ней как о "странный", кто-то как о запойной пьянице. Тем не менее, сейчас я не могу не вспомнить с благодарностью этих своих дальних родственников, которые заботились о незнакомой мне, но реальной бабушке Антонине Зелинской, от которой у меня четверть генетического наследия. Думаю, в глубине души что-то подобное испытывал к родственникам бабушки Марты и мой отец.

Но по-иному посмотрел на ситуацию с объявившимся у Володи наследством его кузен Сергей. «Ты – законный наследник дома. Сейчас им владеют чужие тебе люди, хотя все права на твоей стороне. Неужели ты будешь это безропотно терпеть?» Доводы Сергея возымели действие. Отец подал заявление в местный суд и тот принял решение в его пользу.

Летом 1954 года мы все вместе приехали на родину отца в Шевченково – принимать деда Климово наследство. Реально же я получил в наследство гораздо большее: еще одну свою «батькивщину», еще одну когорту родных людей и одновременно огорчение от собственной глухоты к родственникам бабы Марты.

Ехали мы с пересадками в Киеве, где я впервые увидел днепровские пляжи, ходил по Крещатику, а ночевали мы в полуподвальной квартирке дальней родственницы – мамы молодого матроса Аполлончика – напротив старинных «Золотых ворот». Апполон – двоюродный брат Сергея по женской линии, в то время как мой отец – его двоюродный брат по мужской линии.



Отец с мамой и незнакомой мне женщиной в Киеве.
Апполон с родными

Из Киева доехали до станции Городище, где встретил нас Сергей на своей грузовой полутонке и довез прямо до своего дома на хуторе Юрково в 8 км от села Шевченково.

Из множества украинских впечатлений больше всего запомнилось мне первое купание в местной запруде-речке под Сергеевой хатой. Я много купался и в мелкой Фильке, и в большой Москва-реке, и даже случилось в огромном Днепре напротив князя Владимира. Но плавание в прозрачной тихой воде на резиновых автобаллонах без всяких комаров, под яркой луной напротив радостно гуторящих киевлянки Ольги Павловны, ярославки Жени, маленькой Люси и моих родителей дало ощущение родства с этим миром, про который я знал только из книг: «Тиха украинская ночь, прозрачен воздух, звезды блещут»... Оно стало главным событием этого года.



Слева направо: Ольга Павловна, баба Васька и баба Груня

Кроме пребывания в гостях у Сергея Даниловича и оформления отцом бумаг на получение отсужденного дома у нас были и иные гостевания, уже в самом селе. У основателей рода – Ивана и Марты Сокирко были трое сыновей и две дочери. Из-за войн и революции сыновья рано ушли в мир иной, а дочери Василиса и Груния были цепче и еще тянули свой жизненный жребий. Я начал звать их, как и мои сверстники, баба Васька и баба Груня. Они были примерно одного возраста, имели детей и внуков, но привычки и характеры у них были очень разные.



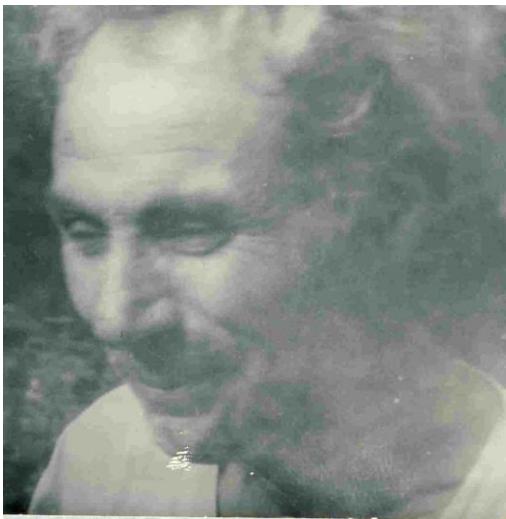
Баба Васька (по умершему мужу Крицкая) все время жаловалась и плакала на обиды, особенно, в конце жизни и этим изводила живших с нею детей и внуков. Её дочь Татьяна

неожиданно рано умерла, оставив бабе Ваське свою дочку – подростка Марусю, которая после смерти матери переехала в Москву, в нашу семью, поступила на наш Трубный завод, там нашла своего суженного – заводского парня Володю Гордеева, но тоже довольно рано умерла, оставив двух девочек Таню и Нину. Сведений об их взрослой жизни у меня нет.



Семья Гордеевых:
Маруся с Ниночкой, Володя с Танечкой, Ниночка постарше.

Баба Груня была сама мудрость и спокойствие во многих испытаниях. Таким же светлым характером природа наградила и ее многочисленных приветливых детей. Но прежде чем рассказывать про семью Красовитовых, я дорасскажу про судьбу доставшегося отцу дома деда Клима. Я помню его очень смутно, в виде совершенно пустого здания, освобожденного жильцами для новых хозяев, т.е. для нас. Помнится жаркий каникулярный день, в который нас, школьников, направили на колхозную пасеку (кажется, на поле цветущей гречихи).



Зав.пасекой был тогда инвалид войны Юрко Красовитов.



Провожатой к пасеке была Юркова младшая сестра Оля,



Третьей была Люся – дочка Сергея и Жени.

Хозяин Юра прежде всего заставил выпить (съесть) по кружке густого прозрачного меда. Сделать это было довольно трудно, кормил нас Юра, в действительности, впрок, хотя и утверждал, не моргнув, что на недоевшего пчелы будут нападать. Мы почти поверили, т.к.на обратной дороге пчелы нас не тронули. Не помню почему, но вернуться с пасеки прямо домой к Красовитовым нам было слишком рано, и потому Оля привела нас по дороге в уже отсужденный и опустевший дом деда. Я уж знал, кто в нем раньше жил и спорил. В моих представлениях последними владельцами были люди, которые рассорили маму отца с дедом на фронте и сделали отца сиротой. И потому отец отсудил этот дом у вредных «Решетил» и востановил «справедливость». При этом я, конечно, знал, что из Москвы в этот дом мы не уедем и что его, видимо, по предварительной договоренности, займет дядя Сергей со своей семьей, включая Люсию, ибо он давно уже хотел перебраться из хутора в село, ближе к месту своей работы в агрономическом техникуме. И действительно, дом был переписан (продан) на Сергея, по выражению матери за «смешные и тогда деньги», но

довольно быстро был перекуплен техникумом, который нуждался в расширении своей территории. Реально семья Сергея дедов дом и не заселяла. Я и сам его больше не видел, потому что к моему следующему приезду дом был просто разрушен. После получения выкупа за него, Сергей стал строиться в селе, но на другом месте.

А в тот памятный вечер моего единственного посещения дедова дома мне пришлось запомнить свой постыдный поступок. Мы бегали по опустевшему дому, когда во двор пришла какая-то местная бабушка и, глядя на стены дома, стала громко плакать. Мы затаились, и Оля мне тихонько пояснила: «Это Решетила!» – «Зачем она пришла?» – «???» Теперь-то я думаю, что женщина оплакивала не сам этот дом, а всех живших здесь дорогих ей людей: и Клима, и бабу Марту, и странную Антонину, и собственную жизнь. Сейчас я понимаю, что нам следовало бы присоединиться к этому оплакиванию уже погибших или, хотя бы тихо промолчать, помянуть их уважительным молчанием. Я же стал пародировать ее плач, негромко подывая. Мне, поросенку, это казалось остроумным, хотя на деле было безобразным кощунством. Постояв у дома и поплакав, женщина тихо ушла, а после нее из пустого дома ушли и мы, оставив в памяти зарубку, что была возможность у меня по-человечески помянуть Клима, Марту и Антонину, да вот не хватило воспитания и чуткости. Есть, конечно, в этом вина и моего отца, который, услышав рассказ Оли «как Витя передразнивал», не нашел слов осуждения в мой адрес – настолько сильна в нем была недоброжелательность к своим родственникам Решетило.

Переезд в Шевченково особого счастья Сергею не принес. В последний раз я видел его в 1962 году в разбитом инсультом состоянии. Повзрослевшая дочь Люся осталась жить в Черкассах, а недостроенный дом он оставил на выпивающего сына Сашу, который скончался в молодом возрасте раньше Жени. С внуками Сергея мы не знакомы. Не знаем мы, и как развернулась жизнь детей Дмитрия – уцелевшего в войну родного брата Сергея.

Дмитрий, будучи на службе в госбезопасности, после войны подавлял лесных братьев в Литве, а в отставку вышел в Баку. На Украину его потомки не ездят, уход за могилами Даниловичей и Ольги Павловны остался теперь на потомках Сергея.

Где могилы других Даниловичей, погибших в войну, Василия, Виктора и Николая⁵, не известно (про Николая см. Приложение 3).



⁵ <http://www.sokirko.info/Tom7/mikola.htm>



Мы же прикипели на Украине душой лишь к одной родственной ветви нашего рода – к семье Ивана Михайловича Красовитова, русского выходца из Орловского губернии, священника и учителя, за которого вышла замуж младшая дочь основателя рода Ивана Сокирко Агрипина (Груня) Ивановна, чтобы вырастить новый род – семью Красовитовых.

И у нас есть их воспоминания: Красовитов Юрий Иванович: Воспоминания⁶ (см. Приложение4),

Рассказы Ю.И.Красовитова о жизни, о войне⁷(см.Приложение5), Воспоминания Нины Ивановны Красовитовой⁸ (см Приложение 6).

О том, какой силы была их любовь, можно судить по тому

⁶ <http://www.sokirko.info/Tom7/Yura/>

⁷ <http://www.sokirko.info/Tom7/Yura/vospominaniya.html>

⁸ <http://www.sokirko.info/Tom7/Nina/>

факту, что в церковной книге дата ее рождения записана на два года раньше истинной – иначе брак не был бы разрешен. А он, видимо, был благословен на самих небесах – какие замечательные у них дети!

Пришла революция и связанное с ней разрушение церковного уклада. Но в смуту односельчане нуждались в Божьем слове даже больше учительского, и потому Иван Михайлович никогда не отказывался исполнять церковные обряды. Но в основном, он крестьянствовал на хуторе Юрково, поставив дом недалеко от дома Ольги Павловны и Данилы Сокирко. Из девяти родившихся у них за 27 лет совместной жизни детей здравствовали в год нашего первого приезда шестеро (сейчас только четверо: Нина, Маруся, Гая, Оля). Из троих, родившихся до революции, первые двое умерли преждевременно, а Нине сейчас идёт 93-ий год.



Мы с Ниной читаем воспоминания Юрка



Галия и Маруся



Оля, которая всего на полгода меня старше, так никогда и не увидела попавшего в гулаговскую мясорубку и сгинувшего

в войну на Урале отца. Лагерная похлебка досталась и Нине, но у неё, молодой, хватило сил выжить.

Жили они очень скромно, и в голодомор родители смогли уберечь детей. Перед самой войной, получив непривычное пособие на последнего ребенка за два года, тетя Груня купила старую хату в селе Шевченково. В войну бед и тревог хватало, но заложенная в основу этой семьи подлинно христианская любовь друг к другу помогала ее членам преодолеть все невзгоды. Они и сейчас, старенькие, светятся добром. И дальше продолжаются Иван и Груня – во внуках и правнуках. Изредка омываются красовитовской любовью и наши дети – внуки.

В свои взрослые годы мы много путешествовали по Украине⁹,¹⁰ начиная или заканчивая свои поездки в семье Красовитовых .

⁹ <http://www.sokirko.info/Part4/Ukraina-2/index.html>

¹⁰ <http://www.sokirko.info/Part4/Ukraina-1/index.html>

Раздел 7. Старшие классы – начатки открытого инакомыслия



"Первые признаки моего грехопадения появились еще в 1955 году, когда я отдал уважаемому историку и директору школы на консультацию свои недоумения в письменном виде после чтения "Краткого курса ВКП(б)". Ответы на свои вопросы я не получил, зато с заводского парткома от школы запросили данные об отце на предмет выяснения причин уклонений сына... На моё счастье уже готовился XX съезд, и коренные изменения готовились не в моей судьбе, а в судьбе всей страны. От меня же доброжелательные учителя посоветовали только сжечь все "неправильные бумаги". Я это обещал и действительно сжёг наиболее сомнительные из них на газовой плите"

С вынужденным уходом из школы моих преследователей жизнь в классе нормализовалась. У меня появились школьные приятели. На переменах мы без обид обменивались пинками и тумаками, ходили домой друг к другу, но мировоззренческие споры начали случаться только в 8-м классе с Валерой Антиповым и Витей Гнеденко. С обоими

бывали долгие обсуждения и разговоры по душам, но в студенческие годы наши встречи стали редкими, пока не пресеклись совсем – наши интересы разошлись. Например, Витя Г. (лучший математик в нашем классе и любитель стихов Б.Пастернака) после окончания мехмата МГУ поступил в какую-то контору КГБ по чисто профессиональным интересам.

В общественной теме я был всегда один, кружка единомышленников у меня никогда не было ни в школе, ни потом. А «собеседники» для меня выискивались из числа персонажей и авторов книг или воображаемых представителей власти, к которым я обращался со своими вопросами и предложениями. Но это – потом...

Весной 1953 года умер Сталин. Никакого потрясения от этого ни я, ни близкие мне люди не испытали, не было даже желания участвовать в его печально знаменитых похоронах. Тронул меня лишь один момент на траурном митинге в актовом зале школы, когда старый и любимый «словесник» старших классов вдруг сказал со слезами на глазах: «Если бы можно было свою жизнь отдать за Иосифа Виссарионовича, я отдал бы ее, не задумываясь!» Я не мог не верить уважаемому человеку, но вместе с тем было отчего-то стыдно за его слова, как за фальшивь или глупость... Наверное, к тому времени я был уже достаточно затронут инакомыслием.

Но
пару месяцев
спустя я
вступил в
комсомол,
будучи уверен,
что в отличие
от
забюрокрачен-
ной и давно
надоеvшей
смешной
пионерии,



комсомол – это серьезно, и в нем можно приносить реальную пользу. Так, вместе с отторжением от реального подполья хулиганья у меня возникал естественный импульс к конструктивному участию в существующей властной системе. А внущенные семьей понятия об опасности прикосновения к власти забывались ради очередной попытки молодого щенка изменить мир. Конечно, забывались они лишь временно.

Комсомольские иллюзии развеялись у меня даже быстрее пионерских – уже к окончанию школы. Этому способствовало неожиданное назначение секретарем школьной комсомольской организации, произошедшее в год соединения мужских и женских школ в 1954 году.



Витя во втором сверху ряду справа

В числе немногих парней в 9-м классе женской школе оказался и я, и тут же по рекомендации волевой директрисы Ирины Ивановны был «избран» на ключевой в школьной иерархии пост школьного комсомольского секретаря. Наверное, ей хотелось как-то активизировать девчоночье большинство,

вызывав их эмоции и амбиции. Но послушные девочки спокойно голосовали так, как им советовали и при моем избрании, и в последующих мероприятиях, «рекомендуемых» (навязываемых) через меня райкомом и парторгом школы.

Думаю, надежды И.И. на меня не оправдались, хотя к своим обязанностям я относился крайне старательно, почти как положительная девочка, стремясь делать сообща хорошие дела, но почти все эти дела были запланированы сверху, забюрокрачены и формализованы. Бывшая женская школа была при Сталине заморожена в еще большей степени, чем мужская, и потому начатки действительного интереса к общению у девчонок и ребят оттаивали крайне медленно: самодеятельные спектакли, новогодние праздники, танцевальный кружок – это все возникало, но как-то вне «рекомендаций», да и вне моих собственных книжных увлечений. Я с удовольствием занимался новогодним оформлением школьного зала или участвовал в постановке «Горе от ума», но из-за книжной неприязни к «мещанству» не мог себя заставить пойти в танцевальный кружок или хотя бы завести нормальную стрижку головы вместо традиционной в мужской семилетке стрижки «под ноль» (с последней я расстался лишь на старших курсах института, когда меня окончательно достало чрезмерное внимание окружающих и парикмахеров к моей «нулевой стрижке», ставшей каким-то вызовом – чудачеством). Но мои личные особенности я никому не навязывал: не рвался, например, закрывать танцкружок... или остричь ребят наголо. Выходит, я не был ни лидером и ни политиком, и, кстати, оставался таким всю жизнь .

Через год комитетские девочки сместили меня с должности школьного секретаря по совету той же Ирины Ивановны, чему я был откровенно рад. Моим преемником стал парень из только что пришедших и младших. Он был совершенно иного, карьерного склада, и впоследствии я слышал о нем дурные и мало интересные мне оценки... Гораздо больше меня интересовала судьба Ирины Ивановны, которая стала для меня первым лицом власти, которому я доверил свои первые

«вопросы», но потом просто потерял ее из вида (по слухам она была женой какого-то видного партработника и вполне могла поменять место жительства и работы в связи с его новым назначением).

1953-56 годы – время советской истории, название которого «оттепель» было подсказано чутким к переменам И.Эренбургом, опубликовавшим повесть с таким же названием. Оттепель длилась меньше трех лет – от похорон Сталина в марте 1953 до разоблачения культа его личности в начале 1956 года, после которого началась хрущевская «весна», мол, растопившая ледяной монолит сталинизма. Действительно, внешне режим в стране оставался прежним, но на деле сильно изменился. Хрущев организовал заговор и расстрелял главу МГБ-МВД (главной репрессивной машины в стране) Берии и его основных соратников, прекратил одиозные политические дела против еврейских врачей, провел чистку органов и частично амнистировал заключенных. Потом аппаратным путем был смещен председатель правительства Маленков, главой партии и страны стал Хрущев со всеми проектами, которые подсказывали ему новые и амбициозные «прогрессивные» кадры. Время это мне кажется очень похожим на первые годы правления Горбачева – от похорон Черненко до возвращения из ссылки Сахарова и иных диссидентов, когда стали выделяться из КПСС «демократические политики».

Кстати, такие термодинамические сравнения общественных изменений в России с ее диктаторским «подмораживанием» или либеральной «оттепелью» были довольно популярны в разные периоды российской истории и, по-видимому, основаны на глубинном сходстве этих процессов, что стало одной их интуитивных основ моей термодинамической веры, о чем речь пойдет позже.

Ирина Ивановна мне и видится такой прогрессивной деятельницей нашей первой оттепели, тоже находившейся в поиске новых инициатив и ускорений. Что хорошего в школе она успела сотворить, я не помню, кроме одного грандиозного по связям и средствам дела: строительства отдельного спортзала

– такого не было ни в одной из филевских школ (физкультурой всегда занимались в обычном классе, освобожденном от парт). Думаю, это было самым полезным из ее дел.

Я столь подробно вспоминаю свою директрису, потому что именно ей год спустя поверил чтение своей первой диссидентской записки в виде вопросов по ходу конспектирования знаменитого «Краткого курса истории ВКП(б)». Я этим занимался в свои последние школьные каникулы в пересменках между матросскими вахтами на речном буксире – одно из самых богатых воспоминаний моей жизни, когда соединилась настоящая и даже красавая работа и настоящая по свободе мысль. Текст не сохранился, но он был вызван самим первоисточником, и содержал банальное по простоте и в то же время искренности недоумение: почему неистребимы корни бюрократизма в партии? А перегибы политики раскулачивания? Почему отменили «партийские максимумы»? Причины неистребимости «мелкобуржуазного (социал-демократического) уклона», еврейского вопроса и «великодержавного шовинизма» и т.д. и т.п.

Почему я обратился со своими вопросами именно к И.И.? Теперь я понимаю, что в то время просто не хотел получать неоднозначные ответы, ибо мальчишеская душа жаждала не поиска истины, а ответа на вопрос: «Что надо делать сейчас?» А в уверенной и деловой Ирине Ивановне я видел как раз такого человека, который знает «как надо!»

Однако ответ я получил далеко не сразу, где-то в октябре 1955 года и лишь окольно. Со мной И.И. больше никогда и ни о чем не разговаривала, не встречалась глазами даже при прямой встрече.

Ответ пришел почти одновременно с трех сторон. Во-первых, историчка нашего класса и вместе с тем парторг школы, очень хорошая и даже способная краснеть женщина (удивительное свойство в ее положении), специально уединилась со мной и сказала, что по просьбе И.И. она познакомилась с моими вопросами и обязана сказать, что многие из них нехорошей, даже враждебной направленности.

Конечно, многие из моих вопросов очень просты и потому не заслуживают ответов, но главная проблема заключается в плохих вопросах, и мне надо очень хорошо думать, откуда у меня, комсомольца, взялись эти враждебные вопросы и кто мне их внушил... Мои естественные ответы, что я читал только «Краткий курс...» и никто ни в чем на меня влиять не мог, ее не останавливал, она твердила лишь одно: «Вам нужно очень и очень хорошо думать...»

Второй сигнал был еще вздрюченней – от моего старого библиотекаря Петра Петровича из прежней школы, который нашел мой адрес и приплелся на дом: «Витя, что Вы там написали?» Он даже не объяснял мне, откуда ему стало известно, а я и не спрашивал, чувствуя его страх. Я просто принес свой конспект и протянул его... . Читал он недолго и вывод сделал однозначный: «Все это лучше даже не обсуждать, а сразу сжечь, потому что писать так нельзя, могут запросто посадить – и не только Вас». Не верить Петру Петровичу я не мог и сжег свои вопросы-сомнения практически все и сразу, что успокоило его, но немного... Потом, уже я навещал его пару раз, но у нас уже не было тех свободных разговоров, как раньше в библиотеке у очередной раскрытой мною книги. Как будто между нами стояла пережитая жуткая тревога от крыла «черного ворона» и общего решения: «Сжечь, не обсуждая!». С Петром Петровичем как будто повторилась история с мамой, когда она увидела, что я способен во всеуслышанье рассуждать на запрещенные темы и потеряла способность об этом разговаривать вообще... Впрочем, Петр Петрович не совсем уж потерял дар речи. У меня остались в памяти два ярких разговора. В одном из них он довольно уныло рассказывал о философской диссертации своего сына на тему идеальной классификации наук, что поселило даже у меня скепсис по отношению к любым формам схоластичного мудрствования, а в другом, может, последнем разговоре (через несколько лет военные контузии его все же добили) он очень настоятельно и почти по-отцовски пытался оберечь меня от поступления на истфакт МГУ: «Лучше становитесь инженером – всегда будете

иметь возможность жить, честно зарабатывая свой хлеб. Профессии же честного историка просто нет, в жизни Вам придется стать преподавателем истории в школе и вечно врать, быть на деле политической проституткой... »

Я не мог не почувствовать правоты слов своего учителя и потому целиком последовал его совету, получив техническое образование. И хотя впоследствии не раз у меня возникало сожалению о предмете, к которому меня тянуло всю жизнь, но я никогда всерьез не пожалел о своем выборе. Ведь если бы я был именно историком по душе и призванию, то им, наверняка, и стал бы вопреки первоначальному выбору. А становиться ради карьеры «политической проституткой»?.. Нет уж, правильней было оказаться тем, кем я стал. Так что, спасибо Петру Петровичу, светлая ему память...

Но я вернусь к теме своей первой диссидентской записки Третий сигнал о реакции на нее дала мама, пересказавшая слова отца, что его вызывали в заводской партком и спрашивали, что случилось с его сыном, у которого, откуда-то проявились враждебные настроения. Отец обещал разобраться. Они оба успокоились, когда я объяснил, что все понял и все сжег «прямо вот на этой камфорке!» (может, даже пепел показал) и сообщил, что со мной уже много разговаривали – и парторг школы, и Петр Петрович, которого они знали и уважали.

На этом собственно, вся эта страшная моим близким история благополучно закончилась, если не считать мелочей: смещения с должности комсомольского секретаря, а в конце школы – почти демонстративного лишения серебряной медали (чем я даже гордился). Тогда я был уверен, что весь этот неожиданный страх нагнала Ирина Ивановна и естественно, винил ее про себя в личном предательстве: ведь я обратился к ней сам и ждал только ее ответа, как ответил бы мне Петр Петрович, а она ничего не сказала, но звонила в соседнюю школу и на завод о каких-то враждебных влияниях. Боялась, что ли?

Сейчас я думаю, что Ирина Ивановна вместе со своим высокопоставленным супругом не просто побоялись, а элементарно физически ужаснулись... Хотя верхушка МГБ вместе с Берией была уже разгромлена и органы частично зачищены, реально никто еще не знал, что это не очередная кампания типа 1938 года, когда в «преодолении ежовщины» погибло много чекистов, а существенная перестройка органов под более открытое хрущевское руководство. Об этом, как о «преодолении преступлений культа личности» страна узнала лишь в начале следующего года из доклада Хрущева на XX съезде КПСС. А до того существовал лишь старый, еще не опровергнутый опыт, что смелая болтовня безусых старшеклассников может в глазах органов обернуться антисоветским враждебным кружком, который в полном составе вдруг окажется в тюрьме, а их родители, знакомые и, главное, учителя подвергнутся тройной проверке с потерей партийности и карьеры.

Вот где таился ужас до потери смысла бытия. Конечно, ни о каких самостоятельных внушениях и исправлениях «загнившего сосунка» не могло быть речи – мало ли с кем он связан и не следят ли за ним славные органы уже сейчас... Сам он заслуживал лишь безжалостной хирургии, чтобы не заражал остальных, а важнее было не пострадать самим. Спасти можно было только мгновенным доносом и соответствующим покаянием со ссылкой на то, что пришел он в школу совсем недавно.

Наверное, так и было... Но вот реакция со стороны принявших сигнал органов, думаю, оказалась много снисходительней, ну, примерно такой: «Смотри, педагоги наши совсем оборзели, видят враждебность в обычных вопросах желторотого мальчишки, которого надо просто наставить на путь истинный, а не сажать. Дай им волю – всех пересажают. Своей учительской работы делать не хотят, на нас ее сваливают, а потом нас же будут обвинять в берииевых перегибах. Нет уж, дудки... Конечно, раз сигнал есть, надо провести проверку, нет ли кого еще за этим мальчишкой, может, негласный надзор

установить, в его деле за всеми этими сведениями должна стоять запись о проведенных воспитательных беседах со стороны педагогов и родителей. И хватит ему – сам одумается»

«Одуматься» как следует я просто не успел: XX съезд КПСС снял страх опасности задавания вопросов.

Конечно, подобные соображения местного чекистского начальства – лишь моя реконструкция, но думаю, она недалека от истины. Это означает, что уже в 1955 году 16-летний инакомыслящий Виктор Сокирко был замечен «недреманным государственным оком», но благодаря негласной хрущевской перестройке не уничтожен, а спасен от доноса испуганного «прогрессивного» директора школы. Также думаю, что и потом внимание ко мне со стороны органов (именно как к сомневающемуся, но своему) никогда не исчезало вплоть до настоящей, горбачевской «перестройки», но вот не погубило, а дозволило жить почти свободно, т.е. лишь в тени Бутырки. Думаю, что с такой невидимой «защитой» (или недостаточной «прополкой») прожил жизнь, наверное, не один я... Иначе откуда взялись бы диссиденты?

Моя тогдашняя жизнь состояла не только из чтения и учёбы, но многое забылось. Так, почти сгладились впечатления от частых поездок на трамвае вдоль Кутузовки и Дрогомиловки на Плющиху в школьный отдел Киевского райкома комсомола, но зато долго помнились еще более частые воскресные поездки-походы в два букинистических магазина на Арбате. Постепенно они заменили мне Петра Петровича и его библиотеку: на Арбате выбор был большим, а денег на старые дешевые книги нужно было немного. Я и сейчас, перебрав свою библиотеку, собранную, в основном, в школьные и студенческие годы, мог бы вспомнить, как знакомился с классикой, с её героями, становящимися образцами для меня и моих сверстников. Помяну только романы Гюго – «93», «Отверженные», и особенно любимые мною «Труженики моря» (хотя в моряки я так и не пошёл).

Очень трудным было знакомство с романами о предательстве, о чём надо рассказать подробней, потому что

возможно эти впечатления мне аукнулись в середине жизни, когда сам столкнулся с подозрением в возможном предательстве. Понятно, что сначала были прочитаны «Овод» и «Как закалялась сталь», в которых действовали герои и противники, но не предатели. Новозаветная же тема предательства для меня началась с романа Веры Кетлинской «Мужество», в которой описывается строительство знаменитого города Комсомольска-на-Амуре. В числе его строителей была коммунистка Клара, которая смогла обуздить свою любовь к мужу-доценту и донести партии на его уклонение от партийной линии, что кончилось арестом и отправкой его в амурскую тайгу. Там они по воле автора случайно встречаются только для того, чтобы Клара смогла убедиться в своем мужестве, «каленым железом выжигающем в ней самой антипартийную порчу». На меня эта литературная придумка производила жуткое впечатление, ибо перед глазами вставало усталое лицо Милиции Антоновны, которая не доносила на своего погибшего супруга, а лишь спасала от гибели их общего сына. Так что у меня возникало лишь одно недоумение: как можно было так клеветать на реальных жен репрессированных и называть «мужеством» реальное предательство?

Во второй раз тему предательства поднимала Ольга Форш в историческом романе «Одеты камнем», где речь шла о замурованных на десятилетия в Шлиссельбургскую крепость народовольцах. Но роман написан от имени выдуманного якобы прекраснодушного народовольческого друга, оказывающегося на деле не их связным и покровителем, а жандармским пособником и погубителем, и потому прибрел зловещий смысл. Главными обвиняемыми у автора оказались не жандармы-противники, а прекраснодушные интеллигенты-попутчики, не способные встать в ряды бескомпромиссных борцов и уже потому обреченные на предательство, на судьбу Иуды. Эта часть интриги меня завораживала больше всего, потому что я уже тогда догадался, что раз не могу быть противника по лицу, то не смогу быть и твердым борцом... Только последующая жизнь, в которой реальных предательств у меня

не случилось, а также «Каратели» А.Адамовича, где он описал, как эсэсовцы выращивали предателей, убедили меня, что поскольку готовность к смерти в случае «загнанности в угол» у меня все же есть, то от обязательного предательства я уйду. Ибо есть шансы добраться до достойной смерти раньше. Но все равно страх перед своим предательством под соблазном «доводов разума» подобно отрицательным интеллигентам в «Двух капитанах» Каверина или в «Русском лесе» Леонова у меня долго оставалась.

Завершал длинный предательский список двурушников-интеллигентов меньшевик Клим Самгин, герой последнего и самого большого романа М. Горького, в образе которого Горький буквально рассчитался со своими многолетними друзьями по зову ленинской, а потом и сталинской части своей уркаганской души. Только теперь становится мне понятно, что хотя нашим любимым российским писателем является В.Г.Короленко, но главным писателем России был и остается до сих пор старый бомж Горький.

К окончанию школы у меня случилось знакомство с двумя почти взрослыми деревенскими девочками – моими





сёстрами, шестнадцатилетней Лидой Голубцовой из Гвингового и восемнадцатилетней Марусей Крицкой из Шевченкова. Как попала Маруся в нашу семью, я уже рассказал. А мою старшую тётю Настю и ее единственную дочку Лиду позвал в Москву дед Митрофан при полном согласии бабушки Поли. Они считали это своим долгом. Сперва Настя привезла Лиду, естественно, в девятиметровку стандартного дома на Станционной улице, поручив мне подготовить ее к учебе в московской школе. Никаких трудностей я не испытал, потому что дед сразу решил, что ей надо идти в школу рабочей молодежи. Через пару лет Лида уже работала маляром на соседнем авиационном заводе Хруничева – почти до конца жизни по примеру своей мамы.

В то же году (1955) моим родителям, как уже заслуженным заводским работникам, завод предоставил две небольшие комнаты в бывшем дедовом стандартном доме с обещанием скорого слома и переселения в новый заводской дом, что через пять лет и произошло. Дед (он в этом году вышел на пенсию) и бабушка вместе с Настей и Лидой заняли свой освободившийся от нас дом в Мазилово. Дедова душа, наконец, могла успокоиться: он вернулся пусты к небольшой, но живой земле, при устроенных детях и внуках, и мог посещать церковь, которой верил... К сожалению, и последние годы деду не удалось прожить спокойно. В конце правления Хрущева Москва вступила в пору наступления дешевых пятиэтажек и дешевого поверхностного метро, что означило почти полное уничтожение бассейна речки Фильки и ее деревень. Конечно, деду с бабушкой не предложили вернуться в дом без удобств, они переехали в однокомнатную квартиру в новом доме, но там Митрофан стал быстро угасать, перенёс инсульт, при котором у него отнялась правая сторона и отнялась речь и, не дожив до 70 лет, умер в 1963 году.

И мне верится, что мой дед Митрофан, его Память, приняты в нашем главном, духовном мире с приязнью и пониманием.



Проводы деда Митрофана. В первом ряду: сын Степан, бабушка, дочери Настя, Татьяна и Софья, во втором ряду: мой отец, в середине ряда Маруся Крицкая (Гордеева) и Мария Никитична – жена Степана, остальные – бабушкины родственницы.



Настя и её сватья.

Не оказался долгожителем и его брат Иван, он умер раньше Митрофана, в 1961году, ещё раньше ушла из жизни его жена Евдокия Сидоровна.



Иван Степанович в 1958г



Похороны

Ивана С. —

В нижнем ряду: сын Игнат, дочери — Анна и Надежда, возможно, бабушкина сестра Феня, бабушка По-ля; в верхнем ряду муж и сын Надежды и моя тётя Настя.

Раздел 8. Поиски романтики и первой платной работы (как школьник всё же стал матросом)

Хотя понятие «экономическая свобода» стало мне известно лишь в 70-е годы, но с болезненными ощущениями ограничения права на труд я столкнулся еще в школьные годы.

Лето уже далекого 1955 года. Сталин уже умер, и хотя о его преступлениях вслух еще не говорили, но молодежь уже не сажали. Я перешел в 10-й класс и через год намеревался взамен обычного "обывательского" поступления в институт поехать на какую-либо сибирскую стройку коммунизма бетонщиком или лесорубом. Последние каникулы перед этой героической перспективой я задумал потратить на рабочую тренировку себя, а именно, поработать пару месяцев докером или матросом. Мне уже стукнуло 16 лет, на здоровье не жаловался, к работе по дому был приучен... А в Филях недалеко от Западного порта жил старинный друг отца (еще с киевских времен) Леонид Шейко, работавший в порту кадровиком. Он утверждал, что летом у них часто подрабатывают молодые ребята, так что проблем с приемом на работу у меня не будет.



Действительно, в назначеннное время он меня принял в портовской конторе, сообщил, что грузчиком стать 16-летнему нельзя (работа слишком тяжелая), а вот в плавсостав матросом на лето – можно и выдал бланки для прохождения медкомиссии и еще чего-то. Комисия оказалась городской и далеко не шуточной, так что только через неделю я прошел все мед. и иные кабинеты и вернулся в отдел кадров. Но оказалось, что мой покровитель ушел в отпуск, а его сменщица вдруг заявила,

что без разрешения высшего начальства она зачислить меня, 16-летнего, в плавсостав не может. Еще целую неделю я ходил по кабинетам разных начальников с просьбой о разрешении мне поработать, прежде чем самый высокий из них не припекал окончательно "Отказать!" Трудно передать, что я почувствовал от этого первого мне "отказать".

Сам себе я сказал, что теперь понимаю, как трудно быть безработным и при социализме.

Однако оказалось, что окончательный отказ ещё не конец. Прошла неделя, я, уже примирившийся с поражением, сидел за конспектированием и анализом знаменитого "Краткого курса ВКП(б)" (кстати, это был мой первый диссидентский текст), как в дверь постучала запыхавшаяся сотрудница портовского отдела кадров с вестью, что я должен срочно бежать на работу, потому что все ушли в отпуск, заболели, работать некому, а грузовик со сменой экипажей буксиров на рублевских песчаных карьерах, где работал "Толкач-1" на формовке караванов барж, уже ждет в порту... Домой я вернулся только через сутки... И такая сплошная работа сутки через сутки шла полтора месяца, до конца августа. И без всякого дооформления, хотя зарплату я получал исправно.

До сих пор я благодарен судьбе за свою первую и нужную работу, за эти летние дни и ночи на воде, за усталость, когда едва не валишь в воду с чалкой, засыпая буквально на ходу (дома я едва успевал отоспаться за бессонную рабочую ночь), за чувство гордости, что работал на судне настоящим матросом, за первое знакомство с настоящими работягами и за многое иное...

Но теперь я благодарен судьбе и за тягостные дни у начальственных кабинетов, когда ты есть безработный и просишь, почти вымаливаешь, а тебе работу не дают, хотя и не скрывают, что нуждаются в рабочих. Этот урок навсегда научил меня ценить полученную тобой работу и бояться ее потерять. А испытанная делом «романтика» все же сбила у меня щенячий восторг перед "стройками коммунизма".

В физическом смысле матросская работа для молодого организма не была столь тяжелой и опасной, как, например, погрузка, тем более что возможные опасности можно было предупредить дополнительным инструктажем, проверкой умения хорошо плавать, выделением специальных часов отдыха в ночное время или иным способом снижения первоначальной трудовой нагрузки. Но взамен таких щадящих тонкостей государство предписало кадровикам простой запрет на прием несовершеннолетних – просто потому что так "проще". И к чему приводила такая простота? Порт нуждался в сезонной работе учащейся молодежи (на время летних отпусков) и нередко принимал её, но лишь в крайних случаях и по возможности негласно, как случилось со мной, что на деле было много хуже. Думаю, если бы мой покровитель-кадровик не ушел в отпуск, он под свою ответственность принял бы меня на работу, поставил в график заместителей отпускников и обеспечил бы хотя бы нормальную сменность. Но заменивший его кадровик такой ответственности на себя брать не хотел, отказывая возможно не только мне. Когда же работать стало просто некому, то вспомнили и обо мне, отправив на воду без всякой подготовки и инструктажа, бегом и сразу в полторы смены (а с учетом дороги и дольше), что было еще большим нарушением всех законов о труде и могло на деле привести к несчастью (спросонья я вполне мог попасть в воду между буксиром и баржой). Один раз ЧП со мной все же случилось: на рассвете моя рука в рукавице попала в уже замотанную чалку, я не мог ее выдернуть, но слава богу, удар причаленного буксира был ослаблен, кисть руки тросом сильно придавило, но не перерезало.

Я и сейчас уверен, что в тот раз я столкнулся с необоснованным и вредным ограничением экономической свободы труда. И таких столкновений было в моей жизни немало.

Приложение 1.

"Умирающий Königsberg" (сценарий диафильма)



Наше первое путешествие в Прибалтику в 1969 г. я принял как возвращение на еще не забытую родину. На самом деле оказалось, что я просто ничего не знал ни про Германию, ни по Канту, олицетворяющего дух Кенигсберга. И.Кант – пожалуй, самый значительный немецкий философ конца 17 века. Как я понял, признание пришло в начале 20 века от бывших марксистов, некогда учеников «старика Гегеля», оттолкнувшихся от его изощренной диалектики. Когда прошел бурный и тяжелый революциями 19 век, поклонники революционной диалектики вернулись к более надежным позитивизму и учености Аристотеля и Канта. Именно из Кенигсберга прозвучали замечательные слова И.Канта о двух загадках, которыми вечно будут озабочены все люди, -тайны мироздания в небе над головой и нравственность человеческой души... Под этими загадками мы и живем.

- 1-2.
3. Калининград - бывший Кенигсберг
- 4.
5. Калининградская область
6. г. Советск - бывший Тильзит
- 7.
8. г. Гвардейск - бывший Велау
- 9.
10. г. Зеленоградск - бывший Кранц
- 11.

12. Бывшая Пруссия - самая западная и молодая область России, перескочив Литву и Беларусь, острым клином врезалась между водами Балтики и землями Польши. Здесь все помнят войну, и только ее. Военные названия городов и улиц, воинские могилы и музеи, офицеры на улицах и солдаты на дорогах - воинский дух буквально разлит в западном форпосте России.

13. Но в Калининград мы приехали не для того, чтобы смотреть новые проспекты и красивые мундиры. Любители истории, мы посетили именно старый город Кенигсберг, и смотрели в нем только на старую Германию, страну Канта и Фридриха, Маркса и Бисмарка, Тельмана и Гитлера.

14. Наше естественное любопытство обострилось этим словом - Германия, которое с детства сливалось со страхом - немцы, фашисты. И теперь мы видим ее - Германию. Конечно, это не ФРГ. Мы здесь не слышим отрывистых звуков немецких команд, топота эсесовских сапог. Мы просто не видели здесь ни одного немца. Мало того, даже в том, что осталось от них, в их домах, мы не нашли следов фашизма.

15. Есть только памятники войны, как этот главный форпост Кенигсбергской крепости, подписавший капитуляцию города 10 апреля 1945 г.

16. Глубокие рвы, огромные по толщине кирпичные стены - все производит гнетущее впечатление мрачной силы вражеского гнезда.

18. многие ушли с беженцами к морю, и дрались там день

за днем - "за Родину, за Гитлера". Только 9 мая стихли выстрелы.

19. Мало кто остался в живых из фанатичных защитников этого форта, а если кто и спасся, то живет, наверно, в ФРГ, мечтается в тоске по утерянной земле и, если верить корреспонденту "Правды", снова требует Гитлера:

20. "И что творится кругом? Распустили государство! Нигде нет порядка! Надо ввести трудовую повинность, надо заставить девчонок работать, а не разгуливать по танцулькам... Больше никак нельзя без Гитлера. Ну, хоть на год навести порядок". "Порядка! Вождя! Идеалов! Родина! Бей жидов и всех не наших!" - знакомые лозунги все чаще звучат, да и не только в ФРГ...

21. Кенигсбергский форт берегут только как место капитуляции. Но и сам по себе - это величественный памятник, памятник культуры силы и культуры личности, чувству расового превосходства над "инородцами". Надо сохранять, и это правильно - памятники старой Германии, и рассказывать о ней всю правду.

22. Восточная Пруссия - это приморская страна, ровная и болотистая. 2-4 м над уровнем моря, а частью и ниже. Чтобы защитить эту землю от воды, сделать ее плодородной, нужны были долгие годы упорного труда, постройки множества водоотводных каналов, водокачек, дамб и пр. и пр.

23. Все это сделали вековые усилия прусских крестьян. И многое досталось нынешним русским хозяевам: ухоженная земля, старые сады и чистые леса, густая сеть дорог, обсаженных вековыми деревьями.

24. И сами усадьбы - хутора. Только сохраняй, пользуйся и умножай. Переселенцы так и делают, хотя порой видны зарастающие кустарником поля, или зияющие провалы окон двухэтажных кирпичных фольварков, рядом с которым выросла невзрачная постройка переселенца-колхозника. "Хоть хуже - да свое". Психологию переселенца понять можно - чужая земля давит, и нелегко с ней сродниться, а уж про чужой дом и говорить нечего.

25. Было ли это справедливо, выселять всех немецких крестьян с этих земель, где покоится прах их предков с незапамятных времен? Лишать родины всех жителей

26. городов и побережья? Рыбаков и собирателей янтаря? Железнодорожников и моряков, рабочих и ремесленников? Потенциальных друзей Советского Союза, и даже коммунистов? Этот вопрос смущает всякого, кто слышал о миллионах изгнанников из восточных немецких земель и видел, как трудно русскому переселенцу сделать эту землю родной. Надо ли было соглашаться на льстивое предложение Черчилля о передаче Прусских земель Польше и России?

27. Однако, любой из нас, кто хоть как-то помнит войну, сразу скажет - надо! Немцам плохо, так им и надо! Всем им, и кто маршировал по этим улицам, и кто строил для них дома, и кто их одевал и кормил. За миллионы наших погибших и разоренных. Надо было не то что выселять, а пулеметом подряд всех. Разом. Как они нас!

28. В старину Кенигсберг не считался красивым городом,
29. но нам он понравился.

30. Просторные тенистые улицы, широкие тротуары,

31. заботливо уложенные разносортной брусчаткой и плитами, палисадники с цветами, скверы.

32. Зелень часто поднимается и на дома, скрашивая жесткий рисунок кирпичных стен.

33. Зайти в этот особняк нас попросили его хозяева - переселенцы из Ярославля, чтобы показать шикарный вход, дубовые дверцы шкапов и лепные потолки. "Вот как, нашим так никогда не сделать" - и стало обидно. Вовсе нет! Мы-то видели, что умеют русские мастера.

34. Кенигсбергские дома в основном многоэтажные, но построенные добротно и с любовью. Поэтому так часто на этих внешне неуклюжих и громоздких домах любопытный взгляд находит интересные детали.

35-36.

37. Конечно, Кенигсберг, ровесник Таллина и Риги, мог бы сохранить более древний вид. А, может, он таким и был в центре - сейчас практически полностью расчищенном?

38. Нам же достались только эти кварталы промышленного времени, чтобы составлять представление о городе.

39. И все же это красиво - яркая зелень и красная черепица,

40. скульптуры в парках и у воды, озера и каналы, церкви и башни, мосты и сама Прегель.

41-42.

45. Но, к сожалению, старый Кенигсберг умирает, скорее, не умирает, а погибает, и даже умерщвляется. Медленно, но хладнокровно.

46. Путеводители Калининграда замалчивают старый город, как будто его нет совсем. И не только.

47. путеводители - серые коробки новых домов ставятся так, чтобы с главных улиц не были видны черепичные крыши старых домов.

48. Все больше затягивается Калининград новостройками, и этот естественный процесс не вызывал бы горечи, если б он не сопровождался разрушением древностей.

49. Старые кварталы у каждого города составляют память и гордость, показываются туристам и вписываются в архитектурный ансамбль города. Здесь же они нарочно скрываются, не из-за недостатка жилищ, просто разрушить.

50. Особенно в плохом состоянии Кенигсбергские церкви.

51. Только в некоторых из них располагаются склады или мастерские, которые с грехом пополам поддерживают

52. их жизнь. Другие же разрушаются на глазах, погрязли в обломках кирпича и нечистотах нынешних хозяев города.

53. Почему так? Почему мы здесь не хозяева, а варвары? А может, это невольное выражение стыда за несправедливость поголовного выселения? Ведь как ни называй его, а это

оккупация, захват, и, более того, что гитлеровцы только намеревались осуществить с нами - выселение с родной земли и колонизацию - мы в отместку осуществили с ними на деле.

54. Но пока не ожили эти церкви, пока не освоили русские этот край со всей его культурой и богатством, пока не похоронили на этих кладбищах несколько поколений своих предков, до тех пор не будет здесь России. До тех пор будет здесь жив дух немецкого народа, а эти здания будут смотреть на нас, как оставшиеся здесь немцы.

55. Своими рваными ранами они кричат: "Голос мести имеет свои права в борьбе, и бомбы могут поразить не только солдат, но детей и церкви. Но после войны чувство должно уступить рассудку".

56. Он убеждает нас сурово и печально: "Да, немецкий народ виноват: он подчинился культу личности и дал себя увлечь антисемитизму, а потом и военному психозу. С народами это бывает. Они ошибаются, и потом расплачиваются болью и гибелью своих детей. Но оставлять народ в живых и наказывать его навечно - и тех,

56а. кто не воевал, и детей их, и внуков, и правнуоков? Зачем вы сделали врагами еще не родившихся немцев? Разве вам хочется еще воевать? Зачем вы не убили их всех разом еще в 45 году, как делал это Чингис-хан, вырезая всех до младенцев? Разве вам хочется еще воевать?"

57. Уйдем отсюда, от этих ужасных слов оставшегося немца, настоящего вервольфа. Солдат наш не мог быть другим, чем тот, со спасенным немецким ребенком на руках! И снова глаголет каменный немец: "Тогда не надо было наказывать народ. Отдали бы Восточную Пруссию ГДР, и не было бы проблемы, и храмы были бы целы, и древняя Пруссия жива, и немцы счастливы. Ах, зачем вы послушали эту старую лису Черчилля!"

58. Уйдем отсюда хотя бы внутрь, где не слышен этот голос - оставшегося немца.

Но немец прав! Бестия Черчилль не без умысла подсунул Сталину эти земли, на долгие годы сделав немцев

нашими врагами. То же самое он проделал с японскими островами Итурук и Кунашир.

59. И вот теперь мечта Черчилля осуществляется - снова на окраинах гигантской России выросли реваншистские Германия и Япония. Уже сейчас промышленный потенциал ФРГ и Японии вместе равны промышленности Советского Союза, и все растет. Уже сейчас сотни миллионов китайцев одурманены маоистским коммунизмом не хуже, чем немцы гитлеровским социализмом. Очень скоро ось Берлин-Пекин-Токио станет самой могущественной ударной силой против России - и по людям, и по ракетам. Уже сейчас ФРГ и Япония стали главными торговыми партнерами Китая. Уже сейчас Китай показывает на границе зубы.

60. А потом будет война, конечно, атомная. Потому что для демагогов типа Мао - атомная бомба лишь бумажный тигр. И, умирая в атомном вихре, горше всего будет сознание, что мы сами навлекли на свою страну такую беду. Это ведь при нашей поддержке вырос в Китае Мао Цзе-дун. И мы же вынудили детей двух развитых стран стать антисоветскими реваншистами. Это Сталин отдал антисоветскому демагогу и власть над миллионами, и развитых союзников. Поистине, не было большего злодея у России.

61. В центре города на берегу Прегель лежат останки королевского замка.

62. Когда-то здесь останавливался чешский король во главе немецких рыцарей. И назвали это место королевской город, по-немецки K?nigsberg. Замок сильно разрушен. Когда Чингис-хан сравнивал города с землей, ему было легче, те города не были столь монументальны.

63. Сюда, на замок, экскурсоводы показывают не иначе, как на разбойничье гнездо немецких захватчиков. Наконец-то, оно разрушено. Странное превращение претерпевает история в медовых устах экскурсоводов.

64. Покорение древних пруссов немцами 7 веков назад они живописуют как зверское уничтожение. То же обстоятельство, что немецкие прусаки - это и есть потомки

prusov, принявших только немецкую письменность и язык, но сохранивших свои черты и родину - это, конечно, от наших экскурсоводов благополучно ускользает.

65. Еще год назад здесь высились последняя башня древнего королевского замка. Сейчас и она взорвана.

66. Так есть ли предел варварству? Не обрушится ли небо за наше святотатство? Нет, стоит оно спокойно и много еще выдержит. Что ж это такое? Ведь никакого военного значения эти древние останки не имеют.

67. Это была только память. А ведь даже Чингис-хан останавливался перед памятью умерших врагов. Так что же это такое? Неужели мы в XX веке глупее диких татар? - разрушаем памятники, не вырезав перед этим всех младенцев - будущих мстителей?

68. Здесь много исторических руин, которые планируется "разобрать". Здание первой кенигсбергской гимназии, где училось много немцев, прославивших город. "Здесь будет построено красивое многоэтажное здание" - не без удовольствия сообщает экскурсовод.

69. То же самое говорится и о руинах университета, одного из старейших учебных заведений в Европе. Основан еще в 1544 году, а уже через сто лет здесь было 2000 слушателей, и среди них много литовцев и старопrusов. Сам основатель Альбрехт дал им особые льготы и стипендии.

69а. Здесь печатались первые литовские книги и учились первые литовские писатели. А когда русский царь вообще запретил литовскую печать и слово, Кенигсберг помог выстоять национальной культуре Литвы.

70. А теперь все это должно взлететь на воздух.

71. Главная гордость Кенигсберга - оставленная в живых - кафедральный собор, расположенный на когда-то густо застроенном острове Прегель, напротив замка. Он

72. всего на один век моложе города, и всегда был его главной святыней и душой. И пока стоят стены

73. собора - до тех пор жив старый Кенигсберг.

74. Собор был традиционным местом коронования прусских властителей, сперва герцогов, потом королей и, наконец, императоров Германии. В каком-то смысле отсюда, из древней столицы Пруссии, началось объединение Германии и ее единство.

75-76. Сегодня здесь печаль запустения и обычный Калининградский хлам и запах.

77. "Нам это здание не нужно" - объясняет экскурсовод - однако, архитекторы решили, что оно интересный

78. образец средневековой готики и потому снаружи его сохранят, зато внутри все переделают под современное четырехэтажное здание библиотеки.

79. "Нам не нужны эти стены и эта готика. И вообще, этот храм тоже разбойничье гнездо. Посмотрите только на башенные прорези бойниц" - говорит другой, не замечая собственных противоречий - ведь оборона - это не наступление. Да и он не может не знать, что дофашистский Кенигсберг никогда не начинал первым войны с Россией, а, наоборот, только от нее оборонялся.

80. Неужели у нас так больна совесть, что нужны такие чудовищные фальсификации? Неужели из 7 веков славного города можно вспомнить только одно "светлое пятно" - 4-х летнюю русскую оккупацию Кенигсберга 200 лет назад.

81. Нет, собор нужно сохранить и снаружи, и внутри. Для будущего.

82. В стены собора вмурован прах многих великих и неизвестных нам людей.

83. Здесь убили еще одного немца, и конечно, не фашиста. Глядя на это, мы сгораем от стыда - ведь теперь эта плита стала не только памятником рыцарским временам, но и памятником нашему сегодняшнему варварству.

84. У северной стены собора стоит единственный охраняемый и реставрированный памятник Кенигсберга - могила-часовня Иммануила Канта.

84а. Но портят экскурсоводы и его. Они с восторгом повествуют о том, что Кант прожил здесь всю жизнь, забыл

жениться, переписывался с русскими учеными и при Суворове присягал вместе со всеми жителями русскому царю на верность. Кажется, еще немного, и Кант станет русским. А каким кощунством звучат на могиле великого кенигсбергца рассказы о том, как уничтожают и будут стирать с лица земли его родной город.

85. В Калининграде тяжело оставаться надолго.

86. Отдохнуть от него можно у моря. Маленький уютный городок Зеленоградск у начала Куршской косы не был разрушен, и перестроек здесь не видно.

87. Все осталось, как прежде, и холодное море, и островерхая кирха, и интересные дома бывшего немецкого городка Кранца. Только жить здесь стали русские люди.

88-92.

93. Из любого места города за 5 минут можно дойти до морского пляжа. Все хорошо, но тебя обуревают мысли - трудно избавиться от умирающего Кенигсберга: здесь на берегу четверть века назад умирали в бою немецкие солдаты.

94. Сегодня здесь играют русские дети. Недоброй волей занесены они на этот берег, и кто знает, сколько раз придется им здесь умирать, прежде чем они станут бесспорными хозяевами этой земли. И станут ли вообще? Мы и сейчас связаны сталинским решением.

94а. Даже из могилы Сталин может снова собрать кровавую жатву с нас или с наших детей.

95. Но нет пути назад - Кенигсберг стал Калининградом и пока иному не бывать.

96. Уезжая из Кенигсберга, мы подошли к этому льву, что стоит у входа в перестраиваемую биржу. Мы тогда подумали, что герб на его щите, это герб города, и потому попрощались: "Мы не враги твои Кенигсберг - королевский город. Не умриай, если сможешь. Живи".

Приложение 2.

Письмо Г.Скорикову

Дорогой Геннадий! Обращается к Вам Виктор Сокирко, бывший ученик советской школы в Швейднице 1946-47гг., которого Вы разыскали по интернету и одарили кучей радостной информации о, казалось бы, давно и навсегда ушедшем прошлом.

Но начну я прежде всего с извинения о том, что откликаюсь на Ваше обращение так не сразу, даже поздно. Причины этому две: 1) Я практически неправляюсь даже с электронной почтой, тем более с интернетом, по своей неспособности, 2) мне хотелось быть содержательным и поделиться тем, что имею. Твердо надеюсь, что Вы не исчезнете, и я Вас не потеряю, как это случилось с моим одноклассником в 1970-е годы. Мне кажется, у нас есть много общих интересов не только в прошлом, но и в будущем (даже если отпущенного нам время осталось немного), и Вы сможете не обижаться на мою неспособность к интернету...

Но, конечно, главное чувство, что я хотел бы Вам передать - это радость и благодарность за Ваше сообщение, что и моя щвейдницкая память еще жива и даже вот так действует. О том, что мы все не умираем, а продолжаем жить в общечеловеческой памяти, это абстрактно ясно заранее, априори, но когда я встретился с этой памятью вот так нежданно и наяву, это произвело колосальное впечатление. Да ты живешь и готовишься к неизбежной смерти, но оказывается, что часть твоего детства живет в чужой памяти, а теперь даже в интернете, и составляет часть сайта советской швейдницкой школы в Польше, которая, оказывается, существовала до конца 1980-х годов, а с другой стороны, имеет и давнюю немецкую историю городского лицея, о которой я только сейчас что-то прочитал с благодарностью. Так, благодаря Вам и организаторам сайта, я узнаю, что реально был частью мировой, европейской истории и в таком виде провел всю жизнь в

Советской России. Спасибо Вам за эти известия, за укрепление веры в наше общее бессмертие и безграничность.

Особая, личная благодарность у меня именно к Вам. Без Вас я это и не узнал. Ведь на сайте, как мне увиделось, Вы лишь один представитель того первоначального поколения советской школы, когда Швейдниц еще оставался немецким городом. Я же, годом младше, был, наверное, уже последним, его помнящим. С реальными немцами я практически не общался, а на второй год моей учебы отца перевели в военный поселок под Заганом. Вы уехали в Ригу, и наш общий с вами Швейдниц сразу кончился. Но вот, оказывается, он жив и бессмертен в Ваших воспоминаниях на сайте. И что особенно удивительно и радостно, Вы смогли найти и подружиться с немецкими жителями Швейдница, реально восстановить через себя порванную в конце войны жизненную связь. Для меня - это почти чудо и Ваш подвиг. Огромное спасибо! Как нужно такое восстановление бывшим и нынешним жителям Кенигсберга!

А теперь я хочу сказать то, о чем хотелось бы поделиться с Вами, а возможно, и с организаторами швейдницкого сайта. Ну, начну прежде всего с личного. Большое спасибо за интерес к мыслям на моем сайте (хотя он и организован моим старшим сыном и супругой.) Себя Вы причислили к последователям анархо-синдикализма, что говорит о нашем очень вероятном идеином сходстве и возможном в будущем взаимном интересе к обмену мыслями. Но если сейчас ограничиться нашей общей темой памяти о детстве в послевоенной Германии, то я бы очень просил бы Вас ознакомиться с двумя диафильмами на моем сайте «Воспоминания об умирающем Кенигсберге» и «Высокий замок (Львов)», записанными в годы наших с женой туристских путешествий в 1969 и в 1971 годах. Они много раз показывались на нашей квартире друзьям и считались ими даже удачами. Первый посвящен эмоциям русских в бывшей немецкой земле, а второй записан по воспоминаниям замечательного польского писателя Станислава Лема о своем родном городе, из которого он был выселен точно также, как были выселены немцы из

нашего Швейдница Для меня особенно дороги мысли Лема о неучтожимости памяти о родном городе. Если Вам удастся познакомиться с этими двумя фильмами (для Вас лично, выросшего в Риге, возможно, будут интересны и другие фильмы про Прибалтику, а также про Харьковскую встречу ветеранов штурмового авиаполка (были ли наши отцы однополчанами? - но это особо), то, возможно, Вы сможете рекомендовать их и для организаторов швейдницкого сайта.

И наконец, основная просьба к Вам об ознакомлении с

1)сохранившейся у меня дома фотографией нашего первого класса. В середине верхнего ряда наша учительница Лидия Ивановна. Крайний слева этого ряда - я, Виктор Сокирко. К сожалению, никого по имени и фамилии из остальных 18 учеников и учениц я не помню. Может быть, если это фото появится на сайте школы, эти фамилии проявятся из забвения.

2) Наряду с привезенными из Германии вещами в нашей семье всю жизнь хранились почтовые открытки в двух альбомах, подобранные в свое время из чьих-то немецких квартир, Как именно и почему их подобрал из разора мой отец, я не знаю - наверное, в качестве игрушки для малолетнего сына, как набор красивых открыток, примерно также, как были подобраны и уехали потом в Москву две копии (литографии) картин за стеклом в резных рамках. На деле же на этих картинах и открытках вырос не только я, но и мои дети. И хотя до сих пор я не знаю, что было написано на них, но всегда догадывался, что в них голоса и взгляды немцев и что они - красивы и даже прекрасны - вопреки страшным словам про фашизм и Гитлера. Кстати, упоминания о последних мы просто уничтожали - соскабливали свастики с ложек или альбомов, сдирали или чернили марки с Гитлером на открытках. При этом куда-то постепенно исчезли чернобелые открытки с военными парадами или видами рейхстага в Берлине, зато остались цветы поздравительных букетов, виды замков, дворцов, гор или побережья. Они сосредоточились в одном альбоме некого предвоенного немца, хранившего виды Германии 20-30-х годов, который и живет в моей семье в таком качестве последние

половина века, как главная память о нашей первой и прекрасной Германии. Именно этот отсканированный альбом мне и хотелось бы переслать вам и организаторам швейндницкого сайта. В качестве приложения к уже прочитанными Вами воспоминаниями о моей Германии, надеюсь, этот альбом станет доступным для всех желающих ее воскрешения.

Содержание альбома почтовых открыток немецкого бюргера Хермана Прассе из Бад Зальцбронна, найденного в немецком г. Швейндниц и присвоенного на половину семьей московского школьника В. Сокирко и воспитавшего его.

Большинство почтовых открыток адресовано господину Херману Прассе т фрейлян Ирме Прассе в городе Бад Зальцбронн по улице Интер Наупт Штрассе, 39 (Hermann Prasse in Bad Salzbrunner. Unter Haupt Strasse, 39) или ул. Зиедлунг, 19 (Siedlung 19), сохранившиеся немногие марки - президента немецкого государства (Deutches Reich) Гиндербурга (по памяти были марки с Гитлером, но они были мною же отодраны или густозакрашены чернилами. Некоторые открытки имеют штемпель «Борьбы с голодом и холодом» или «Используйте воздушную почту»). Первой обозначена лицевая сторона открытки, после дефиса - оборотная.

1. Картина «Золотая уличка» Праги 1897г. Ф. Енгельмюллера.
2. Застолье На день рождения из Б. Мариендорф.
3. Целующаяся парочка туристов (высокий и низенькая) с надписью над ними «Привет из поездки в горы» - отправлено из Брюкенберга 11.04. 39г.
4. Ваза с розами и синими цветами с сердечным пожеланием счастья к дню рождения (пустая).
5. Вид на Мариенфрид с рекой в горах, отправлена 12.08.26г.
6. Озеро в горах, на штемпеле отправки – Миллштадт.
7. Букет тюльпанов ко дню рождения из Берлина 31.12.34г. 216.
8. Корзина с розами - 1.01.31г. из Зальцброннера.
9. Корзина с незабудками 13.08.28г. из Берлина.
10. Вид городка Вайсен Фетц 10.04.27.г. из Вайсен Фетца.

11. Поздравительная корзина с гвоздиками и ромашками.
12. Поздравление с Пасхой (курица, цыпленок и вербочка).
13. Пасхальная открытка лампой, яйцами и цыплятами послание «Желаю Вам всего. Марта!» Штемпель «Используйте воздушную почту».
14. Поздравление с днем рождения (мальчик с цветами и щенками с открыткой) отправлено из Берлина 22.08.25г.
15. Пасхальная открытка с кроликом и яйцами.
16. Рекламная открытка представителя «Нигрин-Екстра» в цилиндре, на ходулях, с зонтиком и лестницей на площади, в окружении детей и обывателей.
17. Замок Отмус отправлена из Бреслау.
18. Детская открытка с мальчиком, девочкой и щенком под елкой и с пожеланием хорошего нового года.
19. Новогодняя открытка с картинкой оленей в горах.
20. Замок в Загане отправлена из Загана другому адресату.
21. розы в фужере(не скан)- фрау Ирме Прассе из Берлина , авг.1933г. (есть фашистский знак).
22. Селение Heidebrunel письмо от 26.08.32г.
23. Женский остров письмо от 31.03.31г.
24. Стол с тортом и розами (пустая).
25. Innsbruck vom Berg Isel из Инсбрука в Берлин-Моabit.
26. Schwarzensteinhutte письмо в Берлин.
27. Konstans a. B.Hafenpartie письмо в Шварцвальд.
28. китайская открытка (пустая).
29. Хижина в Доломитах на высоте 2255 м. (пустая).
30. Фиолетовая хижина в Розенгартен-Доломиты (пустая).
31. Achensee Furstenhaus 257 письмо.
32. Schloss Linderhof письмо.
33. Kalkberge письмо 5.4.37г. из Берлина.
34. Bad Salzbrunn письмо 13.11.35г.
35. Dunen-Parrien письмо 10.7.13г.

36. Olimpia 268.
37. Bad Ziegenhals письмо 18.9.11г.
38. Grafenberg письмо.
39. Панарама дюн (пустая).
40. Девочка с мандолиной и видами городов.
41. Lomnitz письмо.
42. Вид на сад письмо 22.8.39г.
43. Bad Salzbrunn -письмо стерлось.
44. Viel Gluck...(пустая).
45. Blumengarten письмо 17.2.14г.
46. Общий вид от Штайнаха на ледник (без письма).
47. Waldheim – письмо.
48. Вокруг Крамерзее письмо 20.4.36г.
49. Розы ко дню рождения 31.12.34г.
50. Annaberg привет от 24.9.21г.
51. Eisenach (пустая).
52. Suomi (пустая).
53. Seits(1002) (пустая).
54. Sassnitz письмо 18.7.37г.
55. Картина старого охотника с собакой из Цигельхалса 22.9.16г.
56. 303-304. Майские жуки на ветке березы - письмо из Бреслау.
57. 305-306. Ваза с нарциссами (ч/б)- письмо из Швейдница.
58. 307-308 Ваза с розами ко дню рождения - Ирме Прассе.
59. 309-310, Ваза с нарциссами - письмо в Грюнберг Прассен.
60. 311-312.Южный Тироль. Бозен-Грис с Розен-гартен.
61. Карандашом.
62. 313-314.Парусник на вечернем море-письмо фрау Ирме Коммер 11.03.17г.
63. 315. Три котенка на тахте-письмо с оборота заклеено.

Приложение 3.

Жизнь и стихи Миколы Сокирко (1923-1943гг.)

Рассказ об одной украинской судьбе

Объяснения составителя.

Летом 1977 года мы осуществили свое давнее желание: привезли детей на Украину, как говорится, на их историческую Родину. Село Шевченково Черкасской области, где родились и жили их деды и прадеды, на мой взгляд - одно из самых типичных и исконных украинских сел. Земля первых казацких гетманов, народных восстаний, Богдана Хмельницкого, родина Тараса Шевченко, сегодня она спешно входит в цивилизацию, наконец-то меняя белые мазанки и соломенные крыши на кирпичные стены под шифером с телевизионной антенной. А рядом - гараж для личного автомобиля, коровник, птичник, сарай, кухня, газ, электричество, городская мебель, одежда и т.д. и т.п. Богатство! И слава Богу!

Однако этот материальный рост не оторван от духовной почвы. В селе сохраняется память о тяжелом прошлом. Ее хранят старшие поколения. И это добрый знак, что ошибки прошлого не повторятся. Конечно, прочность будущего материального благосостояния зависит, прежде всего, от духовного фундамента будущих хозяев, современной молодежи. Я почти не знаком с современной украинской молодежью и плохо представляю себе, способна ли она усваивать память и уроки прошлого. Первые впечатления, к сожалению, не внушают большого оптимизма. Но это особая тема, здесь же я намерен только выполнить свой собственный долг и сохранить доставшуюся мне в наследство долю памяти украинского народа. Замысел этой работы оформился именно летом 1977 года.

Читая детские стихи и рассказы моего двоюродного дяди Миколы Сокирко, невольно вспоминаешь известную фразу о том, что в России самиздат существовал и не прерывался

никогда, даже в самые тяжелые и мрачные годы. А разве можно придумать что-либо тяжелее 30-х годов на Украине?

Я далек от мысли придавать хоть какое-либо общее литературное значение этим стихам, но невозможно пройти мимо них, как прямого и чистого, без грамма лжи, свидетельства о чувствах и мыслях украинских мальчиков предвоенной поры, об источниках и живучести украинской "самостийной" мечты. Поэтому я буду приводить здесь не все сохранившиеся стихи, а только те из них, которые раскрывают облик эпохи и развитие автора. Главное же внимание будет уделено рассказу о его жизни. И начинать этот рассказ придется с прародителей.

Происхождение

Дед Коли Сокирко и мой прадед - Иван Сокирко - по рассказам, был истинным деревенским пролетарием: земли почти не имел, да и не хотел иметь, а что зарабатывал рытьем колодцев и прочими случайными заработками, то шло на содержание детей и на пропитие. Честно говоря, такой тип "легкого и безответственного" мужика никогда не был в деревне почетным, и это понятно и правильно. Когда же он вошел в силу (после революции), то результаты от хозяйствичанья деревенских пролетариев получились ужасающие. Правда, Ивану Сокирко не пришлось побывать в победителях, и от его характера страдала лишь собственная семья: жена Марта и дети Иван, Клим, Данила, Василиса и Груня (это только те, кто дожил до собственных детей). Дети были вынуждены искать в жизни себе дорогу самостоятельно. Средний сын Клим (мой дед), пошел в ученичество к портному, младший Данило выучился на сапожника, дочери до замужества кухарили и стирали, и только старший сын Иван осел наследником в отцовской хате (мой прадед Иван рано умер).

Впрочем, трудное детство и отсутствие надежд на родительскую помощь только закалили волю и характер этих людей, их трудолюбие и жажду к учебе. Клим и Данило пожили в городе, стали, по деревенским понятиям, образованными

людьми и женились на образованных девушках, т.е. "выбились в люди", чуть ли не в господа.

До революции классный сапожник Данило Иванович Сокирко прочно обосновался в Киеве. Здесь он познакомился с веселой горничной Оленькой и женился на ней, дав мать своим будущим детям: Виктору (1916г.), Сергею (1918г.), Дмитрию (1921г.), Николаю (1923г.) и Василию (1924г.). Улыбчивой и ласковой старушкой я помню Ольгу Павловну в ее последние годы. От нее я и получил в наследство "зощиты" (тетрадки) пропавшего сына Коли. До последних лет жизни она верила, что Коля не погиб в Германии, а остался там в эмиграции, жив и скоро даст о себе знать...

Революцию все Ивановы сыновья приняли с восторгом: свобода, бегство издревле проклинаемых помещиков, дележ земли и разорение дворянского имущества, надежды на украинскую вольность и независимость - осуществлялись все давние, многовековые чаяния этих мест. И даже ужасы гражданской войны не погасили революционных чаяний. Дети Ивана снова вернулись на землю. Данило навсегда расстался со своим высшим сапожным мастерством и из голодного Киева переехал в родное Шевченково (тогда Кирилловку), в родную хату к еще живой матери и семье брата Ивана. Для него и для вернувшегося из немецкого плена портного Клима революция на деле привела к сильному снижению жизненного уровня, но они упрямо продолжали верить в "светлое будущее". ("Пройдут временные трудности, и наступит долгожданная свобода и довольство").

А пока приходилось прочно забыть дореволюционные блестящие заказы и сытные хлеба, и в голодные годы гражданской войны и разрухи зарабатывать кусок хлеба тяжким землеробческим трудом. В 1923 году заболел тифом и вскорости умер Клим, а чуть позднее слег и Данило. От воспаления легких он оправился, но с начавшимся затем туберкулезом справиться так и не смог. В самые страшные, самые голодные 33-34 годы - он умер, так и не увидев "построенного социализма". Так, для двух видных Ивановых сыновей с лихвой хватило и процесса

"социалистического строительства". Пережить и изжить сполна утопические мечтания отцов довелось их детям.

Все сыновья Клима и Данилы были истовыми комсомольцами. Сын Клима (мой отец) во время коллективизации был даже комсомольским секретарем в селе. Не отставали и сыновья Данилы. Его первенец Виктор, в честь которого я получил свое имя, стал впоследствии офицером и погиб в войну под Волховом. Сергей долго служил в армии и только после войны осел на шевченковскую землю сельским шофером. Дмитрий стал офицером КГБ и подавлял националистическое движение в Литве и Латвии. Не отставали от старших братьев и младшие Коля и Вася. Правда, последние погибли на пороге своей взрослой жизни, и потому нельзя точно предсказать, какая бы у них сложилась последующая жизнь. Но по Колиным стихам можно догадаться, что ничего хорошего сталинская послевоенная Россия ему не обещала.

Во всяком случае, ни один из выживших братьев не сохранил и не передал своим детям полновесной веры. Я сам - тому наглядный пример. От отца я не слышал ничего, кроме осторожного молчания, а позже, в пору моей взрослости, - недоуменных вопросов...

Детство

В 1926 году Данила Иванович вместе с семьей переехал из родной хаты в Шевченкове, от ссор с братом Иваном и его семьей - на новые земли образовавшегося после раздела панской экономии хутора Юркова. Переселенцы наделялись землей, а остальное их благосостояние - дом и достаток - зависели только от их собственных рабочих рук.

Здесь, в Юрково, и рос Коля Сокирко. Здесь он и поступил в Юрчансскую начальную, а потом в неполную среднюю школу, в Боровиково. С раннего детства Коля был болезненным и замкнутым мальчиком. Наверное, это и определило его пристрастие к книгам, размышлениям, стихам. Правда, учился он посредственно, вкладывая свои силы в самостоятельное чтение. Да и немного у него было сил. Скоро

он заболел серьезно желтухой и вынужден был пропустить целый учебный сезон.

На следующий год Коля начал учиться вместе со своим младшим братом Васей и будущими друзьями по литературным увлечениям - Витей Шевченко, Петром Беленко, Васей Голубом. Эта четверка и составила авторский коллектив самодеятельного детского рукописного журнала "Кружок", издававшегося в Боровичанской семилетке почти три года (1936-1938 годы). Всего вышло около 12 выпусков (тетрадок) "Кружка". Значит, это был ежеквартальный альманах. Составителем, издателем (т.е. переписчиком), художником-иллюстратором и главным автором "Кружка" был Коля Сокирко.

Сам я не видел ни одного из этих выпусков, но об их содержании можно судить по рассказам одного из оставшихся в живых читателей "Кружка". ("Содержание, конечно, чисто детское: лирика, сатира, эпиграммы, шутки, шарады... Но главное - это высмеивание школьных подлиз, подхалимов, хулиганов и прочих отрицательных с нашей тогдашней точки зрения личностей...") - и по произведениям главного редактора М.Сокирко.

Детское творчество.1936 год

Я не считаю себя способным на стихотворный перевод, поэтому буду больше стараться о передаче смысла, нежели о сохранении ритма, иногда буду сохранять понятные украинские слова. Но, прежде чем переводить Колины стихи и прозу, мне хочется еще раз напомнить главную хронику того времени:

Прошли годы преступного раскулачивания и принудительной коллективизации. В одном Шевченково разорили и выслали до сотни крепких крестьянских семей.

После слома одной церкви разорили вторую, последнюю. Я сам слышал рассказы отца о том, как всю церковную утварь, иконы, книги жгли в огромной яме. Потом вывезли подчистую хлеб, тщательно обыскивая каждую хату,

каждый сарай, и вызвали страшный, небывалый голод по всей Украине. В этот голод умерли баба Марта и Колин отец Данила.

Те, кто выжил, последующие 35-37 годы, когда можно было хоть впроголодь, но жить, не опухая, не умирая, воспринимали почти как счастье.

1. Широкою долиною

Наше село лежит.

Лозы верб и калины

Зеленой кущею слились.

Стоят старенькие хатки.

Около хаток - огороды,

А под ними и садами

Чернеют речки воды.

И еще: 2. Весна (1936 г.)

Лесами и полями ветер шумит,

А в ярах-канавах вода звенит,

Бежит-шумит, в ставок все тащит. (Ставок - пруд -В.С.)

А в ставку вода Klokochet

И плотину прорвать хочет,

И ребята на быстринах

Водят лодки-корабли...

Прошла неделя. Стало сухо. Пташки летают.

И хлопята на выгоне с мячом гуляют...

Очень немногое из ранних "творений" Коли Сокирко можно отнести к чистой лирике или фантазиям, навеянным чтением книг (так, большое стихотворение "В тундре" - прямой отклик мальчишеского воображения на школьный курс географии). Главный же интерес Коли вызывала окружающая жизнь, т.е. тяжкий труд отцов и братьев.

3. Молотьба (Июль 1936 год)

Не сошла еще заря,
В поле люди уж собрались,
Не гулять, а работать,
Всю пшеницу смолотить
Непрестанно и неустанно
Гудит молотилка
И зерно в комору льется
Возами быстренько.
Все работают, трудятся,
Пот всех обливает
Да ничего тут не изменишь:
Хлеб не ждет!...
И с самого утра молотилка
Ревет и гудит.
Лишь поздним вечером
Люд утомленный есть идет

Для пятиклассника Коли это не просто бытовая зарисовка сельского труда. Это и выражение сочувствия к утомленным людям, и вместе с тем подспудный призыв к действенной помощи. Тем же годом помечено и стихотворение

4. Селянские пионеры:

По полям и лесам ветры гуляют,
Деревенские пионеры удобренья собирают.
За высокий урожай старики и молодые боятся
Но такие есть еще люди, что за это плохо берутся.
И над нами притом сильно смеются.
Но если кто посмеет нашей работе мешать,
То мы будем таких хлопцев под три черта гнать.
А мы будем за высокий урожай со всеми вместе биться,
Чтоб зажиточными стать

И по-большевицки
Дружно работать.

Заключительный призыв "стать зажиточным" и "работать по-большевистски", по-видимому, принадлежит к расходным газетным штампам того времени. Но, включенные в стихи Коли, они дышат искренней верой. Так думал и верил не один он, и чем моложе - тем искреннее. Вера отцов, утверждаемая вездесущей монопольной пропагандой, беспрепятственно вливалась в молодые души и побуждала их к действию во имя свое. Но чем быстрее растущий человек приступал к этим действиям, тем быстрее "вера отцов" приходила в столкновение с правдой жизни. Зоя Космодемьянская и ее подруги-десятиклассницы с этой детской верой грудью шли на врага в 41-м году, а вот у украинского школьника Миколы Сокирко таким настроением отмечены лишь стихи 5-го класса, не старше.

5. На буряках (сахарной свекле-В.С.) (1936 г.)

Вышли рано колхозники буряки прорывать,
А за ними пионеры - вредителей собирать.
...А то женщины долгоносиков ловить не успевают...

Сами стихи для Коли были орудием борьбы за идею совместной работы, помохи взрослым. Отсюда такое название:

6. Срывщик. (1936 г.)

Павлик Павло свои законы устанавливает,
Полевыми сборами он себя не утруждает.
Всю работу он срывает и с гороха убегает
... А еще газеты рвет. Если спросят: "Куда дел?"
Он ответит: "Я их съел".
Нужно, хлопцы, не зевать и примерно наказать,
Чтоб работы не срывал и газет не поедал.

Читая это "творение", поражаешься, насколько тонкой и трудно различимой гранью отделяется оно от простого доноса

на этого Павло, который стремится убежать от принудительной работы и уничтожает обрыдшие ему "большевистские газеты", и тому - как просто первому мальчишескому идеализму впасть в страшный грех доносительства. Ведь знаменитый "отцеубийца" Павлик Морозов тоже был страстным большевистским верующим.

Однако большинство молодежи эту грань не перешагивает - таки. Разочарование в пропагандируемых идеалах наступает скорее, чем человек оказывается втянутым в доносительство и сотрудничество с "органами". Не перешел ее и Коля Сокирко.

Даже в истории с этим самым Павликом Павло под покровом возмущения срывом "большевистской работы" зрело возмущение против пионерского начальства. Оказывается, что Павлик Павло был председателем отряда юрковских пионеров и завел свои порядки: заставлял носить ему хлеб и сало.

7. Председатель отряда (1936г.)

Как кто хлеба ему принесет,
Того ударником он назовет,
Хоть и дурень он, баран,
Лишь бы сала кусок дал -
В миг примерным "учеником" стал...
...А как правду кто ему скажет -
Кулака тому покажет
И старается избить.
...Нужно, хлопцы, нам не спать,
С председателей его снять.

На первый взгляд, эти два стихотворения совершенно одинаковы и направлены против одного человека. Однако как раз между ними и лежит та грань, отделяющая будущего доносчика от будущего "самостийца" и "диссидента".

Первые действия Коли Сокирко во имя большевистских лозунгов привели его в столкновение с неприглядной изнанкой пока еще не партийной, а пионерской власти.

Если бы Коля смирился с этим фактом, посчитал бы его лишь случайностью по сравнению с общей светлой картиной и продолжал бы свои призывы лишь к дружной работе, то перед ним бы открылся путь сотрудничества и приспособления (путь рабской службы и успеха). Но раз он начал борьбу с реальной изнанкой власти, нарушающей "идеалы", то дальше перед ним будет открываться перспектива борьбы со все более высокими инстанциями власти, ибо каждая из них имеет свою неприглядную изнанку (и это будет путем свободы).

В конечном счете, Микола Сокирко выбрал второй путь. Об этом свидетельствуют как стихи последующих лет, так и подспудное содержание таких его сатирических сказок, как "Сова" или "Осел и козел" (наверное, здесь Коля переложил по-своему какие-то книжные или народные сказки). В последней из них царем зверей вместо льва выбирают Осла, у которого Козел не может потом найти ни помощи ("земельки"), ни правды. Не находит он правды и у жадного ослиного чиновника Кабана. В конце концов Козел не выдерживает и, объединившись с Зайцем и Барсуком, идет на Кабана войной:

Тебя мы к чорту прогоним,
И хлеб весь общий заберем.
Пусть каждый это хорошо попомнит,
Что меж людьми такое же бывает,
И нечего на Кабанов дивиться,
А нужно против них бороться.

Однако надо признать, что выступление против зазнавшегося председателя Павло не было у Коли случайным и неожиданным. Среди стихов 36 года многие посвящены высмеиванию и разоблачению местных хулиганов, грубой силой заставлявших других ребят подчиняться, носить им еду и т.д. "Ванюша", эпиграмма на Романа, "Хулиганы", "Велетень", "Песня про вельможу-Паскудну Рожу", "Два хлопчика" - про пособников у хулиганского атамана Ковтуна и т.п.

9. Чумак Гриша и Ковтун Ваня –

То большие хулиганы.

Где ни ходят, там нашкодят...

Вспоминая собственное детство и всю жестокость мальчишеских отношений, я понимаю, что в эти нежные годы на физически слабых ребят страх и ужас наводит не далекая от них взрослая власть, а собственные громилы - хулиганы.

Конечно, все эти "Ковтуны", "Романы" и пр. не имели никакого отношения к Большой Власти. Из них вырастали потом обычные подданные, а чаще - уголовники, но в свои детские годы они царствуют подобно своим будущим взрослым "начальникам" - силой и угрозой. И у обычных мальчишек и девчонок уже в их малые годы открывается выбор: подчиниться власти Громил, стать их подручными "шестерками" и "подпивалами", или отделиться, выступить против них, даже невзирая на свою физическую слабость.

Характерно, что выбравшие первый путь, повзрослев, просто меняют своих хозяев с хулиганских на партийных, а вторые, избрав путь достоинства и свободы еще в первые мальчишеские годы, обычно не могут ужиться и с Большой Властью.

...Рассказ "Хулиган" записан в отдельной ученической тетрадке и помечен 1937 годом, но содержание его перекликается со стихами предыдущего года. Я привожу этот рассказ (в своем переводе и пересказе) почти полностью как для характеристики Колиной "прозы", так и для характеристики процесса самовоспитания людей той эпохи. Думаю, что этот бесхитростный рассказ окажется полезным для тех, кто пытается понять истоки психологического состояния нашего старшего поколения.

Хулиган

В крайнем переулке хутора жил кузнец Микита. У него был сын Иван. Этот Иван был большим забиякой, и потому его на хуторе прозвали "петухом", и это новое прозвище затмило все прежние имена. Забиякой он был везде: и в школе, и на поле, и дома. На поле между малыми пастухами он был самым старшим. Всегда бил детей за дело и не за дело. Когда идет селом, то в курей и свиней лупит камнями. Побачит порося и тут же его камнем в лоб - цок! И как попадает, то задается: "Я - ворошиловский стрелок!"

Баловался и в школе. Не раз его выгоняли из класса за хулиганство: там окно разбил, там хлопцу нос расквасил, там чужую курицу пришиб. Задирался он и со взрослыми хлопцами, но те его трохи осадили и он ходил прибитый и в синяках. Да еще получил от батьки прочуханки. Однако и это его не проняло. Он продолжал хулиганить и курить. Все малые дети имели на него злость. Они не могли поколотить его руками, и потому били его песнями. Вот песенка, которую сложили дети про него:

10. Есть у нас хлопец-хулиган,

По прозванию Ковтун Иван.

... В пиджаку большие карманы,

А в карманах каменюги...

Один раз учитель вышел из класса. Иван тут же пошел сверху по партам. Полетели на пол тетради и книжки. Чернильница Макара упала и разбилась. Макар поднял крик так, что учитель вновь вошел в класс. Но Иван успел вернуться на свое место.

На вопрос учителя Макар сказал, что Ковтун Иван бегал по партам и разлил его чернила. - "Ты чего бегал? - спросил учитель Ивана, "Да разве я бегал? Он сам, то он сам перекинул чернила, сам перекинул и на другого сворачивает" - отбрехивался Иван. Макар стал перечить ему и доказывать, что все это сделал Ковтун. Учитель добре вылаял Ивана и сказал,

что скажет батьке, как он ведет себя в классе. Ивана взяла злость на Макара и он сварился с ним всю лекцию.

Прозвенел звонок. Все дети выбежали на двор за школу. Иван подошел к Макару, взял его за грудки и начал вчинять допрос: "Ты чего, Машкаль, гавкал на лекции? Какое твое дело, что я бегал по партам?" Испуганный Макар начал огрызаться: "А что, разве нельзя сказать правды!" - "Цыть, я буду говорить, что можно" - "Ну, скажи, не больно я боюсь". - "Ну, так я тебя испугаю" - сказал Иван и ударил Макара по зубам. Макар залился слезами: "Петух ты, кукарека. Вот подожди, батька тебе даст. Будет бить, собыет петушиную голову". Иван кинулся на Макара, свалил его на землю и начал его толкти кулаками. Макар дрыгался и кричал изо всех сил, но ничего не помогало. Иван долго месил Макара, пока учитель их не разогнал.

С того дня Ивана выгнали из школы. Но домой Иван не пошел. Он нашел здоровую палку и сел под мостком. Сидел там, пока ученики не вышли из школы. Как только дети взошли на мосток, из-под него выскоцил Иван с палкою. Он схватил Макара за груди и завалил на землю. Вновь началась бойня. Макар по-старому дрыгался, а Иван бил его кулаками в грудь, по голове. Он бил и приказывал: "Вот тебе за то, что заявил! Да смотри - вот тебе, на! на! Ну, что, заявил - легче стало? Вот тебе, на!" Так Иван бил Макара и приговаривал.

Дорогой шел человек и разогнал хлопцев. Тогда Иван и Макар пошли дальше. За ними шел гурт детей. Они дивились на эту пару, как на диво. Макар шел и плакал, а Иван держал его за плечи - чтобы ненароком не убежал.

- "Пойдем дальше - приказал Иван, - я тебе еще дам!"
- Ничего не дашь! Вот я скажу отцу, он тебя раздавит.
- Кто? Твой батька? Этот кистяк? Да наш батька как его схватит, так у него кости посыпятся..."

- Не посыпятся, с твоего отца быстрее посыпятся...

И Макар рванулся из Ивановых рук и тикать. Иван пустился догонять. Но Макар на этот раз бежал дюже прытко, как заяц от хоря. Он бежал и ничего впереди не видел, не почувял

даже, когда ногу себе пробил. Только дома досмотрелся, что нога в крови.

Когда Иван пришел домой, батька дал ему прочуханцы. А на другой день снова послал его в школу, наказав, что если не примут, то домой не возвращайся. Ивана оставили в школе с условием, что если еще раз нарушит дисциплину в школе, то выгонят тогда навсегда. Но это его не испугало.

Идя из школы, Иван пустился догонять Макара. Макар кинулся тикать через грядки и заборы. Но, выбежав с огородов, Макар оглянулся и увидел Ивана рядом с собой. Тикать уже не было куда, и он стал просить Ивана помиловать его: "Подожди, Иване, не бей меня, не трогай, я завтра принесу тебе пачку табаку. Увидишь, принесу, а еще, может, кусок сала украду у матери".

- "Брешешь" - не поверил Иван. "Нет, не брешу, гром меня разрази! Еще папироc принесу, вот увидишь, не брешу". - "Ну, гляди, чтоб принес - сказал Иван. - Не принесешь, обязательно отступлю, и на печи не спрячешься!"

Дети, которые были близко около них, все это видели и слышали. Макаровым просьбам все смеялись, а потом и стишок сложили:

11. Ковтун Макара догоняет,
А Макар ему обещает:
"Подожди, ты, мой Ванюша,
Завтра будет табаку куча,
Табаку, да еще и сала...
Что мать в скрыне спрятала".

На другой день Макар принес Ивану табаку и сала. А вечером украл у матери яиц и понес до лавки. За выторгованные гроши он купил пачку папироc и поделился ими пополам с Иваном. Так Иван и Макар подружились. Макар носил Ивану табак и папиросы, а Иван оборонял Макара от других хлопцев.

Второй раздел рассказа про хулиганствующего Ивана посвящен его следующему "подвигу" - поджогу травы в

посадках, что едва не привело к лесному пожару. Здесь интересно описание методов отцовского воспитания...

Тем же вечером Ивану от батьки пришлось получить доброй взбучки, так, что на следующий день он и пасти не смог. Выгнал корову только на третий день. Бил батька Ивана при детях, чтобы еще больше дать ему позору. Я, правда, не видел, но дети говорили, что аж качалку перебил батька на Ивановой спине. Как хлопнул ею по спине, так качалка на два куска переломилась.

Теперь, когда Иван выгоняет пасти или выходит на улицу, дети дразнят его "разбитой качалкой" или так: "Ну что, добре батька лупцевал тебя? Сколько качалок перебил, штук пять, да? Будешь знать, как палить посадки".

После этого случая Иван немного притих. Меньше цеплялся до детей, курей и свиней тоже не трогал. Да не надолго притих. И снова стал "робить тэ чого не можна". Корову пас со шкодой, лишь бы быстрее напасти, в буряках или в огородах. За это батька его не бил, а мать еще по голове гладила за такую работу. Пас в лесу, разорял птичьи гнезда. А один раз Иван сидел на дороге с хлопцами около леса. Дорога была узкой, еле разминуться двумя возами. На дороге показалась автомашина. Иван скомандовал хлопцам остановить машину, но никто не хотел ничего такого делать. Тогда Иван сам вытянул на дорогу борону зубьями вверх и засыпал ее земляным сором, чтоб шофер не заметил. Машина приближалась. Подняв большую пыль, Иван с хлопцами утик в лес и спрятались за кустами. Однако шофер заметил, что пастухи что-то устроили на дороге и остановил машину. Принял борону с дороги, выляял пастухов и поехал дальше.

Так Ивану не удалось испортить автомобиля. Не раз Иван останавливал автомашины на дороге - то бревнами, то хламом на дороге. Кроме хулиганства, Иван еще очень любил брехать. Он был "брехливым боягузом", который хочет показать себя смелейшим среди пастухов, а сам боялся быть один в лесу. А когда приходилось-таки быть в лесу одному, то возвращался

он с новыми историями: то бачил баду в лесу, то убитого человека, то иные страшные истории...

...(Дальше следуют длинные Ивановы истории об увиденных лесных разбойниках, о погонях и собственных подвигах, и как трудно заставить его сознаться в брехне, а кончается рассказ так:

Богато Иван еще робил шкоды и брехал пастухам. Да не хочется мне уже про то писать, ибо все дюже погано выходит.

Наиболее интересной частью этого рассказа, как мне кажется, является процесс покорения Макара, приведения его к покорности, к рабскому состоянию. Вот с этой ребячьей стычки Макар становится рабом по психологии. И, возможно, останется таким навсегда. Кто же виноват в раннем убийстве Макаровой свободной души? Иван-хулиган? - Но таких бугаев-забияк хватает среди детей любого народа, однако этот факт не подрывает их душевного здоровья. Сам Макар? - Но он сопротивлялся изо всех сил и сдался только после того, как террор стал невыносимым. У него просто не хватило сил. А ребят, которые способны выдержать беспрерывные побои и не ломаться душевно, не так уж и много. На мой взгляд, виноваты в Макаровой беде все остальные дети, те самые, которые гуртом шли за дерущимися и не заступились за избиваемого.

Не было таких правил, чтоб заступиться за малого и слабейшего, нет у них кодекса чести, нет традиций достойного и независимого общения. Неоткуда им перенять эти правила. Родители показывают только пример голой силы. Как медведь в басне, не гнут, а ломают души своих детей, как ломали им самым раньше деды. Культ голой силы - вот что воспитывало наше старшее поколение и вот что сделало их такими, какие они есть.

Отчество. 1937-38 годы.

Стихи 1937 года аккуратно переписаны Колей в отдельный блокнот, из которого выдрано лишь два средних листа, и представляют одно лирическое целое.

В отличие от 36-го года, лирика - основное их настроение. Правда, есть исключение. Стихи начинаются январскими датами 1937 года и кончаются большим итоговым стихотворением "Зимой", написанным в марте 1938 года. Детские описания времен года - весны, лета, зимы, летних и зимних развлечений, пастушества и т.д. во многом перекликаются с предыдущим годом, и потому я ограничусь в основном их кратким пересказом.

Откуда же такая смена настроения? Конечно, материальную основу для лирики составило отсутствие голодовки в этом году. Но главная причина, конечно, состоит в возрастных изменениях - Коля перешел в 6-й класс и начал осознавать ценность своего поэтического призыва. Уже само появление стихотворения под названием "Пушкин" в этом сборнике, говорит об интересе к поэзии, самой по себе.

Стихотворение наполнено дичайшими школьными штампами, вроде того, что Пушкина убил царский палач Дантеевой рукой за то, что он "любил свободу и смеялся над царями" и что "царское правительство испугалось толпы народа" и потому скончало Пушкина тайком вне Петербурга и т.д. Право, в этих домыслах Коля не виноват. Гораздо важнее, что он выделил в Пушкине для себя три основные черты: любовь к свободе, правдивость и умение "прекрасно писать". Наверное, в оценке Пушкина на первое место следовало бы поставить последнее из перечисленных свойств. Но у Коли была тогда своя шкала ценностей, даже в тот, наиболее лирический период.

"Новогодний праздник", "Выюга", "В школу", "В лесу" - январские стихи. Из них я приведу лишь два последних: один из которых характеризует дорожные школьные будни, а другой - рядовую бывальщину тех лет.

12. В школу

Каждое утро, как рассветает,
Каждый ученик в школу себя собирает.
Сидит за столом и книжки укладывает,
А за хатой, под окном, товарищи его уже зовут.

"Грицко в школу уже ушел?"
"Нет! Идите, хлопцы, в хату,
Хорошо, что вы зашли, нас поторопите..."
Вот идут хлопцы до школы.
Выюга свистит и гудит,
Намела везде снега горы,
А снег все идет и идет.
Но снег хлопцам не страшен,
Хоть по колена грузнут, в снегу плывут,
А выюга все злится, все стежки замела.
Аходить далеко - аж в другое село.
Вот так в школу дети ходят,
Как те промысловцы,
Что по снегу бродят,
Охотятся на зайцев.

13. В лесу

Вез из леса дядько дрова,
Да подбилася корова,
Не может дальше идти
И задумала лягти.
Плакал дядько и кричал,
Всё корову "бичувал".
Но корова не вставала
И до вечера лежала.
Во и ночька настаёт,
А корова не встает.
Поднялася злая выюга,
Ну, а дядько - без кожуха.
Вот пришла совсем беда,
Без коровы - пропадать.
Вздрогнула раз, вздохнула

И копыта протянула
Чоловик заплакал, зарыдал
И домой заковылял.
А село было не близко...
...Долго путал бедный дядько,
Из лесу выхода искал,
Обессилел и в снегу заночевал.
Перед утром метель стихла.
Ночка ясна стала, тиха,
И приснился дядьке сон,
Что по лесу ходит он.
И увидел он корову,
И давай до ней идти,
А она хвоста на бок,
Да давай ему реветь:
"Ты зачем меня сгубил?
Ты зачем меня так бил?"
И поближе подошла,
Во весь рот теперь ревла.
Вплоть к нему подошла
И на рога подняла.
Тут проснулся бедный дядько,
Перед ним - барсуки, целой стаей
Рвут, кусают и ...порвали на куски.
Дни идут, уже прошла неделя,
Как барсуки дядьку съели,
Как коровы нет.

Много значащих деталей в этой истории: и бедная корова, на которой зимой выезжают в лес по дровам, и дядько без кожуха, и лютый холод, и стая тоже голодных барсуков, и горе от гибели коровы, наверное, не меньшее, чем от смерти самого дядька...

"Весна идет", "Недалеко гулянки" (каникулы), "Вечер", "Гроза", "Лето", "Утро", "В поле", "Первое сентября" - весь этот цикл весенне-летней лирики я опускаю, чтобы не повторяться. Приведу лишь заключительное стихотворение.

14. Зимой. Март (1938 г.)

Просидел я целую зиму в уголке над печкой,
Наглотался я там дыму днем и ночью.
Лягу под стену, книжечку читаю,
Каждый день зимой с печи не слезаю.
Тут и ветер не гудит,
Мороз не дерется,
Ну, а снег - совсем не идет,
Полное укрытие.
Снег отброшу я от хаты, нарубаю дров,
Козе нужно сена дать - и на печку вновь!
А один раз рано я гулять пошел,
Черевички одел дома, те, что без подошв.
Ну и что с того, что ботинки драны,
Я привязываю на ноги коньки не плохие.
Вот и лед... Иду, скользжу,
Ну а где и упаду, только лёд трещит...
Но не долго довелось мне там погулять,
Ноги смерзлись, почти босы, пальцы - не шевельнуть,
И до дома я побег, ругая морозы,
И на печке, в закуточке, вытираю слезы...
А могу на лыжи встать, да и на поля.
А назад как погляжу - хутор виден издали...
Вот иду как раз на лыжах до скирды соломы
Вдруг подпрыгивает кто-то прямо предо мною.
И от страха я упал, а потом гляжу:
К шляху заинька бежит.

Я - в снегу весь, так и рассмеялся,
Что я зайца-боягуна так перепугался.
Я сижу у окна, радостью светлею,
Ведь совсем уже весна, травы зеленеют.

Всего один год прошел, а сколь многое изменилось в Колиной душе! Уже почти нет гражданской темы, борьбы за газетные лозунги. Два исключения из этого лирического сборника только подтверждают это. Так, единственная сатира "Ода Ивану-машинисту, будущему трактористу" уже не бичует хулиганье, а просто насмехается над недалеким деревенским увальнем, мечтающим бросить учение в школе и стать уважаемым человеком.

Еще более удивительной для меня была смена оценок в описании летних драк между хлопцами соседних сел в длинном стихотворении (почти поэме), под названием "Война". Война - весьма точное определение постоянных стычек между мальчишескими ватагами, которых следует уподоблять двум соседним дикарским племенам.

Год назад эти стычки для Коли Сокирко не отличались бы от обыкновенного хулиганства. Теперь же он эпически спокоен, описывая место "боев" (спорная долинка для пастьбы), главного богатыря со стороны своих юрчанских хлопцев - Микиту (почти 20-летнего придурковатого парня). Видно, что будучи пастихом, Коля и сам принимал участие в этих "боях", в которых использовались и военные приемы (построения цепями, окружение противника разными командами и т.д.) и оружие –

15.Не ломачки, не хлысты,

А толстющие дрючки,
Что деревья подпирали
Они их повыривали
И несут эти дрючки,
Как винтовки и штыки.

А чего стоит процедуры обыска "пленных", конфискации всего съестного и табака и обязательное снятие поясов от штанов:

16. Не забыть того и мне -

Быть пришлось на войне.
Головатый вошкодер
С меня пояс тоже сдер.
Я в зубах штаны носил
И веревочки просил.

Как во всяком военном рассказе - поражение своих сменяется победой - во главе с Микитой, с усовершенствованным оружием: настоящим штыком и ножами, спрятанными в сумках, плетками с гайками на концах. - Победой над двумя зазевавшимися пастухами "противника".

Правда, заканчивается этот военный эпос следующим признанием:

17. Еще много надо писать,

Чтобы все тут рассказать...
Не хочу больше дробить,
Бо рука уже болит...
Еще долго воевали, синяков понабивали,
Не стихает все война, десять лет идет она.
...Вот и все про ту войну, про дикарскую, чудну.

Однако это заключительное осуждение "дикарской войны" не зачеркивает факта участия в ней автора и в какой-то мере принятия ее жизненных правил. Отвергнув путь подчинения хулиганской власти, рабства и голой силы, Коля принимает участие в дикарской войне, принимает ее дикарские законы. Несмотря на всю свою начитанность и разумность, он все же оставался сыном своего времени и своей среды, и за внешней оболочкой школьной учености, на более глубоком уровне чувств и пристрастий, рос таким же дикарем, как и

остальные. Так стоит ли удивляться тем дикарским порядкам, которым подчиняются, и которые поддерживают выросшие участники тех дикарских войн?

Еще лучшее отношение к ребячье вольнице, трудно отличимой от простого хулиганства, можно увидеть в рассказе "Хлопцы с улицы Волчехвостки", датируемом 21 декабря 1937 г. и описывающим события осени 1933 года:

Холодная и дождливая осень загнала всех людей в хаты. От дома к дому люди перебегали, покрытые мешками. Пастухи, тоже под мешками, пасли свою худобу и проклинали погоду. Село казалось мертвым. Изредка проходили люди, либо проезжий дядько лупцевал коней, не способных вытянуть воз из грязи.

Но вот идет группа детей. Это школьники...

Несмотря на то, что рассказ сознательно отнесен в неизвестное село и неопределенное время, (а о приметах голодного 33-го года можно судить лишь по некоторым деталям), в рассказе действуют уже знаковые нам лица - Гришка-брехун, Иван, Петро Дикий, которых раньше Коля причислял к хулиганам. Теперь же они стали просто сильными и бедовыми хлопцами. С особой симпатией описан Петро Дикий и его "дикарское" снаряжение (оружие), с которым он не расстается и с которым охотится за озером на "зверів", т.е. на жаб, котов и собак, а именно - лук со стрелами, рогатка и даже самодельный пистолет. Можно понять, что в голодном 33-м году такая охота, даже на котов и собак, была некоторым подспорьем в сохранении жизни. Однако Колей, живописующим те события в благополучном 37-м году, такая "охота" была заменена более благородной охотой на диких коз.

За старинной историей о пррапрадеде Самсоне, который поотрывал местным волкам хвосты и назвал улицу Волчехвосткой (здесь впервые у Коли проявился интерес к чисто украинским старинным преданиям и культуре), следует основной рассказ про обычную жестокую детскую шалость: привязать к хвосту кота пустой банку и выпустить его, ошалевшего, в классе, устроить стрельбу по живой мишени. Год

назад эта дикость вызвала бы Колино осуждение. Сейчас же он только любуется ловкостью своих товарищей.

Романтические эпизоды совместной прогулки в лес, охоты на коз и лисиц, потом обед у костра под дубом - с курением цигарок и чарками самогону, с символическим подсчетом гороха вместо добытых денег ("банкет разбойников в лесу") - все явно демонстрирует, что теперь Коля с удовольствием принимает законы ребячьего разбойного братства:

Ну, раз гроши посчитали, - промолвил Гриша, - теперь только выпить пол-литра крепкой водки, и мы будем справными разбойниками...

И как быстро идеалы "большевистской работы" потускнели в его душе, как быстро они начали меняться на идеалы самостийного, разбойного братства - пролог будущего воспевания вольной Запорожской Сечи! - ключевой мечты украинского национализма.

Я приведу лишь заключительную сцену этого рассказа: идиллическое описание возвращения "вольной команды" из леса в родную деревню.

В селе Самсоновке люди еще не спали.

- И что это за песня приближается до села - спрашивали друг друга женщины, собравшиеся у колодца.

- Может, мужики так поздно возвращаются с заработков - предполагали одни.

- Нет, как будто детские голоса - отзывались другие.

- Да разве могут они петь так поздно?

- А моего Гриши до сих пор еще нет из леса - отозвалась Гришина мать.

- Да вот они, уже идут - показал кто-то.

Песня приближалась, все громче и выразительнее доходила до жинок. То возвращались наши охотники-разбойники из леса. Вот они вступили на Волчьехвостку. Петь не перестали, а еще больше заорали. Вот подошли до колодца, где стояли жинки с ведрами. Хлопцы перестали петь.

- Здоровы булы козаки, - гукнули им жинки, - а где вы были так долго?

- О, где мы только не были, - отвечал за всех Гриша.

- А что это за коза у тебя на поводке, - спросила его мать, - где ты ее взял?

- Купил, - отвечал Гриша.

- А почему от тебя горилкой смердит?

- Ну, а как же? Купил, а потом могарыч запивал, - вновь сказал Гриша. Все засмеялись.

Потом Гриша подробно рассказал им, как словили козленка и лисенка, как потом запивали могарыч.

Все порасходились по домам. Так кончилось воскресение для Волчехвосткой команды. На другой день все село знало про это.

Зашифрованные стихи. 1940-1941 г.г.

В сохранившихся бумагах нет стихов 1938-1939 годов. Окончив Боровичанскую семилетку, Коля и его коллеги по "Кружку" свои силы сосредоточили на подготовке к сдаче конкурсных экзаменов в техникум ближайших мест, т.е. на решении наиглавнейшей для них жизненной задачи - завоевании права на дальнейшую учебу. Перед ними стоял весьма тяжкий выбор: тяжелая, безвыходная и безысходная работа в колхозе или выдержать конкурс и обучиться на специалиста, а может, и начальника.

Из четверки литературных друзей один Вася Голуб остался сразу в колхозе. Троє остальных пытали счастье. Витя Шевченко избрал наиболее верный путь и поступил в Шевченковский агрономический техникум. Петро Беленко и Коля Сокирко пытались поступить в другие техникумы и потерпели неудачу. Год им пришлось работать в колхозе и готовиться к следующей, последней попытке. И в следующее лето они оба поступили в тот же самый Шевченковский агрономический техникум... Однако закончить его им не

пришлось: приближалась война, и сопутствующее ей ужесточение условий работы и учебы.

В 1940 году, после стольких лет хвастливой пропаганды о даровом всенародном обучении, была вновь введена плата за обучение. Для Коли Сокирко, живущего без отца, без помощи, это стало простым запретом на дальнейшую учебу.

Тяжело далась полная потеря жизненных перспектив для начитанного, не по месту и не по возрасту развитого хлопца. Она сыграла, наверное, решающую роль в его последующем полном отрицании сталинской действительности. Коля возвращается в Юрково, к Васе Голубу и другим товарищам; оставшимся в колхозе. Заранее приготовленный "зозит" по химии для студента II курса Миколы Сокирко теперь заполняемся возмутительными стихами.

Но в отличие от прежних записей, эти стихи зашифрованы, записаны особым алфавитом (составленным, по-видимому, на основе польских букв). Потребовалось немало труда, чтобы расшифровать их и переписать по-украински...

Уже после войны Ольга Павловна обнаружила в укромном уголке дома коробку с деревянным шрифтом - часть будущей подпольной типографии. Организовав когда-то детский журнал, Коля Сокирко на пороге своей взрослой жизни решается на гораздо более серьезное дело: подпольную печать.

О каких-либо печатных листовках на хуторе в те годы я не знаю, хотя и рассказывают о существовании в предвоенные годы националистической "спилки" (союза) в самом Киеве и окрестных хуторах и селах, частично раскрытой органами НКВД. О возможных связях Коли и его друзей с подобными "спилками" никаких сведений не сохранилось, - но чтобы судить о Колиных мыслях, достаточно расшифрованных стихов.

Все они подписаны псевдонимами: Тарасенко (в честь Тараса Шевченко) и Хмельниченко (по Б.Хмельницкому). Уже в этом проявились националистические настроения у недавнего "малолетнего большевика".

Из 9-ти больших стихотворений этого цикла лишь одно, самое первое, принадлежит к чистой лирики, притом небывалого для Коля - любовного плана:

18. К цветку

Пришла весна, всем весело,
Кругом цветы цветут.
Чего же мне не весело,
Что серденько болит?..
(и так далее о том, как "усмехается прекрасная, да только не мени")
...Скажи же мне, голубонька,
Быть ли такой весне,
Когда улыбнется с любовью
Тот цветочек мне?
А может нет ...

Все же остальное в этой тетради - сплошная гражданская поэзия. Коля вернулся к ней, но уже совсем с иной, почти противоположной стороны. "Вера отцов" была им отброшена и заменена новой идеологией, выработанной на основе старых, еще дореволюционных книг, на основе знаний и веры своих украинских дедов. Только в начале одного стихотворения (без названия) присутствует лирика, но уже лишь как прием, как способ отталкивания.

19. Ветер тихо шелестит

И купается в росе.
Птичий голосок звенит
И дивится красе.
Дивимся и мы, что гарно так,
Что так весело вокруг.
И поют за птичкой той
Земля, небо, луг.
А там вон недалеко

Вода в ярку бежит,
До берега стремится
И тихо "плюскатит".
И солнышко в ней играет,
Тихонько заныряет,
То искрами сияет,
То вновь наверх плывет.
И выплывет, оглянется,
Лучами вдруг вздохнет
И тихо усмехнется
Могуче и ясно.
И поле зеленеет,
Хлебами шелестит.
И кажется, что молодым нам
Здесь только жить да жить.
Но слышишь, что за стоны
Раздались в сем раю?
То люд рабочий стонет,
Копается в гною! (навозе-В.С.)
Но почему? - кругом все так цветет,
Пшеница уродилась
И лето удалось.
И хлеба ему хватит -
Смотри, сколько его!
Его ж теперь не возят
Царям и панам?
Но все это - не ихнее
Хлеба не их цветут!
Они их обработали,
Другие ж - заберут!
Одних панов прогнали,
Да другие пришли.

Одно ярмо сломали -
Железное нашли!
На поле хлеба море,
Народу ж - голодать.
И хоть какой голодный,
А хлеба нельзя взять.
И враз обвинят,
Что враг народа ты,
И так тебя обкрутят,
Что жизни и не жди.
За то ж отцы их умирали?
За что ж на смерть с песнями шли?
Ведь думали: раз счастья мы не знали,
Зато сынам его нашли.
Но счастья снова люд не видит!
Да и не видел никогда.
Встают в ночи и идут в ночи,
И работают как немые волы.
Так долго ль, братья, нам терпеть
Такой злой нестерпимый гнет?
Давайте, добрे все решите,
Да и создайте новый свет!"

Все! Круг замкнулся. Коля Сокирко окончательно порвал с прежними идеалами газетных статей и решился на поиски "нового света". Сама жизнь привела его к этому. К чему же он теперь приходит? Какие идеалы может выработать для себя самостоятельно думающий украинский хлопец, деревенский сын киевских горничной и сапожника?

Два стихотворных обращения к бывшим товарищам по учебе (напоминающие по жанру лицейские стихи Пушкина) внятно обрисовывает этот исходный идейный материал:

20. Товарищу на память (7.X.1940г.)

Вот и минули дни шумной учебы,
Когда нас книги братали,
Когда дружить мы начинали...
У нас в сердцах одна идея:
Идея труда и борьбы.
И дома, в школе я был с нею,
Я буду с ней теперь везде.
Когда народ наш терпит лихо,
Когда страдает бедный люд,
Разве можем мы сидеть здесь тихо?
Пора нам взяться всем за труд!
Земля родюча и богата,
Рабочие ж люди - как волы
...Земля родюча - люди голы,
Идут "загрызти" трудодень...
Хоть хлеб тут есть, а людям голод,
Работают даром целый день.
Не знала Украина доли,
Стонала, плакала века.
И лишь тогда была на воле,
Когда гуляли козаки.
Когда в степях широких, приднепровских
На верных конях боевых,
Тогда боялись паны польские
И приближаться к ним.
Когда бежало войско хана
И гибло смертью средь степи,
Когда "в гости до султана"
Плыла ватага козаков.
О, тяжко, трудно вспоминать
Про стародавние дела,

Старой Сечи уж не узнать нам,
Днепр пороги затопил.
Степь широкую распахали,
Могил уничтожили следы,
Чтоб дети козаков не знали,
Где панували их деды.
Мы ж, патриоты Украины
И ее счастья кузнецы
Расскажем людям про руины
Про кривду-правду на земле.
Прощай же, Вася, друг единий,
Когда меня помнишь ты,
То вспомни долю Украины
И про народ не забывай!"

Здесь, я думаю, Коля высказался вполне недвусмысленно: патриот Украины и Запорожской вольности, независимости, украинский националист. Для думающего и чуткого на страдания хлопца, в те годы, пожалуй, это был единственный выход. Судьба Николая Сокирко - тому яркое подтверждение.

21. Другу

...Дорог на свете есть немало,
Какую для себя возьмешь ты?
Чтоб мог я добре про то знать,
Каким путем пойдешь ты до мечты.
Мечтою будет нам свобода.
Какая сила в слове сем -
Она живет в сердце народа,
Преобразит земли лицо.
...А жизнь такую надо сделать,
Чтоб каждый вправду вольным стал,
Чтоб каждый себя уважал

И цепь - на вольный свет сменил!
Истекала кровью Украина,
Когда поляки пановали здесь
И люди падали на землю от пули панской и хлыста
И люд плутал по земле голый, кляня Господа Христа
Но гнев народный прорывался
И все сметал он на пути,
И каждый за оружье брался...

(Дальше Коля описывает, как козаки изгоняли поляков и турок, и как бесились от "украинской вольности" русские паны)...

Сейчас народ украинский снова стонет.
От этих стонов кипит кровь -
"Разве можем видеть мы руини
И вольный наш народ в неволе вновь?"
"Счастливая жизнь" и "все прекрасное" - минули,
Оставив нам лишь "нагайку и тюрьму"
Так верь же, друг,
Не надолго, палач наш запанует тут.
Народ наш сильный и могучий,
Не стерпит он ужасных пут.
И могучею рукой, в мозолях,
Он возьмет меч к бою
И уничтожит кровососов,
Головы порубит...
До свиданья, друг мой, от разлуки не журись.
Гора с горою не сойдутся,
А мы - сойдемся, может быть.

Два этих стихотворения раскрывают новую жизненную цель Коли Сокирко. Два же других стиха - "Слово о Кобзаре" и "Постовой" посвящены более частной, тактической теме - поэзии и ее роли в борьбе за народную волю. Для Коли это было и темой собственного служения народу. Как раньше он боролся

с хулиганами своими "виршами", так и теперь он мечтает сделать свои стихи оружием против увиденного им хулиганства Большой Власти.

Излюбленный образ "украинских патриотов" - Кобзарь, народный певец, хранитель народных легенд и мудрости, и вместе с тем - учитель и пророк, поднимающий свой народ на борьбу по примеру славных козацких предков.

22 Слово о Кобзаре

Вот уже прошли века у нас на Украине,
Как гуляли козаки по степной равнине.
Ой, гуляли, панували в Запорожской Сечи,
Атаманов выбирала на Совете Веча.
Атаманы были славны, всеми верховодят
И войной на басурманов они часто ходят.
И казаки защищали свою Отчизну,
Ляхов, турок, татар гнали - вон из Украины.
Было время, было славно,
Что мы пановали.
И про те дела, про давние
Кобзари напевали.
То веселое сыграет людям на забаву,
То вновь шумно заиграет про казачью славу.
Запоет про гетманов,
Запоет про волю,
Про могилы атаманов,
Что стоят у поля.
И поет он во всю грудь, чтобы все почувствовали,
Чтоб про волю наши люди во век не забыли.
И от песни загорелись очи у народа,
Да за острый меч он брался, биться за свободу.
Поминали про свободу,
Да и перестали.

Ведь у нашего народа
Кобзарей не стало.
Куда ж они подевались, любимцы народа?
Что кричали, не боялись, - людям про свободу?
Сперва ляхи разгоняли, потом русские богачи,
Украину разорили, взявші в свои руки.
Вот как нам, народ наш "братский"
Всегда "помогает".
У кого сердце есть козацкое -
Пусть не забывает!
Так хотели понемногу извести Украину.
Да родился Тарас Шевченко, кобзарям на смену.
Вместо кобзы, взял он в руки ручку и чернила,
И запел про народную муку, про казачью силу...
....И летела до народа песня воли и муки,
Вспоминали про свободу козачьи внуки.
Стали люди просыпаться, появились гетманы,
Но не сумели разорвать московские кандалы...
Нет, твоя песня не погибнет, Великий Кобзарь!
А разбудит Украину, где ты пел недаром.
Твоя слава не померкнет, пока жива наша речь,
И про волю всем расскажет украинское слово.
Обновится край наш милый, как добьемся доли,
И на нашей Украине запанует Воля.

Велика была Колина вера в силу свободного поэтического слова. По его мысли, только исчезновение бунтарей-кобзарей погрузило украинский народ в безысходное рабство, и только рождение Тараса Шевченко спасло традиции борьбы за свободу и едва не позволило ее завоевать. Однако вновь "разбуженные" Тарасом люди не одолели "московские кандалы".

Становится понятным, что стало для Коли главной задачей: продолжить кобзарское дело в наши дни - безбоязненно петь про свободу. Не страшась смерти, пока народ не почует бунтарской песни и не встанет на битву за свободу.

Таким стало кредо мужающего Николая Сокирко. Такой же была и его недолгая жизнь. А жизнь многих сотен и тысяч молодых украинцев, осознавших перед войной свою принадлежность к "патриотам Украины".

Здесь уместно сделать отступление личного характера. У меня самого нет иллюзий и пристрастия к идеалам украинского национализма. С некоторых своих сторон он просто отвратителен (например, в своем грубом, до зверства, антисемитизме).

"Запорожская Сечь" и "вольные козаки" представляются мне такой же разбойной ордой, как и татары. Неистовое воспевание восстаний и разбоя мне кажется неконструктивным явлением, тесно связанным с исконной несвободой украинского народа. Именно рабам свойственно постоянно мечтать о восстаниях и анархии. Я очень далек от идеализации и культа запорожских хулиганов прошлого и украинских "самостийцев" будущего: смена одной хулиганской власти на другую меня б совсем не радовала.

Однако я не могу не посочувствовать Коле Сокирко в его новой вере. Иного не могла дать ему тогдашняя жизнь. Для меня же современный жизненный вопрос стоит лишь так: Появятся ли на Украине со временем идеалы не хулиганской, а иной свободы?

23. Постовой

Где народ наш терпит лихо,
Завсегда там будь и ты.
И чтоб стих звучал не тихо
К претворению мечты.
Похвалам не поддавайся,
Не губи тем головы,

Высоко не поднимайся,
А народ люби.
...Если видишь где неправду,
То стихом громи,
Расскажи про то народу,
Как в пожар, звони.
Не старайся писать сухо
И поменьше чужих слов,
И найдешь тогда ты быстро
Своих читателей...

В новом 1941 году советы неведомым друзьям поэтам сменяются в Колиных стихах прямой авторской речью и прямым, чуть ли не агитационным призывом. Читая эти строки, написанные почти мальчиком, убеждаешься, что органам НКВД было, действительно, много работы на Украине в те годы.

24. Сорок первому

Я с новым годом приступаю к труду, работе,
И вас к тому же призываю, друзья-патриоты.
Я людям правду расскажу, раскрою темные очи,
И в людях память разбужу, тихонько середь ночи.
Я не покину сей дороги, возьмуся за работу,
И Украине я найду сынов и патриотов...

25. Хватит спать

Украина, родной край!
Хватит спать, вставай!
Ты в неволе, ты в ярме,
За оградою в тюрьме.
Тебя ядом напоили,
Чужеземцы заковали...
Украина, не дремли!

Хватит спать! Вставай!
Посмотри на наше поле,
Где родилась твоя воля,
На том поле хлеба море,
А народ наш терпит горе.
Люди в злыднях, люди голы,
Люди плачут в сей неволе.
Украина, хватит спать,
Ведь пора тебе вставать.
Мы давно тебя будили,
Чтоб ты встала из могилы.
Час пришел и ты проснулась,
Но кровью воля захлебнулась.
В тяжких битвах тех на поле
Полегли борцы за волю.
Ты ж измучена и в ранах,
Оказалась вновь в кандалах.
Украина, хватит спать -
Час кандалы разрывать!

Такие стихи пишут люди, охваченные нетерпеливым ожиданием боя, экстремистских действий. Видно, что автор уже не в силах ждать, что прежнее его спокойное слово наталкивалось на глухую стену соседского страха и равнодушия, и что отчаяние толкает его все дальше и дальше. Парадокс последнего призыва заключается в том, что он будит и упрекает тот самый народ, ради которого и старается автор, чью жизнь он стремится улучшить. На деле же люди не хотят восстаний, боятся от них еще большего горя и страданий. И они правы, ибо мальчишеские призывы к бою не приносят ничего, кроме неудач и нового горя. Впрочем, такова беда и вина любого экстремизма. Колины призывы не достигли цели, и я не вижу в том беды.

Последнее из зашифрованных стихотворений "Мы были в неволе" датировано 25 апреля 1941 года и принадлежит к сатирической стороне подпольного творчества Н.Сокирко.

26. Когда-то мы были в неволе

Тяжело работали.
А теперь на нашем поле
Трактор все ворочает.
И везде у нас моторы
Хлеб весь свозят до коморы (амбара),
А с коморы заберут,
Не оставят тут.
На себя теперь работаем,
На своих детей,
Ну, а что мы получаем?
- Горб и мозоли.
И везде закон толкует:
"Кто не работает, тот не ест".
А на деле голодует, тот
Кто "крутит волам хвост
Песни тоже не те стали.
Сейчас радио звучит.
"Хай живет наш родной Сталин" -
Целый день одно кричит.
Да и как тут не радеть,
Не спеть звонкой песни.
Из Кремля наш Сталин светит,
Как весною солнце.
И настало теплое лето
В час морозов и снегов.
И мы ходим совсем голы.
Без сорочек и штанов.

Слова Сталина нас греют,
Добре пригревают.
Без кожухов мы потеем,
Аж до боли в очах.
И от жарких тех лучей,
Что так льются из Кремля,
Люд бежит в тайгу дремучую,
Бросает родные поля.
Покидают родные хаты,
Холодок ищут,
И в Киргизии, в Сибири...
Не бегите, добры люди,
Холодка там нету,
Еще больше жар там будет,
Что залил всю землю.
Не бегите на чужбину.
Дождь на Западе уже идет.
Может и у нас в какую годину
Гром восстания загудет.

Особенно интересны последние куплеты в этом стихотворении с их ясным внешнеполитическим намеком на "дождь" и "холодок" военной угрозы с Запада (видимо, от Германии) и надежды на "гром восстания". Так, еще до начала войны, в душах украинских самостийцев зарождалась надежда на "дождь" (помощь) с Запада.

Военные годы. 1941-1943гг.

Последние стихи Коли Сокирко вновь написаны по-украински, открыто, хотя и высмеивают "большевистских агитаторов". Все они датированы концом 1941 года, когда Шевченково заняли немцы и отпала нужда так тщательно скрывать свой антисталинский критицизм. Видимо, эти стихи

частично были задуманы раньше, но записаны лишь в ноябре-декабре 1941 года.

Два из них относятся к антибольшевистской сатире, одно - к любовной лирике, и лишь одно, последнее, можно назвать программным.

Содержание первого из них - в стихотворном переложении одного из ходивших тогда политических анекдотов: дядька покупает на базаре сильно увеличивающие очки, а потом попадает на собрание...

27. Большевистские окуляры (очки)

Агитатор в окулярах

Что-то брехал завзято:

Как-то наши все народы

Да живут богато.

Сколь огромные заводы

Можем создавать мы.

Яка армия большая,

Яки танки из стали.

Какой мудрый и великий

Родной батько Сталин.

Под конец этой речи,

Дядько отозвался:

"Красноречивый агитатор

Сильно забрехався.

Видно, наши коммунисты

Окуляры носят,

А они, как я дознался,

Сильно увеличивают.

Да и этот агитатор окуляры знает,

Оттого и Сталина так сильно величает.

Так зачем дурить людей,

Коли сам не видишь,

Окуляры скинь с очей,
Все тогда увидишь.

Другое стихотворение обозначено "народной
приказкой":

28. Лучше там, где вас нет

Как пол-Польши заняли части советские,
Один дядько хотел ехать до земли немецкой.
Он пошел до комиссара,
Рассказал, что хочет.
Комиссар так удивился,
Аж вытаращил очи.
"Чего, - говорит, - туда ехать?
Там же горе людям".
"Да, ничего - дядько отвечает, -
Нам там лучше будет".
Комиссар: "Где нас нету, то там только лучше!"
"Туда хочу, - дядько отвечает, - где вас нет еще".

Эта народная "приказка" отлично характеризует отношение многих украинцев к смене власти в 1941 году. Тогда им казалось, что хуже прошлой власти ничего быть не может, и стремились к чему угодно, только не к прошлому. Отнюдь не в приязни к немцам лежат корни сотрудничества части украинцев с немецкими оккупантами, а лишь в неприязни (выражаясь мягко) к власти Сталина и его подручных.

Первоначально либеральная политика немцев на оккупированных землях поддерживала эти надежды, но последующее изменение ее, охота на людей, отправляемых в Германию, коренным образом изменили настроения людей. Сами по себе украинцы хотели просто жить, работать и любить, жить самим, без хулиганствующей власти любых толков. Это подтверждает и содержание двух последних стихов.

26-м декабря помечено его любовное стихотворение "Как усмехнется солнышко". Я просто не решаюсь его

переводить из-за безобразной слабости своего перевода, а приведу лишь концовку:

29. "И в ночь и в день о тебе мечтаю.

Часы хожу, как сам не свой,
Но в сердце все ж живет надежда
Поймать "ласковый погляд твой".

А на следующий день, 27 декабря, Микола записал совсем иное стихотворение:

30. Наш союз

Наш союз подпольный, тайный
Скреплен думою святой,
Всех братьев в единство кличет
За свободу всех встать в бой.
Не хотим мы жить рабами,
У чужих господ служить.
Мы мечтали все веками
Самостийно, вольно жить.
Все мы здесь начнем трудиться
Для добра своего народа,
Темны очи просвещать,
Развивать любовь к свободе".

Кажется, именно так - "Спилкой освобождения Украины" называлась основная организация украинских националистов. У меня нет твердых оснований полагать, что Коля стал членом именно этой организации. Но, по своим убеждениям, он вполне был готов к деятельности участию в националистической организации (если, конечно, эта организация была достойна таких убеждений).

К сожалению, больше ничего не осталось от Колиных стихов. Весь 1942 год он был на Украине (в армию его не забрали по возрасту), в Шевченково и Юрково.

Первое время немецкие власти еще не показывали своей хулиганствующей сути. Они почти не вмешивались во внутреннюю жизнь деревни, хотя и поощряли частное крестьянское хозяйство. Часть украинских националистов встала на путь сотрудничества с ними, но большая часть и, как видно, с ними Коля Сокирко, выжидала, разумно полагая, что немецкая власть - далеко не собственная. И правильно делали. События показали, что немцам было глубоко наплевать на интересы украинцев, да и, в конечном счете, плевать и на собственные интересы, ибо, оттолкнув от себя население оккупированных областей, они тем самым в корне подорвали возможность своей военной победы на Востоке.

Уже в 1942 году начался принудительный набор молодых людей на работу в Германию, началась подлинная охота на всю молодежь. Естественно, что молодежь стала скрываться в лесах, организуясь, где можно, в партизанские отряды. Началась настоящая война народа с немцами, которая после ответных карательных операций становилась все ожесточеннее.

Не был чужд этого поворота народных настроений и Коля. В его бумагах сохранился написанный от руки текст воззвания "Повстанческой Рады" к "братьям-украинцам" с призывом борьбы с фашистами. Само содержание этого документа (отсутствие советских лозунгов), печать с известным самостийным трезубцем, лозунг "За вольную Украину" говорит о его явной принадлежности к националистам. Измененный, отчетливый почерк позволяет сомневаться, что этот текст писал сам Коля. Однако в сочувствии его к этим призывам сомневаться трудно.

Как совмещались в Колиной душе это воззвание с недавними призывами к Украине разорвать "московские кандалы"? Как совмещались эти вещи у каждого искреннего самостийного украинца? Между двумя громадными военно-политическими машинами затерлись и погибли их мечты "о воле".

"К братьям родного края!"

Братья-украинцы! Настал тяжкий, несчастливый час для нашего народа. Смерть, нищету и голод принесли нам немецкие фашисты. Сотни тысяч наших братьев погибли на фронте и в немецком плену. Сотни тысяч наших братьев неволятся в фашистской Неметчине и умирают от бомб, голода и от непосильной работы. Население, что живет сейчас на Украине, как и на всей оккупированной территории, терпит нечеловеческие страдания от немецкой военщины. Эти грабители-"освободители", что освободили нас от хлеба, планируют нам голодную смерть.

Братья! Мы сейчас в смертельной опасности. Если не сможем защитить себя сами, то мы погибнем.

Немецкие фашисты решили сделать из Украины свою колонию, а потом немецкую провинцию. Еще в начале своего существования немецкий фашизм считал территорию Украины в составе Немецкой империи. Первую половину своего плана они уже выполнили - Украину завоевали. Теперь они приступили к другой половине своего плана: уничтожить вольнолюбивый украинский народ и заселить богатую украинскую землю немцами. И эту половину своего плана они начали выполнять. Хлеб, скотину и все, чем богата украинская земля, они вывозят в неметчину, чтобы заморить нас голодом.

Что ж, разве мы присуждены к гибели? Какой же выход из такого положения?

Единственный выход из этого опасного рабского положения - это общее восстание всего нашего народа за волю и независимость, и вместе с тем и за независимость всей Европы.

За эту великую работу взялась Повстанческая Рада.

Повстанческая Рада поставила перед собой такую задачу - подготовить и провести восстание украинского народа, чтобы прервать доставку оружия и боеприпасов на фронт и тем самым ускорить разгром фашистской армии и спасти свой народ от голодной смерти.

Восстание неминуемо, а успех его будет зависеть от нашего единства. Потому все, кому ненавистна власть немецких фашистов, кому дорога Батькивщина - должен встать в ряды добровольцев, запасаться всяким оружием и быть готовым стать в бой на призыв Повстанческой Рады.

Похороните, да вставайте,
Кандалы порвите,
И вражьей злую кровью
Волю окропите!

Так заклинал нас великий борец за волю Украины Тарас Шевченко.

Так не будем же, братья, мы рабами, не будем ждать, пока враги закуют нас в неразрывные кандалы, а соберемся в одну братскую семью. Станем все под одно наше знамя и тогда ударим на врагов наших и порвем кандалы и заживем новой вольной жизнью на своей земле вольно, счастливо и славно.

Посвятим наши жизни освободительной идее, ибо жить нужно для идеи, а не для того, чтобы служить по-рабски врагам и ждать смерти!

Пусть исчезнет вражда между нашим народом, какую посеяло господство чужеземцев над нами!

Братья-украинцы! Возьмемся за труд для нашего великого дела, за нашу волю, за нашу жизнь. Не пожалеем сил и жизни своей для нашего будущего, не будем хуже наших братьев, которые пролили кровь в непрерывных боях за волю нашего народа.

Не побоимся смерти, ибо лучше погибнуть героем за волю, чем согнуться по-рабски в неволе.

Все, кому дороги интересы родного народа, у кого в сердце бьется не рабская кровь, а кровь вольного украинца, поднимайтесь с оружием отстоять свои права на вольную жизнь!

Будем готовы пролить свою кровь, когда настанет час, за нашу жизнь, за вольную Украину! Повстанческая Рада".

Коле не пришлось принять прямого участия в вооруженной борьбе с немецкими фашистами. В начале 1943 года его поймали и отправили на работу в Германию,

Не получилось организации широкой борьбы и у других самостийцев. Трезвый расчет говорил людям, что в идущей гигантской битве фашистской и советской армий нет места для третьей силы. И те, кто решается на борьбу с немцами, должен встать в ряды советских партизан. На этот путь встал младший брат Коли - Василий Сокирко.

По догадкам, его вовлекли в боевую группу те, оставшиеся в деревне коммунисты, которые спасались вначале сотрудничеством с немцами (заглаживая тем самым свою прежнюю партийность), а потом, в связи с очевидными неудачами немцев на фронтах, начали искать возможность создания партизанской подпольной группы, чтобы после возвращения наших оправдать свою жизнь при немцах "подпольной работой".

Запугать соседских мальчишек ("вот наши вернутся - что ты скажешь?") для опытных людей не составило большого труда. И вот несколько молодых парней, почти подростков, получают от "старших товарищей" задание: Добыть у немцев оружие, во что бы то ни стало! С откопанным где-то ржавым пулеметом, в котором сохранилось лишь несколько патронов, эти ребята встали в засаду и обстреляли колонну немецких войск. Безнадежность этого дела была очевидна каждому, кроме самих отчаявшихся хлопцев.

При первых же выстрелах из леса, немцы мгновенно развернули на машине станковый пулемет и разрывными пулями в одну минуту уничтожили всю группу.

Только через несколько дней Ольга Павловна смогла похоронить своего младшего сына со снесенной наполовину головой. Оставшееся же командование группы из "старших товарищей" записали в свой актив организацию нападений на немецкую колонну, а после прихода советской армии с успехом спасли свои шкуры. Жизненный опыт - большое дело!

А Коля Сокирко погиб в Германии. Сохранился отрывок письма, написанный, видимо, Васей Сокирко в конце 1943 года для сведения старших братьев, находившихся тогда на фронте.

В этом письме коротко пересказывается и содержание полученных из Германии сведений о Коле. Вот этот отрывок:

"1943 год. Коротко познакомлю с сегодняшним моим положением. В 43 году я перебывал в очень тяжких условиях. 27 марта меня мобилизовали в Германию, чтобы отправить на каторжную работу. Нам было сказано, что побег будет караться виселицей и конфискацией имущества. Брат мой Коля и Аполлон (двоюродный брат) оставались дома, и я решил тоже вернуться домой. После принятия меня комиссией я попрощался с товарищами Михаилом К. и Василием Н. и пошел со Шполы на Юрково. И был близко около дома, а идти было чрезвычайно трудно, потому что было холодно и нечего было есть.

Прошел месяц, и берут на комиссию Николая.

Коля, как вы знаете, братья мои, был очень слабым, а тогда еще больше ослаб, потому что целую весну он лежал хворым. Всю надежду он имел, что убежит и будет дома, но упустил момент в Цветкове, потому что наша полиция отправила их сразу в Киев. Если б Коля убежал, то нам дома двоим скрываться было бы очень тяжело.

С Киева их охраняли немцы с автоматами, и от них бежать было очень трудно, а хлопцы были неорганизованными и большими трусами, и Коля ничего не мог сделать.

Позднее мы узнали из его открыток, что он день и ночь мечтал вернуться на Украину, до товарищей и своей подпольной спилки. Он чрезвычайно болеет душой, и силы его падают. Еще такой молодой, он поседел и, наконец, от такой каторжной, непосильной работы он решается тикать, но через две недели его снова ловят и от этого он получает еще более тяжелые условия. В жатву для Коли начинается нестерпимо тяжелая работа. Он бежит в другой раз. А это отдаленный район Неметчины в 60 км. от Балтийского моря, где климат чрезвычайно влажный и холодный. Коля ночами бежал, а дождь шел как из ведра, и он одубел от холода. Однако надежда

добраться домой его живила, и он шел три ночи. На четвертую ночь ему требовалось перейти речку Одер, но перейти ее было невозможно, потому что по берегам ее лежат великие болота на десятки километров, и он пошел на мост, где его словили и посадили в тюрьму."

На этом обрывается Васино письмо.

Последние сведения о нем Ольга Павловна получила от человека, бывшего с Колей на работах в Германии. Он рассказывал, что Коля бежал всего 6 раз, и что напоследок его посадили в сырой подвал, после которого его уже никто не видел.

Видимо, там он и умер, так и не увидев своей Украины.

Рассказ окончен. К изложенному мне нечего добавить. Эта короткая жизнь лежит перед нами ясной и чистой, как на ладони. А с нею вместе и судьбы и беды украинского национального самосознания.

Я убежден: стихи Миколы Сокирко - лишь малая часть тех, еще сохранившихся у людей письменных источников, которые необходимо поднять и осмыслить, чтобы понять судьбу и перспективы украинского народа.

Июль 1977 года.

Стихи Миколы Сокирко (на украинском языке).

2. Весна. (1936 р.)

І лісами и степами,
Скрізь вітер шумить.
А яркими- канавками,
Вода з шумами біжить.
І біжить і шумить,
У ставок усе ташить.
А в ставку вона кликоче,
Ніби греблю прорвать хоче
А хлопята на воді

Вже пускають кораблі...
Корабліки и лодки
Всі пускають на струмки.
Через тиждень стало сухо.
Скрізь пташки літають.
А хлопята на вигоні
У мяча згуляють...

3. Молотьба. (Июль 1936 р.)

І зірки ще не сковались.
В поле люди вже зібрались
Не гуляті, а робить
Всі пшеничку молотить...
...Безпинно й безвтомно,
Гуде молотарка,
І зерно в комору
Відвозить бистарка.
Всі роблять, працюють,
Всіх піт облива.
Та нічого не зробишь,
Бо треба ж убрати жнива.
Самого ранку до вечора
Молотарка реве и гуде
Лиш пізно увечері
Люд стомленый вечерять іде.

4. Радянські піонери.

По полям, лісам
Вітри гуляють,
А радянські піонери
Вдобріва збирають.
П'ятисотницям ланковым

Всі допомагають.
За високий урожай
Стари й мали дбають.
Але ёще такі люди,
Що до цього
Не дуже беруться
А даже з нас
Вони ще сміються.
А як кто посміє
Робить заважати
То ми будем тих людей
Під три чорти гнати.
А ми будемо усі
За п'ятсот з го дбати
За високий урожай
Щоб заможним стати.
И по большевіцьки
Дружно працювати.

5. На буряках

Війшли рано колгоспници
Бурак проривати,
А за ними школяри
Шкідників збирати...
...Усе полють, поливають,
Буряки вони спасають
...за п'ятсот з гектара дбають

6. Сбірщик (1936г.)

Павлик Павло,
Свої закони вставляє,
Робить ланкови збори,

Він забороняэ.
Він роботу зриваэ
Із гороху утікаэ
А газети теж він рве
В який про його дописе
Коли скажеш: "Де газети дів? "
То він скаже, що поїв
Треба хлопци не зивати
В голови його изняти
Щоб роботи не зривав,
Щоб газет не поїдав.

7. Голова загону

У юрчанським піонер загони
Павлик Павло голова загону...
... Як хто хліба принесе,
То ударником назве.
Хоть и дурень він, баран.
Лиж бы сала кусок дав.
Враз примерним учнем став.
А щоб лад свій зберегти
Затуляэ всім роти.
А як правду хто скаже,
Кулака йому покаже.
А то шей наб`э,
Кого подужаэ
Треба, хлопци, нам не спать
Його хіба викривати
З голови його изнятъ
И поставить другого.
Котрий міг би керувать.

8. Осел и цап

... Тебе ми к чорту проженем
И хліб увесь до себе заберем
Хай кожен з вас
Це добрэ памятаэ
Щой між людьми
Таке буваз.
Тож на них ви не дивітся,
Проты нас усі борітесь.

10. В нас Э хлопець хулиган

На прозвіще Ковтун Іван
Попід носом чорни рані
В пиджаку сильни кармани.
А в карманах каминцы
И для куриния папирци.

11. Ковтун Макара догоняэ,

А Макар його благаэ
"Підожди ти мій Ванюша,
Завтра буде табаку папуша
Табаку, щей, сала...
Мати в скріни заховала.

12. До школи (21.1.1937г.)

Кажного ранку,
Коли розвидняйця,
Учень жде сніданку,
В школу собирайца.
Сів він за столом,
Та книжки складаэ.
Коли це хтось під вікном,

У хату гукаэ:
"Грицько в школу вже пішов?"
Ні! ідить, хлопци в хату.
Хорошо, що вы зайшли.
Зараз будим мы шмагаты".
Ось идутъ хлопцы до школы,
Завірюха свістить и гуде.
Скрізь заметив ціли горы
Сніг все іде та іде.
На сніг хлопци не зважаютъ,
А до школы ідуть,
По коліна загружаютъ,
У снігу пливутъ.
Завирюха фурдилить,
Всі стежки замело.
А ходити далеко,
Аж у друге село.
Отак в школу діти ходять,
Як ті місцевици
Що по снігу бродять,
Шукають зайців.

13. В леси (22.1.1937р.)

Віз из лісу дядько дрова,
Та підбилася корова.
Не схотіла далі іти,
І задумала лягти.
Плакав дядько и крічав,
Все корову бічував.
Та корова не вставала,
Аж до вечора лежала.
Уже нічка настаэ,

А корова не встає.
Піднялася завірюха,
А tot дядько без кожуха.
Ta ще трапилася біда,
Вже корова пропала.
Піднялася раз, дихнула,
И ніжинки простягнула.
Чоловік заплакав, зарыдав,
I до дому почухрав.
A село було не близько
В завірухе іти слізько...
Ta и лісом довго іти,
Можна десь ще забрісти.
Завірюха все іде
Завиває и гуде.
Довго блукав бідний дядько,
З ліса выходу шукав.
Ходить більше було важко,
Він в снігу заночував.
Перед ранком метиль втихла,
Зза хмар місяць випливав,
Нічка ясна стала тиха...
A в снегу ще дядько спав.
И приснився йому сон,
Що по ліси він ходив.
Бачив массу там ворон,
И що всіх их перебив.
Що ішла лісом корова,
И рівла кричала.
Ta, що йхав він по дрова,
Що вчора пропала,
Израдив нещасний чоловік,

Став до ней він іти.
А вона хвоста на бік
И давай йому рівти:
Ти нашо мене згубив?" -
Вона йому проривла.-
Мене нашо ти там бив!"
И до його підйшла.
Почіла ще гірш кричати
На весь рот як заривла
Знов до його підступати,
И на роги підняла.
Тай прокинувсь бідний дядько,
А перед ним борсуки.
Ціла зграя рве кусаэ
И разірвали на куски.
Дни ишли, дни минали,
Уже тиждень минаэ.
Як борсуки дядька зії,
Як корови німаэ.

14. Зимою (Март 1938р.)

Просидив я цілу зиму
У куточку на пічи.
Наковтався я там диму
И уденъ и уночи.
Лижу соби під стіною,
Книжечку читаю.
Кожін день отак зимою
З печі не злізаю.
Тут и вітер не гуде.
Мороз не вдереться,
Та и сніг зовсім не іде,

Паче у фортеци.
Лиш тоді тики устану
Як прийде обід.
Та на двір піду погляну,
Чі гладенький лід.
Сніг відкидаю від хати,
Нарубаю дров.
Козі треба сіна дати.
И на пічку знов.
А одного разу рано
Я гуляти йшов.
Черевики убув драні
Що без підошов.
Ну, та що мені до того,
Що ботинки драні.
Я прівязую на ноги
Коньки не погани.
От уже я й на льоду,
Іду... тільки миготить.
А як де и упаду,
То аж лід трищить.
Та не довго довелося
Мені там гулять.
Ноги вмерзли напів босі,
А пальци щімлять.
Тож додому я побіг
Лаючи морози.
На печи в куточку ліг
Та втіраю слези.
А бува на лижки стану
Іду на поля.
А назад як гляну...

Хутор видно из даля...
Іду я на лижах,
До скирти староии
Раптом якесь хиже
Скік передо мною.
Я від того страху
Так и впав на сніг.
Коли глядь, до шляху
Заинька побіг.
Так ліжу, в снигу загруз.
Тай зареготався,
Що я зайця боягуза
Так перелякався...
... Я сижу коло викна,
Не плачу, радию.
Бо настала вже весна,
Трава зеленіє.

15. Не ломачки, не бучки

А товстюции дрючки.
Що дерева підпирали.
Вони йх повиривали.
Узяли оци дрюки,
Мов винтовки и штики.

16. ...Як забути його мени,

...Мени теж прийшлося на вийни,
Головатий вошкодер
Взяв паска из мене здер.
Я в зубах штани носив,
Й мотузка в дитей просим

17. Це богато тре писать,

Щоб усе це росказати
Вже не хочу більш дробить
Бо рука уже болить...
Ну щ долго воювали,
Синяків понабивали...
...Не пріпинится вийна,
Десять років вже вона.
Як воює побиждаэ,
И немаэ ії краю.
Коротенько про війну,
Про дикинську и чудну.

18. До квитки

Прийшла весна, всім весело
Скрізь квіти зацвіли.
Чому ж мені не весело.
Чом серденъко болить?
Всміхається прекрасная
Та тильки не мени...
Скажи ж мені голубонъко
Чи буть такій весні
Коли всміхнеться любенько
Ця квиточка мені.
А мабуть ні.

19. Витрець тихонъко шелестить

Купається в роси.
Пташний голосок дзвинить
Дивується краси.

Дивеэм що гарно так
Що весело навкруг
Спиваэ все за нею
Земля и небо й луг.
А вон там недалеко
Вода в яру бежить
До берега горнеться
И тихенько плюскотить
И сонечко в ней граие
Тихенько зарыне
То искрами засяя
То знов у верх плыве.
И выплыве, оглянется
Скризь променем зипне
И тихо усміхнется
Могутно и ясне,
А лан он зеленький
Хлібами шелестить
Здається молодым нам
Що тильки жить той жить.
А чуешь, що за стогін
Почувся в цем раю?
То люд рабочий стогне
Копается в гною!
Чого йому стогнати
Усе кругом цвите
И пшениця уродила
И лито золоте.
И хлиба йому хватить,
Дивись он скільки там.
Його ж бильш не вивозять
Цареви и панам?

Усе ото не ихне
Хлиба не их цвітуть
Воны их обробили
А други заберуть.
Одних панив прогнали,
То другии прийшли
Одно ярмо зломали
Желизне з найдли.
На полі хлиба скильки
Йому тре голодатъ
И хоть який голодний
Йому його не взять.
То зараз и пидшиютъ
Що враг народу ты
И так його обкрутятъ
Що жити вже й не жди.
За що ж батьки їх умирали?
За що ж на смерть з писнями йшли
Бо думали, що щастя мы не знали
Зате синам його зайдли.
Та щастя знову люд не бачить
Та чи и бачив вин його колы,
Встають вночи и йдуть в оч
И роблять так немов воли.
Чи довго ж, браття, ще терпiti
Оцей такий нестерпний гнит.
Давайте добре все ришити,
И збудувати новий світ!

20. Товарищу на память (7.X.1940)

...Коли шумливо дні минали
У школі, в класси в навчанні

Тоді нас книги поєдняли,
Тоді знайшовся друг мені.
У нас в серцях одна ідея
Праці и борні.
Я дома й в школі був із нею
Я буду з нею й в чудині.
Коли народ наш терпить лихо,
Коли страдає бідний люд
Чи можем ми сидіти тихо?
Пора нам взятися за труд.
Земля родюча і богата,
Робочі люди як волы,
Працюють в будень и у свято
Нема й найистися коли.
Земля родюча - люди голі,
Ідуть загризти трудодень
Навколо хліб, а людям голод,
Працюють даром цілий день.
Не знала Україна доли,
Стогнала, плакала віки,
И лиш тоді була на волі,
Коли гуляли козаки.
Коли в степях широких подніпрянських
На вірних конях бойових
Коли боялись пани польські
И наблизятаця до них.
Коли тікало військо хана
И гинуло серед степів,
Коли у гості до султана
Пливла ватага козаків.
О тяжко, важко зпоминати
Яких було богато див,

Старой січі вже не взнати,
Дпіпро пороги затопив.
Степи широкі розорати,
Могил изникли сліди
Щоб діти козаків не знали
Де панували іх діди.
Меж патріоти України,
Нового щастя ковалі,
Розкажим людям про руїни
Про кривду й правду на землі.
Прошай же, Вася, друг эдиний,
Колись про мене нагадай
Згадай про долю України,
И про народ не забувай.

21. Другови

...Дориг на свити э богато,
Яку ж для себе візмешь ти,
Щоб міг я добре уже знати,
Якою підеш до мети.
Метою буде в нас свобода.
Яке могутно слово це!
Вона запале серце народу
Вона изміньє землі лице.
Життя таке тре збудувать,
Щоб кождий справді вільний був
Щоб міг про кожного й про себе дбати
А цей щоб вільний світ загув
Стікала кровью Україна
Як і поляк тут панував...
И люди падали додолу
Від пулі панської й хлиста,

И люд вбукав скрізь напів голий,
Клянучи господа й Христа.
Та гнів народний проривався
І все змитав він на путі.
И каждый ѹ скрізь за зброю брався
Й хороми палили золоті
... Та ѹ знову цго наступаэ
Народ український стогне знов.
И нам цей стогін душу краэ
Кипить вид люті наша кров.
...Чи можем бачить мы руїни,
И вільний наш народ в неволі знов?
Життя щасливе все минуло,
Народу спокою нема,
И все прекрасне загуло,
А нас нагайка жде ѹ тюрма.
Так виръ же, друже,
Не надовго кат запануэ тут.
Народ наш сильний і мужній
Не терпить він пут.
И могутною рукою,
Всею в мозолях,
И з мечем до бою
Стане народ наш
И полягають кровососы
Головами тут.
И народ знов стани віньний
Звіниться ві пут.
Ну, допобачення, мі друже,
Що розлучаэмсь не журись,
Гора з горою не зійтесья,
А ми зіймося, колись!

22. Слово про Кобзаря (30.XI.40)

У минулі віки давні
У нас на Україні,
Козаки гуляли славні
В степовій рівнині.
Ой, гуляли, панували
В Запоріжській січі
И отаманів обірвали,
На раді, на вічі.
Отамани були славні
Усім верховодять
Та у землі до поганих
Походами ходять.
И козаки захищали
Свою батьківщину,
Ляхів, турків, татар гнали,
Геть из України.
Були віки, були сравні,
Що ми панували
И про діла, про ті славні
Кобзарі співали.
То веселої заграэ
Людям на забаву,
То знов сумно заспіваэ
Про козачу славу.
Заспіваэ про гетьманів,
Заспіва про волю,
Про могили отаманів,
Що стоять у полі.
Та співаэ на всі груди,
Щоб усі почули,

Щоб про волю наші люди
Повік не забули.
И до пісні прислухались
Жалібно народи,
І за гострий меч хватались
Битись за свободу.
Помятали про свободу
Та і перестали,
Бо у нашого народу
Кобзарів нестало.
Куда ж вони подівались,
Любимці народу?
Що співали, не боялись
Людям про свободу?
То ляхи их розігнали,
И російськи дуки
Україну зруйнували,
Взявши її в руки.
Отак же нам народ братский
Завжди помогає
В кого серце ще козацьке
Нехай памятає.
Так хотіли помаленьку
Знищить Україну,
Та вродивсь Тарас Шевченко
Кобзарям на зміну.
Замісто кобзи взяв у руки
Ручку и чорнило.
И заспівав про людскі муки
І козачу силу.
Оспівав красу країни.
Про Дніпро и гори,

Про неволю України,
Про народне горе.
И летіла до народу
Пісня волі й муки
И згадали про свободу
Козачі онуки.
Стали люди прокидатись
Вродились гетьмани:
Та не змогли розірвати
Московські кайдани.
Твоя пісня не загине,
Великий Кобзарю,
А розбудить Україну,
Де співав не даром.
Твоя слава не поляже,
Не вмре наша мова,
И про волю всім розкаже
Українське Слово.
И відновиться країна
Як всміхнеться доля,
И на нашій Україні
Запанує воля.

23. Постові

Де народ наш терпить лихо
Завсігда там будь і ти,
І щоб вірш ішо не тихо,
Летів до мети.
Похвалам не піддавайся
Не губи там головы,
Високо не злітай і не зазнавайся,
А народ люби.

...Коли бачиш де неправду
То віршем грими,
Розкажи про неї людям,
На сполох дзвони.
Не пиши ніколи сухо
І поменш чужих там слі,
Бо знайдеш тоді ти лихо,
Собі читачів.

24. Сорок первому

Я з новим роком приступаю
До праці, до роботи
И вас до цього заклинаю
Всі други патріоти.
Я людям правду розкажу,
Разкрию темні очі,
Я в людях мету розбужу
Тихенько серед ночі.
Я з своєго шляху не зайду -
Візьмуся до роботи.
Я України ще знайду,
Синів и патріотів.
Мій шлях зарощений терними
Я буду бодрий ним ітти.
А може - іншими шляхами,
Та не до іншої мети.

25. Годі спати!

Україно, рідний краю,
Годі спати! Уставай!
Ти в неволі, ти в ярмі
Ти за гратами в тюрмі.

Тебе ядом напували
Ти заснула - закували.
Ти чужинцями закута
У тяжкі залізни пута
Україно, не дрімай!
Годі спати! Уставай!
Подивись на теэ поле,
Де вродилась твоя воля.
На тім полі хліба море,
А народ наш терпить горе.
Люди в злиднях, люди голі,
Люди плачут у неволі,
Україно, годі спати,
Вже пора тобі устати.
Мы давно тебе будили,
Щоб усталла ти з могили.
Час прийшов, і ти проснулась
Воля кровю захлинулась.
У тяжким бою у полі
Полягли борці за волю,
Ти ж ізмучена і в ранах,
Опинилася в кайданах
Україно, годі спати.
Час кайдани розривати!

26. Ми колись були в неволі (25.IV.1941)

Ми колись були в неволі
Та минулося старе.
І тепер на нашім полі
Трактор сіє і оре.
Скрізь тепер у нас мотори,
Сіють, косять і орють

Хліб ізвозять до комори,
Із комори заберуть.
Ми на себе тепер робим,
На своїй таки землі
І всього що ми зоробим
Тільки горб і мозолі.
Скрізь закон один пануэ,
Хто не робить, той не ість.
А найбільше голодуэ,
Той, хто крутить волам хвіст.
І пісні не ті всі стали,
Зараз радісно звучать
"Хай живе наш рідний Сталін"
Цілий день одно кричать.
Ну та як тут не радіть
Не співати дзвінні пісні
Із Кремля нам Сталін світить
Наче сонце на весні.
І настало тепле літо,
В час морозів і снігів
Бо ми ходимо роздії
Без сорочек і штанів.
Слово Сталіна нас грэ,
Таки добре пригріва.
Без кожухів ми потіэм,
Піт нам очі залива.
І від променів пекучих,
Що так... із Кремля
Люд тіка в тайгу дрімучу
Киди рідні поля.
Покидаэ рідні хаты,
Холодка іде шукати.

У Киргизію, в Сибір.
Не тікайтэ, добрі люди,
Холодка і там нема.
Ще жаркіше вам там буде,
Як захватить вас зима.
Не тікайте на чужину,
Дощ на заході вже йде,
Може і в нас я якусь годину
Грім повстання загуде.

27. Більшовицкі окуляри (25.XI.1941)

Ходить дядько по базарі
Щось купити хоче
Купив собі окуляри
Тай надів на очі.
І дивиться через скяльце
Вшн на соломину,
А вона йому здається
Як товста дрючина.
Подивився він на руку -
Ніхоть, як лопата...
Оце добра - каже штука./ Збільшуз багато.
Раз на сборах, чи на радах,
Чи то було свято,
Агитатор в окулярах
Щось брехав завзято.
Як то наші всі народи
Та живуть багато,
Які велетні заводи,
Вміють будувати.
Яка армія велика,
Які танки з сталі,

Який мудрий та великий
Рідний батько Сталін.
Під кінець ції пропові
Наш дядько озвався:
"Красномовний агітатор
Дуже забрехався.
Бачте, наші комуністы
Окуляри мають,
А вони, як я дізнався,
Дуже звеличують.
А наш тоже агітатор
Окуляри маэ,
Через те він і Сталіна
І все вихваляэ.
Та нашо дурить людей,
Коли сам не бачиш,
Окуляри скинь з очей
Тай тоді й побачиш!"

28. Краше там, де нас немаэ (присказка) (18.XI.1941)

Як пів Польщі зайняли
Частини совєцькі
Один дядько хотів іхатъ
У землі німецькі.
Він пішов до комісара
Росказав, що хоче,
Комісар від здивування
Аж витрішив очі.
- Чого - каже - туди іхать?
Там же горе людям!
- Та, нічого - дядько каже, -
Нам там краще буде.

А комісар: "Де нас нема,
То там тільки краще!
- Туди й хочу,- дядько каже -
Де не маэ вас ще".

29. Як усміх сонечка... (26.XII.1941)

Як усміх сонечка ясного,
Що сяэ широ на весні,
Так усміх личка молодого
Завжди ввижається мені
Мени ввижається щоночі
Весело личенько твоэ
І щастям в ... начиті очі
В ніх напевно чаруэ.
Із них без... ласка сяэ,
Тепло з них сяэ і краса,
Іх глибині конця не маэ
Мигтять як зорі в небесах.
Як наші погляди зустрілись
І ты всмахнулася мені
Любовна іскра розгорілась
У мене в груди глибині
Вночі і вдень про тебе мрію
Весь час хожу, як сам не свій,
А в серце ще жива надія:
Зустріть ласкавий погляд твій.

30. Наша спілка (27.XII.1941)

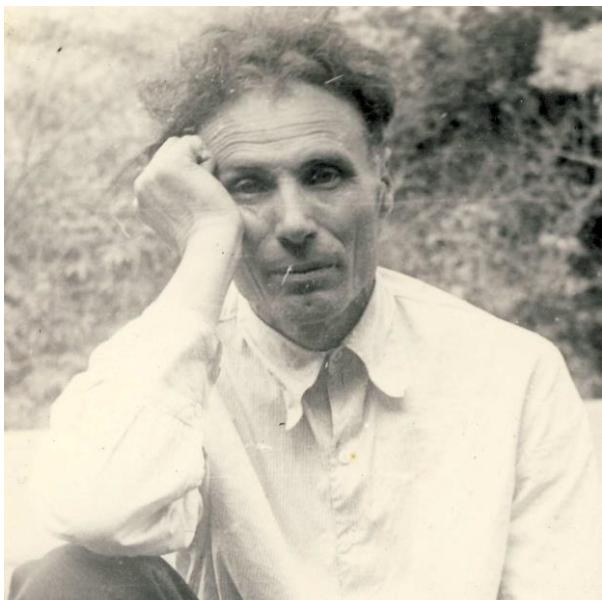
Наша спілка таємнича
Скута думкою святою,
Всих братів до згоди кличи
Стать за волю зве до бою.

Ми не хочем жить рабами
І чужинцеві служити
Всі ми мріємо віками
Самостійно, вільно жити.
Всі ми будем працювати
Для добра свого народу,
Темні очі просвіщати,
Розвивати любов свободи.

Приложение 4.

Красовитов Юрий Иванович (19.03.23-28.12.92) Воспоминания

Первое утро.



Солнце

засветило на верхушках черешен и повисло в небе большущим коржом. Птички, радуясь славному утру, заполнили садочки веселым щебетом. И вот солнце уже висит над черешнями. Капли росы, что повисли на концах листочеков, заискрились тысячами маленьких солнц.

Посередине двора, между хатой и повиткой (сараем) ровным столбом высоко в небо поднимается дым. Это мама, поместив на кирпичах ведровый чугунок, варит на вечерю. Что -

сказать трудно. Стакан пшена, несколько мелких картошек и на полчулуна - крапивы, щавеля и иного бурьяна. Мама его рвала, перебирала, мыла, мелко резала. Что-то варится - то ли суп, то ли борщ, определить трудно. Но если подсолить, то вечером и за ухо не оттащишь от миски.

Вот за завтраком такой чугунок опорожнили и разошлись работать. Брат - пасти чужую худобу, сестра - полоть чужой огород. Только маленькая Маруся - в колыбели, что висит на причелине под хатой. Она поела и спит, а мама хлопочет у огня. Я же ей мешаю: то нож унесу, то ложку, которой она мешает в чугуне, обваляю в пепле...

Спрашивается: и почему мама с утра уже готовит ужин?

- А потому что не привыкли обедать, некогда, а главное, продукты экономятся...

Вечером приедет отец. Еще вчера в ночь он поехал подводою за 35-км на железнодорожную станцию - возить оттуда в соседнее село кирпич. Там будут строить школу, чтобы учить в ней строителей коммунизма. Кирпич возили все крестьяне, которые в своем хозяйстве имели коня. Выезжали в полночь, а приезжали домой лишь на другие сутки вечером или поздно в ночь. И это была не единственная работа. Они же пахали государственную землю, гарбарували (?), возили лес для строительства. Делали все, где не обойтись без коня и повозки.

Работы хватало каждый день - и летом, и зимою. Звалась она гужевая повинность (гужтруд), от которой никто не освобождался - ни больной, ни старый. Причем гужтруд не оплачивался. Свою же работу выполняли ночами или в редкие выходные.

И вот сегодня приедет отец, сильно утомленный и голодный, да и мы за долгий день проголодаемся, как волченята. И варить не будет времени - сразу все до мисок, мама только успевай подсыпать.

Управившись на "кухне", мама пошла полоть огород, а мне велено гулять во дворе и, если Маруся заплачет, сразу звать ее.

От улицы наш огород отделен густою желтою акацией - как природной оградой. В середине ее разрыв метра на четыре - как въезд на двор.

Дальше квадратный вишневый садочек, а за ним - хата. Стены ее неровны, но хорошо выбелены. Крыша не рублена, без гребня. Сверху выступает четырехугольный плетеный из ивы дымарь (труба). Напротив хаты - повитка, между ними площадка двора... Близ повитки участок для соломы и дров. За повиткою до черешен, что посажены у поля, тянется ряд вишен. Это наша граница от Одарки Перепички. За хатою участочек малины. От желтой акации между малиною и голубою клуней (сараев) - до черешен еще ряд вишен - это еще одна граница от другого соседа, Голуба Ф.

События моего первого года жизни.

Родился я шестым в семье 19 марта 1923года. Этот год был продолжением страшного голода и эпидемий, унесших много тысяч жизней. Еще не оправившись полностью после брюшного тифа, отец был вынужден встать с постели, так как уже мать, едва родив меня, слегла в тифозной горячке. Жили мы тогда в хате маминого брата Клима. Сам он, разойдясь в это время с женой, жил в другом месте. Мои братья и сестры были всего на один год старше друг друга.

После тяжелой болезни, в страшное голодом время, с бредившей в тифозной горячке женой, с голодными детьми и только что родившимся ребенком, которого неизвестно чем кормить - ведь в груди матери не было молока, в чужой хате и без всяких материальных средств! И все же мы выжили!

Это подобно фантастике: мать выздоровела, никто из семьи не умер, даже я, ни разу не кормленный грудью матери. Как смог отец в таком положении сохранить себя и семью?

В это время заселяли хутор Юрково. В давние времена хутор принадлежал какому-то казаку Юрку. Там брала начало небольшая речушка, на которой был устроен довольно большой пруд. А рядом располагалась усадьба казака. Еще можно было

видеть развалины различных построек - дома, бани и пр. От прислуги богатого казака на хуторе остались жить десятка полтора старожилов. У них были сады из яблонь, слив и вишен, огороды и поля жирного чернозема, не требующие удобрений. Земли было много.

Вытекая из пруда, речушка продолжала течь ровной лентой, расширяясь и пополняясь водой из родников, по красивому лугу с примыкающими к нему огородами. По всему лугу одиночно или небольшими группами росли кудрявые вербы, а между ними заросли верболаза...

О том, что просьба о наделе землей в Юрково решена положительно, отцу сообщили в конце зимы. Но только весной он смог явиться на свой надел. Он увидел: по обоим берегам речки были размежованы широкие ровные улицы, а по обеим их сторонам, к реке и полю, запротоколированы четырехугольные наделы ровно по 0,61 га. Незаселенных участков оставалось уже не больше полутора десятка, и располагались они по всему хутору, по какой-то причине обойденные первыми поселенцами. Отец выбрал себе участок на восточной стороне хутора, где до конца хутора уже было застроено четыре усадьбы.

Оставив двоих старших детей, Алешу и Раю, на попечении бабушки (с маминой стороны), наша семья переселилась на хутор, т.е. на четырехугольник черной земли, где не было ничего, кроме зеленых ростков буряна. Сгрузили несколько подушек, мамину свиту, отцовский "бобрик" (верхняя одежда для холодной погоды), несколько домотканых ряден (одеял), старую кадушку, гребень, гребенку, мотовило, ступу, жернова, топор, пилу. Самое ценное - восемь прекрасных ульев и столярный инструмент осталось у бабушки.

Еще до голода, учительствуя на Донбассе, отец любил в свободное время столярничать. Он приобрел токарный (конечно, ручной) станок, разные фуганки, рубанки, стамески, долота, сверла. В тех местах пашни было мало, зато степи покрывались сплошь разнообразными цветами - раздолье для пчел. И отец сам сделал восемь ульев с точеными задвижками. Когда голод принудил бросить те края, то инструмент и эти

ульи отец не бросил. Три месяца, рискуя жизнью от разных, банд и голода, он переносил их с платформы на платформу, пока не привез-таки к родичам жены. И теперь они в сохранности стояли у бабушки под сараем, но вместо пчел в них хранились инструменты. Рядом стоял токарный станок. Пока просто некуда было их перевозить...

И вот переезд закончился. Мать села на свое "богатство", сваленное в кучу, как бы боясь, чтобы оно не разбежалось, рядом уложила на подушке меня, спеленатого. Отец сел рядом на ступе и, услышав ее первый вопрос: « С чего начинать будем?», долго раскуривал трубку. Растиртый в пыль табак не загорался.

- Думаю, начнем с жилища... - но не успел разъяснить, как приблизились несколько мужчин и женщин:

- Здравствуйте, дорогие соседушки! Пусть у вас будет новая богатая жизнь на новом месте! Пусть плодятся телята и ягнята, и поросыта, жито-пшеница и всякая пашница! Пусть рождаются хлопцы и дивчата, чтобы была веселая хата!"

Одна из женщин отошла к месту, где предполагалось строить хату, и на четырех углах высыпала по горсти ржи, пшеницы, гречихи, проса, овса и прочего. Отец и мать горячо благодарили за теплые пожелания. Когда окончилась церемония знакомства, пошли деловые разговоры. Тем временем подходили все новые и новые люди.

В Юрково уже жила семья маминого брата Данилы. Он, получив от старшего брата Ивана откуп за свою долю на родительской усадьбе, купил в Юрково неплохую, по тогдашним представлениям, хату, и можно было бы на первых порах рассчитывать на приют у них. Но семья Данилы - семь человек, и если подселить к ним еще и нас, то места не хватит и на полу. Правда, мать рассчитывала, что брат ей не откажет поселиться на какое-то время в сарае. Но, когда ехали, она немного отстала от повозки, отвечая на вопросы любопытной женщины, а отец тем временем миновал двор шурина и решительно сгрузил пожитки на своем голом участке.

Многие люди, что сошлись на наш будущий "двор", предлагали свои сараи, благо, еще не занятые. Две бездетные пары приглашали жить в их хатах, ссылаясь на присказку: "В тесноте, да не в обиде!" И чтобы никого ни обидеть отказом, отец во всеуслышанье объяснил собравшимся свой план действий: сначала соорудить курень (шалаш), чтобы укрыть семью от дождей. Потом обсадить огород. До середины лета наделать саман, сложить хату и до наступления холодов войти в нее.

Некоторые люди, припоминая свое поселение, с сомнением мотали головами, дескать, не выйдет...

-Все выйдет! - заявил отец, - вот только где достать жердей?

Ему показали хату лесника неподалеку и начали постепенно расходиться. Оставшись одни, мать и отец оставили имущество и меня на попечение Нины и Жени, а сами пошли на другой берег реки, где, занимая площадь двух огородов, была болотистая балка, заросшая осокой и верболазом. К вечеру две копны осоки, связанный в снопы, стояли на дворе.

Так началась наша жизнь на новом месте. Правда, вечером мать со мной, Ниной и Женей пошла ночевать к Даниле, а отец, расстелив несколько снопов осоки, укрылся бобриком и, не снимая сапог, уснул.

Спал он крепко, но под утро стал зябнуть и проснулся. По всему хутору, то рядом, то далече, пели петухи. Вот кто-то хлопнул дверью. Небо светлело, прятались звезды. И отец поднялся с "постели". Взял ведра, пересек улицу, вошел во двор Якова Ярового, и по тропке, что делила огород на две ровные части, подошел к речке. Она еще чернела двухметровой лентой, местами суживаясь до того, что через нее можно было легко перешагнуть на другую сторону. Но удивительно, что вода заполняла русло речки бровень берегов, казалось, даже выше их. Значит, много родников питает ее. Захватив немного воды ведром, отец напился. Вода казалась холодной, хрустально чистой и вроде даже сладкой. Верболаз и вербы, выбросив "коники", сгостили свои кроны. Луг покрывался зелеными

иголками пробивающихся ростков... Красота-то какая! Будничные хлопоты с их тяжестью как-то не совмещались с нею.

Он умылся, набрал полные ведра воды. Рабочий день начался.

Утро наступало быстро. Боясь, чтобы лесник не уехал на работу спозаранку, отец поспешил к его хате, благо она была рядом, только пройти дворы Ярового Якова и Швинки Павла.

Начало строительства. На дворе лесника была хорошая хата, сарай метров в 12, еще несколько строений поменьше. Отец остановился на улице - будить незнакомого человека было как-то несподручно, и он даже решил прийти попозже. Но во дворе послышался кашель и мужской голос: "Заходите, заходите!" - Мужчина среднего роста в черном рабочем костюме, в фуражке с лакированным козырьком, медленно шел навстречу отцу. Уже было довольно светло, и отец хорошо разглядел морщинистое, с желтизной кожи, лицо, блестящие глаза, как будто покрытые каплями воды, худые с тонкими пальцами руки.

- Доброе утро, Василий Афанасьевич! - поздоровался отец, желая отрекомендоваться для знакомства. Но лесник опередил его:

- Я Вас знаю, хотя и впервые вижу. Такая моя должность. Каждый новый поселенец, явившийся осваивать свой надел, сразу обращается ко мне, а я каждого из них знаю еще с тех пор, как им этот надел только утвердили. И, конечно, знаю их нужды...

- Очень благодарен Вам за избавление от хлопот лишних объяснений. Но ни денег, никаких иных ценностей, чтобы оплатить материал, сейчас у меня нет, но я надеюсь, что со временем и трудясь...

- Я все понял и рад Вас успокоить. Конечно, у меня нет возможности дать вам сразу весь нужный материал: будем заготовливать по одной-две балки, а Вам их, в зависимости от размера, понадобится 12-14 штук. С кроквами (стропилами) и латами крыши будет проще. Когда и что можно взять, я буду

Вам сообщать. А за деньги Вы не беспокойтесь, время покажет, как нам рассчитаться. До свидания! - И лесник, решив, что разговор окончен, повернулся уходить, но отец удержал его:

- Василий Афанасьевич! У меня есть еще одна просьба: негде детей укрыть на ночь в непогоду. Хочу сделать курень, а для него нужны жерди...

- Приезжайте к лесниковой хате, что-нибудь сделаем...

Хотя люди говорили о леснике разное, но все же он - хороший человек. Отец мало его знал и судил по своим первым впечатлениям.

В революционных событиях и гражданской войне Василий Афанасьевич непосредственно не участвовал. Но очень хотел, чтобы советская власть считала его своим, революционером. Для этого он своих детей - моего одногодка Виктора и меньшую на два года Розу - не крестил, а по новому "обряду" - "звездил" (старшая Мария родилась в 1917 году и была уже крещена). Но, приняв на селе этот обряд первым, он оказался и последним. Никто больше не пожелал своих детей "звездить".

В те годы правительство настолько оголтело вело борьбу против религии, что доходило до абсурда. Например, если кто после предупреждения не сдавал религиозные книги, то его забирали, как контрреволюционера. Запрещалось в хатах иметь иконы. В школах всячески поносили попов, рисуя их детям в виде пауков. Не зная, чем занять детей на уроке, "учитель" заставлял детей кощунствовать - "наставлять богови дулю". Происходило, кстати, это так: учитель, скрутив кукиш, тыкал им в угол, повторяя: "Вот, Бога нет, дайте, дети, Богу дулю!" Дети делали дулю, но давали ее учителю.

Взамен венчания вводили комсомольские свадьбы, взамен крестин - "звездины". Но все эти выдумки не прижились в народе. Тайно крестили, тайно венчались. Новым обрядам мешали не только привычные, утвердившиеся тысячелетием обряды, а и неуклюжесть, неоформленность, надуманность этого, якобы, нового.

А некоторые события только укрепляли веру людей. Вот что случилось в соседнем селе.

Молодая девушка жила с матерью, родных больше никого не было, и они очень любили друг друга. Мать, как принято, соблюдала религиозные праздники, имела в хате иконы, иногда читала молитву. Как и у большинства крестьян, не было в этой семье ни религиозного фанатизма, ни хулы на Бога. Подобно матери, поступала и дочь. Но, окончив 7 класс - по тем временам немалое образование, она поступила в комсомол. За активность и организаторские способности ее назначили комсоргом села. И вот высшее начальство поставило перед ней трудную задачу: всю молодежь, девушек и юношей соответствующих лет, втянуть в комсомольскую ячейку, организовать пионеров и т.д. И она отлично справилась с заданием. Ячейки из семи, пяти или даже из трех комсомольцев - это уже хорошо, а она смогла сагитировать 8 человек. И пошли у нее совещания, съезды, комитеты, заседания, пропаганда, агитация. Ей грезилась райская жизнь, но как ее можно достичнуть, она не имела даже приблизительного представления. Уже то, что она стала начальством, и высшее начальство ее уважает, ставило ее в своих глазах выше других, удесятеряло ее рвение. И еще ей давали то конфискованного у кого-то сала, то отобранного у кого-то хлеба. Скажет она, что нет дров - везут дрова и т.д. Чем не преддверие коммунизма? Другим такое недоступно.

И девчина стала меняться. Перестала просить подчиненных, приказывала, и те исполняли. В результате - сладостное чувство власти. Но вместе с этой сладостью появляется жестокость до садизма. Из любящей нежной дочери она превратилась для матери в лютого врага, заявив: "Не потерплю икон в хате!" И запретила матери молиться. Родной тетке запретила навещать свою мать только потому, что та иногда читала Псалтырь у гроба покойника.

Однажды мать возвратила выброшенные иконы на свое место и заперла свою комнатку. Но пришла дочь, увидела в углу иконы, вновь сняла их и выкинула под хату. Потом схватила

мать сзади за косы, вывела ее во двор, повалила на колени возле икон и, дергая за косы, стала толочь стекла икон лбом матери, приговаривая: "Бей поклоны своим богам последний раз, так что бей сильно!"

На улице собралась толпа, но никто не смел и рта раскрыть, знали: покажи она на кого угодно и... Подробивши материнским лбом стекла икон на мелкие кусочки, она, наконец-то, бросила ее. Люди не расходились, но старались прятаться за спину друг друга. И вот на виду у всех она взяла вилы и попротыкала в иконах дыры, где были глаза. Вот, мол, глядите, что я с иконой делаю, и ваш Бог мне ничего не сделает! Но она ошиблась. Мать с окровавленным лицом, держась за стены, ушла в хату.

Вечером на наряде эта богохульница заявила, что ей нужна солома. И бригадир утром дал наряд на воз соломы. Сложили ее как обычно на повозку - четырехугольником по 2-2,5 м, а сверху прижали толстой длинной жердью-врубелем. Спереди врубель вдевается в веревочную петлю ниже уровня соломы, а сзади притягивается к повозке другой веревкой, сколько есть силы. Такой затяжки достаточно, чтобы солома не растряслась по дороге. Чтобы не нести вилы в руках, человек, накладывавший солому, воткнул их сверху соломы, приковов нечаянно и врубель. Так и доставили заказанную солому к поджидающей хозяйке. Когда повозка заехала во двор, она показала место, где сбросить солому, и не ушла сразу. А мужчины привычно распустили сзади натянутую веревку. Настал момент, когда освобожденная жердина сработала как пружина, и воткнутые вилы взметнулись вверх, на какое-то мгновение остановились и под тяжестью железа полетели зубьями вниз. Хозяйка посмотрела вверх, и в это мгновение зубья воткнулись в ее глаза. Она свалилась на землю вместе с вывороченными глазными яблоками. Обомлевших от боли дочь и от ужаса мать доставили в больницу в семи километрах от деревни...

Конечно, люди задавали себе вопрос: "Что это было?" Но у большинства такого вопроса не возникало. По их твердому

убеждению, то было наказание Господне. Молва расходится быстро, и скоро множество людей даже издалека приходило в это село узнать, правда ли, что такое произошло, не врут ли. А убедившись, разносили эту весть все дальше и дальше.

Старая мать после больницы ухаживала за дочерью, как за маленьkim ребенком, старалась, чтобы у нее не было никакой нужды. В больнице ей сшили веки, чтобы глазницы не зияли пустыми дырами. Вскоре мать умерла. После похорон dochь бросила хату и куда-то исчезла. Но через три года появилась в своей хате с ребенком на руках, и жизнь ее была незавидная.

Но вернемся к Василию Афанасьевичу. Он болел туберкулезом, и болезнь его прогрессировала. Сам чувствовал, что скоро конец. Чрезвычайно скучая, ленивая и безразличная ко всему жена не очень-то пеклась о нем. Ел он не вовремя, больше всухомятку, что сам найдет съестного. Два года спустя он умер.

С лесоматериалом на хату он, конечно, помог, но отцу за них пришлось тяжко отрабатывать: он убирал полевой надел лесника, косил, свозил, а зимой перемолачивал зерно. Приходилось даже чистить зерно.

Сын его Виктор был моим товарищем с трехлетнего возраста до переезда на другое место жительства.

Весна в тот год была теплой, погожей. Курень у отца вышел на славу. И будто для испытания его надежности прошло два коротких, но сильных дождя - и течи не оказалось! В курене хранилась семейная постель: перина, подаренная маме старухой-фельдшеркой, которая лечила ее от брюшного тифа, еще четыре подушки с гусиным пухом, несколько домотканых одеял, детская одежда (платьица, юбочки, штанишки), зимняя и летняя одежда отца и матери, полушибок и свиты. Свиты носили женщины и мужчины зимой и прохладным летом. Остальные хозяйствственные вещи располагались на дворе, прямо под небесным шатром.

Смерть первого сына Алеша.

Вот и посадили картошку, подсолнух, заняв большую площадь. Оставалось высадить капустную рассаду и помидоры. Делами по огороду занималась мать, ей помогали Нина и Женя. Отец же мастерил формы для выделки кирпича.

Вдруг к нему подошел Виктор - старший сын дяди Данилы: "Отец послал сказать: бабушка передала, что Алеша ваш сильно болен".

Услышав про Алешу, сразу прибежала мать: "Что такое, Витя? Что с Алешей?" - «Он болен, бабушка сказала... »

Все 8 км до села мать бежала, не чуя ног. Мальчик лежал в сильном жару. Глаза закрыты, на лбу мокрая тряпка. У изголовья - плачущая бабушка, в ногах - Рая с красными от слез глазами.

- Давно он спит? - спросила мать.

- Ночью немного спал, а потом все бредил, разобрать можно только "мама"... В слезах побежала мама к доктору Цветанову, был у нас такой болгарин. Обследовав Алешу, он сказал: "Двухстороннее крупозное воспаление легких, положение мальчика тяжелое, но будем надеяться". Выписал рецепт, дал кое-какие советы по уходу и ушел.

Полтора месяца боролся маленький организм с болезнью, то подавая надежды, то морозя душу ухудшением. Был ясный день, зелено, расцветали пионы - в этот день жизнь покинула его тело. Алеша был первым сыном, очень умным и красивым мальчиком. Видя мать часто в печали, он подходил к ней, гладил по голове и утешал: "Не журись, мама, мы вот вырастем, будем помогать, и вам с отцом будет легче жить".

Эта тяжелая потеря очень повлияла на нашу дальнейшую жизнь.

Отцовский труд.

Наискосок через дорогу от нас, рядом с Яковым Яровым, жила семья Цегельников: родители преклонного возраста, дочь

Ульяна 27 лет и сын Федосей на год младше Ульяны. Парень он был хороший, честный, заботливый, но обиженный судьбой. С груди и со спины у него выпирали большие горбы, кроме того, он был болен сердцем, легкими и страдал одышкой. Старики же работать были уже неспособны. Ульяна пряла, ткала, шила, стирала - женской работы было невпроворот. Поэтому вся тяжелая мужская работа ложилась на больные горбы Федосея. Много хлопот было ему с лошадью. Видя, как тяжело приходится Федосею, отец часто, бросая свою работу, шел помогать соседу. Те, в свою очередь, при нужде давали лошадь для разных поездок.

Давая понять, что личное - уже не личное, и что право на имущество не имеет значения, да и сам человек не личность, а государственное орудие производства, лошадь Цегликова закрепили за отцом и обязали его исполнять гужтруд. Так и начал он тянуть еще одну тяжелую упряжку.

Саман для хаты ему приходилось делать при луне, в редкие часы пребывания дома.

Конец июля. Давно не было дождей... В полночь отец запряг лошадь. Подъехали Тимофей и Левков. Вместе с отцом они возили кирпич на строительство семилетки. Брали на воз 200-250 кирпичей. Один рейс занимал двое суток. Мать положила отцу в сумку несколько картошек в мундирах, огурцов, луковиц, творожку и коржей. Соль в пузырьке, закрытом пробкой, имела постоянное место в сумке. Эта еда - на двое суток. Предвидя жаркую погоду, отец даже верхней рубашки не одел, хотя мать его об этом просила.

Выпроводив отца, мама больше уже не ложилась досыпать, а, взяв ведра и коромысло, пошла к реке. Так заполнила водой всю посуду, кадушки, чугунок, котел. Перед приездом отца она замесит раствор, и он сразу же начнет формовать саманные кирпичи.

Пожар.

Один раз мама покормила меня с соски и положила в курень спать, завесив от мух простищею, а затем, покончив с кормежкой детей, она решила сходить на речку простираять пеленки и принести еще пару ведер воды. Но, выжимая пеленки, она почуяла едкий дым. Выпрямилась и увидела: что-то горит во дворе Ярины Яровой. Зачерпнув в ведра воды, побежала туда и увидела, что горит наш курень! Когда подбежала, то увидела, что он весь стал уже огромным клубом жара, объятым кроной синего пламени и дыма. А невдалеке из комка горящих тряпок раздавался душераздирающий крик. Возле, громко плача, сутилась Рая. Подсознательно мать вылила на этот кричащий ком оба ведра воды, потом выхватила меня из этого чада и обмакнула в кадку. Курень же со всем, что в нем было - догорел. Перья подушек и перины трещали, как сало на сковородке.

Кроме меня, спасти ничего не удалось. Мама осталась в юбке и старой вышитой рубахе, дети - в одних рубашонках, отец - в исподней рубахе, штанах и сапогах, что были на нем. Мне остались пеленки, которые мама только что постирала.

Сбежались люди, но делать было уже нечего. Вся одежда и постель сгорели до последней тряпки. А получилось это так. Взамен печки на дворе было несколько камней, положенных так, чтобы между ними можно было разводить огонь, а на камнях ставить горшок или чугун. Из такой печки в ветряную погоду легко могли выскочить горящие щепки. Но, понадеявшись на тихую жаркую погоду, мать подложила сучьев и поставила варить на ужин фасоль. Фасоль варить надо долго, вот мама и решила: пусть варится, а я простираю пеленки. Дети же играли в жмурки. Вдруг на дворе закружился воздух высоким столбом, захватывая разный мусор. Пройдя над печкой, этот вихрь выхватил пук горящих веток и бросил их на курень. И тот вспыхнул, как спичка. Дети испугались и спрятались за штабель готового самана. Но старшая Рая услышала слабый крик в курене и вспомнила, что там лежит спеленатый братик. Подбежав, она приостановилась в

нерешительности перед треском и шумом пламени, но секундная боязнь исчезла от слабого визга, и она бросилась в злое пламя, выхватила скулящий и горящий сверток, и сама горящим факелом выскочила из этого ада на воздух.

Так я еще младенцем чуть не стал жертвой всесильного огня.

Сколько же пришлось отцу и матери поработать, чтобы добыть хоть какую одежду всем! Ведь близилась осень, а там и зима. И потому сложить в этот год хату им не удалось. Все силы пришлось потратить на приобретение одежды и самых необходимых тряпок.

Осень и зима.

Мама крутила прядлку, а Рая, Нина и Женя мяли босыми ногами лен и коноплю. Это была большая помошь матери. Пряла она чужое и этим зарабатывала какую-то часть ниток. Из заработанного ткала рядна и полотна на рубашки и штаны.

Отец помогал убирать урожай леснику и другим, кто его просил. Пахал чужие наделы. В этот год наша семья тоже получила надел земли. Один раз сеяли озимую пшеницу и жито, другой раз земля пошла под яровые, третий - толока, чтобы земля один год необработанной уходила под буряны... Все наделы были далеко, за 2-3 км один от другого, чтобы вспахать и посеять рожь и пшеницу, отцу надо было заработать у людей на лошадь и зерно. Весь свой клин отец засеял рожью, так как от нее - и хлеб, и солома на крышу хаты.

В редкие часы отдыха отец работал на огороде. Из села он привозил саженцы вишен. Усадил по границам от Голуба и от Перепички по два ряда вишен. Отметил колышками место для хаты и посадил садик с таким расчетом, чтобы хата стояла в садике, кроме лицевой стороны. С тыльной стороны от Голуба он посадил малину. От дороги взамен забора высадил желтую акацию.

Дядька Данила и его семья.

13-летним подростком Данила стал учеником еврея-сапожника. Условия его учебы были такие же, как и у всех тогдашних частников - портных, сапожников, кузнецов и т.д. Ученик должен был работать на учителя год-два до тех пор, пока не станет мастером своего дела. Сапожник оказался жадным и скрупульным, старался выжать из учеников как можно больше прибыли, но зато требовал чистой работы. Чуть замечал фальшивь, заставлял переделывать по нескольку раз. Такая требовательность не давала ученикам возможности привыкнуть к халтуре и привила им вкус к красоте хорошо сделанной вещи. И о Даниле потом говорили: "Ну, сделал сапоги, как лялечки!"

Наконец, учение закончилось. Данила с радостью ощущил свое прочное место в жизни. Ему 16 лет, он здоров и красив. Темные волосы зачесаны с пробором, черные брови, мраморно белое лицо. Тонкие черные усики он завивал вверх. Главное - в его руках было ремесло, которое сулило неплохую жизнь. И вот, взяв в сумку железную сапожную лапку, шило, смолу и воск, простился с домом и ушел.

Работал он на дому у заказчиков. Заказчики давали ему приют и кормили, пока не будет выполнен весь заказ. Хозяева шли на такой порядок работы с большой охотой, так как видели, что материал идет именно на сапоги и не крадется. И вот слава о сапожнике, который делает чудо - обувает всю семью, летела по округе. Его перевозили из села в село, с городка в городок. И однажды он услышал, что рядом Киев - мать русских городов. В кисете он чувствовал приятную тяжесть металлических монет разного достоинства и металла. Там обитали даже золотые рубли.

Данила решил: пойду в Киев, посмотрю Лавру, реку Днепр и другое что интересное, поработаю там, и в обратный путь, домой. Киев показался Даниле живой сказкой. Кипящая жизнь большого города закружила его, как в сказочной карусели. Ему было интересно везде побывать и все испробовать. И потому скоро он ощутил, что кисет его заметно

полегчал. Денежки таяли, как лед на солнышке. Созревало решение двинуться в обратный путь. Но случай изменил его решение.

Перед тем, как покинуть Киев, он решил купить несколько пар сапожных колодок разных фасонов и с этим пошел на рынок. Здесь он неожиданно встретил бывшего соседа. Это был офицер, улан лейб-гвардии кавалерийского полка охраны Его Величества императора Николая II - Мурза Мирон Андреевич. В Киеве он случился по каким-то казенным делам. Обнялись они, как родные. Мирон Андреевич, красивый и обаятельный, в красивой кавалерийской форме, повел его к себе на квартиру, где собирались его друзья. Скоро офицеры узнали, что молодой человек прекрасный сапожник и завалили его работой: сапоги, штиблеты, ботинки разным барыням и барышням. Платили, не скучаясь. Мирон Андреевич устроил Данилу на квартиру и уехал в столицу. Это была небольшая пристройка к большому дому, принадлежавшему старой женщине, предназначенная раньше для дворника. Там была кровать, печка для обогрева, и уж сам Данила поставил сапожный стол для работы и несколько полочек для инструментов. Жил он скромно, уютно, а главное - дешево. Работал он много, увлеченно, клиентов было много и почти все - богатые люди.

Но назрели грозные события. Киев захлестнула революционная волна. Демонстрации, забастовки, непонятное брожение в народе. Работы стало меньше. Вынужденно бродя по улицам, однажды он встретил молоденькую девушку, богато одетую и очень симпатичную. Она так ему понравилась, что он, преодолев свой страх, заговорил с ней. Она же ласково ответила на его вопрос. Знакомство состоялось. С этого дня они часто встречались, полюбив друг друга, поженились. Ольга Павловна служила горничной в очень богатой дворянской семье. Большой дом был все время переполнен гостями, одни уезжали, другие приезжали. Принимала гостей чаще всего именно Ольга Павловна.

Ее молодость и красота, дополненные непринужденной услужливостью, покоряли молодых и старых повес. За наброшенный на плечи величественно, с очаровательной улыбкой, плащ гостя Ольга Павловна получала часто рубль золотом или трояк ассигнациями. За надевание галош гости иной раз надевали ей золотой перстень на пальчик или золотые сережки в ушки. Таким образом, у нее насобиралось много ценностей - браслеты, кольца, серьги, золотые, с камнями и без камней, золотые рубли и пятерки. Все не золотое она раздаривала другим слугам и лакеям.

Но когда наступил 1917 год, то все ее хозяева и покровители удрали за границу. Под впечатлением разных разговоров, боясь ограбления, Ольга Павловна связала в платок три килограмма своих ценностей и сдала их в банк. Ведь банк во все времена русского государства был гарантированным хранилищем ценностей, государственных и частных. Сдав в банк свои ценности, она не сомневалась, что пройдет буря, и она вернет то, что сдала. Откуда ей было знать, что настало время, когда никто никому ни в чем и ничего не может гарантировать, и не будет гарантировать.

Ольга Павловна и Данила занимали тесный флигелек в бывшем барском доме, где разместился какой-то рабочий комитет. Начали рождаться дети. Первым явился на свет Витя, потом Сережа, за ним Дима. Жить становилось все труднее. Шило и дратва лежали на сапожном столе без употребления. Люди становились все более ободранными, им было не до обуви и одежды. Желудок все более требовательно обращал на себя внимание. Начался голод.

Выход был один: уехать в родную деревню. Но Ольга Павловна все оттягивала отъезд, надеясь получить хоть часть своих сокровищ. Пока Данила не сказал твердо: "Пустая это затея, когда все рушится и не к кому обращаться. Мы дождемся лишь, что дети станут умирать с голода, а получить тебе ничего не удастся!"

Наконец, они выехали. Родительскую старую землянью хату занимал старший брат Иван. Старшая сестра Василиса

была замужем за Павлом Захаровичем Крицким- неграмотным, жадным и во всех отношениях дурным человеком. Младшая Груня была замужем за приезжим учителем, кроме диплома и 35 рублей зарплаты не имевшего ничего. После же революции он потерял и это. Средний брат Клим женился, купил себе участок и построил довольно приличный домик с железной крышей.

Отцовский огород в 20 соток Ивану теперь пришлось поделить с Данилом. Жена Ивана была сирота-бесприданница. У них было двое детей: Мефодий и Ольга. С Иваном же жила и мать их Марта.

Делить крестьянскую землю тяжело, а когда ее кот наплакал, то еще тяжелее. Даниле вместе с десятью сотками земли отошел и повитка. Из нее получилась хатка. Я избавлю читателя от описания жизни двух братьев в соседях. Это прекрасно описано в книге "Кайдашева семья" (?) Но Иван и Данила все же поняли, что жизнь их будет всегда отравлена мелочными житейскими спорами. И тогда при помощи родственников Данила купил хату в хуторе Юрково. Когда же наш отец получил там участок, Данила уже был старожилом хутора, ведь с момента покупки хаты прошло уже три года.

Болезнь Алеси и пожар очень замедлили подготовительные работы на постройке хаты. А уже наступала осень. Поэтому Раю, Нину, Женю отвезли к бабушке, а родители со мной поселились у бездетных соседей, Хитриков.

Это были неопрятные, но добродушные люди. Хата, как обычно - небольшая. В ней печь-лежанка и деревянный топчан вместо кровати. Стены покрыты сажей, лежанка облуплена, земляной пол в ямах. Детей нет - не для кого и заботиться, а потому Сергей и Домна так обленились. В их движениях чувствовалась вялость и апатия ко всему. Только наше вторжение немного оживило их полусонную жизнь. Мама в первую очередь побелила стены, потолок, заделала выбоины и глиной с конским пометом, хорошенько смазала пол. Побелила и подвела печь и лежанку. В хате стало светло и уютно.

Сергей Хитрик, лежа на обновленной лежанке (она была местом сна и отдыха для него, Домна занимала печь, отцу и

маме отдали топчан, а мою люльку подцепили к потолку возле топчана), читал назидательные лекции своей Домне о санитарии и гигиене.

Зимовка

. Зима была снежная и морозная. Сильные метели часто досаждали людям. Все занесло глубоким снегом. Топлива было достать трудно, и в хатах замерзала вода. После завтрака отец уходил на работы с утра до ночи: молотил людям рожь, просо, гречиху. Все стремились к весне окончить с обмолотом. Молотьба была основной работой всю зиму. Сквозняк, пыль, набивающаяся в уши, нос, рот. Цеп, грабли, разъедающий тело пот постепенно сутили его фигуру, морщины лице, уносили силы, а ему не было и 40.

Домна залезала на печь и укрывалась разным тряпьем, Сергей на лежанке укрывал себя кожухом. И между супругами начинались незлобные обвинения друг друга в самых разных областях жизни. Мама пряла пряжу и через пофыркивание (жужжание) веретена слушала их немудреные разглагольствования, а про себя думала: "Как могут эти люди жить вместе, оговаривать, обвинять и ненавидеть друг друга?" - За зиму мама привыкла к их образу жизни и перестала ему удивляться.

Хотя мы перебрались к Хитрику, но продукты, картошку, капусту и прочее пришлось хранить в Даниловом лёху (погребе), где была выделена каморка. Ольга Павловна знала, что мать никогда не может ничего брать не своего, и потому без присмотра позволяла входить в их лех, когда понадобится. Но вот с ее стороны было не так. Мама видела, что большая поначалу куча ее картошки тает, как снег на солнце, так что скоро не станет чем даже сажать огород. Конечно, мама тактично давала понять Ольге Павловне, что видит кражу. Но та продолжала делать свое, оставаясь чуткой, заботливой родственницей. И что сделаешь: ведь ни брат Данила, ни муж не

поверят, что очаровательная, умная и честная Ольга Павловна может взять чужое. И все же мама решила поговорить с братом.

Данила в то время уже болел. Он еще кое-как сапожничал, но большее время лежал в постели, после воспаления легких у него открылся туберкулез, он стал себя плохо чувствовать, таял на глазах, стал раздражительным, и мама, жалея брата, все больше подпадала под власть невестки.

В прежней жизни Ольга Павловна привыкла к горницам, и теперь хлопотала лишь в хате. Работа на огороде была ей чужда, она не брала в руки ни лопату, ни сапу. Когда Данила был здоровее, он шил сапоги, делал ремонт обуви, за что ему обрабатывали огород, сажали, пололи, собирали. Когда же он заболел, эти обязанности легли на мою мать, а позже - на выросших сыновей. Она же ими только руководила.

Привычки, выработанные с юности в панских горницах, не покидали Ольгу Павловну. Все-то она старалась припрятать, приберечь, никогда не используя припрятанного. Оно или пропадало, или по воле случая им пользовались посторонние люди. Так, сданными в банк ценностями воспользовался какой-то неизвестный ей человек. Взятая у нас картошка гнила, в чем она позже сама признавалась, конечно, сожалея о потерях. Таких случаев, как с бестолково взятой картошкой, было много, бессчетно. Удивительно, что, теряя накопленное, она продолжала этим заниматься до самой смерти.

Случилось в ее жизни сильное потрясение. Когда дети ее разошлись по свету, Ольга Павловна осталась одна, но каким-то образом умудрялась делать так, что ей обрабатывали огород, убирали его, а потом, при нужде, покупали прибереженные ею продукты. И таким образом она скопила довольно крупную сумму - около пяти тысяч рублей, все надеялась порадовать этими деньгами сыновей, когда вернутся. Но случилось иное.

С Ольгой Павловной подружилась семья Голуб. Ее меньшой Вася был другом Васи Голуба, а когда сыновья оказались далеко от дома, то старушки делили горе разлуки и сердечно сдружились. Но вот Голуб-отец, узнав о наличии довольно крупной суммы у приятельницы, решил завладеть

этими деньгами. Выдумав какую-то нужду в деньгах, он попросил занять их на короткий срок. Отказать Ольга Павловна ему не могла. Заняла, конечно, без расписки, на совесть. А когда пришел срок, попросила вернуть деньги. Приложив руку к груди и очень сердечно, Голуб ответствовал: "Дорогая Ольга Павловна, но ведь я же вернул Вам деньги... - «Как? Когда?» - «А тогда-то»"

Приехал домой Сережа с женой и ребенком. Надо было строиться - вот когда пригодились бы деньги. Где они? - Деньги занял Голуб... Долго Сережа взывал к совести бывших друзей Ольги Павловны. А те уперлись: "Отдали, она забыла!" - Вот и все.

Пошел Серёжа искать правды к властям, но узнал, что "если есть расписка, то подавайте в суд. Если же расписки нет, то плюньте, разотрите сапогом и выкиньте память об этих деньгах из головы, раз этот человек не отдает их по своей воле".

Годы шли...

Прошло два года непрестанных трудов и лишений. Но радовало сердце, что теперь семья имеет хату и повитку. Посаженный садок рос буйно и роскошно. А когда была сложена из земляного кирпича хата, она оказалась в густой зелени деревьев. По границам от дороги вишни, спереди черешни - в три раза выше вишен, с черными средней величины плодами. Рядом, чуть ниже - шелковица с белыми, очень сладкими, длиной в мизинец пурпурчатыми ягодами. Ряд черешен от поля своими верхами, как тополи, вонзались в небо. По этим-то черешням с любой точки хуторских земель издалека была видна наша усадьба. Повитка, сложенная из такого же самана, стояла прямо против хаты, и между ними образовалась уютная дворовая площадка.

Отец и мать радовалась результатам своих тяжких трудов и после тяжелого дня в виде отдыха любовно осматривали каждое деревце, каждый кустик смородины и малины.

Кроме бытовых условий, кое-что изменилось и в семье. Одна из восьми сестер отца, жившая в Ирпине (пригород Киева), имела двух дочерей. У младшей, Ирины, муж был инженером, и жили они в центре Киева, вблизи от Золотых ворот. Старшая, Надежда, имела мальчика, потеряв мужа на втором году замужества. Сама же Саня, была уже довольно старой женщиной и с трудом обхаживала себя. Надя работала преподавательницей, и потому некому было нянчить ее сына Леву. Вот и решили они взять к себе нашу Раю, конечно, с обещанием, что она будет учиться и т.д. Вот так Раю в свои 8 (???) лет сделалась нянькой и горничной у своей двоюродной сестры (тетя Саня недолго прожила после приезда Раи).

Жарким августом 26 года родилась Маруся. Я в это время уже много шкодил и разбрасывал на буряках отцовский инструмент, за это особенно сердилась мама. Но как бы она ни прятала нож, я его обязательно находил и забрасывалась куданибудь, обрезая себе руки. А злополучный этот нож был один на хозяйстве, и без него на кухне, как без рук. Мама тогда брала меня за ручонку и водила по бурякам. Случалось, что таким образом мы с мамой обходили весь огород, а через некоторое время находили его на улице в кустах полыни.

На наей улице произошли события. У Ярины Яровихи умер муж, а потом куда-то исчез старший сын Иван. С ней остались дочь Санька, ровесница нашей Нины, и Никита, одногодок нашему Жене. Со своего двора я часто видел сгорбленную женщину в хорошей одежде, озабоченно снующую от хаты до повитки и обратно, как будто она что-то ищет. Иногда она поворачивалась ко мне, и я видел оледенелое широкое лицо, немигающие страшные глаза, непонятные движения рук. Мне чудилось, что она ведьма и вот-вот схватит меня и на метле унесет в страшный лес с чертями и ведьмами (об этих тварях я слышал много сказок от Цепельниковой Машки и от других старших девок). С плачем я убегал в огород к маме. Расспросив, она каждый раз уговаривала меня не пугаться. "Баба Ирина потеряла мужа, куда-то пропал сын. Вот она, бедная, мучается от такого горя, а плохого она никому не

сделает". Я успокаивался, но, увидев эту женщину, снова убегал и прятался все время, пока она бродила по своему двору.

1928г.Выезд Цегельниковых.

Помню серое туманное утро. Вся наша улица - возле двора Цегельников. Суeta. Идет распродажа имущества. Нет, это не раскулачивание и не арест врага народа. Еще и слов таких не слышали. Цегельник с нашей улицы и еще пять семей с других улиц добровольно переселяются на Дальний Восток.Мужчины уговаривают старого Цегельника: "Куда тебя несет? Старого, немочного, жена больная, сын горбатый, никудышный работник. Одна Машка разве вас всех прокормит? Зачем тебе искать могилу на чужбине?" Стариk молчит. Наверное, он сознает свою ошибку, но исправить ее нет возможности. Хата продана, остальное и продукты - что проданы, что розданы. А агент по переселению торопит. Вот уйдет эшелон с переселенцами, когда еще будет другой? Может, через месяц, а может, и через год... Где и как это время жить? Надо торопиться.

Женщины торгуются со старым за горшки, миски, макитры, кадушки. Мужики - за лопаты, косы, серпы, бороны, плуг и другой железный, дорогой товар.

Лошадь и телегу Цегельник отдает моему отцу. Ведь отец все четыре года обрабатывал землю свою и его, работал и содержал лошадь. Кроме того, кобыла эта старая, беззубая, скоро будет ей конец. Телега тоже держится на честном слове. У нее справны, может, только оси.

Горбун Федосий безучастно сидит, как изваяние, на колоде и маленькое его лицо закаменело. И только расходящиеся и сходящиеся горбы выдавали, что жизнь в нем еще теплится.

Здесь же я стоял между девками, держась за Нинину руку, и все хотел увидеть. Вдруг Машка схватила меня на руки и залилась горькими слезами. Не понимая, что делается, но чуя, что происходит что-то важное и безвозвратное, я тоже заплакал.

Жаль было Машку. Она часто приходила к нам, и мы с Ниной и с отцом почти каждый день бывали у Цегельников. И никогда Машка не оставляла меня без внимания. Брала меня на руки, подбрасывала вверх, нянчила, а в свободное время рассказывала страшные сказки о ведьмах, чертях, красивых царевичах и царевнах, об Иванах-дурачках. Для меня они были не сказками, а былями. Все это днем жило где-то в лесу, а ночью - даже у соседей. И еще у нее для меня были всегда припасены "петушки". На прощание она всегда выносila красный или желтый на шесточке петушок, твердый и очень сладкий...

И вот она обливает меня, почему-то именно меня, горячей слезой. Девушки и женщины вокруг нас плачут, утирают глаза... Наконец, ярмарка окончена. После многочисленных рукопожатий, пожеланий и напутствий Цегельники уселись на повозку к своим узлам. Рядом с возницей усаживается уполномоченный по переселению - и повозка трогается в путь.

Девушки поют: "Села на машину, дали свисток,/Прощайте, подружки, еду на Восток. / Села на машину, задула в трубу, / Прощайте, подружки, к вам больше не приду".

Поравнявшись с хатой Савгина (это конец нашей улицы), повозка и толпа девушек и ребят скрывается за пригорком и песни почти не слышны. Люди еще некоторое время обсуждают событие, отходя от остолбенения, и уносят по домам приобретенные вещи.

Появление кобылки Машки.

Сухая осень. Все поблекло и высохло. Куда-то девалась сухонькая травка, оголенная земля чернела, отдавая холодом. С тех пор как не стало сочной травы, наша лошадь все больше слабела. Сухое сено за всю длинную ночь оставалось нетронутым до утра. Овес она набирала в рот, но и он, измочаленный слюной, выпадал обратно в ведро. Или стояла, опустив в желоб голову. Отец попросил прийти Мирона Андреевича, того самого, что служил когда-то в лейб-гвардии

Его Величества. Теперь он занимался ветеринарией. Кое-что в этой области он перенял от конских врачей на службе, многое узнал на практике. Так что и без диплома, самоучкой, он имел довольно большой авторитет, как человек знающий...

- Эге, да она совсем дряхлая старушка. Посмотрите, Иван Михайлович, ни одного зуба. Чем прикажете ей жевать сухое сено и твердый овес?

- Как же быть, Мирон Андреевич, как же поддержать ее до лета? А там пойдет мягкая травка, и она оживет снова.

- Никак уже Вы ее не поддержите. Вышел ее срок, уже не дожить ей до мягкой травы. Тут другое. Нужно, чтобы она протянула хотя бы месяца два. Она скоро ожеребится - видите, она полнее, чем положено в ее состоянии.

- Да не может этого быть!

Отец был ошеломлен услышанным. Ведь он работал почти три года на этой лошади и не помнил, чтобы хозяева ее спаровывали.

- Мне Сергей Ильич никогда не говорил, что она жеребая.

- Сергей мог и сам об этом не знать. Ведь лошадей выводили на ночь пастись. Вот там она и погуляла. Кстати, ее худоба дает возможность прослушать биение жеребенка.

Он взял руку отца и приложил ее к боку кобылы ниже паха:

- Ну, что Вы ощущаете?

- Толчки.

- Эти толчки и есть биение жеребенка...

Все, что сказал Мирон Андреевич, сбылось. После его визита днем и ночью отец следил за состоянием лошади. В одно утро, проснувшись, мы увидели в углу на свежей соломе маленького, черного, как смоль, жеребенка. Отец позвал нового соседа Кондрата, еще Федота, Никиту Шлявского. Они попытались поставить лошадь на ноги, чтобы покормить жеребенка. Но с этой затеей ничего не вышло. Ноги лошади подгибались и она падала. Решили держать лошадь вчетвером, пока жеребенок будет сосать мать, но он не понимал, как это

делать, и остался некормленым. Не прошло и полсуток после родов, как лошадь умерла. Отец, заняв лошадь у М.Левка, свез павшую на салотопку, так как он обязан был сдать государству ее кожу (шкуру).

Жеребенок оказался кобылой. Вечером за ужином Нина или Женя предложили назвать ее Машкой. Предложение приняли единогласно. Мирон Андреевич составил рецепт кормления. Молоко и кипящая вода смешивались в определенной пропорции. Новые поселенцы Явдохи привели с собой коровку первого отела и с охотой согласились отпускать молока для кормления Машки.

Кондрат Явдоха был высокого роста с небольшой, как бы кубиком, головой. В меру разговорчив. Жена его, Евдокия, роста была выше среднего, круглица, румяная, голосистая, веселая и общительная женщина. Они как-то с первого дня подружились с нашей семьей и всегда со всеми своими горестями и радостями шли к нам.

Машка стала восьмым членом нашей семьи. В ее распоряжении была сначала бутылка с соской, потом глубокая глянцевая миска, с которой она выхлебывала лично для нее приготовленный суп. Был у нее также туалетный горшок.

Насытившись, она ложилась в своем углу на соломе и во сне причмокивала губами, наверное, видела сон. Хорошо полежав, она вставала и подходила к маминой прялке, мешая маме прядь. Тогда я спрыгивал с лежанки и затевал с ней игру. Она стремилась поймать меня своими мягкими губами, а я убегал. Солома, укрывавшая земляной пол, перетиралась на мягкие мелкие части и от нашей возни пыль туманом стояла в хате. Маруся в своей люльке начинала плакать. И тогда мама прекращала нашу игру, открывала дверь во двор, освежая комнату.

После обеда приходили Нина и Женя из школы и начинали учить уроки. Потом мы все вместе играли в жмурки, пока не принимались за дело: вынимать кострицу из конопли... Мама всю зиму пряла, мотала, ткала...

Ликбез.

Отцу отдыха не было и зимой. Всю неделю - то общественная работа, то валка леса, то разборка кирпичных зданий бывшей экономии где-то в тридцатом селе. В общем, работу находили, и не смей оставаться дома, пришлют саботаж и тогда...

- Хотя бы в воскресенье отдохнуть,- жаловался он маме. А в воскресенье самая тяжелая работа: две "десятихатки". На деле у него было два участка, в одном из которых было 20 хат, а в другом - целых 25. На этих участках он отвечал за "ликвидацию неграмотности", т.е. должен был научить всех жителей писать и читать - кроме школьников, которые ходят в школу.

Оно бы и ничего, если бы была хоть одна большая хата, чтобы вместилось побольше людей. А так приходилось собирать лишь по 7-10 человек. Кроме того, хорошо учить обычных, нормальных людей. А каким образом учить 90-летнюю старуху, которая забывает свое имя? Или старую и глухую женщину, которой и без чтения жизнь в тягость? И таких много. Нужна ли им в такие годы грамота? - Но отец должен учить, и точка. Начнешь возражать - могут прицепить саботаж. Вот и бьется отец до изнеможения в воскресенье и вечерами в рабочие дни. Ничего не поделаешь - диктатура пролетариата, самой гуманной власти на земле!

"Революционер".

Зимнее утро. Мама трет в макитре поджаренный "рыжей", Нина и Женя разбирают тряпье и веревки. Тряпье утепляют ноги, а веревками увязывают его, чтобы это тряпье держалось на ногах. Это длительная и самая тяжелая часть сборов в школу. Наконец, размяв, обкрутыв и увязав ноги так, чтобы рваные концы тряпок не торчали наружу, кончают с обуванием, собирают тетрадки, чернильницу, ручки в торбы. Все готовы.

Стекла, покрытые намерзшим снегом, при тусклом свете блистающего каганца становятся светло-синими. Маруся спит еще на подушке. Я - на лежанке, вровень с краем, сижу, вместившись в разное тряпье, и глотаю наполняющую рот слону. В хате приятный дразнящий запах "рыжиц" смешивается с запахом свежеиспеченных коржей. Вся плоть моя ждет с нетерпением завтрака. Наверное, эти запахи действуют и на Машку. Она лежит в своем уголку, часто шевелит губами, будто что-то жует.

Отец входит в хату (он чистил двор от снега) и тушит каганец.

- Пора, Груня, детям в школу.

- Садитесь за стол. - Мама дает два коржа отцу, чтобы он разделил на завтрак каждому свой кусочек. Потом наливает пшеничного супа в большую глиняную миску и заправляет ложкой тертого "рыжия". "Рыжий" заменяет масло и продает вкус пище. Все, кроме мамы, окружают миску. Она же привыкла кушать стоя, остатками, которые бывают редко. Садиться ей некогда: то подать, то подлить.

- Что-то Арсеньевич опаздывает,- отец не успел договорить, как дверь распахнулась и вместе с холодным паром в хату ввалился сам Федор Арсеньевич - а, легок на помине!

Гость снимает головной убор - что-то грязное (из дыр торчат клочья грязной ваты), неизвестно, из какого материала, то ли кожаное, то ли так засаленное до блеска, в виде тюрбана. Быстрым движением он достает "свою" ложку, потеснив у миски меня и отца, и начинает ею усердно работать. Отец положил перед ним свой кусок коржа - тот сразу его ухватил, жадно глотая, не разжевывая, только смачивая куски супом.

Мать, как всегда, поделила свою порцию с отцом. И вот, 10-литрового горшка супа как не было, опорожнили за считанные минуты.

Нина и Женя пошли в школу. Отец тоже ушел. Мама покормила проснувшуюся Марусю, потом Машку и села за прялку. Федор Арсеньевич (так его звал только отец, для остальных он был "Колобок", и я так его буду называть в

дальнейшем), так вот, Колобок, позавтракав, уселся на стульчик возле лавки, подложил под голову на лавку свой тюрбан. Мама предложила ему лечь на топчане, он отмахнулся и уснул по-своему. Так он делал всегда в морозное время. Мама пряла. Я с Марусей играл немногочисленными игрушками: катушками, деревянными куклами, глиняными свистульками в виде лошади или барана. Забавляя Марусю, я смотрел на спящего в непривычной позе человека. На лавке лежала огромная лысая голова, ленточка волос обрамляла верхнюю кромку уха, дугой огибала его на затылок вниз и по затылку длилась ко второму уху. Волосы торчали черные, мелко курчавые. Огромная выпуклость головы, летом черная от загара, теперь белела, сливааясь со стежкой. Коричневое небольшое и сморщенное лицо резко контрастировало с огромной остальной частью головы. Низкий рост, короткие ноги, длинные руки - все эти диспропорции создавали облик не человека, а какого-то демонического урода. Не просыпаясь, он то одну, то другую руку часто засовывал под свой кожух, чтобы почесать тело, где досаждали ему прожорливые вши. Сам кожух - весь в дырках, заплатах, засоленный до того, что от него несло таким смрадом, что меня начинало тошнить. На ногах - резиновые боты с отворотными холявками, лааные-перелатаные разными кусками кожи. Они походили уже не на боты, а на слоновые копыта.

А ведь он имел огород, три надела земли по тогдашней трехпольной системе земледелия. Имел жену и сына - моего одногодка. Но в огород он шел только, когда там можно было нарыть картошки, нарвать огурцов и помидоров. Поля своего он не обрабатывал, оно покрывалось буйным бурьяном и становилось их рассадником. С женой не жил, называя ее стервой, жидовкой, сына не вспоминал и не кормил, называл его выродком и ублюдком. Но все же жил в одном жилище с ними - как вошь на их теле. Не хатой, а жилищем я называю это что-то, и только потому, что в нем жили три человека. Это земляной квадратный мур 3,5x3,5 м. Взамен потолка - набросаны жерди с необрублеными сучьями, устланы сверху стеблями полыни и смазаны земляным раствором. Все это покрыто вязанками

полыни, из которых торчит дымовая труба. Большую часть этого помещения занимали печь и лежанки. В углу - небольшая скрыня (сундук), в которой когда-то было приданое хозяйки. Около лежанки небольшой топчан из жердей, под которым стоял еще сундук 50x70 см с секретным замком, окованный узорчатым железом. Все это было покрыто толстым слоем сажи, которая от тяжести часто осыпается со стен, как снежная лавина с гор. Пол весь устлан полуметровым слоем полыни. Пыль от сажи и густой настой полыни вызывали спазмы дыхательных органов у всякого попавшего сюда человека. И нигде не висит ни одежды, ни тряпки. Все, что есть - все надето. Летом, правда, он ходил в сюртуке, кожух запирал в сундучке. Она ходила в малиновой кофте, а свита покоилась в скрыне. Федя - в кофте и полотняных штанах.

Чем же живут эти люди, как земля их держит? - Трудный вопрос.

Когда-то, в бурные дни беспорядков и насилия у холостых, да и у женатых, не очень старых мужчин, появилась тяга где-нибудь скряться, убежать от самих себя, из-за боязни попасть не по своей воле в какую-либо банду, которых тогда много свирепствовало и которые насилием мобилизовывали мужиков. Полная неопределенность. Кроме того, действовали разные слухи, среди которых были и очень заманчивые. Например, рассказывали, что убегая заграницу, разные богачи берут с собой только золото, а всякое иное барахло бросают, и потому в их брошенных домах полно разных кожухов, пальто, сапог, разного фабричного полотна и иных полезных предметов - и никто ими не интересуется. Кто распространял такую чушь, и с какой целью - неизвестно. Но этим одурачивались многие и добирались в крупные города - Киев, Одессу за поживой.

Воспоминание о Киеве Федора Арсентьевича.

Пробрался в Киев и Федор Арсентьевич. Конечно, ни брошенных сапог, ни кожухов с пальто он не обнаружил. Увидел толпы оборванных, как и он, людей, а также чисто

одетых жандармов, солдат, конных казаков. Море людей запрудило улицы, площади, бурлило, гудело, бряцало, толкало из стороны в сторону. К кому ни обратишься с вопросом - равнодушно уходят или дадут крепкий подзатыльник... Что делать в данных обстоятельствах?

Федор толкался в киевской толпе, не евши и не пивши, несколько дней. Ночью набрел на какую-то площадь. Кое-где под рундуками на ней стояли ящики с разным хламом. Он перерыл все их содержимое, но съестного не нашел. Живот подводило до боли, есть хотелось до тошноты, болела голова, совсем не было сил. Он упал под рундуком и забылся.

Ночь дышала прохладой, камни остывали, а вместе с ними остывало и тело. Сквозь сон или забытье он почувствовал, что тело его сжимается от боли в боку. Потом услышал мужской голос и раскрыл глаза.

- О, живой! - человек поднял метлу, ручкой которой он пихал в бок Федора.

- А я думал, что мертвый. Какого черта тут валяешься? Кто ты такой? Федор рассказал человеку, кто он и откуда, ожидая участия. Ведь это был первый человек, который заинтересовался им.

- Так чего же ты забрался в такую даль без родных и знакомых, да еще и без денег?

О возможности такого вопроса Федор раньше и не думал. Сказать, что он пробрался сюда за всяким богатством - стеснялся, а выдумать что-нибудь не смог.

- Вот видишь. Я и подумал, что ты злодеяка, так оно и есть. Сейчас придет полицейский, и он скоро найдет тебе квартиру".

Перспектива, нарисованная уборщиком, была страшна, и Федор поднялся на ноги, отступив на несколько шагов, рванул за рундук, а там, на улицу, где уже спешили ранние пешеходы.

Опять он бродил по улицам, ведомый мучительным голодом, пока ему не пришла мысль вернуться на площадь, где он провел ночь. Там, наверное, был базар. И не ошибся. Сперва бродил между торговцами съестным, пробовал просить хлебца.

Но в ответ - брань и толчки. Воровать ему не приходилось, не умел. Но "голод не тетка - всему научит". Приловчившись, он стащил целую паляницу (хлебину) у веселенького продавца. А потом пришла и вторая удача: удалось напиться воды.

Он решил уйти из города, возвратиться домой. Каждого из прохожих, кто только слушал его, расспрашивал, как выбраться из Киева в сторону Глухова. Но все указывали в разные стороны. И потому ходил он из квартала в квартал, то вперед, то обратно. Но вот на улице, по которой шел Федор, показалась пестрая толпа: мужчины по-разному одетые и не одетые, женщины, полуголые и почти голые. Они несли на древках фанерные щиты и большие полотнища, на которых крупными буквами было что-то написано, подписи и рисунки. Но Федор читать не умел и смысла рисунков не понимал. Эти люди что-то вместе выкрикивали, потом вместе пели и снова во всю грудь кричали.

Федор был увлечен толпою, особенно видом женщин. Не сознавая, что он делает, пристроился к этому шествию, сопровождаемому глазеющей толпой. Но в какое-то мгновение наступила тишина. Ближайшая женщина сунула шест с доской прямо ему в руки, колонна, как вихрем сдутая, рассыпалась между домами. Сышен был конский топот. Улица опустела. Федора же взяла оторопь. Так он и держал злосчастную фанеру, из-за которой чуть не лишился жизни. Возле Федора осталось еще человек шесть таких же, как он, чудаков, не понимающих, что происходит. - "А-а, сволочи!" - несколько казаков наскоцило на этих людей и заработало плетьми. Древко выпало из его рук, как во сне он шел и всю дорогу корчился от нагаек. Пригнали их в Лукьянковку.

Нет смысла описывать, как его допрашивали, какие он принял мучения. Тюрьма и есть тюрьма, сделана, чтобы издеваться над человеком. Просидел он там почти полгода - и все из-за этого проклятого лозунга. Не верили ему - и все.

- Кому ты, негодяй, голову морочишь? Зачем нес лозунг, если не анархист?

Он им рассказывает все, как было, а они не верят и свое. И так день за днем. Но, в конце концов, то ли поверили, то ли надоел он им, его отпустили. Дали справку, что содержался в таком-то учреждении за связи с нарушителями общественного порядка, анархистами.

Но приключения его на этом не окончились. В тюрьме он слышал разные названия революционеров - анархисты, эсеры, большевики, меньшевики и что скоро они возьмут власть в свои руки и все будет народное. Получалось, что будет и твое-мое, и мое-мое. Значит, он не должен голодать и имеет право брать у всех и хлеб, и сало, и все прочее. Радуясь таким перспективам и всему, о чем толковали ему сидящие в тюрьме революционеры, главное он хорошо усвоил и не забыл.

В таких сладких мечтаниях он и шел по городу после выхода из Лукьянинки. Очнулся, когда увидел, что город кончился. Наконец-то увидел конец города. Здесь было почти как в его селе, только вместо хат стояли в тени деревьев опрятные кирпичные домики. Откуда ему было знать, что он попал в дачную местность и что эти домики называются дачами. Федор выбрал один из них, почему-то предполагая, что в нем сможет утолить голод. Постучал - тишина. Стучал еще и еще - не отзываются. Увидел со стороны сада открытое окно, решил окликнуть хозяев через него, вскарабкался на карниз фундамента, взглянул в саму комнату. У самого окна увидел столик, на котором лежала кобура, бинокль и продолговатый кожаный футлярчик. Напротив, под стенкой, стоял диван, над ним висит ковер, на ковре - шашка. Все тело и мысли его одеревенели. Ничего не думая и не соображая, побрал он за пазуху все, что увидел, соскользнул с карниза и, гонимый животным страхом, очутился в поле.

Как добрался он до своего села - это его дело. Заметим только, что трофеи свои, все три, он донес в сохранности. Дальнейшая их судьба изложена в следующих разделах.

"Кесарь".

В конце нашей улицы стояли две хатки, в той, чей огород лежал у поля, жила старая кривая женщина Ольга с сыном Саньком. В хате через улицу жил Чумак Семен с женой и двумя дочерьми. По всей длине огорода Чумаков располагалось хуторское кладбище. За кладбищем была балка, которая начиналась далеко в поле и шла под прямым углом к речке, возле реки расширялась в довольно большой квадрат. Этую площадку звали бережком. За балкой местность чуть возвышалась, метров на 15. От реки и далее на север до самого горизонта шел старый ров. Это была граница, за рвом шла земля других сел. Между балкой и рвом тянулась узкая полоса хуторской земли.

Балку не пахали, чтобы весенние и дождевые воды не размывали почву. Сколько бы ни паслось здесь скота, благодаря черной, исключительно плодородной почве - она зеленела густой зеленой травой. Как уже говорилось, от хутора и до Окопа шли полосы крестьянских наделов так, что в каждой полосе оказывался квадратик луга.

После обеда мама решила пойти прополоть свеклу возле самой балки. Мама шла впереди, а я сзади ехал на Машке. Она уже хорошо подросла, окрепла, и отец разрешил мне ездить на ней. Сначала во дворе, а потом и на пастбище. Ездить разрешал только шагом. Мама начала прополку, Машка пасется на нашем лужку, а я снимаю с вербовой ветки кору, чтобы сделать свисток.

- Мама, посмотрите, кто-то идет к нам.

Мама выпрямилась - с вершины балки к нам шел человек. Выше среднего роста, худощавое лицо. Из-под форменной фуражки с красной звездой торчат короткие белесые волосы. Нос острый, глаза маленькие, серые, бегающие по глазницам во все стороны, как у вора. На туловище блестящее кожаное пальто, перекрещенное поперек и в плечах ремнями. У левого бока на ремне болтается огромная деревянная кобура.

- А почему здесь пасется жеребенок? - спросил он, лишь бы завязать разговор.

- Наш жеребенок, наш бережок, оттого и пасется.

- Ах, да, эта балка входит в наделы.

Он подошел к Машке: "Ох, и красавица ты какая!"

Машка подняла голову и посмотрела своими умными бархатными глазами на пришельца. И, как будто не увидев в нем ничего стоящего внимания, пренебрежительно повернулась к нему хвостом и принялась вновь пастись.

- Ишь, гордая, как хозяйка.

- Откуда видно, что хозяйка гордая?

Он подошел к маме и продолжал...

Во мне и сейчас клокочет жестокая злоба. Эту священную ненависть я унесу в могилу. Как он тогда оскорбил моего отца! Он предлагал маме встретиться с ним в укромном месте. Ведь твой, мол, уже старик, а я имею все: и шелка, и золотые кольца, и серьги, и деньги. Мама была ошеломлена такой дерзостью. Какое-то мгновение она стояла неподвижно, но когда он протянул свою грязную руку, оцепенение прошло, и она в каком-то бешенстве начала молотить его железной сапой по чему попало. Слава Богу, что не острием. От неожиданности он оказался в столбняке, только шатался от ударов. Потом, отскочив метра на два, схватился за кобуру. Но тут свистнула моя хлесткая лозина, и на его руке появился синий рубец. Вскинулся от боли руку, на рубце выступила кровь.

- А-а, змееныш, беги пока цел... А ты, гордячка, меня еще вспомнишь...

Злоба душила его. Мама знала этого душегуба давно, как говорится, с прадедовских времен.

- Что, награбил шелка? Золотом разбрасываешься? Еще ведь двух лет не прошло, как тебя вши сжирали. Отец был вор-конокрад, и ты душегубом заделался, как ты смел позорить моего мужа, позорить честь семьи? Ты, ублюдок, знаешь, что у нас шестеро детей! Дорвался до власти, а разве власть уполномочила тебя разорять семьи?

Мама вдруг замолчала, а потом тихо сказала: "И кому я это говорю? У этих людей нет ни совести, ни сострадания, ни сожаления. Они переполнены жадностью, глупостью, насилием..."

Делая усилие, чтобы вымучить улыбку, он вроде признал негодным свое поведение и сказал примирительно:

- Ну, ладно, Ивановна, я пошутил, не будем сердиться, я не хотел тебя обидеть.

- Уходи,- ответила мама,- и знай, что я не сочла нужным осквернять свою сапу такой падалью, но впредь мне не попадайся.

Он что-то еще буркнул и побрел к реке, и дальше - к хутору.

В эту ночь я долго не мог уснуть. Произошедшее все время всплывало в голове отдельными картинами, сплетаясь в невообразимый кошмар. И этой ночью я невольно услышал разговор отца с матерью, содержание которого не мог тогда полностью понять своим детским умом, но каким-то чувством догадался, что случившееся между мамой и "Кесарем" очень озабочило отца. Мама винила себя, что не сдерживала себя, а он старался успокоить ее уверением, что она верно поступила, не давая пошляку, пользующемуся властью, осквернять семейные узы.

Спустя несколько дней Кесарь разговаривал на улице со своим "кормилой" Озей. Увидев приближающегося отца, который шел с работы, наспех простился со своим собеседником и пошел рядом с отцом.

- Ну, Иван Михайлович, Ваша жена со мной так "ласково" поговорила и даже сапой попотчевала, что трое суток не сплю. У Ози гусиного жира попросил, чтобы рубцы смазывать.

- Не может того быть, Семен Михайлович. Ведь она никогда ни детей не била, ни скотину руки не поднимала. Нет в ней сердитости. Лаской и добротой она добивается своей цели.

- Не верите, покажу. Спина моя недалеко.

- Да зачем же. Я Вам верю, только в толк не возьму, как могло это с ней случиться, всегда такой доброй, ласковой и рассудительной?

- Да я с ней пошутил, сказал, что она молодая, красивая и рождение шестерых детей не уменьшило ее красоты.

- Должно быть, она Вашу шутку истолковала как-то не в соответствии с Вашими намерениями сделать ей приятное похвалой.

- Да, наверное, что так оно и было. Она меня не поняла.

- Вы уж ей простите. Ведь шестеро детей. Ведь ей шестерых детей надо кормить. Сколько работы на ее плечах, так что, может, и в самом деле ей было не до шуток.

На этом разговор между отцом и Кесарем был окончен. Но разошлись они, каждый думая свое.

- Все же он не дурак, и осознал свою вину. Все это забудется,- думал отец.

- Но-но, ты, умник, дай срок, придет момент, я тебе покажу. Узнаете, с кем имеете дело, кем пренебрегаете,- черные мысли садиста выбрировали в нем, как бешеные волны при урагане.

Угрозу свою он исполнил позже.

Бинокль.

Взрослые тяжело работали, боролись с нуждой и разнообразными житейскими неурядицами. Мы же, дети, были пока что свободны от всего трудного, тяжелого и гнетущего. Стащил из материнской заначки (схованки) ломоть коржа или пирога - и на улицу. Там полно таких же сорванцов, мальчишек и девчонок. Липовые вожжи под руки, один вместо лошади, другой правит - и понеслась кавалькада в степь.

За огородами пригород. Поле плавно опускается в ложбину, от ложбины так же плавно поднимается к горизонту. Белые полосы - это цветет гречиха. Желтые полосы - это подсолнух, мак. Полосы ячменя, овса, кукурузы. Сколько их, этих полос, квадратов... и у каждой свой цвет.

Витя, Ваня, Миша... словом все мальчики и девочки нашей улицы играли вместе, рядом с полями. Между полями узенькие границы, на которых растут тысячи разноцветных диких цветов. Девочки плетут из них венки, а мы деловито обходим целой бригадой наделы, проверяя, есть ли зерно на початках кукурузы, насколько подрос мак, как себя чувствуют кавуны, скоро ли выбирать "рыжей". Внезапно наша стайка снова берется за вожжи и мчится с поля через выгон к реке. Там можно ловить синих, красных, зеленых бабочек, рвать водяные цветы. День проходит, как в колдовской сказке. А там - только успеешь влезть на топчан - и оказываешься в объятиях Морфея. Утром усталым телом нельзя и пошевелить, но так только кажется. Постепенно расходишься и снова бегаешь, как и вчера.

Больше всего нас, малышей, развлекали разные бытовые сценки, главным героем которых был Федор Арсеньевич. Чаще всего в первую половину дня мы играли на улице возле облюбованного двора. Вдруг слышится топот конских копыт. Из-за пригорка показываются синие фуражки с желтыми звездочками и красными окольшами. Мгновение, и фуражки вырастают в конных милиционеров. Их пять. Они бешено скачут по улице, топча копытами кусты полыни. Вскакивают во двор Федора Арсеньевича, на ходу прыгают с лошадей и окружают его "хату". Я взбираюсь на самую высокую развилку черешни, где ветки потоньше и приходится лавировать, чтобы не треснуло и не полететь вниз. Подо мной - Виктор и Иван. Другие облепили шелковицу. Со своих наблюдательных пунктов мы хорошо видим, что происходит во дворе.

Лошади между полынью щиплют травку спорыш. Четыре милиционера встали по углам с револьверами в руках. Пятый же с револьвером наизготове заходит внутрь помещения. Спустя несколько минут оттуда выводят Ганну и Федю младшего - нашего одногодка. Все бросают свои углы и допрашивают: "Где муж, был ли он дома или не было? Когда был, где может быть в настоящее время?" В ответ слышат какое-то клокотание. Они переспрашивают один другого: "Что она говорит?", пожимают плечами, ругаются, снова спрашивают и

снова, не разобрав, ругаются, грозят оружием. Поняв, что разобрать ее речь они не в состоянии, приступают к Феде. Но он склонил голову чуть набок и вниз, и ни угрозы наганом, ни тумаки и обманы не выводят его из неподвижности. Ни одного слова, даже звука. Яростные плевки и матерщина вновь. Потом они бросают это бесполезное занятие и рыщут по бурьяnam в огороде. А нам, с деревьев, все видно.

Да, когда чекисты въехали во двор, он отыхал на топчане. Но чутье у него было волчье. Увидев в окно милицию, он упал под топчан, отодвинул несколько вязанок полыни, а там - ход в огород. Все здесь заросло полынью, так что догадаться о существующей дыре невозможно. Десятки раз милиционеры ходили возле этого хода, и ни один из них не заметил его. Он был низкий, юркий. На карачках, бурьянами, по огородам пробирался к Кривой Ольге, через улицу - в огород Чумаков, перескакивал через речку и окопом - к лесу. Между хутором и лесом он ложился на окоп и в тот бинокль, за которым и охотилась милиция, спокойно наблюдал, что делается в его дворе.

Такие сцены за лето повторялись много раз, что нам, малышам, доставляло немало удовольствия.

В то время у нас в стране оптику еще не вырабатывали, и все оптические приборы - очки, микроскопы, лупы, бинокли - покупали очень дорого за границей. А бинокли, как и оружие, являлось военным имуществом и без специального разрешения соответствующих органов частные лица иметь их не мели права.

И вот милиция уехала, когда солнце низко повисло над лесом. Голуб видел, как кавалькада его преследователей выбралась со двора и уехала по направлению к центру хутора. Тогда и он спустился к реке, огородами вернулся домой, бинокль положил в тайник, ощупал алмазный стеклорез, который всегда висел у него под рубашкой вместо креста на шее, заложил руки за спину и пошел вслед за уехавшей милицией.

Это у него начинался вечерний обход хуторских вдов. Где-то поболтает и идет дальше. Но когда попадал на ужинавшую семью, то садился, как опоздавший член, а насытившись, шел на ночлег. Но бывало, и довольно часто, что на ужин он нигде не попадал, даже обойдя почти все точки, где вероятность поужинать была самая малая. Тогда, не возмущаясь неудачей, он, так же с руками за спиной, гудя, как всегда, мотив грустной мелодии, возвращался домой. Анна и Федя в это время лежали на печке в полууре. Федор Арсеньевич отпирал свой сундучок, вынимал чугунок. Съедал несколько картофелин в мундирах, водворял чугунок снова в сундучок и запирал его.

Летом он не спал в помещении, кроме как в дождливую погоду. Брал свой универсальный кожух и выходил во двор. Постелью для него служили кучи сухой полыни. Хоть горьковато, зато блохи не жрут. Ночью спал он недолго. При первом пробуждении брал из тайника бинокли и, лежа, наблюдал за небесными светилами. Со своего астроцентра он слышал, когда мой отец начинал работу по хозяйству, прикидывал, когда он справится с работой во дворе и пойдет завтракать. Он почти никогда в этих расчетах не ошибался и попадал на завтрак в самом начале. Позавтракав, он сообщал отцу свои умозаключения о небесной жизни таинственных светил. И хотя отцу, правду говоря, эти "космические лекции" изрядно надоели, он продолжал свои утренние посещения. Солнце начинало палить. Тогда Федор Арсеньевич приходил домой и ложился на топчан (днем он спал в помещении от назойливых мух). Под вечер делал свой вечерний обход.

Пасека. Главная отцовская отрада - радовать детей.

С горечью смотрел отец на пустующие ульи, что стояли у него под навесом, только занимая место. Многие мужчины не имели и понятия о пчелах и меде. Но зная, что у нас есть ульи, спрашивали, где можно достать пчел. Отец искал, где только можно - но нигде пчел не было. Но ведь "кто ищет, тот всегда найдет".

Однажды вечером к отцу пришел Степан Шлявский и сказал, что знает липу в лесу, в дупле которой живут пчелы. С лесником он договорился, можно спилить этот сухостой (После смерти В.А. лесником стал человек с другого участка). А Степан на всю округу был единственный охотник. Почему именно ему разрешили иметь ружье, никто не знал. Но по характеру это был человек мягкий и общительный, прирожденный природолюб. Трофеями его иногда становились лисы, зайцы, барсуки. Все свободное время он бродил по лесным балкам, знал жилища всех зверей в нашей местности.

Утром, осмотрев дерево и окрестность, они решили закрыть дупло железной решеткой, спилить липу, а потом отпилить чурбан с пчелами. Так и сделали. Дома отец, расколов чурбан, вытряхнул пчел с сотами в улей. Леток был закрыт сеткой, а на дне улья лежала мокрая чистая тряпка. Открыв отдушины, он поместил улей в темный прохладный сарай, где тотостоял трое суток. Потом улей вынесли и установили в вишневом садике возле хаты. Соты отец прикрепил к рамкам

Полосы, заросшие разнообразными цветами, границы между наделами и сами наделы с их обилием разнообразных культур давали пчелам сильный постоянный взяток. Семья сильно развивалась, и в период роения дала два больших роя. На зимовку после первого лета отец поставил уже три семьи. На третий год все восемь ульев были заселены. Теперь у нас имелось десять пчелиных семей (два улья были двухсемейные).

Каждые две недели отцу приходилось откачивать мед. Но иногда за это время пчелы так залепляли сотами крышки ульев и заносили их медом, что одному человеку нельзя было их и поднять. Тогда на помощь отцу приходил Кондрат. Когда отец откачивал мед, то вся посуда шла в ход. Деревянное корыто, макитра, в которой месили хлеб, горшки, глечики, миски - все было занято медом. Все хуторские хозяйки, кто с чашкой, кто с глечиком и горшком, шли во двор к нам. Мама всем отмеряла, в зависимости от количества членов семьи, сколько надо черпаков. Не за деньги, а от щедрости сердца. Раздача меда

прекращалась только когда посуда опорожнялась, но нам, детям, хватало скрести мед до следующей откачки.

В первую десятидневку лета, когда был главный взяточник, при откачке меда сам собой возник медовый праздник. На него сходились все жители хутора. Каждый мужчина нес с собой водку, женщины - закуску, кто что мог приготовить. Весь двор застипался рядами, расставляли посуду с закуской, водкой и начинался пир. Такой праздник происходил в праздничный или воскресный день, так что гуляли весело и беззаботно. Насытившись, устраивали разные развлечения, кто как мог выдумать. Венчался праздник "ублажением Матки". Пчелиной Маткой обычно делали Федора Арсеньевича. Он вообще присутствовали на всех свадьбах, крестинах, религиозных праздниках, просто попойках - в роли шута, и женщины продевали с ним немыслимые фокусы. Так вот, когда его делали Пчелиной Маткой, то раздевали до трусов. Лысину, волосатую грудь, спину, короче, всего обильно смазывали медом, подводили к ульям и дразнили пчел. Разъяренные труженицы, чуя мед, черной тучей носились вокруг жертвы, облепляя сплошным черным шаром. Спасение было только одно - вода. До копанки на берегу напротив Кондратова огорода - метров двести - Федор Арсеньевич как будто колесом катился в черной туче пчел и со всего разбега плюхался в воду. Там переворачивался на спину и сквозь небольшой слой воды наблюдал бешеную пляску пчел. Они большим столбом висели над копанкой.

Все эти процедуры над Федором Арсеньевичем устраивали женщины. Мужики же только гоготали, держась за бока или катаясь по траве. Главной же зчинщицей таких потех была Проська Ковтунка, мать моего друга Ивана, здоровая и сильная женщина. Такое развязное ее поведение с Федором Арсеньевичем объяснялось тем, что он был ее любовником. Никита - муж Проськи - маленький, тощий, выработанный мужик, совсем не реагировал на связь жены с деревенским "дармоедом", как он называл Федора Арсеньевича в глаза и на людях. Девять ртов держались на узких сухих плечах Никиты. С

утра до захода махал он в кузнице молотом - какая уж там ревность? А Проська погулять, поартачиться была мастерица, что же касается работы - то лишь для видимости. Она слишком хорошо знала присказку: "От работы кони дохнут"...

Пока Федор Арсеньевич киснет в копанке, к ней движется толпа мужчин и женщин кондратовым огородом. Пчелы улетели, но некоторые, сделав большой круг, снова возвращаются на запах меда. Впереди всех Проська - с собачьим мылом, штанами и рубахой Федора Арсеньевича. За ней вдовы, между прочим, все ухажерки Федора Арсеньевича, с разными баннными атрибутами: скребками, березовым веником, лейкой и т.д. Потом тянутся и остальная компания зрителей. Кто-нибудь из мужчин срезал вербовую жердь, чтобы была с крюком. Этой жердью они захватывали Федора Арсеньевича за шею, или он сам брался за крюк рукою, вытягивали из копанки и вели к реке. Там, на кладке, начинялся процесс омовения, снимали с него трусы, а потом одни женщины стирали его одежду, натирая собачьим мылом (собачье мыло - это трава, дающая при растирании в воде обильную пену, как настоящее мыло). Другие женщины натирали и скребли Федора Арсеньевича. Он спокойно сносил все их проделки, которые при этом вытворяли над ним бесстыжие женщины. Мужики докладывали и хохотали во все горло. Часть мужчин ломала сухие сучья ив - после стирки нужно было развести костер для просушки клиента и его одежды.

Солнце уже зашло за ивы, становится прохладно. К тому же возле речки ночами обитают полчища комаров. После просушки клиента и его лохмотьев, женщины церемониально одевали его, венчали берзовым веником и всей гурьбой возвращались во двор. Все допивали, доедали и уже при луне расходились по домам.

Седым калекой я как-то навестил колыбель своего детства. Многих, с кем проходило мое детство, я уже не увидел. Пожилыми людьми стали даже те, кто родился после моего выезда с хутора. К счастью, была жива еще Проська, та самая, мать моего товарища детства Ивана. И как же старость

преобразует человека! Из высокой полной женщины она стала низенькой и худой, в половину своего прежнего роста. Память ее тоже ослабла. Мы долго с ней говорили, вспоминала она трудно, только урывками. Я спросил ее, зачем они, женщины, так издевались над Голубом Федором Арсеньевичем, когда в воспоминаниях дошли и до его личности.

"Ничего ты тогда не понимал", - сказала мне Проська, - "не издевались мы, а наоборот, делали ему добро. Ведь он никогда не стирал свои лохмотья и не мылся. Вот мы, вроде шутя, чтобы не обижался, стирали его одежду и мыли его самого, хоть один-два раза в году".

И только тогда до меня дошло: кажущаяся жестокость была человеческой мудростью.

В преддверии перемен.

Жизнь в хуторе улучшалась. Люди обзаводились скотиной. Кто держал коз, некоторые - овец, изредка - свиней, а еще меньше - коров. Лошадьми обзавестись мечтал каждый двор. Обработать землю - это самое главное. Лошади были дороги, и не всякому под силу было купить ее. Корову иметь тоже было заманчиво, ведь корова - кормилица. Но о ней можно было только мечтать. Мечтала о ней и наша семья.

И вот появился 8-месячный жеребчик. Мать его Машка была низкой плотной лошадью, а малышом же любовались все, кто его видел. Высокий, ножки тонкие, черный, как смоль, только грива - рыжая, золотая. Ноги по колена - в белых чулках. Гордый своею красотою, шею держал дугой, а голову клонил на бочок. Мужики говорили, что пахать на нем нельзя, он годен только в упряжку или под седло. Много приходило покупателей. Но был он "сосватан" в двухмесячном возрасте за телку Савки К. Отец подготовил для нее место в сарае, чтобы стояла отдельно от лошади.

В воскресенье состоялся обмен. Так появилась у нас бурка-телка, уже спарованная, так что через семь месяцев она станет коровой.

А нашему золотогривому и впрямь не пришлось пахать. Вскоре после нашей сделки была выводка лошадей. Комиссия определила, что этот конь должен служить в Красной Армии - Р.К.К.А. Выплатили за него что-нибудь или нет - неизвестно. Но Савка из-за этого помешался и стал невменяемым.

Я еще в самостоятельных пастухах не состоял, но при старших находился всегда. Солнце подымается здоровенным красным кругом. По улице движется разношерстное стадо: здесь и свиньи, и овцы, и козы, коровы, телки, телята. Но ни драк, ни междуусобиц. Вся скотина привыкла вместе идти на пастбище и вместе пастись. Часто можно видеть, когда скотина насытится, что корова лижет козу, а свинья прилегла возле коровы с таким расчетом, чтобы та хвостом отгоняла мух и от нее.

Сзади стада в окрашенной солнцем коричневой пыли шел гурт пастухов - может, побольше скотского стада. Здесь и пастухи, и так, со двора могло быть и трое, и четверо мальчиков и девочек - и постарше, и самые маленькие, только что научившиеся ходить. Особого труда пастушество не составляло, толоки (непаханые участки) были обширны - бурьяна много. Основным занятием босоногой оборванной детворы было добывание пищи. Более всего съедобной была "бучила". Надышавшись ее запахом, некоторые дети падали в обморок, а потом страдали головными болями и рвотой. Потом были съедобны лопуцьки, молочай. Во всех этих бурьянах ели неотвердевшие стебли, очищая с них верхнюю корку, которая легко счищалась с молодых стеблей. Корни дикой моркови, щавель конский, дикий и иные растения. Настоящий праздник детвора чувствовала, когда в колосках пшеницы или ржи появлялись крупинки зерен. Колоски выламывали, и эти крупинки были большим лакомством. Конечно, чем больше становились зерна в колосках, тем меньше тратили их для утоления голода.

Голод- он преследовал все наше поколение до самой Отечественной, то усиливаясь и губя беспощадно огромные массы людей, то чуточку попуская, но вволю наесться хлеба случалось очень редко. Я, конечно, говорю об основной массе, но были и в то время такие, которые сумели подольститься к власти и людские бедствия использовать для своего благополучия. Таких было тогда еще немного, но от их коварства, жадности и подлости страдала и обрекалась на голодную смерть большая масса народа.

Сами они жрали и пили. Остальные же голодали. Голодовали все, но тяжелее всего нехватка продуктов оказывалась на семьях и вдовах, имеющих много детей. Уже несколько лет крестьянин, обмолотив хлеб, отдавал государственный побор, но какая-то доля в виде последа оставалась и для семьи. Но с каждым годом поборы становились все тяжелее. Троепольная система неофициально стала считаться однопольной. Для выполнения сдачи хлеба, которым облагался двор, крестьяне стали засевать все свои три надела рожью и пшеницей, не чередуя их толокой (паром) и огородиной. Лошадей было мало, потому сеяли и обрабатывали землю кое-как. Поля стали зарастать сорняками. Порой было трудно разобрать, что посевено. В поле редко между бурьяном торчал стебель ржи или пшеницы. Урожай упали до того, что иногда крестьянин меньше намолачивал, чем сажал. Многие комбетовцы вообще не обрабатывали принадлежащей им земли в ожидании колхозного рая, байки о котором уже сплетали в сознании лодырей и паразитов образ фантастического благополучия. За них сдавать зерно должны были другие. В таких условиях не выполнялась сдача зерна. Понуждаемые за это сверху, местные органы власти всемерно активизировали свою "боевитость" (словечко-то какое подобрано было нашей самой гуманной и демократичной...). К этому особо понуждать их и не требовалось. Они сами быстро поняли вкус безграничной власти над своими собратьями, и сами по себе зверели.

Усилились репрессии.

Не выполнил поставку хлеба, припоминают: брат его был у Петлюры только 6 дней и не по своей воле - все равно: саботажник! Другой имел царскую награду, Георгиевский крест, да и всякая чепуха могла быть вменена в вину, цеплялся новый "ярлык" с неизбежными последствиями - в отдаленные края, в тюремный закоулок или же вообще в яму на вечный покой. Там уже играла роль прихоть работников ГПУ (ЧК).

За любое, даже кажущееся ослабление нажима на людей со стороны местных властей, их самих арестовывали, сажали в КПЗ, приписывая "пособничество чуждым элементам". Курсантов держали на учебном пайке. Учебный паек отличался от обычного тюремного тем, что его применяли в течение 5-7 суток, а состоял он из поллитра воды на одни сутки и больше ничего. На другие сутки давалась голова или хвост ржавой селедки и тоже больше ничего. В назидание каждому набору этих своеобразных курсантов, одного-двух расстреливали (за какие-либо провинности). После выучки в группе каждый курсант ставил свою подпись под обязательством беспощадно уничтожать всех мастерей вредителей советской власти, как бы они ни маскировались, выискивать их в любой щели, бдительно хранить государственную тайну. Вот после такой натаски и отпускали их на людей.

Людьми овладел голод и страх, ужасный страх. Ведь брали людей - как в преисподнюю, откуда ни слуху, ни духу. А над женами и детьми угнанного измывались.

Репрессии происходили методически, все усиливаясь. Усиливался и страх. Каждый ждал своей очереди, видя, что берут таких же, как и он, не имеющих никакой вины перед властью. Власть на кары на местах ничем не ограничивалась. Решила ячейка комбедовцев - и все тут, ни пожаловаться некуда, ни прав искать негде. Вопросы решались следующим образом. Из района присыпали уполномоченного. Собирали местный актив, и уполномоченный сообщал, что нужно

арестовать двоих. Решали соответственно. Выступал председатель или уполномоченный:

- Товарищи! Как вы знаете, чтобы построить наше светлое, самое справедливое, самое гуманное коммунистическое общество, мы должны уничтожить классовых и всяких врагов нашей родной власти... и т.д. и т.п. - все в таком духе. Далее... Надеюсь, что вы - представители ее на местах, хорошо знаете, кто чем дышит, что вы имеете неусыпную бдительность. Потому прошу подавать предложения.

Вот руку подымает Демич:

- Думаю, надо взять Булыгу. Он как-то вспомнил мои старые грешки и обозвал меня вором.

- Но это, знаете, не повод для ареста - резюмирует уполномоченный ГПУ. Тогда подает голос Марчук, председатель комбеда и сельсовета:

- На мой взгляд, в данном случае акт можно сформулировать так: "Выступает против советской власти, оскорбляя местных ее представителей различными оппортунистическими методами".

- Вот это другой табак,- потирает руки уполномоченный,- пойдемте дальше. Нужно еще одного.

И вот Шванка, осмелев и видя, что, подобно Демичу, можно потребовать уничтожения и своего личного врага:

- Берите тогда Бойка Степана. Я просил у него пять фунтов муки, а он не дал, ссылаясь, что, мол, свои дети голодные, я сам видел, как его хлопец жрал большой ломоть коржа.

- Что же ты ее смог осилить пацана, и не отнял у него этот ломоть? - бросил реплику Гливняк. Несколько заседавших заржали.

- Перестаньте, товарищи! Время идет, а мне еще нужно сопроводить арестованных в район. Нам сегодня надо оформить двух человек. Кто там у вас еще, думайте быстрее. Только улики должны быть посеръезнее.

- Улики серьезные, только их нужно правильно сформулировать,- снова подает голос Марчук.

- То есть как? - интересуется оперуполномоченный.
- Ну, буржуазные повадки, враждебное отношение к колlettivизму. Укрытие и саботаж сдачи зерна.
- Сойдет! Хорошо сформулировано, и улик вполне достаточно. А если их обыскать, то найдется что-нибудь для подкрепления улик?
- Окромя стада вшей, ничего не сыщешь ни у одного, ни у другого.

- Ладно, тогда пошлите посыльного, пусть скажет, что вызывают в сельсовет. Под расписку и чтобы немедленно были здесь. А я тем временем оформлю акты.

- А может, сначала подкрепиться? Озя знает, что такое - районный гость, и потому, бьюсь об заклад, к выпивке у него уже запекается в печи гуска.

- Нет, к нам из области приехали, что-то в бумагах роются. Даже неизвестно, по какому поводу приехали, но видно, что шишка важная. Так что совсем некогда, но гуся и перегончик (самогон?) я могу с собой захватить.

Председатель немного побледнел, поднялся и, кивнув пальцем Демченко Ф., вышел в сени. Там шепотом приказал комбедовцу: "Беги к Озе, возьми бутылку "перегона" и гуся. Если нет зажаренного, пусть отрубит голову при тебе живому и сразу тащи сюда. Черт с ним, дома сам зажарит. Вот тебе двадцать минут, или голова долой". Побежал Демченко, как хорь, учуя добычу.

Вот акты на аресты оформлены и подписаны "свидетелями". Пришли вызванные Булыга и Бойко. Оперуполномоченный для соблюдения правил церемониала зачитал им акт об аресте и предложил арестованным расписаться. Те, конечно, ошеломлены. Души их враз застыли, тела окаменели, но никакого протеста, ни малейшей человеческой воли. Молча поставили подписи, зная, что ни протестами, ни просьбами им не вырваться из кровавых рук садистов.

Со всем оформлением покончено, гусь и самогон в повозке. Лошади, подгоняемые хлыстом ездового, жарко дышат

в затылки арестованных, норовят остройми шипами подков оттоптать им пятки. Человек в кожанке, вооруженный большущим барабанным наганом, развались на сене в повозке, торопит:

- Быстрее, погоняй, погоняй!

И кучер хлещет лошадей хлыстом. Те напирают на двух несчастных, которые бегут, стараясь убежать от боли, причиняемой им подкованными копытами. Бегут к физической и душевной боли, которая с этих пор не оставит их до конца дней. Так просто и быстро решалась судьба миллионов людей в период становления самой-самой...

Бытовые трагедии.

С трагедиями, творимыми беззаконием властей, сплетались бытовые трагедии, как будто соревнуясь с первыми в жестокости и несуразности. Взрослые и дети, особенно те, кому приходилось быть в поле (работать на прополке или пасти скотину) пребывали в постоянном страхе - по степи бегала какая-то Варка с ножом и резала зазевавшихся. И это не было пустыми слухами. На небольшой поляне, где мы пасли скот, в одно росистое утро мы нашли мертвую женщину. Она лежала, чуть вкопанная в землю, так что лицо и грудь были вровень с краями ямы. Мы приподняли гнилой лоскут материи, прикрывавший ее тело. Мертвой было примерно 30-35 лет, очень худая, в темных волосах серебрилась редкая седина. Роговицы глаз уже съели полчища муравьев, копошившихся на ее теле.

Конечно, вечером пастухи рассказали об этом своим дома. Но сообщение это взрослые приняли равнодушно. Было ли им дело до какой-то неизвестной мертвой, когда живых брали и отправляли куда-то, как в преисподнюю, откуда ни слуха, ни духа?! Конечно, люди знали, сколько забрали ни в чем не провинившихся людей, даже тех, кто помогал властям. Люди не радовались прекрасному лету, солнцу, зелени, потому что в

душах их царствовал великий страх, как беспросветный мрак, боль и мука в настоящем и неведомое беспросветье в будущем.

Так никто и не взял на себя труд закопать хотя бы на полметра ту женщину. Мы пасли, а рядом разлагался труп. Оставшиеся кости каким-то образом стали разноситься по лесу. Под молодыми дубками в крапиве белеет череп, поодаль - плечевая лопатка, еще дальше, под старым полузасохшим грибом - тазовые кости, в другом - бедренные, ребра и т.д. К осени и костей не стало... звери какие растащили, или земля постепенно поглотила, никому не известно.

Чуть позже этим летом произошло еще одно драматическое событие. Власть, чтобы обеспечить свой покой, оградить себя от всяких случайностей, строго-настрого приказала населению сдать всякое оружие. За хранение оружия - высшая мера. Народу же оно так осточертело, что мало кто и желал иметь у себя оружие. Если же кому-то все же вздумалось припрятать что-нибудь, то после приказа и показательных казней пришлось его так запрятать, что и сам не нашел бы. Сдавать, конечно, боялись, потому что сразу спросили бы - почему не сдал вовремя? Дробовик тоже считался оружием, как и винтовка, обрез или наган.

Но все же один хуторянин Степан Шлявский легально пользовался дробовиком. Кто ему дал на него разрешение, и за какие заслуги, неизвестно. В нашей местности полосы леса то расширяются до 3-5 км, то сужаются до полукилометра, а то и вовсе прерываются степью. Начинается лесная полоса где-то на западе и тянется на восток. Так что крупным зверям особенно разгуляться у нас негде. Больше всего было зайцев. Иногда видели лису. Дикие козы были большой редкостью, и видеть их приходилось только случайно.

Лес находился на меже с нашими хуторскими полями. В нем различали два леса: Чупын и Черный лес. Оба эти лесных участка располагались друг от друга не более, чем в ста метрах, и площадью были каждый около 10 га. Из деревьев там росли граб, изредка попадался ясень и клен. Далее шло поле шириной в двести метров, и снова начинался лес, так называемый

"зелено-дубравский". Это же название имело и небольшое сельцо под самим лесом.

Стоит лес, тянется, то расширяясь, то сужаясь, на восток, и где его конец, никому не известно. Под молодым подлеском с толщиной стволов до двадцати сантиметров господствовали крупные грабы, ясени, клены, липы. Росли, хотя и не густо, крупные дубы, давили своею мощной кроной молодую поросль. Были участки молодых посаженных дубков - ровными рядами и сформированной кроной. Рядом еще одна молодая посадка дуба, но не расчищенная. Молодые деревья густо сплелись ветвями. Под ними сплошные заросли крапивы и других бурьяндов. Непроходимая чаща.

В таких чащах Степан Шлявский нашел барсучью нору, в которой жила барсучиха с шестью барсучатами. Мы - пастухи, часто бывая в лесу, иногда видели барсуков. Увидев же барсучиху с выводком, мы поскорее убежали. Правда или нет, но взрослые пугали нас, что барсучиха с выводком очень опасна. Защищая своих детей, она, мол, нападает первая и может смертельно ранить, распоров человеку живот. Вот почему мы, мальчики и девочки, увидев барсука, в большом страхе убегали как можно дальше от этого зверя.

Запретов тогда на охоту не было, да и охотников не было. Говорили просто: Шлявский убил лису или зайца. Ранней осенью, когда барсучата по росту и внешности уже почти не отличались от своей мамаши, Шлявский решил добыть барсучьего мяса и шкурок, чтобы сшить себе теплый жилет. Барсук зверь осторожный, чуткий, и только какие-то особые обстоятельства или условия могут заставить его выйти из норы. Кормится он только ночью. Шлявский наметил заранее несколько точек засады в зависимости от ветра. Пришел в лес, когда еще солнце висело над лесом в три высоты деревьев. Даже в густой тени стоял удушливый пар. Тишина, не колышется ни стебелек, ни листик.

Он закурил. Дым от сигареты еле заметно двигался в сторону висящего над деревьями солнца. Он осторожно занял место так, чтобы ветерок тянул от норы в его сторону. Лежал он

тихо, наведя ствол дробовика на барсучью нору. Расслабленное тело нежилось в приятной прохладе, идущей от земли. Сразу появилась дремота.

И вдруг рядом, в дубовой посадке, раздался протяжный человеческий вой. Вой этот выражал ужас, призыв, надежду, что кто-нибудь услышит и пойдет на помошь: "А-а-а-а-а, -а-а-а-а..." перекатывалось (эхом) по всему лесу, усиливая ужас этих воплей. Страх молнией прошел во все естество Шлявского. Все тело с пяток до волос на голове задрожало мелкой болезненной дрожью. Неведомая пружина подбросила его и подняла на ноги. Он выбежал из зарослей и увидел страшную картину: между двумя рядами дубков бежали двое мужчин. Оба молодые, лет по 25. Оба высокого роста, в костюмах фабричного пошива (местные ходили в одежде из домашнего полотна), значит, из города. Один из них убегал, а другой не отставал и наносил удары переднему в затылок. При каждом ударе ножа передний рукой хватался за затылок, инстинктивно стараясь хоть чем-нибудь закрыться от ударов, другой же рукой хватался за ствол дерева, чтобы не упасть. И при каждом ножевом ударе у первого вырывался крик ужаса и безысходности. Вместо того, чтобы выстрелить и спугнуть бандита, хотя бы ранить в ногу и тем, может, спасти человека и раскрыть преступление, Шлявский уронил свое оружие и, гонимый звериным страхом, побежал из леса.

А недалеко от леса десятка полтора женщин, все с нашей улицы, в том числе и мама, пропалывали свеклу. Полоть было уже трудно, нужно было буквально рубить бурьян, оставив невредимой ботву. Солнце уже село на верхушки деревьев, скоро оно зайдет за лес и станет темно. Гоны еще длинные, и женщины спешили дойти их до конца до наступления темноты. И вот они услышали раскатистый крик в лесу, много раз повторяющийся.

- Наверное, пастухи гонят скот домой, и перекликаются меж собой.

- Нет, сегодня они пасут под хутором на лужку.

- Значит, кто-то собирает дрова и передразнивает луну...

- Глядите, глядите, какой-то мужчина во всю прыть бежит из леса по свекле и не смотрит под ноги!

Вот бежавший приблизился и женщины почти разом узнали: это Степан Шлявский, значит, что-то случилось! Не добежав до них несколько шагов, Шлявский упал на ботву. Белое, как мел, лицо было безжизненно. Женщины остатками воды из тыкв и глечиков поливали на лицо. Немного спустя, он пришел в чувство и несвязно рассказал, что случилось.

До утра все в хуторе знали, что в дубравском лесу совершено злодеяние. Первым место происшествия, как и всегда, исследовала детвора. Телефона в хуторе не было, поэтому прошло время, пока кто-то пошел в село и позвонил в район. Там собирались и приехали на место происшествия уже в полдень. Милиция в первую очередь отогнала любопытных. Потом они что-то мерили лентой, рассматривали в круглые стекла.

Бандюга действовал хладнокровно, должно быть, не в первый раз. Убив, он нагреб сухого листья с мелкими сучьями, уложил свою жертву на эту постель, сверху покрыл тем же и подпалил. Труп обуглился полностью, сгорели нос, губы, кисти рук, уши, мужские органы. Но все же под трупом сохранились лоскут материи до пяти квадратных сантиметров и уголки довольно толстой пачки денег. На стволах дубков темнели кровяные отпечатки кистей рук. Эти печати убегавший поставил на 15-ти стволах деревьев на протяжении 47 метров. Труп куда-то увезли, народ разошелся по своим делам, гадая: кто убийца? Но кого убили - так и осталось тайной на долгие годы.

Санька Яровая.

Санька Яровиха, моя соседка, была самая красивая девушка в хуторе (она была ровесницей и подругой моей старшей сестры Нины). Длинная черная коса, черные брови, глаза, окруженные черной поволокой, лицо классической формы, белое, как мрамор. При улыбке обнажались небольшие, белые, как слоновая кость, зубы. Ей было четырнадцать с

половиной лет. На нашей улице до десятка девушки и шестеро ребят, одногодков с Санькой. Как старшие, они собирались вместе на улице, пели, танцевали под "нашу музыку". Я говорю так потому, что, хотя мы были годков на семь младше, но имели: я - балалайку, Федор - мандолину, и вечерами играли разные польки, краковяки, баламуты. А больше никакой музыки на хуторе не было. И потому вечерами слушать и танцевать под нашу музыку собиралась не только детвора, парубки и девчата, но часто и пожилые женщины и мужчины.

Тихие украинские ночи, спящие деревья, в густых тенях которых прячутся всякие сказочные чудовища, рождаемые воображением, но существующие, как живые. Нет, в такую ночь не уснешь. Она тянет на улицу магической своей прелестью.

Но уже два вечера не выходит на улицу Санька. Без нее как-то скучно, чего-то не хватает. Не было на улице и ее младшего брата Никиты. Но его отсутствие менее заметно. До старшего гурта он немного не дорос, а для моей команды был слишком большой. Интересы моих сверстников с его интересами не совпадали. Потому он держался обособленно, не примкнув ни к одной группе ребят.

Набегавшись и наигравшись до упаду, уже во второй половине ночи, расходились мы по домам. Нина и Женя просыпались утром почти вместе с папой и мамой, чтобы помочь им работать. А мы с Марусей спали до тех пор, пока не пробуждались от голода. В это время мама уже успевала истопить печь и приготовить завтрак. Окончив с утренней работой, семья садилась завтракать.

Но сегодня я проснулся, и не увидел хлопочущей у печи мамы. Не было слышно и дразнящего запаха свежеиспеченных коржей. Не было даже жара от печки. В хате не было никого, кроме меня и Маруси, которая еще спала. Я надел на себя свою единственную одежду - полотняную рубашку, доходившую до колен (она заменяла мне штаны), и выбежал во двор. Отец, видно, уже уехал на работу, воза во дворе не было. На улице же слышался гул множества мужских и женских голосов. Я выбежал на улицу и увидел - во дворе Ярових полно народа.

Старые и молодые - весь хутор был здесь. Я не понял, что случилось, но все чаще слышал слово: "Повесилась, повесилась!" Это слово ходило по всему двору.

Одни люди отходили от сарайя, другие проталкивались к нему. Я тоже прошел к сараю. Дверь была открыта. На поясе, прицепленном к балке, висела Санька. Она казалась неестественно длинной. Босые ноги кончиками пальцев почти касались земляного пола. Праздничная юбка и кофта как-то плотно обтянули тело, и оноказалось тоньше, чем на самом деле. Вытянувшаяся шея надломлена в месте петли, лицо чуть повернуло в сторону и вниз. Глаза закрыты, губы чуть раздвинуты и нижняя челюсть чуть опущена.

Красюк, сельский председатель, запретил снимать труп, пока не приедет следователь. Висела Санька до полудня, но никто из района не приехал. Женщины начали возмущаться, и труп сняли и уложили на лавку. Только поздним вечером явились два человека с портфелями подмышкой. Осмотрели, заактивировали и уехали восвояси.

Похороны были не сложны: выкопали яму, вырыли подкопчик, туда сунули голову, чтобы, когда забрасывать землей, ее комья не били в лицо покойницы. Забросали землей и разошлись. Так хоронили всех покойников, досок не было.

Никита быстро смирился с потерей сестры, как будто ему и горя мало. Старая Яровиха тоже часто забывала о своем горе и только иногда спохватывалась, что ей следует горевать, и принимала соответствующее выражение лица. Но каждому было понятно, что она не горюет, а чего-то боится. Всегда в ее глазах прятался страх.

Разные слухи ходили между людьми после этого события. Между прочим, и такие: "Санька вовсе не повесилась, а ее задавили, а потом подвесили. Ведь у висельников глаза открыты и вываливается язык. А у Саньки глаза закрыты и язык не вывалился".

Убитый и сожженный в лесу человек и повешение Саньки были на деле звеньями одного и того же злодействия, почему я и описал их рядом. Но тайна этого и других

преступлений откроется людям только после войны, и я сообщу о ней по ходу рассказа.

Коллективизация.

Никогда в истории мира ни одна цивилизация не была в таком сложном состоянии, в каком оказались после Октябрьской революции народы России. В человеческой истории бывали страшные жестокости, например, рабство. Но оно как-то оправдывалось слабой культурой, низким уровнем развития. Человек еще сохранял многое от зверя, наподобие того пса, который схватит кость и рычит, не подпуская своих соплеменников к пиршеству, готовый их грызть. Были огромные империи - вы их знаете. Правители империй проглатывали все новые и новые территории, потом все это распадалось, а жертвы жестокостей уходили в могилы вместе со своими хозяевами. Вылив море человеческой крови, ввергнув народы в неописуемые бедствия, они уходили тоже, и все их величие пожирали черви.

Но все прошлые катализмы ушедших цивилизаций не сравнить с уничтожением человека в семнадцатом и следующими за ним годами. Обманув народы, обещая, что земля достанется тем, кто ее обрабатывает, а заводы и фабрики - рабочим, вожди заманили народ в мышеловку.

В первые годы, действительно, дали людям небольшие наделы земли. Но безземельные крестьяне, получив землю, испробовав и поняв, что обрабатывать ее тяжело, и что для получения хлеба надо, как говорится, семь потов пролить, не стали обрабатывать свои наделы. На этих наделах рос осот, пырей, полынь, сами же хозяева этих наделов блуждали по селу в поисках случая пожрать на дармовщину и в ожидании земного рая, т.е. пришествия коммунизма. Это был результат заагитированности. Агитаторы обещали, что при коммунизме люди работать не будут, работать будут машины, и даже вареники будут в рот подавать машины - ты только разжуй и глотай, так зачем же работать, лучше подождать, и прямо "в

рай"... Те же, кто любил землю и трудился на ней без отдыха, в будний день и в праздник, действительно, со своих наделов имели хорошие урожаи и хлеба, и гречихи, и ячменя, и всего, что сеялось на поле. Но жили они тоже впроголодь, а многодетные семьи просто голодали.

Вот здесь и начинается первый этап коллективизации. На этом этапе задачей было разобщение крестьянства на множество групп, которые должны как можно сильнее враждовать между собой.

Кулаки, понятно,- это крупные хозяева, которые использовали наемный труд. Их уничтожали вместе с семьями. Имеющие лошадь, телегу, десятину-полторы земли - это кулацкие прихвостни или, проще, подкулачники. Из них более состоятельные были предназначены к уничтожению, остальные - ползающие и лижущие, должны быть начеку. Они могут быть уничтожены при любой оплошности или при желании члена комитета бедноты.

Убрав "кулаков", "подкулачников" и других, нежелательных для своей власти людей, большевики вплотную подошли к коллективизации. Как это было...

Уничтожив почти треть населения страны (*не уверен - B.C.*), власти надеялись, что оставшаяся крестьянская масса будет покорно следовать указаниям властей. Но не так это получалось, как задумывалось. Кто остался? Кому строить колхозы?

Были крестьяне, которые, кроме лошади, имели в своих вечных свитах и кожухах только вшей и блох, и еще имели небольшие, до десятины, наделы земли.

Были безлошадные крестьяне. Эти имели до десятины и меньше наделы, но, не имея лошадей, обрабатывали землю кое-как или совсем не обрабатывали свои участки.

Трети были полуzemледельцы, полукустари. Они также обладали разными участками земли, как и две первые группы, но все они занимались каким-нибудь ремеслом: портные, сапожники, жестянщики.

Мой дед по маме, например, имел лишь 0,18 га земли на восемь членов своей семьи. И, чтобы прокормить такую семью, он копал людям колодцы и погреба.

В большинстве своем эта категория крестьян по натуре своей и по условиям не способна была к ведению хозяйства, а жила одним днем. Сегодня заработал - завтра есть, что есть, а вот послезавтра уже мучается голодом. У этой категории крестьян больше всего страдали семьи.

Посыльный из сельсовета обходил хаты, созывая всех на собрание. С района приезжал уполномоченный по коллективизации с группой 5-7 человек, вооруженных винтовками. Люди прятались, являться на собрание не хотели. Тогда с посыльным шли молодцы с винтовками: "Не пойдешь на собрание, пойдешь с нами в район, а там скажут, куда идти далее". Приходилось выбирать первое. И вот собрание.

- Кто первый подаст заявление в колхоз? - спрашивает уполномоченный. Из зала поднимаются один за другим человек пять, и подходят к президиуму. Все они, конечно, заранее обработаны, заявления у них подготовлены.

Первого спрашивают:

- Вы, Степан Гаврилович, добровольно вступаете в колхоз?

- Еще как добровольно. Домаха Нимичка ходила по хатам и объясняла, как хорошо мы там жить будем: собственности никакой. Все мужчины и женщины будут жить в огромном длинном здании и не будет так: это - моя жена, а это - мой муж, все мы будем общими, и спать, кто с кем захочет. И кровать будет общая с большим одеялом, которое затягивать на нас будет трактор. Вареники будет делать машина и по конвейеру подавать в рот, только успевай разжевывать и глотать...

Эти рассуждения Степан Гаврилович, он же Озя, слышал от доморощенных агитаторов и, конечно, вносил в них собственный элемент для большей убедительности, что в колхоз он вступает добровольно. Напомню: Озя - это человек, которого сельские начальники подкармливали, отбирая у людей и

снабжая его мясом, хлебом и другими продуктами. В его избе всегда варилось, жарилось и парилось. Здесь обедали и обмывали разные чины района, приезжавшие в качестве уполномоченных или по другой работе. В его хате было еще и "комната для наслаждений". Не по годам физически развитая дочь Ози служила общим предметом вожделения. Угощение с юной наложницей получали престарелые мужчины, занимавшие большие районные посты.

После Ози никто из крестьян не выступал. Все стояли, понурив головы. Уполномоченный с активистами поочередно драли глотки, уговаривая и пугая людей.

И такие собрания шли изо дня в день. Но результаты их были мизерные. Тогда "народная власть" применила иную тактику. Бывший хуторской гарнизон вооруженных людей усилили несколькими милиционерами в форменной одежде с револьверами на ремнях. Эта акция должна была внушить крестьянам, что сила власти большая и что она ни перед чем не остановится.

Теперь людей собирали каждый день и прямо с собрания молчунов отправляли в район, дабы там, в застенках, развязать им рты для слов "да" и "вступаю". Остальные томились целый день на площадке возле сельсовета, ночью им не давали прилечь вызовами в сельсовет.

- Ну, как, ты не надумал? Ну, иди домой думать...

Не успевал человек раздеться, как заходит вновь посыльный, чтобы шел в сельсовет. И так - каждую ночь, и каждый день, месяц, другой. Конечно, многие не могли дальше сопротивляться и сдавались. И чем больше сверху нажимали, чтобы быстрее и на 100% провести коллективизацию, тем свирепее становились районные и местные исполнители. Ведь им на это время была дана неограниченная власть. Они могли все, могли применить любое насилие, лишь бы достичь главной цели. Вплоть до расстрела.

Люди видели свое безысходное положение, боялись, но сопротивлялись долго, хотя и пассивно. Много я читал про это время, но ни один писатель полной правды о коллективизации

не написал. Может и писал, но ее нигде не печатали. Потому поколения, нас сменившие, будут информированы об этом периоде однобоко. От себя скажу, что ни один человек не хотел колхоза, даже те, кто ничего не имел и ему нечего было терять. И хотя они были сильно сагитированы, но предчувствовали, в какую кабалу заведет людей надуманное "счастье".

Но вот, люди, казалось, стали уступать давлению. Власти уже предвкушали победу, что они вот-вот смогут отчитаться перед своими высшими о полной коллективизации. Но вдруг стали уводить домой лошадей, коров, забирать сбруи, плуги, бороны (*видно, после статьи Сталина "Головокружение от успехов" - В.С.*). И снова наезжает Чека, ищут зачинщиков, арестовывают. Снова Горе и Слезы.

Наконец, власти твердой рукой свели всех в колхоз. Осталось лишь четыре семьи, не поддавшиеся, несмотря ни на какие запугивания и уговоры. Собрали общее собрание из насконо испеченных колхозников и постановили: оставшиеся вне колхоза четыре семьи твердолобых контрреволюционеров в колхоз не принимать, но наделы земли у них отобрать и присоединить к землям колхоза. Хаты опахать. Что и было немедленно исполнено.

Коротко об этих семьях, не поддавшихся нажиму.

1) Гродник Иван Денисович. Он, жена, пятеро детей, старшему из них - 11 лет. Человек неграмотный, тихий, услужливый. Чтобы прокормить семью, он прирабатывал на случайных заработках. В дальнейшем он работал то рабочим в техникуме, то в какой-то мастерской. Но постоянно работать не мог. Его начальству поступали откуда-то приказы, и его увольняли. Потом судили за бродяжничество. Жена умерла, дети разбрелись по свету с сумами на плечах, судьбы их мне неизвестны.

2) Усатый Данило Петрович. Жена и один сын. Тоже осужден, жена умерла, куда девался сын - неизвестно.

3) Сербин Федор, имел жену, бездетен. Сразу куда-то уехал, и больше о нем мы не слышали.

4) Четвертая семья - это четыре сестры-сироты. Старшей было 19 лет, младшей - 8. Между собой они жили дружно. Две старшие сестры заботились о младших. У них был лоскут земли, и соседи помогали им его пахать и убирать поле. Потому имели свой кусок хлеба. Но вот "благодетели" опахали хату, т.е. вокруг хаты проложили борозду, за которую они не имели права ступить ногой. Даже туалет остался за бороздой, и им приходилось нужду справлять в сенях.

Стал перед сестрами вопрос: как жить? Чтобы жить, надо есть, а еды теперь добывать дома нельзя. Повесили они сумы на плечи и разошлись по разным направлениям. С их хаты соседи ободрали верх на топливо, а земляные стены, хорошо сложенные, толщиной в 70 см, долго еще стояли. Их размывали дожди и калило солнце, появились трещины. Потом стены обвалились, образовался холм. Холм покрылся травой и стал похож на могилу, в которой скончана людская свобода.

Когда бы я не проходил в детстве мимо этого места, меня брала тоска, неутешная, неизъяснимая, и терзала мою душу длительное время.

Колхозная жизнь.

На площадке, где хуторская улица делает почти крутой поворот, сделали колхозный двор. В центре линии, образующей площадь, вкопали два столба, наверху соединили их старой доской, реквизированной с чьего-то забора, и написали на ней красной краской "Колхоз "Знамя коммунизма". У хуторян отобрали сараи, клуны, в общем, все, что имелось во дворе, кроме хаты. Все имущество свезли за ворота на площадку. Материал, с уверенностью можно сказать, никудышный. Одно - наполовину сгнившее, из другого сыпется мука. Съеденная шешелем древесина крошилась в руках. Вот из такого материала построили два сарая длиной примерно в 20 метров. Сюда свели отобранных у населения лошадей и коров.

Отец Виктора был лесником и имел сарай метров в 12. Кто-то поумней посоветовал не переносить его на колхозный

двор, а использовать на месте и поместить в нем свиней. Так и сделали. Это обернулось большим горем для нашего околотка. Но об этом позже.

К лошадям и коровам приставили отобранных, надежных, преданных советской власти людей. Но эти люди никогда в своем подворье не имели ни лошади, ни коровы. Как их кормить, как ухаживать, они не знали, да и ленились. И, конечно, лошади из упитанных стали, как скелеты, только ребра выпирают из кожи. Коровы, дававшие по 30 литров молока в сутки - или совсем переставали доиться, или давали по 2-3 литра.

Вскоре начался массовый падеж скота. За ним - новые репрессии. Вышел закон: за каждого мертворожденного жеребенка - суд и наказание до 5 лет лишения свободы. За павшую лошадь - 10 лет. Настало самое тяжелое время для конюхов и ездовых. Ведь лошадь не освобождалась от работы до самого "ожеребения". Часто она разрешалась от бремени прямо в борозде, когда изо всех сил тянула плуг. И как же можно было в таких условиях сберечь кобылу и ее приплод?

Работать на конюшне и ездовыми стало хуже всякой каторги. Поэтому работать там заставляли насильно. Многие не выдерживали такого гнета, бросали семью и убегали в другие края. Так было всюду, где работали люди. Пала корова, свинья - сразу находили "козла отпущения". Клеили ярлыки "вредителя" или "контры". На ярлыки такие дефицита не было, и клепали их, кому как вздумается.

И парадокс... те, кто ждал колхоза, агитировал за него, на работу не ходил. Для них был изобретен ярлык "саботажник". Эти люди, привыкшие жить на подачки от властей, не умели трудиться для себя. Обманываясь тем, что в колхозе будут трудиться другие, а им еще доступнее будет жрать из общего котла, вдруг узнали, что в колхозе и им надо работать. Руководство желало повлиять на их совесть агитацией, пугали ссылкой и прочим, но сделать из них работников было невозможно. Тогда делали так. Из досок сбивали плакат площадью метра на полтора. Окрашивали его черной краской и

привязывали к нему из ремней лямки. Белой краской или мелом писали крупными печатными буквами: "Я лодырь и прогульщик" или "Я саботажник, а значит, враг" или "Я дармоед, и мне не место между вами".

В общем, много разных изречений, выдуманных кульнопросвещенцем - скороиспеченным учителишкой, который и таблицы умножения не знал, но имел достаточную фантазию для опорачивания достоинства человека. Специально учредили должность "вожатых". Их выбирали из дюжих мужиков покрепче и давали наряд: "водить лодыря". Это и были "вожатые".

Наряд давался с вечера, указывалось и кого водить. Ранним утром эти два молодца брали свою жертву или из постели, или со двора, с улицы - там, где его настигали. Одевали лямки на плечи, так, чтобы большой черный щит с позорным изречением оказывался на спине жертвы. Молодцы брали мужчину или женщину под руки и волокли вместе с тяжелым, позорящим грузом сначала по хуторским улицам, потом везде, где есть люди - к кузнице, на коровню, свинарню, конюшню. Потом выводили в поле или садогородную бригаду. Водили целый день, в течение которого эта процессия должна была побывать два-три раза всюду, где работали люди. И только вечером жертва приносила свою ношу в контору. На следующий день ее будет носить кто-то другой. Замечу, что больше всего приходилось носить "черную" доску тем, кто агитировал за колхоз. Агитдурман улетучился. Настала реальная действительность. Надо было тяжело работать, и не то, что вареники, чтобы хотя бы какого-нибудь супа или картошки в мундирах съесть.

Кроме нехватки продуктов питания, и другие бытовые условия крестьянина стали много хуже. Простой пример: заболел кто-либо из семьи, а она не имеет своей лошади. Больница за 12 км от хутора. Раньше этот человек шел к соседу, к Левку, Петру... И кто-то из них, даже если у него самой неотложная работа, бросал все и больного доставлял в

больнице. Теперь же в таком случае надо искать председателя колхоза:

- Дайте мне повозку отвезти больного в больницу...

- Ты что, хочешь сорвать посевную!? Или вывозку навоза? или поднятие зяби? - или что-нибудь еще в этом же роде. Ведь срочные работы в колхозе идут круглый год.

Больной ребенок, жена, или сам крестьянин, не получив помощи, умирает или, даст Бог, выздоравливает сам.

Это только один пример. А сколько надо крестьянину на год случаев пользоваться тягловой силой? И где ее взять? Лошадей посдавали, теперь они хоть и "наши", но не могли ими пользоваться. Они только для колхозных нужд.

Делать что-то для личной надобности считалось капиталистическими наклонностями и резко пресекалось. При таких условиях жизни - нищета, бесправие, жестокость и бессердечность власти имущих привели к большому упадку крестьянской семьи. Безысходность такого положения порождала у людей апатию к окружающему и к самому себе. Люди начали жить по принципу: "День прожит, и хорошо, а завтра, как Бог даст".

Труд в колхозе не оплачивался. Судите сами... Женщина на прополке сахарной свеклы получала трудодень за прополку 20 соток. Даже на не очень засоренной бурьянном площади, работая не покладая рук, она могла прополоть только 7-10 соток. Значит, ей писали третью часть трудодня, а на прополке огородных культур и того меньше.

На постоянных (повременных) работах кузнец, счетовод, кладовщик, полевой бригадир и другие получали 1,25 трудодня. Председатель и агроном - целых 1,75 трудодня. Постоянные работники низшей категории вроде сторожа - 0,75 трудодня. Я, когда научился самостоятельно вскарабкиваться на лошадь, пас летом табун лошадей и за день мне писали 0,5 трудодня.

Но сам трудодень являлся абстракцией. В реальности же на трудодень иногда получали по 200, иногда 300 грамм проса или ячменя. Оплата производилась следующим образом. По состоянию посевов определяли средний урожай зерна. С урожая

вычиталось зерно, вывезенное в хлебопоставки и зерновой фонд, а потом и прочие его расходы. Рассчитывали примерное количество выработанных всеми колхозниками трудодней. Остаток зерна делили на эти трудодни и получали эти граммы. Например, бухгалтеры высчитывали, что на трудодень можно дать по 500 г пшеницы. За полугодие давали аванс на выработанные трудодни - но не по 500 г, а примерно по 400 г. Остальное, мол, дополучение будет при остаточном годовом расчете доходов.

Проходила жатва, обмолот хлеба. Вывозили хлебопоставку государству. Но тут же район требовал сколько-то тонн вывезти дополнительно, так как некоторые соседние колхозы недовыполнили свою поставку. Потом поступает директива, что поставку хлеба недовыполнил другой район и должны немедленно вывезти еще сколько-то хлеба. Наконец, вытряхивали из колхозных амбаров все зерно. И правление колхоза еле натягивает людям на трудодень по 200 г проса с ячменем. Оказывается, что, получая за полугодие аванс, люди перебрали вдвое больше, чем они должны были получить при окончательном годовом расчете. Таким образом, люди оказываются еще должны колхозу, и этот долг будут с них вычитать в следующем году. А кому было положено получить пуд-полтора, то и его не получали, потому что вычитали на разные обложения.

Обложения - это постоянные поборы - изматывали человека и добивали его окончательно. Продналог, сельхозналог, страховка, самообложение 120 куриных яиц, имеешь кур или не имеешь - не важно, 40 кг мяса, держишь какую скотину или нет - не важно. Если имеешь поросенка, обязан сдать на заготпункт кожу. Если есть коза или овца в хозяйстве, должен, кроме кожи, сдать сколько-то кг шерсти.

И в довершение всему, примерно в то время, когда с колхозниками производился годовой расчет, проводилась кампания государственного займа. Здесь уполномоченные-десятыхатники старались содрать со своих подписчиков как можно больше, чтобы поменьше пришлось подписывать их

родственникам и знакомым. В период подписки на заем насилию и садизму не было предела. Скажем, десятихатник (а эти люди были специально подобранными человеконенавистниками, они из кожи лезли, чтобы вытянуть у людей назначенную сумму) распределял подписку таким образом, чтобы беззащитные семьи вдов и иных неактивных людей подписывали почти на 70% займа, т.е. на двор попадало 500-700 рублей.

Человек видел, что ему не под силу выплатить эту сумму, даже если бы он продал все свое хозяйство. Но, вынужден подписать, потому что, во-первых, его пугали высылкой, что и делали для назидания другим, во-вторых, месяц-полтора не давали покоя, ночью таскали в сельсовет, с работы и из дома, днем и ночью, пока он не уставал и подписывал, только бы отвязались от его души.

Так и приходилось крестьянину ходить в долгах, как во вshaх: поля своего нет, конопли посадить негде, в огороде - лучше уж какую картошку и фасольку посадить. Да если б и было где-то, из-за колхозной работы не было времени возиться с коноплей. А конопля - это ведь необходимое сырье, это нижняя одежда колхозника и рядно, чтобы застелить топчан или лежанку. Верхней одежды - свиты - также не из чего было шить. Чтобы наткать сукно, надо настричь шерсть - а где же те овцы? Нет их теперь и в помине. О такой же зимней одежде, как кожух, теперь нечего было и думать. Сделать или купить кожух - это фантастика.

Пройдут годы, когда тем, кто пропальывают свеклу, иногда будут привозить ситцевые платки, да и то продавать только передовикам и активисткам, т.е. языкатым, как их называли в те времена. Обнищание людей усугублялось, голод и холод уносили в могилу многие жизни. Но это было лишь преддверие голода 1932-33 года.

В тот голод вымирали целые деревни, а в иных деревнях было поголовное людоедство.

Эпизоды голодных лет.

Первый. Сеньку Кесаря, который был чекистом и истязал людей, когда ему в голову ударял садистский дурман, перебросили в соседнее село за то, что он бросил свою жену и взял в жены двенадцатилетнюю Озину Марусю. За годы его правления в этом селе осталось только 5 хат, в которых выжили по одному-два человека, а остальные были сброшены в яму для свеклы.

Делалось это следующим образом. Люди уходили на работу, но домой ни идти, ни ползти уже не могли. Кесарь учредил специальный катафалк с парой лошадей, и при них два мужика покрепче. Они ездили по хатам и собирали трупы, сваливая их в свекловичный кагат. В вечернюю пору этот катафалк объезжал и места работы, поля. Тех, кто не смог уйти домой, сваливали тоже на катафалк. И не имело значения, мертв он или еще живой, отвозили к яме и сваливали всех туда, под тем предлогом, что хоть и жив, но раз идти не может, значит, завтра умрет.

38-летний Иван Сидорчук косил со всеми, но выбился из сил и не смог уйти со всеми. Понемногу полз на четвереньках. Но заметил его знаменитый катафалк, и бросили между трупами. Был он в полном сознании, знал, что вывалят его в кагат глубокий, откуда ему уже не выбраться никогда. Напрягая все силы, перекатился через труп и свалился на землю. На какое-то время потерял сознание. Отойдя от обморока, почувствовал, что мужики силятся снова бросить его на катафалк. Сколько мог, он сопротивлялся. Но и у гробовщиков, или как их еще называть, силенки тоже истощились. Повозясь с умирающим и видя, что сил и у них мало, чтобы его поднять, один сказал: "А, черт с ним, пусть лежит, завтра подберем" - и уехали.

Спал он или нет, но почувствовал холод. Заалел небосвод - скоро утро. Ни одного утра в своей жизни он не боялся, как этого. Ведь отвезут и бросят в яму. Страх заставил его ползти в буряны. Изредка отдыхая, он полз и полз, не

думая, куда, и не имея ориентира. Выполз на картофельное поле минувшего года. Там ему попалась картофелина. Зимой она замерзла, весной оттаяла и солнышко просушило ее. Мякоть вся вымерзла, но крахмал еще остался, и он с жадностью съедал. И еще ему попадались такие картофелины, он сначала прятал их за пазуху, но потом вынимал и съедал.

Сколько это продолжалось, он не знал, утолил он так голод или нет, тоже не знал, потому что уснул. Проснулся от холода. Рассветная сторона еще не поднималась, но месяц светил ярко и видно было, как днем. Он снова полз по полю, стараясь как можно больше собрать картошки. Но бессознательно двигался на восток. Сколько времени прошло с начала его путешествия, он не знал. Только оказавшись возле сахарного завода, он понял, что от катафалка и своей смерти он отполз на 15 км.

С завода добрые люди подвезли его к железнодорожной станции, и очутился он в Донбассе. На первых порах устроился сторожем, а по совместительству помогал рабочей столовой. Когда окреп, полез в шахту коногоном. Прошло время, и он смог скопить даже небольшую сумму на дорогу домой и подарки родным. Приехав домой, застал пустой не только свою хату, а и все село.

Второй, о другом селе. Оно также от нас недалеко, и через него наши ходили или ездили в город. Село это лежит в глубокой долине, как в пропасти. По склонам балок на холмиках, где только была сравнительно ровная площадка, лепились хаты. Потому никакого порядка между хатами не было. К какой хате шла дорога, а к какой - только скрученная тропинка. Здесь было удобно жить разным ворам, а может и бандитам. Поди, знай, что делает сосед, если иные из них по полгода друг друга не видят.

В 1932-33 годах люди этого села почти полностью самоуничтожились. Здесь было поголовное людоедство. Село это было проклято людьми, и его обходили, как говорится, десятою дорогою. Заросло оно сплошным бурьяном: лопухи, осот выше крыш. Позаросли и дороги, и тропинки. В этих

джунглях и высматривали сельчанин сельчанина. Конечно, в схватке побеждал сильнейший, колотил по голове камнем или поленом, или удавливал, хватая за горло. Не дожидаясь полной кончины своей жертвы, он обрезал на ней все места, где еще намного оставалось мышц. Если же у жертвы были только кожа и кости - то вырезали внутренности.

В начале людоедства в этой деревне произошел такой случай.

Две девушки учились в городе. В субботу после занятий они обычно шли домой на выходной. Занятия в тот раз кончились поздно, но они решили идти домой, хоть и предстояло пройти 15 км до той деревни, где жила одна из девушек. Другой же надо было добираться до дома еще пять километров. Конечно, девушки стремились идти как можно быстрее, но темнота настигла их еще далеко от села. Становилось все темнее и темнее. Наконец, добрались они до хаты первой из них. Отец и мать обрадовались не только дочери, но и случайной гостье. Они уговорили ее переночевать. И девушка согласилась переночевать у подруги, ведь в такую темноту идти страшно, да и можно заблудиться. О том же, что в этом селе уже началось людоедство, она не знала. Меж людьми еще только просачивались слухи, и большинство говорило, что это брехня, такого не может быть.

Родители накормили их каким-то зеленым супом и уложили спать. Возле одной стены - топчан, на нем девушки и легли спать... родители на лежанке. При том гостья лежала на краю, а хозяйская девочка от стенки. Гостья почему-то не спалось. То хозяйка пришла, облапала их, будто проверяла, не сползло ли рядом с девушек, чтобы не замерзли. То хозяин проявлял какую-то процедуру. Варька (так звали гостью) не могла уснуть. Она боялась, что, лежа на краю топчана, может свалиться на пол. И вот, когда подруга повернулась, она перелезла под стенку, а подругу оттеснила на край.

Ночь тянулась долго. Как она ни закрывала глаз, они раскрывались, и сон убегал прочь. И вот она почуяла еле слышный шепот и вся превратилась в слух. Что говорилось

шепотом, она не расслышала, но через некоторое время услышала крадущиеся к девичьей постели шаги. Может, заботливые хозяева обеспокоены, чтобы они не замерзли, и снова будут проверять, не сползло ли рядом, она почувствовала, как шарят пальцами по голове ее подруги и ожидая прикосновение к себе. Но вместо этого она услыхала глухой удар и хруст, должно быть, черепа. От страха тело ее омертвело: ни кричать, ни пошевельнуться. Вдруг тело ее подруги шлепнулось на пол и его потащили в сени. Когда дверь захлопнулась, она пружиной бросилась в окошко. Полусгнившая рама разлетелась на куски, и Варька очутилась во тьме, во дворе. Отдаляясь от страшной хаты, она услышала вой волка и волчицы, которые, поняв свою ошибку, завыли на всю деревню.

Сожрали они тело своей дочери, или нет, неизвестно. Но люди воочию убедились, что творится в соседнем селе. А Варька пережила голодовку, потом имела семью и умерла на 50-м году от болезни.

Третий. Мы - ребята, девочки и мальчики, играем в прятки на краю хутора - здесь есть, где спрятаться в огородах, деревьях, кустах. Круг, в который стремится вбежать обнаруженный ищущим (или неприкосновенным), находится рядом с кладбищем и обозначен мелом. Играя, мы не обращаем внимания на Санька, сына Кривой Ольги, который возле самого кладбища копает яму. Сантиметров семьдесят глубиной, полметра шириной. Выкопав до таких размеров, поволок лопату домой. Хата его крайняя. Вдруг все дети бросили игру: Санька со своего двора волок какой-то тюк хлама. Только подбежав к нему, мы видим, что тянет он свою мать - Кривую Ольгу. Вместо одежды на ней такие лохмотья, что большая часть тела неприкрыта. Мы все следуем за Саньком, а он ни на кого не обращает внимания. Больная ее нога, полусогнутая, цеплялась за разные бурьяны. Тогда он прикладывал больше усилий, и нога отцеплялась. Труп медленно двигался к кладбищу.

Дотащив мертвую мать к яме, отышался. Потом приподнял труп за ноги, мать его головой вниз, ногами вверх

оказалась в яме. Яма была узкой, неглубокой, поэтому он долго старался как-то втолкнуть ноги трупа в яму. С бывшей здоровой ногой он справился, а больную никак невозможно было впихнуть туда же. Наконец, взял лопату и забросал яму. Но из нее продолжала торчать ступня с пальцами. Немного постоял, срубил несколько кустов полыни и набросил на торчавшую ступню.

Потом полынь сдул ветер, ступню разъедали муравьи, а косточки ее долго еще белели возле ямки-могилы под дождями и солнцем. Санька исчез с хутора навсегда.

Четвёртый. Кто-то и где-то заботился о многодетных семьях. На нашей улице таких семей было две: наша и Просыки Ковтупки. Вот мне и Ивану Просыкину назначили пособие. Два раза в неделю нам полагалось получать на семью 500 г хлеба. Выдавать этот хлеб был поставлен учитель Банькатый. Глаза у него сидели как-то сверх глазниц и величиной были с куриное яйцо. Он так поставил выдачу хлеба, что за все лето мы смогли получить от него лишь четыре раза эти пайки хлеба. А ведь ходили мы с Иваном к его хате исправно, ни одного из назначенных дней на выдачу хлеба не пропускали. Один раз Иван не пошел за хлебом - пробил гвоздем пятку, отчего опухоль погнало на всю ногу, так что он метался в жару. Мать Ивана попросила, чтобы я получил и Иванов хлеб. Но Банькатый Иванового хлеба мне не дал. Да и моя пайка была, наверное, вдвое меньше, не пятьсот, а грамм 250. Получил я эту пайку, бережно замотал ее в лист лопуха, и за пазуху.

Иду и придерживаю драгоценную ношу рукой. Вдруг догоняет меня парень, годков на 5 старше меня. Его бедра опоясывал только остаток штанов, ноги были черные, как в серых чулках, чуб свалялся и склеился репеями, лицо, как у ??са... труса???. Держит он в руке веревочку, на которой треплются три карася.

- Что несем? - спрашивает он меня.
- Да получил пайку хлеба.
- А я, видишь, каждый день карасей ловлю, ем их, и так живу.

- Хочешь карасей ловить?
- Хочу, да у меня крючка нет.
- Дай хлеба, я тебе сделаю крючок.
- Да, я знаю, на простой крючок рыба не ловится, крючок нужен с бородкой.
- Чудак, я и делаю крючки с бородкой, пошли ко мне.

Это был Григорий М. Мы вошли в его двор, сплошь заросший. Снопки соломы на крыше наполовину ободраны. Муроанные стены облуплены и поколоты. Двери сами открылись вглубь сеней. В хате - темень. Окно закрыто вязанкой бурьяна. В верхней части отверстие, откуда идет свежий воздух. Стены закопчены сажей, хуже, чем в печной трубе.

- Садись,- сказал Григорий и указал на изрезанную и источенную доску, непонятно на чем держащуюся возле стены.

Я сел. Через какое-то время начал различать предметы. В углу, где и положено, стояла печь. Все закопчено сажей, облуплено, обвалено. Возле печи - лежанка. Когда мои глаза еще больше привыкли к темноте, на лежанке я разглядел еще какой-то предмет. Но тут хозяин снял с окна вязанку полыни, что прикрывала его, и бросил в угол. В хате стало достаточно светло, и я увидел сидящую на лежанке голую женщину. Она была так закопчена сажей, как будто одета в черную плетеную одежду, тесно облегающую тело. Роскошные темные волосы прядями падали аж на голые бедра. Часть пучков их свисала с плеч и падала на лежанку. Опухшее лицо, черное от сажи, светилось лишь белками немигающих стеклянных глаз и белизной зубов, когда она открывала рот, силясь сглотнуть слюну в пересохшем рту.

Возле лавки, где я сидел, было положено несколько кирпичей, а на них лежала огромная сковорода, грязная и закопченная.

Пока я оторопело все это осматривал, Григорий вышел во двор. Возвратился он с парой снопков соломы, сорванных с крыши. На сковороду он уложил трех карасей, вместо масла налил воды и запалил под сковородой солому. Дым сразу же заполнил хату, но через какое-то время повис полуметровым

шаром под потолком. В оконный проем, который служил здесь и дымарем, в половину проема валил с хаты дым. А в нижнюю половину окна струился свет и свежий воздух.

Женщина все более наклонялась над лежанкой, и когда клониться стало уже невозможно больше, замерла, как будто готовая к прыжку. Все ее внимание было сосредоточено на карасях, шипящих на сковороде. Когда догорел пук соломы и, по мнению Григория, рыба была готова, он встал, сковороду поставил на лавку немножко поодаль от меня:

- Ну, давай хлеб, я покушаю, и сделаю бородку на твоем крючке. Вот смотри,- он взял на окне крючок,- у меня уже есть готовый, надо только сделать бородку, и все.

Я вынул хлеб из пазухи и отдал Григорию. Он бережно развернул мой сверток и положил хлеб с листа лопуха на сковородку, вытряхнул туда же и все крошки. И принялся за трапезу. Один. В это время руки женщины, упирающейся в край лежанки, соскользнули, и она чуть не свалилась на землю. Только теперь Григорий обратил на нее внимание:

- Ты чего глаза вытаращила? Думаешь, тебе дам? Мне и самому тут есть нечего.

- Кто это,- тихо спрашивала.

- Мать моя...

- Так дай же ей половину своей еды. Она же есть хочет...

- А вот этого она не хочет?

Он свернулся кукиш и с силой толкнул им прямо в нос матери. Своей матери. Она абсолютно не отреагировала на сыновью выходку, как бы приготовившись к прыжку, не сводя глаз с содержимого сковородки. У меня закружилась голова, стало дурно и тошно. Я вскочил с лавки и во всю прыть бросился бежать.

Прибежал домой я плачущим. Мама решила, что хлеб у меня отняли и, как могла, утешала. Когда я немного пришел в себя, то рассказал ей все, как было. Она не упрекала, только сказала: "Жаль, что хлеб отдал такому нелюду. Да и вообще жаль..." Ведь она очень надеялась на этот хлеб. Вскипятила воду с разными листьями буряка в ведровом чугуне. Если туда

покрошить хлеб, который я иногда приносил, то от хлебного духа получался вкусный и сытный суп, которым насытилась бы вся семья.

Пятый. После затяжных осенних дождей все улицы превратились в непроходимое болото. Взрослые ходили берегом, осоками и травой. Мы, мальчики и девочки, лезли в грязь, где поглубже, где нам было до колен.

В два часа дня - конец школьных занятий. Выходя на улицу, ребячий гурт разделился, кто направо, кто налево. С нашего участка улицы все ребята и девочки ходят вместе. Все босые, в драной и грязной одежде. Ногами и руками бросают одни на других грязью.

Навстречу по этой грязи ползет женщина, в одной рубашке, разорванной на груди, без рукавов. Тело, конечно, покрыто грязью. Груди ее двумя грязными тряпками волочились по земле. Она приподнимает голову и, опираясь на руки, с большим усилием подтягивает туловище. Белеют только две точки глазных белков. Она ничего не видит, вернее, не понимает.

Подходим ближе. Виктор берет полную горсть грязи и швыряет в лицо ползущей. Девочки и мальчики гогочут. Женщина даже и не заметила, не сделала и попытки освободить свое лицо от грязи. Тело женщины сильно вздулось, в нем нет ни признака жизни. Но вот сильный толчок воздуха изо рта, и ком грязи отвалился. Женщина начала тяжело дышать - ведь ей залепило нос и рот. Еще через некоторое время грязь сплыла с глаз и снова заблестели белки. Виктор намеревался повторить еще раз свой "остроумный опыт", но с соседнего двора выругался мужчина, и мы пошли дальше.

Женщину ту звали Оксаной Пытюшкой. Муж ее Федор был активным комбетовцем и с большим усердием исполнял свою черную работу. Регулярно участвовал в обходе хутора на предмет изъятия зерна и других продуктов у населения. Чутье у него было просто собачьим - стакан фасоли, торбочку ржи, чугунок картошки - он из-под земли доставал и выкапывал. Ходили комбетовцы и иные группами в 6-8 человек.

Простукивали стены хаты и сарай. Острыми прутьями проныкали землю в хате и возле хаты, во дворе и на огороде прощупывали землю. Обыскивали подворье так, что ни картошины, ни зернышка не могло быть незамеченным. И особенно отличался в деле поиска Федор Петюх.

Если уж он что пролапал, прощупал - то комбедовцы были уверены, что там уже ничего не найдешь. И районное начальство знало - значит, у людей взять больше нечего и потому дальнейших директив о новых поисках продуктов питания больше не спускало, а на отсебятину сельских активистов смотрело сквозь пальцы.

И вот, проходила неделя-две, и комбедовская шайка вновь собиралась и уже своей волей шла по хутору, подметая вновь все, казалось бы давно вычищенное. Кто-то где-то приобрел стакан фасоли, кому-то родственники прислали кило крупы и т.д. - все это находили, отбирали и приходили с награбленным к Озе, там делили меж собой и разносili по своим домам. Но Федор Петюх и тут отличался: свою долю он нес не домой жене, семилетней Тае и девятилетнему Степке, а к вдове Надьке. Но не с вдовой он живет, а с ее 12-летней дочерью. Правда, обе они хорошо откормлены. Свою же жену и детей он бросил сразу, как только почувствовал благорасположение к себе высшего начальства. Так и жил он у Надьки, в то время как в его родной хате умирали от голода родные дети, а обезумевшая от голода жена уползла в какое-то осеннее болото...

Шестой. Одиннадцатилетний Ленька Слон сделал лук. Мать приказала ему настрелить воробьев - она из них варит вкусный суп. Раньше при открытой двери он сыпал приманку, и воробы сели заходить в сени. Теперь никакой приманки нет, да и воробы чувствуют недоброе, потому в сени более не заходят. Но, как вспомнит вареные в супе воробыниные тельца, аж слюна изо рта течет - вкусная вещь! Потому попробовал лук на счастье. Одну стрелу выстругивал ножом полдня. Сделал ее ровной, а наконечник из жести. Сел за толстой яблоней и ждет.

Вот на вишневой ветке уселилась стайка серых комочеков. С замиранием сердца Ленька натянул тетиву и пустил стрелу. Но стрела подняла всю стайку на крыло, но не задела ни одного воробья. Стрела улетела далеко в чужой огород. Он побежал к ней, не спуская глаз с места, куда примерно могла бы упасть стрела. Вдруг нога его куда-то неглубоко провалилась, поскользнулась на чем-то, и он упал. Это была яма небольших размеров и неглубокая, чуть присыпанная. Но в проделанной его ногой дыре виднелась часть человеческого тела. Испугавшись, он бросился к матери.

Рядом с ними жила семья Кучманов: две сестры-близняшки по 32 года и их брат Степан. Он был младше сестер и умственно недоразвитый, попросту идиот. И еще с ними жила дочка одной из сестер, девочка пяти или четырех лет.

Около хаты собралось несколько мужчин и женщин. Они требовали открыть двери, но никто не отзывался. Тогда коваль (деревенский кузнец) просунул в щель между досками руку и открыл дверную щеколду. Дверь открыли. Обе испуганные сестры залезли под топчан и зарылись в мусор.

- Где Степан? Где твоя дочка? Где ребенок? - их люди спрашивают, но обе женщины головы не поднимают, и, ни звука.

Тогда взяли лопату и повели этих хищниц в огород к яме. Там откопали трупы - останки их брата и дочери. Сестры пали на землю и с сумасшедшим воем стали кататься вроде как от колик. Трупы были обрезаны до костей - все, что только можно было обрезать. Я случайно проходил по улице и стал невольным свидетелем самого страшного, что только может случиться с человеком. Мужчины постарались глубже захоронить трупы. Женщины долго обсуждали случившееся. Потом все разошлись по домам, и жизнь, ужасная, голодная, снова поволоклась своей колеей.

Через какое-то время трупы обеих сестер были сброшены в братскую могилу. Людоедство их не спасло.

Седьмой эпизод. Хуже бедствия, чем голод, не бывает. Я имею в виду всеобщий голод. Как быискажается мозг, человек

теряет человеческие чувства, становится зверем. Такой зверь делается в несколько раз страннее природного: кроме инстинкта животного, он обладает еще умом. В нашем хуторе было слышно лишь о двух случаях людоедства. Кучманки, о которых сказано выше, и еще на новой улице выше хутора. Там было застроено только четыре надела, выбранные, как кому нравится. Так что хаты стояли не рядом, а на различных расстояниях между собой. В одной из четырех хат жила женщина с двумя детьми.

И от люди заметили, что детей давно не видно. Начали требовать объяснений: где дети? Женщина бросила хату и все, что там было, и исчезла, а неуспокоенные хуторяне нашли припрятанные два обезображеных, обрезанных детских трупа. Эта женщина все же выжила и возвратилась в свой край после Отечественной войны. Не на хутор, конечно, а в другое село, где на глухом кутку купила хатку на курьих ножках. Чтобы об ее прошлом никто не узнал, она ни с кем не общалась, чем и соседи ей отвечали. Стала она старой и дряхлой, но умерла все же от голода в 1947 году.

Но сейчас речь идёт о 1932-33 годах.

Зимой 1933 года доживших лошадей приходилось на шлеях подвешивать к потолку конюшни, чтобы не ложились на пол, Свалившиеся на пол были приговорены к смерти, сами подняться на ноги уже не могли. Ведь мужчин осталось мало, да и оставшиеся были бессильны поставить лошадь на ноги. Лишь девятка полтора лошадей дожили до весны. Приучили их стоять в особых узких коридорах из досок на собственных ногах. С наступлением весны, когда поля позарастали сочным бурьяном, оставшихся лошадей решили выгнать на вольный выпас в поле, так как работать они не могли. Но это решение погубило лошадей окончательно. После зимней сухой, часто прелой соломы, они жадно набрасывались на свежую зелень, объедались. Утомленная от еды лошадь ложилась отдохнуть или просто падала - и больше подняться не могла. В бурьянеле появлялся труп за трупом.

Правда, лошадь не успевала даже остыть. Только что лежал лошадиный труп со вздутым животом, а через час-потома - уже один костяк, как будто наждаком отточенный. А пройдет время - и кости унесут. Но должен заметить: ни одна семья и ни один человек, что питались лошадиной падалью, не остались живыми - все вымерли. Наверное, в трупах образовывались ядовитые вещества, которые и помогали голоду справиться с человеком. Наверное, смерти способствовали трупные бактерии.

О нашей семье в голодные годы и после.

Подошло время сказать немного о нашей семье. Как могло случиться, что семья из девяти ртов не потеряла ни одного человека, в то время как вымирали целиком и семьи, и целые кутки (улицы)?

Да, от голода мучительно страдали и мы. Конечно, мы, дети, несли только половину страдания, а каково было отцу и маме, которые болели и от голода, и от страха за каждого из нас? Всеми силами старались они уберечь семью от смерти. Отец работал беспрерывно день и ночь, хотя сам был, как сухарь, худ и обессилен. В непрерывных заботах была и мать. Как-то получалось, что они дополняли друг друга в изобретательности поиска кормов. Например, отец по договору с колхозом работал на сахарном заводе - что-то восстанавливали от вытяжной трубы до заводского забора. И как-то руководитель этих работ увидел, что "этот стариk" хоть и слаб, но работает по-совести. Приглядываясь, убедился, что он работает так даже без указаний, хотя и знает, что ему за работу напишут только трудодни дома, на которые он ничего не получит.

Однажды перед выходным начальник сказал отцу, чтобы после работы зашел в заводскую контору. Озадаченный и встревоженный, почему его вызывают, пошел он в контору, но там ожидала его не беда, а радость: ему вручили ордер на получение 8 кг патоки. Восемь килограммов патоки - это же такое богатство в то время! Мама тоже приготовила сюрприз. Но о нем надо рассказать подробней.

Как пошли в рост листья на деревьях, лес стал кормильцем. В то время в основном пострадала липа. Не успели листья достичь своего нормального размера, как были буквально уничтожены, съедены. Липовые деревья стояли обломанными, обрезанными, голыми. После этого найти в лесу живую липу стало так же трудно, как напасть на слиток золота. Ведь люди перепробовали есть листья всех деревьев, но они были несъедобными по непереносимой горечи, или даже вызывали сильную рвоту. Только липовые листья можно было есть, хотя и они были, конечно, не мед. Их сушили в печке, помельче растирали и, у кого сохранились жернова, перемалывали на муку, из которой пекли что-то вроде оладий. Правда, глотать их было трудно, преодолевая тошноту, часто болел живот - и все же они как-то утоляли голод и поставляли какую-то энергию для организма.

Но липы хватило недолго. Начали употреблять разные буряны, выискивая среди них наиболее съедобные. И мама, когда в лесу отыскать съедобное стало невозможно, переключилась на поле. И однажды ей повезло. Она вышла на голое поле, где осенняя вспашка еще не успела зарасти буряном полностью. Сначала она не обратила на него внимания, стараясь перейти на другое поле, где бурьян поднялся уже гуще. Но вдруг ее внимание привлек сморщеный грязный мячик. Она его подняла и увидела, что это перезимовавшая картофелина. Разломила - и оказалось, что картофель превратился в желтоватый крахмал. Там она насобирала почти полмешка прошлогоднего картофеля. Дома все тщательно очистила, размяла хорошенко и из этого замесила тесто. Оладьи вышли вкусные, сытные и выдавались нам строго по порциям.

Когда же отец привез с завода патоку, и мама начала немножко добавлять ее в это картофельное тесто, то получились не оладьи, а деликатес, такого блаженства, наверное, не было во всей жизни. Семья наша, конечно, была счастлива, хоть на время, но отодвинулся страх перед голодной смертью.

А ведь смерть от голода могла постигнуть нашу семью еще минувшей зимой, когда есть было совершенно нечего. Но тогда выручил случай.

Соседка Ирина Яровая часто зимой уезжала куда-то месяца на два-три, а куда, никому не говорила. Хозяйство же на время своего отсутствия доверяла маме. Отдавала ей ключи от хаты и сарая, но от кладовки ключ забирала с собой. Мама смотрела, чтобы никто не снял дверь хаты или сарая, чтобы не срывали с крыши снопки соломы на топливо, чтобы целыми были окна. Иногда маме приходилось забивать дыры, вырытые мышами, иногда свежей глиной смазывать пол в хате. Обычно и я увязывался за мамой во время этой работы, заглядывал во все углы и закоулки, рылся иной раз и в хламе - ведь все чужое кажется таинственным и возбуждает интерес.

Однажды я забрался на чердак. Там было пусто, но когда глаза привыкли к темноте, то заметил большую кучу чего-то. Забрав на пробу в руку и поднеся ее к свету, я, к своей неописуемой радости, увидел, что это крупные кукурузные отруби. Отруби оказались очень хорошими, в них было много зерновой массы (и как их при обысках не приметили?). Взял я торбу и перетаскал всю кучу отрубей к себе в сарай, в пустой сарай. Сгрузил в одном углу и прикрыл соломой свое приобретение.

Мама не обратила на мою суетню никакого внимания, и я был свободен от маминых запретов. Но с этой поры меня все время мучила мысль: что будет, когда приедет хозяйка с сыном Никитой и хватятся, что их отрубей нет? Если хозяйка спросит, мама, конечно, будет допытываться правды у меня. Тогда не останется ничего иного, как признаваться и отдавать хозяевам.

Но тревоги мои, на счастье, были напрасными. Ирина и Никита, по возвращению не заметили пропажи, может, и не знали, забыли о содержимом своего чердака. Когда же прошло много времени, я успокоился, а голод, напротив, дошел до высшей точки, я открылся маме. И не могу сказать, чего в ней в тот момент было больше: горечи или радости от моего поступка. (Взять без спросу - для отца и мамы - невозможный грех, но без

этих отрубей мы, наверное, не выжили бы). Отрубей было около 70 кг, и они надолго поддержали жизнь семьи. Мама набирала кружечку, выбирала из них мышиный помет, а чистые отруби сушила, размалывала в жерновах и варила баланду. И, конечно же, она была вкуснее и питательней любого бурьяна.

Так и перебивалась наша семья то одним, то другим. Но мяса наша семья не ела, хотя лошади и другой скот падали, но мать и отец никогда не соблазнялись пойти и отрезать себе кусок падали. И на базаре никогда не покупали мясные продукты, потому что представляли, из чего они делались. Соседкин муж Филипп был в городе, купил и привез домой несколько котлет. Жена разломила котлету, а в ее середке торчит обыкновенный ноготь с человечьей руки. Так она ходила по хутору, показывала эту котлету и в голос выла: "Люди добрые, что же это такое?"

В июне 1933 года голод достиг апогея. Умерла бабушка Марта. Помню: старший мой брат Женя сидит под копной соломы, уже опухший от голода, и двигаться не может. Мама сидит рядом с ним, плачет и уговаривает: "Женя, сынок, не умирай. Подожди еще немножко, уже скоро накормлю тебя хлебом, вот посмотришь, только не умирай..." Как будто жить или умереть - от него зависит. Я тоже плачу. А он положил голову на солому, и все ему уже безразлично, ни одной жизненной искорки в глазах, ни единого желания или интереса.

Помню, мама встает, снова просит: "Подожди, я скоро приду", берет мешок, серп и идет огородом в поле. Давно уже приметила, что на старом токовище, между густыми зарослями бурьяна растет остатия рожь. Стебли буйные, колос крупный, но зерна еще не созрели. Растирла она колосок на ладони и увидела лишь половинки зерен ржи, еще мягкие и как будто налитые густым молоком. Но выжидать ей больше уже нельзя. Нажала мама колосьев, принесла домой, высушила в печке и получила три стакана зеленых морщинистых зернышек. Их размололи в жерновах - получилась зеленоватая мука. Спекла мама из них два коржа, выпросила у соседки кислого молока: "Сын умирает" - и начала кормить Женю так.

Теперь она ходила в поле каждый день и приносила ржаные колоски, а зерна в них с каждым днем увеличивались. Потом в огороде стали подкапывать картошку. Несколько картофелин, с орех величиной, немнога ржаной муки - и выходил вкусный и питательный суп. И вот постепенно Женя возвратился к жизни и через время немнога набрался сил.

* * *

Вся наша семья работала в колхозе. Отец сначала был ездовым, потом его перевели в плотницкую бригаду. Мама же целое лето не выпускала из рук сапу (тапку). И дома огород надо прополоть, а в колхозе сколько было той прополки, что все женщины от восхода солнца до полной темноты гнули на ней спины. А работы не убавлялось.

Женя зимой ходил в школу, а летом уже как взрослый работал ездовым. Я же с Иваном Присыкиным работал летом в садово-огородной бригаде. В основном мы пололи картошку, помидоры и другие огородные культуры. Позже меня взял к жеребятам бывший кавалерист Сергей Штанько.

Он любил лошадей и требовал этого от других. Жеребят отлучали от кобыл примерно в полгода, а в работу не брали до двух лет. После двух лет пару выросших лошадей отдавали в бригаду опытному ездовому. Дядя Сергей подобрал мне спокойную лошадку, чтобы я мог самостоятельно взбираться на нее. Когда табун жеребят в 25-30 голов выпускали из ограды, то я должен был во весь дух гнать их, чтобы жеребята не успевали забегать во дворы. Так я вихрем пролетал за хутор на лужок, где был выпас для жеребят. За эту работу мне писали 0,75 трудодня.

В общей сложности наша семья вырабатывала в эти годы 700-900 трудодней (правда, в народе их звали - дурноднями).

* * *

Кратко поясню, что голод не кончился ни в 1933-м, ни в какой иной довоенный год, хотя уже и не был таким сильным, как в 32-33-м году. Вот возьмем для примера достаток нашей семьи. Зарабатывали трудодней много, а получали на них мало. Денег же не платили и копейки, трудодни оплачивали только хлебом. Этого хлеба хватало бы, даже если бы он весь шел на

семейную еду, только на 2-3 месяца в зависимости от числа едоков. Но ведь надо было платить еще и непомерно большие податки (налоги). Продналог, сельхозналог, мясо, яйца, кожу, шерсть, страховку. И в завершение всего самое тяжелое: заем!

Встает законный вопрос: как же могли выживать люди, да еще расплачиваться с государством? Хотя и были в постоянном "долгу" перед ним? А объяснение тут простое. Все, что выращивалось на приусадебном участке - шло на уплату податей. А чтобы как-то прокормить семью, нужно было подворовывать в "родном колхозе" (и быть вечно виноватым). Хищения были разные, но в мелких размерах: то карманом, то торбой, то вязанкой, то повозкой. Более сподручно было воровать женщинам. Они шили специальные торбочки, которые умудрялись помещать между ног. Там шарить не решался никакой оперуполномоченный, а тем более охранник.

Мы, дети всех возрастов, - тоже брали. Главное, чтобы не узнали, чей ты или чья - ведь за детей отвечали отцы. В воровстве у колхозников была полная солидарность, никто за это никого не осуждал, между собой все брали открыто, так как понимали - это единственный способ выжить, когда заставляют работать без оплаты.

Один большой политик назвал бесплатный труд школой коммунизма (кажется, это было сказано на субботнике). Его последователи взяли это определение за аксиому, и ничего за работу не платили. Вернее, плата была столь мизерной, что ее можно было не принимать в расчет. Но такие порядки и впрямь стали школой выживания, спасения от голодной смерти. И так мы научились, что и спустя 70(60) лет твердо знаем ее уроки. Кто где работает, там и берет, что можно взять. В разные времена бравших людей звали по-разному и по-разному наказывали. В пору становления колхозов их называли врагами народа и строго судили. Один лишь пример: Шолох Оксану Григорьевну осудили на восемь лет лишения свободы за два килограмма ржаных колосков, собранных на жнивье, когда уже проводилась вспашка поля. Судили, несмотря на то, что она

имела двух детей; девочку трёх лет и мальчику - семи. Потом они ходили по дворам, протягивая ручонки, просили есть.

Государству, его руководству, видно, были выгодны эти воры - ими пополнялась бесплатная рабочая сила, подымающая индустриализацию страны. А потом этой индустриализацией будут кичиться разные прихлебатели и их потомки: "Мол, за такое короткое время - да поднять и довести до уровня... !" И никто из них не вспомнит, какой ценой все это делалось и сколько жертв забрала эта индустриализация, сделав народ нищим.

Рабочих людей звали ворами. Соответственно и наказывали. Спустя 70 лет, в период перестройки, эти люди приобрели новое название - несуны! И снова объявлена суровая борьба с несунами. Но, как известно, сила инерции огромна. Ведь хоть и берут, но никто из людей во все периоды становления нашей власти не считал себя врагом, вором или несуном. Эти массы народа - не воруют, а берут, хотя смертельная необходимость в этом уже отпала, голод им не угрожает. А берут потому, что все - наше, общее. Мы его производим - и оно наше. И так везде - от верха до низов, с той лишь разницей, что условия для "взятия" - неравные. Ведь чем выше чин, тем больше возможность взять. Ну, а внизу берут, что попадется: гвоздь - в карман, доски - порезал, и в мешок домой. Да, срабатывает сила инерции, да и неудовлетворенная потребность - ведь в магазине многого не купишь...

Репрессии 1937-1938 годов. Судьба отца.

Черная туча снова накрыла всю страну. Непреходящее горе посетило миллионы семей в эти тяжкие годы. Хищный дракон из Гори, обосновавшийся в стольном городе, проголодался. У него разгорелся аппетит, никогда не слыханный в мире до сих пор. Миллионы человеческих тел перемолол он в своей ненасытной вонючей утробе. Без какой-либо причины стали арестовывать людей, и закрытые суды заработали на полную мощь. В эти суды допускались лишь те, кому предстояло что-либо говорить предписанное на обвиняемого.

Не минуло это страшное горе и нашей семьи. В феврале 1938 года зима была снежной и суровой. Улица была переметена большими снежными сугробами. Утром ночной сторож на свиноферме сдал свое дежурство и готовился идти домой на отдых. Подтянул веревки на тряпках, которыми оборачивал ноги взамен обуви. Женщины, пришедшие кормить свиней, сказали ему, что снегу намело по колено. Правда, шапка, у которой мех наполовину вытерся, прикрывала его седую голову еще надежно, а вот "бобрик" самотканого сукна очень проходился и заплаты совсем плохо держались на нем, много было дыр, свободно пропускавших студеный воздух к его худому стареющему телу. Полотняные штаны были вправлены в тряпки, обернутые вокруг ног, и увязаны до колен веревками. В таком одеянии в помещении, да двигаясь, еще можно было сносить холод, а вот как он будет идти по морозу?

- "Ну, ничего, девочки, тут недалеко, как-нибудь зайчишкой доскачу, авось на скаку не замерзну" - отшучивался старик.

И вот, собравшись и пошутив, он простился с женщинами и вышел из помещения в бушевавшую снежную бурю. В глубоком снегу старик с усилием вытаскивал то одну, то другую ногу. Небольшая борода и усы быстро превратились в один ледяной ком, и только щель, из которой вырывался пар при дыхании, свидетельствовала, что это живой человек. Был он

среднего роста. Преодолевая сильный встречный ветер, нагибался сильно вперед?. Издали можно было подумать, что идет мальчик. Упорно двигаясь, он преодолел вынужу и сугробы, добрался до избы и, войдя в нее, радостно сказал: "Здравствуйте, дети, вот и я!"

Холод согнал нас с остывшей печки, как только еще начало светать. Чтобы согреться, мы затеяли игру, и пыль столбом стояла в хате. Отец после холода вздохнул пыльный воздух и закашлялся. Когда кашель прошел, он сказал: "Согреваешься? - Ну и молодцы! Сейчас мы протопим печку, сварим завтрак, и я лягу отдохнуть, а вы займитесь книгой, чтобы не очень шуметь".

Сняв шапку и бобрик, он поставил в печь казанок с картошкой в мундирах и зажег огонек. Спичек не было, и он, как и все, пользовался кресалом. Просохшие дрова запылали в печке, и от пламени будто теплее и светлее стало в избе. Отец поставил стул возле печки и сел так, чтобы ноги, обутые в тряпки, положить на припечек, ближе к огню. Когда же тряпки с веревками, эти ледяные самоходы оттали, он облегченно вздохнул, сбрасывая с ног эти путы. Расправив и уложив "обувку" для просушки, он взялся отмораживать усы и бороду. Когда последняя льдинка была оторвана от волос, вытер тряпкой лицо.

- Ну, дети, я полезу на печку, отдохну, а вы смотрите - когда картошка сварится, будите меня, будем завтракать".

Но не пришлось нам его будить. Минут через 10, как он взобрался на печку, дверь резко отворилась, и в хату ввалились вместе с холодным воздухом два человека: один в гражданской форме - местный охранник С.Д., второй в милиционерской форме, Максименко, как он назывался отцу. Был он выше среднего роста, имел лицо без морщин, правильный нос, голубые очи и на людей, его не знавших, мог произвести приятное впечатление. Вежливый, говорит ровным голосом, иногда улыбаясь - ну, просто симпатяга. Лет сорока.

- Здесь живет?... - называет он отцовы фамилию, имя, отчество.

- Да, тут,- отец слез с печки. - Я и есть он самый...

Уполномоченный как-то смущился, сник и даже растерялся: "Я, Иван Михайлович, ... должен, мне поручили... Меня, как видите, послали сделать у Вас обыск". Пока он искал форму изложения своей мысли, лицо его то краснело до цвета околышка на фуражке, то белело до цвета белой глины или мела. Ведь перед ним, молодым, одетым и сытым, стоял настоящий бедняк. Ниже среднего роста, с худым морщинистым лицом, худой шеей, тонкими руками, босыми, старчески обезображенными наростами ногами - дряхлый старик. Латаная-перелатаная домотканая исподняя одежда - она же и верхняя рубаха, такие же и штаны. А на лавке и топчане - четверо ободранных полуодетых детей. Неизвестно, что смущило милиционера, невиданная бедность или старость его жертвы, сказать не могу.

- Какой обыск? - переспросил отец. - Выпить с холода я иногда люблю, но не гоню, говорю Вам честно.

- Нет, Вы не так поняли... Я...

- Да чего там. Конечно, Вы вправе не верить, ищите, пожалуйста.

Но снова уполномоченный в замешательстве: "Не в самогоне дело. Надо произвести это... общий обыск". И сразу обратился к охраннику: "Позовите сюда кого из соседей, как понятого". Охранник вышел, а оперуполномоченный расстегнул сумку и начал вытаскивать из нее какие-то бумаги. Потом попросил разрешения сесть к столу и начал заполнять какой-то лист бумаги. Заполнив, обернулся к отцу:

- Я вижу, Иван Михайлович, что здесь какое-то недоразумение, но я прошу Вас одеться и после подписания акта обыска Вам придется пройтись со мной до конторы. Там я позову в район и выясню, в чем дело. Кстати, что-то я не вижу Вашей хозяйки, дети и Вы, небось, еще не завтракали, советую Вам немного подкрепиться.

Весь этот монолог был произнесен с участием и сожалением.

- Хозяйка моя уехала в Киев, к родне, в надежде достать хоть какую-то обувку. Вот она какая у меня,- показал отец, увязывая свои тряпочные лапти.

В хату вошел охранник с понятым - соседом Фёдором Арс. Оперуполномоченный дописал фамилию понятого в акте обыска - и он был готов к подписи. Акт был заготовлен в типографии, поэтому его составление не было трудным - занес фамилии на соответствующих местах и все. Против места, где печатался перечень найденных вещей: запрещенные книги, драгоценности и пр. (перечень был большой) оперуполномоченный поставил одну ломаную линию в виде латинской буквы "Зэт", что значило: при обыске ничего не найдено.

- Будем обыскивать, или и так все видно? - спросил уполномоченный.

- Да что тут обыскивать,- махнул рукой сельский охранник.

- Тогда подпишите акт.

Федор Арс. поставил крестик, т.к. не владел грамотой, хоть и кончил ликбез. Вот и все. Выходя из хаты, отец сказал нам: "Не бойтесь, дети, я ни в чем не виноват". Сказал это уверенно и вышел.

В моей памяти образ его в тот день запечатлелся на всю жизнь. И как, наверное, уже понял читатель, больше мы не видели своего отца никогда.

Мама вернулась домой через три дня после ареста отца. В это время она носила под сердцем нашу самую младшую сестру Олю, которой ни разу не довелось увидеть своего отца. Узнав, что случилось, мама слегла в горячке. Но, пролежав в беспамятстве несколько дней, она встала. Зашли женщины, чтобы вместе идти выручать своих мужей. В день ареста отца взяли еще четверых мужиков. Собрав кое-какой еды для передачи, женщины пошли в район. Но, протолкавшись по разным инстанциям районного начальства, они ничего не добились. Ни свидания, ни передачи не приняли, мотивировав свой отказ тем, что арестованных здесь нет. А на вопрос: "Где

же они?" - следовал лаконичный ответ: "Не знаем!" Просителей таких были сотни, так как аресты шли везде по району, а останавливались только вследствие переполнения местной тюрьмы. Был страшный хаос. Из тюрьмы арестованных куда-то вывозили, а взамен битком набивали все новых и новых. Ничего не узнав о мужьях, ночью женщины вернулись в село, еще пришлось просить ночного конюха, чтобы отвез больную маму домой.

Слегла она надолго. За больной мамой и нами ухаживала старшая сестра Нина. Брат хлопотал об отце и вместе с другими несчастными ходил в район в надежде получить хоть какую весточку об отце. Но все арестованные, как в воду канули, и никто не мог ничего узнать. К тому же начали еще и разгонять народ, пугать просителей, что запрут и их, придется родным тогда и их разыскивать. Для острастки заперли несколько женщин. Тогда люди и убедились, что обращаются они к зверям в человеческом обличье: и перестали ездить в район, а начали ездить с жалобами кто-куда, в самые видные инстанции. Но результаты были те же.

Мама немного оправилась от болезни, стала понемногу работать в хозяйстве. В мае 1938 года родилась маленькая, красная, в морщинках, как бабушка, девочка, и имя ей дали Оля. Женщины, с которыми мама работала, все возмущались: "Как могли забрать безвинных людей? И кого? - Самых честных, кто вырабатывая по двести трудодней в году... Скажем, твой муж, ну, чем он виноват? Уж старый, работал честно, не пил, ни с кем не ругался. Да вы припомните, молодицы, слышал ли кто из вас, чтобы муж ее матюкнулся или как еще выругался? Никто этого не помнит - нет, нет и нет..."

Так женщины возмущались каждый день, не желая того, подливали все больше горя в душу мамы. Потом они все вместе настояли, чтобы она обратилась к депутату Верховного Совета. Недавно были выборы и депутатом Верховного Совета выбрали человека из соседнего села, потому что он дал большой урожай и был ударником комтруда, награжден орденом иуважаем высшим начальством. А добротой и отзывчивостью заслужил

славу у тружеников села. Все настаивали на этом обращении, хотя и знали, в 1937 году и раньше брали людей, и из тех, кого взяли, никто не вернулся домой... Говорили: ладно, берут молодых, будут там работать, а старика зачем мариновать? Следует заметить, что мама была моложе отца на 10 лет. Жили они очень дружно, отец был весел, т.е. старался быть веселым, особенно когда семью постигали беды. А было их немало. Но всегда он находил способ вывести ее из угнетенного состояния.

Долго надежды и сомнения боролись и попеременно брали верх в ее душе. Однако чувство надежды пересилило, и она последовала уговорам людей.

Депутат был мужчиной лет 39-ти, приятной наружности. Он внимательно выслушал все, о чем рассказала ему мама. Но, когда она выразила просьбу похлопотать о муже, он как-то заерзal на стуле и покраснел. Видно, голова его была занята, как поделикатней отказать в таком деле. Эта женщина думает, что ему под силу любые дела, раз он - представитель власти, а именно так говорится в законе - Конституции. Но она не знает, что на деле ему под силу решать только незначительные гражданские дела, и что он имеет власть только требовать работу по исполнению указов вышестоящих властей. А сделать для человека что-либо важное, как в данном случае, он власти не имеет. Но как же объяснить это просительнице?

Да, трудно быть депутатом. Ведь если бы он и решился обратиться с ходатайством о помиловании этого человека, то ему припишут такое, что не только депутатского мандата лишится, но и головы. Он еще не потерял совесть, и мучительно искал выхода из создавшегося положения. Нашел: "Хорошо, вскоре я буду в вашем селе, тогда и поговорим об этом деле".

С этим мама и уехала домой ждать. Прошло несколько недель, и маму вызвали в райисполком, показали, в какой кабинет зайти.

Человек, сидевший за столом, сказал, что по ее ходатайству о муже помочь ничем не можем, но дадим помощь, как многодетной матери. Он предложил ей подсесть к столу,

подсунул ближе чернильницу и ручку с пером. Положил лист бумаги и сказал: "Пишите заявление, я буду диктовать".

- Писать я не могу, неграмотная.

- Это плохо, но ничего.

Он крутанул ручку телефона и вызвал к себе девушку, начал диктовать ей, а она записывала. Заявление получилось на целый лист. Когда покончили с составлением заявления, он сказал: "Нужны метрики всех детей и Ваши. Копии с них снимите в своем сельсовете. Заявление пусть перепишет кто-нибудь из ваших детей, а Вы представите его сюда, в райисполком".

Прошло довольно много времени, пока собрали документы, пока послали их в Верховный Совет, там утвердили и, в конце-концов, мама получила две тысячи рублей. Тогда был издан Указ Верховного Совета, мать, имеющая семерых детей (живых, конечно), имеет право получать помощь на седьмого ребенка до его 6 лет в сумме 6 тысяч, выплачиваемых через год по две тысячи. Таким ребенком у нас была Оля.

За первые же две тысячи мама купила развалюху в селе, в котором родилась (деньги за проданную хату ушли на уплату податей, что обсели нас, как опенки пень). Наконец, мама могла не видеть тех иуд, которые продали отца не за сребрянники, а за собственную шкуру. При встрече они все склонялись в великой почтительности, просто как ангелы. Может, догадывались, что маме известно, как все было с арестом отца.

А было так. В активисты и правление колхоза подобрали 8 человек. Это были трусы и лентяи. Если бы любому из них власти велели свидетельствовать на свою мать, сделали бы это без колебаний. Например, один из этой восьмерки свидетельствовал против своего родного брата, ни в чем не повинного, у которого дома остались пятеро малых детей и больная жена. Правда, узнав про это злодеяние против брата, люди от него отвернулись. Он всем старался доказать, стоя на коленях, что к этому его принудили, что если бы он не сделал, как ему велели, то и брата бы не освободил, и его самого забрали. Каждый понимал, что так, наверное, и было бы. Но

тогда ты и умер бы честно, а так кто ты есть? - Христопродавец, и нет тебе прощения от людей. Он не находил места, ему было невыносимо глядеть в глаза жене, жене брата, племянников, его мучили кошмары - и тогда он повесился в сарае. На похоронах людей не было. Только свои вывезли в телеге. Шмякнули в яму, перевернув повозку, как последнее падло.

Судилище над отцом проходило за 90 км от нас, в захолустном городке. Да можно ли вообще это представление звать судом? Здание было окружено "красными окольышами", туда никого не допускали. Все происходило в закрытом дворе. Улицей, которая тщательно охранялась, арестантов подвозили во двор и задворками вводили в зал судилища. Действовал конвейер: одних привозили и толкали вперед, а других выводили из зала и отправляли в тюрьму. На судейских местах сидела тройка вышколенных чекистов. На каждого арестанта у них было все готово: срок и даже место отбывания наказания. Из дела арестованного они задавали наугад какие-либо вопросы типа:

- Свидетель Иванко, что вы знаете о подсудимом?

Свидетелю давалась записка, что именно он должен говорить против подсудимого. После того, как он пролепечет требуемые слова, его выводили из зала. Так было с четырьмя свидетелями против отца. После проговоренной свидетельской лжи подсудимому зачитывали, за какие проступки и на сколько лет он осужден, увозили в тюрьму, отметив в приговоре, что подсудимый признался в своей деятельности против государства, даже если человек на суде ни разу и рта не раскрывал.

Отца нашего осудили на 5 лет лишения свободы и три года лишения права голоса. Мама была больна, и на суд ездил брат, но отца он так и не увидел. Потолкались они возле дома судилища вместе с односельчанами, и никому из них не дали свидания, не приняли передачи. Можно только гадать, почему другим давали по 10-15 лет? Думаю, потому, что они увидели: отец староват, он и пяти лет не выдержит, не выживет. Другие же были на 15-20 лет моложе отца и способны работать.

И еще одна загадка: спустя две недели мы получили письмо, писанное еще в том городке, где проходило судилище. Письмо прошло через все казенные учреждения, что видно было по штампам на конверте. Видно было, что конверт вскрывали и запечатывали, даже не стараясь быть аккуратными. В этом письме отец описал все, как проходил суд, кто против него свидетельствовал, как те четыре человека бессовестно клеветали на него, заранее выучив наизусть готовые тексты лжи.

Против него, как, впрочем, и против всех арестованных односельчан, свидетельствовали председатель сельсовета, председатель колхоза, откуда-то присланный и лишь месяц проживший в селе, и два сельчанина, которых постоянно употребляли в такой роли.

Из нашей семьи в колхозе постоянно работали трое: отец, мама и брат. Я и старшая сестра Нина работали только летом, потому что мы учились: я - в школе, Нина - в техникуме. Так что наша семья вместе вырабатывала в год 950-1200 трудодней, из них на долю отца приходилось 180-220 трудодней в год. Но в предыдущие годы он работал постоянно ночных сторожем, и ему писали только 0,75 трудодня за ночь, работал он без выходных, без отпуска. И так последние три года он имел по 273 трудодня. Кстати, между судимыми был один неколхозник, так с него потребовали справку о количестве выработанных трудодней. С отца же и других колхозников таких справок не требовали, но зато на всех подсудимых была дана ложная записка, будто они саботировали колхозный труд.

Почему-то в этом письме отца не было зачеркнуто ни одной строки, ни одного слова. В последующих письмах отец часто повторял ранее написанное, но в письмах уже были замаранные строки. Он описывал, как ему, старику, тяжело работать в тайге, пилить большие деревья и ворочать тяжелые бревна. Особенно жаловался он, что нечего курить, и просил прислать табачку. В каждом письме спрашивал, как чувствует себя мама, как дети и напоминал о табаке. Мы писали письма и каждый месяц собирали посылку, в которой, конечно, главным был табак. По письмам отца видно, что он от нас ни писем, ни

посылок не получал. Наверное, это был еще один способ издевательства над осужденными. И сколько ни писали мы писем в ГУЛАГ и лично Сталину, ответы приходили стандартные: "В Вашем деле помочь не представляется возможным..." - И все!

Потом была война. После разгрома оккупантов в Корсунь-Шевченковском кotle мне удалось со своим командиром заехать на три часа домой. Мама сразу дала мне открытку от отца. Я прочел: « Я - живой, (далее два слова густо замараны), прошу родных или соседей сообщить, есть ли кто-нибудь живой из моей семьи? Если есть, (снова зачернена целая строчка и половина следующей). Далее: "Целую вас всех. До свидания". И адрес: Свердловская обл., станция Сарапулька, адрес, фамилия, имя, отчество отца.

Что за слова были замараны - неизвестно. Делала это, конечно, цензура. Судя по почтовому штемпелю, открытка была послана полгода назад и шла она к нам вместе с продвижением фронта на запад, потому и дошла домой через шесть месяцев.

Через три часа я уехал в свою часть, мама осталась с самыми малыми: Галей и Олей, и не было кому сразу написать по этому адресу и узнать про отца.

Когда в сентябре 1945 года меня больного с остеомиелитом привезли домой, я сразу начал писать письма к начальнику станции или другим служащим этой станции с просьбой разузнать хоть что-то о моем отце. Но ответа никто не дал. Поехать туда я не мог, потому что раненые ноги гноились и были, как налитые свинцом. После смерти Сталина пришел клочок бумаги о реабилитации отца. И все.

Наша жизнь в предвоенные годы. «Мои университеты».

Однако вернемся в предвоенные годы. Горе, случившееся с отцом, тяжелым грузом давило на семью. Мама начала часто болеть. Сестра заканчивала агрономический техникум. Брат работал, не покладая рук, но семья жила впроголодь. Зимой все

сидели в холодной хате, ибо во двор не было в чем выйти. Лишь когда брат после работы приходил домой и сбрасывал с себя бобрик и старые латаные чоботы, подаренные соседом-сапожником, то можно было в них одеться и выйти во двор кое-что сделать по хозяйству. Зима была подлинной пыткой, особенно для многодетных семей.

Но вот в нашу семью снова пришла беда. Брату положено было служить срочную службу, но его, как и других парней, чьи отцы были репрессированы, в армию не брали. И вдруг - вызов! Брата и его сверстников призывают в армию - семья лишилась последнего кормильца.

Долго от брата не было весточки, но потом пришло долгожданное письмо, где он написал, что служба его проходит в Карпатах, где тучи бывают даже ниже, чем он, а сверху - яркое солнце. Писал, что служить ему хорошо и интересно, что в Карпатах очень красивая природа. Потом письма от брата стали приходить регулярно, и мама после каждого письма становилась спокойней, здоровее.

Хочешь-не-хочешь, а надо было работать в колхозе и дома. Конечно, мы все старались ей помочь. Я летом работал в колхозе, но за серьезного работника меня еще не принимали, такая же была и плата. Оставалось мне учиться еще год. Вот кончу семь классов и буду зарабатывать трудодни, и буду делать все, чтобы меньше работы ложилось на мамины плечи.

Однако после окончания мною 7-го класса мама и слушать не захотела о моей работе и решительно настояла, чтобы я учился дальше. Ослушаться ее я не мог и поступил в агрономический техникум. Два года назад сестра окончила этот техникум и теперь где-то далеко работала агрономом. Она собрала, сколько могла, денег, и сельская, не очень квалифицированная портниха из ситца сшила мне костюм по слуху поступления в техникум. В ботинках, которые подарил сапожник, я походил очень недолго - они распались. Боже, как нам, босоногим, хотелось на занятиях физкультурой встать в задний ряд, спрятать ноги, но это удавалось сделать только за партой. И как мы завидовали, когда кто-нибудь из босоногих

вдруг являлся обутым в ботинки. По наступлению морозов я быстро пробегал двухкилометровый путь от дома до техникума, садился за парту и обогревал ноги, просто сидя на них. По наступлению же морозов босоногие были официально освобождены от физкультуры.

Правда, директор поставил ультиматум: или приходить обутыми, или прекратить посещение уроков. Но требования директора не исполнялись. Не помню, какая из сестер купила в Киеве мне красивые ботинки. Вскоре после этого события выпал снег. В конце концов, холода ушли, настала весна, а за ней и экзамены.

Но не успели пройти экзаменационные тревоги, как пришли другие, куда серьезнее: откуда-то появился слух об отмене стипендии. Трудно было в это поверить, ведь 30 рублей в месяц, которые мы получали, для многих были единственным средством учиться. Одинокая больная мать или даже отец и мать, но имевшие 5-6 детей, не могли обучать сына.

Мой двоюродный брат имел больную мать и меньшего брата, потому учиться мог только благодаря стипендии. Квартировал он у родственников, а на стипендию кормился в студенческой столовой. Если отменят стипендию - пропала учеба.

Однако действительность оказалась тяжелее слухов. В начале учебного года объявляется общее собрание студентов, и слово предоставляется директору:

- Товарищи! Вследствие улучшения материального благосостояния нашего народа и в связи с большими потребностями индустрии нашей страны, наш любимый отец и вождь, повседневно и еженощно заботясь о нашем благе, дал предложение упразднить стипендию для студентов и ввести плату за обучение в высших и средних учебных заведениях. Как видите, наша партия, наш любимый вождь печется о благе каждого из нас и о благе всей страны... " - и так далее, далее. А окончилось выступление так: "Любимому Отцу, Вождю, Учителю - Ура, товарищи!" - Но из двухсот пятидесяти человек раскрылось только три рта. Далее выступали потерявшие или

вовсе не имевшие никакой совести педагоги, представители власти и от студенческой аудитории. Конечно, все они заранее выучили свои речи наизусть... И все речи - одного содержания, везде один и тот же цинизм и наглость. "С горячей благодарностью принимаем решение... Ура! Единогласно!"

Трудно описать, что творилось с нами после того собрания. Треть студентов забрали документы и разъехались по домам. Оставшиеся, как с похмелья - за уроки не садились, всеми овладела апатия, безразличие ко всему. Мои домашние строго-настрого запретили мне забирать документы: "Еще три месяца, когда указ войдет в силу, а там как-то станет платить сестра. И не смей бросать учебу!"

Это был не единственный указ, который вызвал вражду у народа. Например, теперь при демобилизации отслуживших одевали в свои лохмотья, а военную форму оставляли в частях.

Начались и разговоры. Конечно, доверительно рассказывали один другому анекдоты, разные слухи. Кто-то разбросал по району листовки крамольного содержания. Возле сельсовета неизвестный повесил дохлую курицу, прицепив к ней на грудь лист с довольно длинным стихотворением, в котором курица объясняла, что именно принудило ее повеситься. Стихотворение было написано складно, красивым слогом и с едкой сатирой на нашу жизнь. Содержание его такое: "Как же далее жить (спрашивала курица) - заставляют сколько-то снести яиц для плана, потом долгоносиков истреблять, после жнивья убирать поле от колосьев". - Читая, трудно было удержаться от хохота.

Но все это большинству студентов, да и жителей, не было известно. Зато ночами комсомольцы и партийцы ходили по улицам в надежде уловить злоумышленных ведьм.

Конечно, про это было сообщено в Киев, оттуда сразу выехала тройка. Под ее руководством все органы порядка и гражданских служб были брошены на ловлю преступника или преступников. Конечно, вся работа велась втайне, чтобы не вспугнуть вредителей... У всех студентов собирали тетради по литературе, якобы для проверки их способностей и выявления

самых способных. Эта тройка работала в одном из кабинетов сельсовета.

После уроков, пообедав, в яркую солнечную погоду я забирал свои конспекты и шел в сад под яблоню. Там быстрее усваивался материал, и утомление было меньше. Так поступил я и в тот день. Но только расположился под яблоней, как идет посыльный из сельсовета: "Тебя вызывают в сельсовет!" Спрашивать: "Кто? Зачем?" - не было смысла. Возле сельсовета на скамейке сидело два человека, один старше меня лет на 5, другой - на 2-3 года.

- Ты не в курсе, туда можно заходить? - показал я рукой на дверь.

- Тебя вызывали?

- Вызывали.

- Тогда посиди, нас тоже вызвали, и мы ждем уже три часа, скоро вызовут.

Каждого из них держали по полтора часа. Наконец, пришла и моя очередь. Среди комнаты, против входной двери стояли стол, три стула. Лицом к двери сидел мужчина лет тридцати пяти в темном костюме, белая рубашка, темный галстук с серыми косыми полосками. Лицо правильной формы, красивое, черноволосый, с красивой прической. По левую сторону от него сидел похожий на него лицом и убранством мужчина, словно они были близнецы. На столе разложены стопки газет, журналов и лист чистой бумаги. С правой стороны на диване лежал мужчина. Ноги его в лаковых ботинках покоялись на перилах дивана. Входящему в кабинет лицо его не видно - только черно-бурая чуприна, торчащая крупными концами завитков.

Войдя в кабинет, я остановился возле двери и поздоровался. Сидящие за столом мне не ответили. Все их внимание было сосредоточено на перекладывании газет с места на место. Я ступил еще два шага к столу и спросил: "Меня вызывали в сельсовет, нельзя ли узнать, кто меня вызывал и по какому поводу?" Оба мужчины подняли голову: "Как фамилия?" Я назвал фамилию, имя, отчество.

- Ага! Садитесь - указал на стул сидящий по другую сторону стола. Я сел. Прямо передо мной лежали заголовками - "Известия", "Правда" и другие газеты.

- Вы учитесь в техникуме?-- Да.-- Это очень хорошо.

И начал расспрашивать про учебу, про многое другое, что, по моему понятию, не имело никакого смысла... есть ли у меня девушка, здорово ли я ее люблю. Куда она после окончания школы думает поступать учиться...

Этот "задушевный разговор" (иначе его трудно назвать) проходил спокойно. Вопросы задавались порой с иронической улыбкой, и по тому или иному поводу выражалось участие. Шутки переходили всерьез и наоборот. Вел эту беседу сидящий напротив меня. Сидящий же слева не обращал на нас внимания, что-то списывая с журналов (так мне казалось). С дивана изредка задавались вопросы, как уколы шпаги или змейного жала. Отвечал я и на них также ровно и спокойно.

Но вдруг, задавая вопрос, этот человек обернулся ко мне. Меня как будто парализовало. И не вопроса его я испугался, а страшного лица. Вот когда мне представился случай убедиться, что звери, как братья наши меньшие, часто сходны с человеком. Это лицо напоминало бульдожью морду: искрящиеся черные с мутными белками и сверлящие глаза, лоб до самых бровей зарос, как и на голове, витками черно-буровой шерсти. Нос расплющен по всему лицу и оканчивается небольшим бугорком над губами с круглыми, далеко раздвинутыми одна от другой дырками-ноздрями. Губы - как два вареника. Вместо щек на скулы спускаются кожаные мешки. От такого видения в животе холодаеет и тянет в туалет.

- Не смущай парня, Кириллыч, видишь, он еще стеснительный, - ласково проворковал мой собеседник. Тот, громко рыгнув, затих.

Когда же мой собеседник исчерпал все свои вопросы, он сказал: "Мы представители редакций газет. Я - от "Правды", мой коллега,- он кивнул на пишущего, - представляет "Известия". Нашим редакциям нужны корреспонденты с глубинок. Мы хотим знать, как живут люди в селах, отдаленных от городов.

Особенно нужны описания труда передовиков соцсоревнования, ударников, людей, преданных колхозному строю. Но надо вскрывать и нерадивых, лентяев, противников нашего уклада жизни. Нам нужно талантливое пополнение в литературе, поэты и прозаики.

- Вам не доводилось писать стихи? - Пробовал в 3-4 классе. - Ну, и как получалось? - Не получалось. Свои стихи я посыпал в пионерскую газету, но от редакции прислали письмо, что напечатать мои стихи не смогли. Они слабенькие, надо побольше читать, хорошенько анализировать прочитанное - тогда, может быть, стихи мои можно будет печатать в газете.

- Совет правильный. Вы, конечно, ему последовали? - Нет, читал я книги столько, сколько позволяло время, а стихи писать больше не стремился. Когда удалось достать Пушкина и Лермонтова, я понял, что лучше не напишешь, и мне стало стыдно за свою писанину. Я бросил все в огонь и больше писать не пробовал. - И напрасно. Что же, по-Вашему, Пушкин и Лермонтов так с детства и начали строчить свои шедевры? Сейчас Вы сможете присыпать нам не стихи, а краткие корреспонденции о хорошем и плохом, что делается в колхозе. - Для того чтобы писать, надо знать, что там делается, а чтобы знать - надо бывать, а у меня нет такой возможности. Мама больна, работает в колхозе. Дома три младшие сестры, и некому маме помогать. Так что я учю уроки, а в свободное время делаю, что надо по хозяйству. Другими делами заниматься не могу. - Ну, что ж, раз так - идите, учитесь, работайте. Желаем успеха. - Благодарю, до свидания. - Всего лучшего.

Выходя с допроса, я уже понял, что это была не беседа, как старались меня убедить эти люди, а настоящий допрос (то, что я говорил, записывал сидящий слева). Но я ни в чем не виновен, и страха не было. И все же тревожное состояние не покидало меня. Они найдут. А если не найдут того, кто делал свое тайное дело?.. Тогда смогут отыграться на таких, как я, чьи отцы были репрессированы. Составлять обвинения они умеют, ничем не оправдаешься, никто не поможет. Ведь расследуется "вредительство" и по-настоящему времени расплачиваться

кому-то придется обязательно. "Ну, что будет, того не избежать" - решил я утешиться таким заключением. Но "тройка" спешно уехала, не доведя дела до конца, т.е. до приговора. Никому не известны причины такого небывалого поступка карательных органов. Все поутихло. Через какое-то время появлялись крамольные листовки. Однако из людей о них никто знать не мог, потому что все убирали ночью. Группы слежения патрулировалиочные улицы. И все же "птица" в руки не давалась.

В техникуме пошла нормальная учеба, всякие слухи о таинственном поэте-борце прекратились. Спустя несколько недель была арестована немка. Минуло два года, как она появилась в селе с младшой сестрой и старенькой матерью. Ей было 22 года, красивая, умная. Преподавала она немецкий язык в школе и техникуме. Ходили слухи, что по образованию она - топограф и что по чьему-то заданию снимает карту района. Ее же в народе и обвинили в разбрасывании листовок, "повешении курицы" и прочем. О топографических ее занятиях было известно властям, а о листовках и ином - наговор. После войны стало известно, что это было делом группы из четырех парней, живших по одному в разных деревнях, и организованной студентом, бросившим техникум после отмены стипендии и введения платы за обучение.

Начало войны.

Не так давно отошла в прошлое война с белофиннами. Особой тяжести от нее в нашей местности не ощущалось. Вот в соседнее село пришел мужик без руки, в другое - с отмороженными ногами. Наши четыре участника этой войны рассказывали, как они брали линию Маннергейма, как много перестреляли наших солдат финские "кукушки". Рассказывали, что финны на лыжах, а взамен винтовок каждый имеет автомат. Наши же по пояс вязли в снегу, а они на лыжах налетят, из автоматов наших выкосят и быстро удаляются. Много чего еще

наслушались тогда, но поговорили, и забыли, как ничего и не было. Еще давали о себе знать националистические банды в завоеванной (или освобожденной) Западной Украине. Они прятались в лесах днем, а ночью нападали на новую власть.

И вот на нас вероломно напали фашисты. Правда, некоторым людям казалось, что и эта война где-то там прогремит и утихнет. В самом деле, что такое немцы? -Да, были у них и псы-рыцари, были и Фридрихи. Не однажды наши войска ставили на колени Берлин, это логово преступной военщины. А теперь, смешно сказать, но только сошедший с ума мог решиться идти войной на нашу страну. Одна Украина имела больше населения, чем Германия. А Средняя Азия? А Кавказ? А Россия, над просторами которой даже солнцу прокатиться требуется четверть суток? Да мы их шапками забросаем! С японцами так не получилось, потому что война шла на море. То была война кораблей, а у японцев флот тогда был сильнее нашего.

Такие или подобные разговоры вели между собой студенты. Очень популярной стала песня: "Наша поступь тверда и врагу никогда... ". Но день спустя директор объявил, что занятия прекращаются на неопределенное время. Дня два еще то группами, то в одиночку студенты бродили по аудиториям, заходили в общежитие. Везде пустота и тоска.

Хаос.

Первое мероприятие властей - лишение своего народа всякой информации. Последовал строгий приказ всем жителям сдать радиоприемники, не сдавшие или утаившие радиоприемники будут подвергаться суду военного времени. Никто и не думал ослушаться такого приказа, а тут еще грозят полевым судом. Электричество тогда в селе не было, а значит, приемники были детекторные, самодельные. Кристаллы любители сами изготавливали. Но трудно было достать провода на приемник и на антенну, так что часто антенны ночами исчезали,

приемников было мало, все они были зарегистрированы, так что процедура их изъятия прошла без хлопот. За хатой, в которой размещался сельсовет, поставили наковальню и уполномоченные парни плющили молотом коробки, наушники, рубили антенны и тут же бросали их в старый колодец. Справились с этим делом за один день. А после всего назначили на каждый куток (переулок) уполномоченного, чтобы каждому жителю дать расписаться о том, что он предупрежден, что за несдачу и утаивание приемника будет подвергнут полевому суду.

И мне пришлось пройтись по одному кутку с этим грязным поручением. Потом слонялся по двору, не зная, куда девать себя. Мама пропалывала грядку. Работы было много, но, видя мое душевное состояние, мама не понуждала к работе.

Как-то утром приходит снова посыльный из сельсовета: "Тебя вызывают, распишись..." Явился в сельсовет: "Идите в техникум к директору". Пришел. Во дворе много рабочих техникума, бухгалтер регистрировал разные техникумские материальные ценности и их утаскивали - одни в химкабинет, другие - в сарай, где директор держал личную дойную корову. Одни ценности должны были вывезти куда-то, другие, которые вывезти невозможно,- должны быть уничтожены! И директор Жадан руководил всей этой кутерьмой.

- Меня к Вам прислали...

- Ах, да! Батенька мой, иди в ботанический кабинет, там скажут, что делать.

Ботанический кабинет самый мой любимый. Здесь был балкон. Много разных цветов в горшках, которые поочередно цвели круглый год. На зиму же их заносили с балкона в кабинет. Теперь из кабинета вынесено все, кроме шкафов, в которых сохранились микроскопы и другие необходимые для изучения ботаники вещи. Вместо столов и скамеек в ряды поставлены шесть кроватей. Между кроватями - тумбочки. В верхней половине шкафа выброшены атрибуты ботаники и размещены пакеты бинтов, вата, резиновые жгуты, разные планки для

повязок при переломах, флаконы с йодом и другими лекарствами.

На подоконнике сидела молодая девушка, напротив нее на стуле - человек средних лет в военной форме. Я поздоровался. Военный что-то спросил, провел инструктаж, оставил напечатанную инструкцию и заставил меня расписаться, что инструкцию я получил. Потом попрощался и быстро ушел. С девушкой мы познакомились. Она сказала, что это был осовиахимовец из района и что он приезжал организовывать санитарный пост. Она же кончила в этом году медучилище, и это будет ее первая служба. Санпост предназначен давать раненым, потерпевшим от пожара и другим - первую помощь. Поскольку это военный пост, то и правила тут военные, никакого самовольства. Кто нас будет менять и сколько придется нам дежурить, мы не знали. Больше всего времени мы с девушкой проводили на балконе, откуда была видна улица.

Широкой центральной улицей, как неиссякаемая река, текли табуны лошадей, стада коров, отары овец. Уже две недели, как начался этот поток, и не прерывался ни днем, ни ночью. Рев, блеяние, хрюканье - невероятный шум. Лишь иногда поток животной массы прерывается колонной тракторов или машин, доверху груженных домашним скарбом. Это эвакуировались руководители колхозов и иная низшая знать... И снова - стада, стада, стада. Жара страшная, пыль. Изможденные усталостью люди бросают стада, просятся покушать, отдохнуть, но в это время их стадо свиней или коров уходит в общем потоке и они машут рукой - догонять не будут. Там найдут, кому надо, а мы будем возвращаться домой, к детям.

Когда зноное солнце скрылось за пыльной тучей и наступила темень, к нам в кабинет зашел директор. Он принес стул из аудитории и, кряхтя, долго устраивался, ворочался в нем. Стул скрипел в такт его кряхтению. Наконец, он грузно вместился, тяжело вздохнул и затих.

Мы с Таней - так звали мою напарницу,- засветили две керосиновые лампы. Окна затемнили еще засветло, директор предложил мне выйти во двор посмотреть, не просачивается ли свет в какую-нибудь щель. Я было взялся за дверную ручку, но дверь открылась сама и в кабинет вошла сменщица Тани - Ольга. Она подтвердила, что света из окон не видно.

- Иван Терентьевич? - обратился я к директору,- а кто же меня будет менять?

- Ничего не могу сказать, пост, батенька мой, бросать не вздумай, помни - полевой суд.

- Но я же умру с голода.

Он грузно поднялся и вышел из аудитории.

- Послушай, сходи, поужинай, а я побуду сама.

- А ты инструкцию читала?

Она прочла бумагу: "Ох, какая строгость, аж страх берет. Лучше уж поголодуем, чем подвергаться суду".

Дверь снова отворилась, и зашел директор. Он подал мне газетный сверток. Я застеснялся: "Нет, нет, я не буду".

- Садись и кушай,- приказал он строго. В свертке была пара яиц, кусочек сала и ломоть хлеба. Я быстро справилсяся, ведь дома даже забыл, что такие вещи бывают. На тумбочке стояло ведро с кружкой. Я напился, а Иван Терентьевич снова уселся на свой стул. Темная вена на правой залысине согнутоя пиявкой пересекала весь лоб до левой кустистой брови. Вблизи было видно, как натужно она пульсирует.

- Иван Терентьевич, скажите, как все это понимать? Нам же вдалбливали в голову, что мы непобедимы, что никакому врагу не под силу напасть на нашу страну. А тут угон скота, техники и другого говорит, что враг силен, что он воюют на нашей территории и что нашим приходится отступать.

- А вот так и понимайте. Это не вашего ума дело. Исполняйте, что Вам приказано, и не распускайте языки.

Он тяжело поднялся и, хлопнув дверью, вышел. Наступило неловкое молчание. Оля сказала: "Рассердился так, как будто острым каблуком на мозоль наступили. Не приучены к правде, вот и не в состоянии перенести правду".

Потом я вздремнул. Когда Оля меня разбудила, солнце взошло, и начался новый день. В девять утра меня сменили, и я пошел домой отсыпаться. А стада все шли и шли по дороге, поднимая удушливую пыль.

Вечером на смену поста я пришел раньше. Во дворе техникума все кипела работа. Грузовые машины еще раньше были взяты для военных нужд. Осталась одна старенькая полуторка. Ею и обслуживали техникум и подсобное хозяйство. И было еще два трактора. Машины и тракторы надо было гнать в тыл, куда-то за Днепр. Но горючего не хватало даже, чтобы выехать со двора. Вот и разбирали по винтикам полуторку и тракторы. Надстройка над ямой техникумовского туалета была сдвинута, куда и сбросили все части моторов и всю мелочь. Кузов же остался для неприятеля, в яму не вместился. Потонули в туалетной жиже и микроскопы. Между ними и недавно приобретенный за 25 тысяч микроскоп. И много иных ценных вещей поглотила туалетная яма.

С задней стороны здания между деревьями пыпал огонь. Издали можно бы подумать, что палит здание техникума. Нет, это горели книги с тайного склада. Книги разных запрещенных авторов, врагов Советской власти, таких, как Тютюнник, Мильшеченко, Кулиш, Грушевский и десятки других, о которых я отродясь не слыхал. Но были там и старинные издания Пушкина, Даля, других известных литераторов, не почитавшихся в советское время.

Я любил читать, и сердце сжалось от жалости. Зачем уничтожать то, чего уже никак нельзя вернуть. Руководил этой "инквизицией" (иначе такое варварство и назвать нельзя) маленький, худой, черный человечек, преподаватель истории - буквоец и фанатик. Он от нас требовал заучивать тексты наизусть. И если студент протараторит весь текст не сбиваясь, он получал 5, а если сбивался и пропускал даже незначащие фразы и слова - то получал 3 или два. Студенты открыто ненавидели его и насмехались, дали ему прозвище "хрипящий скиф", потому что говорил он пискляво и хрипло. Но вот почему "скиф" - непонятно, не ведаю.

Тут же, конечно, присутствовал и уполномоченный района, очевидно, чекист. Он строго следил, чтобы ни одна книга не ушла в сторону. Носили книги из хранилища несколько парней непрерывно и бросали в кучу. Каждую их партию обильно смачивали керосином. Летели в огонь и архивные документы, бухгалтерские, хозяйствственные и прочие бумаги. А керосином обливали из-за спешки. Надо было спалить все до наступления темноты. Хотя у нас еще не было ни самолетных полетов, ни каких иных происшествий, связанных с движением немецкой чумы, тем не менее, разводить в ночное время огонь, зажигать свет в избе с незатемненными окнами строго запрещалось. Какие богатства уничтожались - не только в нашем дворе и по селу, а по всей стране? За торбу набранных в поле колосков давали 8 лет, и вот сейчас уничтожают народное добро, приобретенное неоплачиваемым трудом полуголодного народа. Становилось от этого муторно, тошно, больно.

Я сменил своего напарника. Сменились и девушки. Сегодня дежурить прислали нашу местную медсестру. И вот что она мне рассказала.

Откуда-то сверху поступил приказ подобрать преданных людей, активистов, и обязать их уничтожать наполовину доспевшие хлеба в поле. Предназначенных для этого людей снабдить канистрами, керосином, спичками. Работу произвести в скромном темпе, не более, чем за двое суток. Понимаешь, какой это драконовский приказ? Ведь дети, старики, женщины останутся. Не менее 70% населения - что им есть? Значит, их обрекают на голодную смерть. А ведь пока немцы придут, люди могли бы все убрать, растащить по домам и немцам ничего не оставить. Во время коллективизации люди научились прятать хлеб, и сейчас спрячут. Уничтожать хлеб могут только человеконенавистники.

Кучка активистов тайно собралась обсудить, как исполнить этот приказ. И решили: есть в селе природная умалишенная, есть еще пара отпетых пьяниц. Решили их подключить. Архипку, чтобы заинтересовался, одели в новый костюм, открыли банку консервов. Что же - внимание, одежда и

щедрое угощение подействовали. Таким же образом, поодиночке, обработали и других, сообразно их характерам и наклонностям. Однако Архип всем показывал свой костюм и рассказывал о том, что ему обещали за то, чтобы он подпалил пшеницу в степи.

Сначала болтовню дурачка никто не слушал, но потом стало известно, что он таскал в поле канистру бензина или керосина. И тогда до сотни женщин побежали в поле, увлекая за собой еще большую толпу. Прибежали вовремя: Архипка уже готовился разбрзгать горючую жидкость. Как ураган налетели бабы на поджигателя. Схватили его и потащили в овраг, там раздели догола, вылили на костюм канистру и зажгли. Несколько женщин даже ухватывали его за ноги и руки, угрожая бросить в костер, но он слезно плакал, объясняя, что его обманули и что такие-то и такие говорили ему то-то и то-то.

Одна из женщин остановила других: "Бросьте его. Если он еще раз появится в поле, то сам в огне сгорит, а сейчас надо тех вредителей, что его уговорили, обуздать". И тут же они условились стеречь хлебные поля. Послали делегацию из самых бойких женщин к руководству. И они тем прямо заявили: если сгорит хоть по одному гектару, будут в огне гореть их дети и жены. Тройку других поджигателей тоже обезвредили, они отделались сильными побоями и поклялись никогда не слушать людей, желающих народу голода и лишений.

Просто удивительно, как люто женщины защищали свой хлеб, свой труд, как выявили необыкновенную организованность. Сами разделили поле на участки для каждой и выжали хлеб, повязали и на плечах перетаскали домой. И можно сказать, что на весь период войны обеспечили детей куском хлеба. А если бы нелюдям удалось сделать свое черное дело, спалить хлеб, то жертв в войне было бы еще больше за счет сгинувших от голода.

Всю эту ночь директор сидел в углу возле тумбочки и беспрерывно смотрел в верхний угол кабинета. Свою позу он менял только, чтобы подписать очередному студенту справку.

Студенты старших курсов получили мобилизационные повестки. Целую ночь на первом этаже в канцелярии выписывали справки, и получившему ее приходилось подниматься на второй этаж, в санпост, чтобы директор заверил ее. Почему директор сидел все ночи на посту, и почему он был устроен на втором этаже, для меня так и осталось загадкой. Ведь на первом этаже было много подходящих аудиторий. И ведь проще раненого занести в помещение на первом этаже, чем подниматься с ношей по крутым лестницам?

Царившая кругом тревога все усиливалась. И вот за справками пошли и мои одногодки. Я чувствовал, что и мне придется собираться в дорогу. Несколько раз я обращался к директору, чтобы он отпустил, но на мои просьбы он отвечал тем же: "Это военный пост. Если желаете попасть под полевой суд - идите, а отпустить Вас я не могу".

И вот на рассвете в нашу аудиторию вошла моя сестра Маруся. По щекам ее текли слезы. Мое полудремотное состояние сразу превратилось в рывок, я подбежал и взял из рук ее бумажку, поднес к лампе на тумбочке, прочитал: "Повестка. Явиться в 7 часов утра к сельсовету. При себе иметь кружку, ложку, две пары белья, на три дня продуктов".

Обратился к директору: "Говорил же - отпустите. Без двадцати семь, а мне надо уже в семь".

- Беги, - не меняя позы, ответил директор, и мы с Марусей побежали домой огородами, чтобы сократить путь.

Мама в ту пору лежала в постели и вся дрожала нервной дрожью. Она не могла ни подняться, ни говорить, Ведь только что прошли слухи о том, что все служившие на границе, в том числе и мой старший брат, погибли, а тут берут еще и меня, последнюю надежду.

Но что же делать? Мешкать некогда. Ну, белья у меня и одной пары не было, кружка - одна на всю семью. Сумки нет. Ложка куда-то запропастилась.

Маленькие сестры сидят у постели мамы. Испуганные, не поймут, что происходит. На столе лежал кусочек коржа, и Маруся засунула его мне в карман, но я незаметно положил его

обратно. Так, ни с кем и не простившись, я ушел. Но забежал по дороге к тетке сказать, что я ухожу, и чтобы она присмотрела за больной мамой. Теткина дочь и моя двоюродная сестра Мария по возрасту была мне как тетя. Пока тетя изливалась мне свои сожалеющие причитания, Мария действовала: отрезала кусок полотна, на ножной зингеровской машинке сшила торбу, к ней из фитиля приделала лямки, положила туда кружку, ложку, краюху хлеба и несколько луковиц. Я поблагодарил теток и с таким импровизированным вещмешком на плечах побежал что есть духу на сбор в центр села.

Дорога в неизвестность. Мамо, я вернусь.



Прибежав к сельсовету, я увидел уже пустую площадь, ни души. По правде, я и не надеялся застать команду, раз в повестке обозначено "в семь", а сейчас уже почти девять. Ушли они, значит, давно, и надо догонять. Я повернулся на бульвар - там хорошо утоптанная дорожка, ею будет легко бежать. Огибая первые деревья, мой путь шел налево, а я мельком посмотрел направо и... увидел. Опервшись на первое дерево, стояла мама - и не могла окликнуть меня. Только вытянутые вперед

руки и испуганные глаза выражали страх, что я не замечу ее и пройду, не простившись. После краткого оцепенения я бросился к ней:

- Мамо! Зачем Вы встали с постели? Как Вы сюда дошли?

На мои вопросы и увещевания она ничего не отвечала. Обняв за шею, прижалась ко мне. Тело ее дрожало. Я ждал, когда она разомкнет объятие. Проходили минуты, а она все держала меня. И я понял, что она меня никогда не отпустит. Тогда сам расцепил ее руки, отступил на шаг и стал уговаривать:

- Мамо, видите, все уже пошли, и мне надо идти. Такое время - все идут. Мамо, идите домой, я опаздываю, надо догонять... - Она молчала. Я взял ее за плечи, близко наклонился к ее лицу и, глядя в глаза, твердо и уверенно сказал: - Мамо, я вернусь...

Прислонил ее к дереву и не спеша пошел по бульвару. Я боялся оглянуться, а в мозгу сверлило: стоит или упала? Если оглянусь, а она упала, то надо будет возвращаться. Пусть расстрел, но я ее не брошу, пока она не выйдет из такого критического состояния. И только за поворотом я оглянулся. Место, где стояла мама - заслонили деревья. Всю дорогу до райцентра я бежал и мучился вопросом: "Упала или устояла?"

В райцентре двор у военкомата был заполнен ребятами. Собрали 170 человек 1923-25 годов рождения - не военнообязанных, но подлежащих эвакуации в тыл. Я нашел своих односельчан, и узнал, что пришли они сюда час назад. Возле сельсовета никто не проверял, явился кто или нет. Просто дождались половины восьмого, учитель физкультуры их построил и скомандовал: "Шагом марш!" Кто не явился, сам догонит. Мое беспокойство прошло.

Через два часа после моего прихода нас построили на небольшой дворовой площадке. Здесь уже наличие мобилизованных проверяли по списку, отсутствующих отмечали. Потом какой-то военный прочитал нам напутственную речь. О том, что хотя мы еще и не военнообязанные, но надо держать воинскую дисциплину и проступки каждого будут наказываться так же строго, как и военнообязанных, и про долг перед Родиной. Ура - отцу, дорогому учителю и вождю!

Потом нам представили командира и медсестру, которые и будут нас сопровождать до места назначения. "Место же назначения узнаете, когда будете на месте". Командиром был назначен худой, болезненного вида человек лет 45-ти. Командирская фуражка сидела на голове, как блин. Худое желтое лицо под фуражкой суживалось и острым подбородком входило в воротник непомерно длинной комсоставской шинели.

Звание его равнялось теперешнему капитану. Оказалось потом, что он был болен сильно прогрессирующим туберкулезом. Медицинская сестра была молодой девушкой средней упитанности с очень толстыми ногами. Ее чулки с первого взгляда казались валенками. В военной фуфайке, на голове ее берет, вот и весь портрет.

Командир, так будем его звать, построил колонну в 170 человек по трое, потому что улица была запружена беженцами, повозками, тракторами, стадами. Длинной веревочкой растянулась наша команда. Особенно тесно в населенных пунктах. В степи же командир выстраивал нас уже по четыре в ряд. Мы отходили метров 100-200 от дороги и двигались параллельно ей по свекле, пшенице и другим полям, изрядно выбитых и потолоченных проходящими стадами.

На обочине - трупы павших животных: коров, овец, свиней. Приторной вонью они душили нас с самого начала пути до самого Днепра. Жара сильно способствовала быстрому разложению трупов. Но никому до них нет дела, все спешат к Днепру. Кроме животных трупов во всех оврагах полно сброшенных тракторов, много стояло их с поврежденными моторами, разбитыми баками для горючего и на обочинах дорог. Ведь как только кончалось в баке горючее, кончался и путь трактора, он становился трупом, как те животные, которые не вынесли длинного пути без отдыха и корма, особенно, без воды. Чем ближе к Днепру, тем поток беженцев расширялся, но темтише становилось его движение. Иногда заторы где-то впереди останавливали движение более чем на 5 часов. Все перемешалось: стада, повозки, груженные домашними пожитками и детьми, машины-полуторки (других и не было), груженные всем, вплоть до живых курей или гусей (это все эвакуировали на восток партийные чины).

Часто повторялись случаи насилия: кончается горючее, машина глохнет, ее хозяева вступают в переговоры с хозяевами других машин. Но поделиться горючим, даже если и есть небольшой запас - никто не желал, конечно, тогда, тогда верх брало старшинство и нахальство. Но больше всего страдали от

отсутствия бензина хозяева повозок. Их барахло и детей просто сбрасывали на дорогу, с машины свое барахло перекладывали на повозку и ехали далее.

Между гражданскими попадались и военные. Они шли группами по полтора или два десятка человек, а иногда и в одиночку. Все они имели жалкий вид, худые, обросшие щетиной, в грязной и дырявой форме, сквозь дыры которой виднелись худые грязные тела. Одним винтовки без патронов сложили взамен костыля, другие и без винтовок еле волочили ноги...

Пришлось наблюдать и такую картину. Группа из шести солдат, чередуясь, несла на носилках своего боевого товарища. Трудный у них был путь - в жаре и пыли, с пересохшими от жажды глотками, да еще с тяжелой ношей. Силы их истощились.

Вот они сошли с дороги, поставили носилки и сами прилегли на пыльную землю.

- Слушай, командир! Долго мы будем мучить себя и больного? Мы не верблюды, сил больше нет. - Что же ты предлагаешь? - А предлагаю реквизизировать одну из повозок. Ведь удирают, сволочи, с барахлом боятся расстаться, а мы должны на руках больного таскать... - Твоя правда. Лошади и повозки государственные, почему же их используют в личных целях? (Командиру, изнуренному и проголодавшемуся, возражать не было ни сил, ни охоты.) - Хорошо, действуйте, только без лишнего шума.

Неподалеку стояло пять повозок, груженных мешками, подушками, кадушками и прочим хламом. Мужчины подкармливали лошадей, а женщины с детьми сидели вокруг простыни с провизией, кушали. Солдаты поздоровались с ними и предложили освободить одну повозку под раненых и больных. Бросив еду, женщины и дети сбежались к повозкам. Начался крик, вой, причитания, проклятия. В этих семьях были и мужики - большие парни и дядьки. И отцы, и сыночки их с дочками - сильные, холеные. Дядьки завязали с солдатами силовую

борьбу, и жены их с дочерьми начали бить, чем попало под руку.

Конечно, шестеро измощденных обессиленных солдат не могли справиться с полутора десятком дюжих дядь, теть и их взрослых чад. Но группки солдат все подходили и ввязывались в борьбу, чтобы помочь своим товарищам. И вот - Ура! Солдаты победили! С повозок полетели продукты - сало, мед, сахар... Но вот полетели с повозки и два лантуха (мешка), набитые под завязку. Случайно один развязался, и из него посыпались синие бумажки... Никогда не видел столько денег! Ветер подхватил их и наделал синюю метелицу. Густо покрыл ими площадь, что-то в полтора гектара. Все перестали сопротивляться солдатам и бросились собирать деньги. Мы как раз и застали их за этим занятием. Солдаты же положили на повозку носилки с раненым и медленно двинулись в путь.

* * *

Мост через Днепр еще неизвестно где, а движение почти не ощущается, топчемся на месте. От распухших ног обувь лопается по швам. Многие падают в обморок и умирают, мешаясь под ногами. Их топчут, как тряпку. Лишь за полночь нашей команде удалось вступить на мост через Днепр. Пройдя полтора километра по узкому дощатому настилу, снова ощутили землю. Ну вот - самый тяжелый участок пути позади. Масса двигалась к мосту, как будто вырывалась из жесткого мешка, а зато за ним - разжижалась и растворялась в пространстве.

Наши команды отошли от места. Не отдаляясь далеко от реки, нашли свободную площадку между вербами и верболазом, улеглись на траву и задрали вверх измученные ноги, чтобы сошел отек. Днепровской водой утоляли жажду. И хотя комары целую ночь аппетитно и беспрепятственно сосали кровь, спали все, как убитые.

От Днепра и дальше.

Природа Левобережной Украины чуть отличается от Правобережной. Там нет больших бугров и глубоких долин, как

на Правобережье. Местность - равнинная, напоминает сухие луга правобережных долин. Но луга эти делают ландшафт каким-то мягким, уютным, легким.

Утром писклявый хриплый голос командира возвестил о подъеме. Потом ребята расталкивали друг другу. Просыпаясь, каждый вскакивал. От сырой прохлады дрожало тело.

Солнце поднялось выше деревьев. Всей командой пошли к реке. Кто умывался, а некоторые смельчаки разделись и даже мылись в холодной воде. Ночью, когда шли через мост, реки не видели. А вот сейчас прямо дух захватывает, какая большая река Днепр! Правого нашего родного берега так и не видно. И откуда столько воды берегся?

После туалета, рассевшись по двое-трое, ребята развязывали торбы. Но там, в основном, были хлебные крошки. Все чувствовали голод. Явился командир со своей наложницей-медсестрой. Скомандовал строиться. Двум крепким ребятам он приказал выйти из строя. Это были рослые молодцы, третьекурсники Кузьма и Чирва. Командир назвал их ответственными за кормление всей команды. Он снабдил их специальной бумагой, чтобы идти по маршруту вперед на сутки и заказывать для команды на столько-то человек обед, а в следующем пункте, где предполагался ночлег,- они заказывали ужин. Придумано это было хорошо, и команда почти не теряла время на кормление.

Чирва и Кузьма отправились выполнять данное им поручение. При проверке оказалось, что 16 человек отстали или затерялись в людском половодье. Оставшихся 154 человека командир разделил на две части, потом рукой показал: это будет первый взвод колонны, а это - второй. Командиром первого взвода был назначен учитель, старше каждого из нас на 5 лет. Его должны были взять в армию, но какая-то броня отсрочила этот призыв, и потому он шел с нами.

Командиром второго взвода почему-то назначил меня, хотя я ни ростом, ни чем иным из общей массы не выделялся. Были парни рослее меня. Мне пришлось идти вместе с парнем из соседнего села - Зосимом. Несмотря на невзгоды походной

жизни, он не жаловался, наоборот, только подшучивал. Я отвечал тем же, и мы незаметно сдружились.

Он, как и я, полагал, что легче всего идти в голове колонны, и потому мы так шли всегда. Приходим первыми. Часа два или три пройдет, пока стянется вся колонна. Они ложатся, чтобы дать отдых ногам, а мы - уже отдохнули, и посмотрели, если есть что интересное. Наверное, командир заметил это и расценил по-своему. Конечно, командирами мы были только символическими. Утром колонна строилась, и некоторое время шли строем, но постепенно растягивались, и строй исчезал. Когда первые уже отдыхали на месте, то задние еще только плелись в 5-ти км от назначенного пункта.

Пунктами кормления были колхозы. Кормились мы два раза в день, но наедались вволю. Борщ со свининой или говядиной. Каждому попадало по крупному куску мяса. На второе - макароны с котлетой. Были и другие блюда, но всегда хорошо приготовленные и сытные.

Но давало знать и утомление. Особенно досаждала обувь. Многие ребята шли босиком, потому что обувка их распалась. А те, кто еще имел на ногах ботинки, понатирали себе кровавые мозоли. Многие от загноившихся ран не могли идти ни босиком, ни обутыми, отставали и где-то терялись.

В преддверии Донбасса пришлось проходить нам около поселка Петропавловка. Ребята от кого-то узнали, что здесь станция, а значит, есть железная дорога. В 8 часов утра мы подошли к станции и расположились в небольшом вишневом садике.

Вишневые деревья беспорядочно росли на бугорке, обрамляли небольшую низменность, поросшую густой низкой травкой. Остановились мы здесь потому, что ночевать пришлось где-то в рабочем поселке, а это был не колхоз, кормить нас не хотели или не имели возможности, потому ночевать пришлось на пустой желудок. Конечно, оставшиеся без ужина ребята были недовольны. Сюда, в садик, часов в 8 прикатила одноконная телега. Женщина и мужчина начали выдавать нам завтрак - по четырехугольному, величиной с ладонь и толщиной в палец,

ломтю вроде сыра. Но оказалось - не сыр, а брынза. В наших краях колхоз овец содержал ради шерсти и мяса, но их никогда не доили, а о таком продукте, как брынза, мы услыхали впервые.

Ребята откусывали, даже не успев разжевать, с отвращением выплевывали. Я тоже попробовал, но брынза до того была соленая, что не было никакого терпения держать ее во рту, так хотелось ополоснуться. В общем, полное разочарование голодному желудку. Что с ней делать? Ребята стали ломать ее на куски и бросаться друг в друга. Вскоре вся поляна забелела брынзой, как будто выпал негаданно снег. Конечно, был общий ропот, и как-то все разом решили больше пешком не идти.

Но вот явился командир с медсестрой. Увидев землю, усеянную завтраками, он сказал только: "Да, сильно соленая..." А потом: "Становись строиться!" Встал учитель, рядом с ним встал я, как назначенные взводные. За нами должны встать и все остальные. Но никто из ребят не встал, как будто команда к ним и не относились... Они продолжали бросаться брынзой. На желтом лице командира, на его скулах появились два красных пятна, что показывало: его свирепость дошла до высшей точки. Он повторил свое требование. В ответ раздались возгласы, что нужен поезд, что из садика пешком не пойдем. Но кто именно выкрикивал, понять никак было нельзя.

- Ну что ж, тогда я вам покажу, - в бешенстве пропищал он и куда-то исчез.

Солнце поднялось выше деревьев и утреннюю свежесть сменило ласковое тепло. Где-то щебетали птицы, за кусочек брынзы дрались шумно взъерошенные воробы. Всем было весело. И никто из ребят не обратил внимание на появившуюся вдруг рядом телегу, с которой двое мужчин сбросили какой-то столб с перекладиной наверху. Также никто не обращал внимание, как они молча выкопали яму и поставили в небо столб между двумя вишневыми деревьями, но много выше их. Потом телега эта остановилась неподалеку и ездовой, наклоняясь, задремал.

Внимание наше привлекло только новое появление командира с медсестрой и тремя мужчинами в синих

диагоналевых формах с красными кантами на галифе. Они остановились возле откуда-то появившегося посреди нашей луговины стола. Последовала команда:

- Командиры взводов, построить команду!

Я и этот злосчастный учитель стали рядом, скомандовали:

- Становись строиться!

И все стали за нами в две шеренги.

- Смирно! На-ле-во! Командиры взводов - к столу!

Мы подбежали. Один в форме, наверное, старший среди них, обратился ко мне: "Кто в твоем взводе занялся агитацией? Кто изменяет Родине, кто не желает дальше идти?" Он наклонился ко мне всем корпусом, опервшись в середину стола руками. Коричневые глаза метали искры, зубы оскалились - я испугался, как будто он сейчас бросится меня грызть и, дрожа от страха, залепетал, что в моем взводе никто не агитирует, все хотят поскорее прийти на место...

Тот, не дослушав меня, обернулся и набросился на учителя: "У тебя кто? Нет, ты пойди и укажи пальцем подлеца, быстро!"

Тот побежал к строю, в первой шеренге которого был его взвод. Подошел к худому, среднего роста, с лицом, покрытым рыжими пятнами, парню и дотронулся пальцем до его груди: "Этот!"

Мы не понимали, что творится. Этот парень был земляком Зосима, он его хорошо знал - тихий, спокойный, от него никто и слова не слыхивал. Никто с ним не заводил дружбы, он тоже никому не навязывался и был одинок. Ясно, что он-то уж точно даже звука не произносил о своем желании или нежелании. Да никто, собственно, никого и не агитировал. Просто захотели, чтобы посадили нас на поезд, и кончилось это мучение. Но рыжего вывели к столу и поставили немного в сторонке.

Один из тройки вынул из папки бумагу и начал читать всем стоящим по команде "смирно": "Именем... за измену Родине - к высшей мере - через повешение". Все мы слушали и

не верили, ожидая, что скоро спектакль этот кончится и придется топать на голодный желудок пешком.

После прочтения протокола рыжего поставили на телегу, стоявшую прямо под виселицей. И только когда на шею жертвы набросили петлю, телега отъехала, и тело стало корчиться в судорогах, а глаза вылезли из глазниц, с отвисшей нижней челюсти вывалился язык, только тогда дошло до сознания парней, что происходит. Некоторые из ребят бросились наутек. Но властный окрик вешателя возвратил их на место. Наверное, они намечали еще толкнуть краткую речь в поучение, но увидели, что довели по сути детей до шокового состояния, и решили на этом кончить. Посовещавшись с "Щучьей мордой" (такое прозвище ребята дали нашему командиру), они расстались, после чего он скомандовал просто: "Шагом марш!", и колонна двинулась дальше.

Не прошли и километра, как строй исчез. Шли, растянувшись во всю длину дороги, которую только вмешал взор. Тогда Щучья Морда приказал мне быть не в голове колонны, а позади, и не допускать исчезновения отстающих. И раньше наш командир вызывал к себе антипатию ребят, а после случившегося буквально у всех он вызывал омерзение, как дохлая собака, покрытая гнилыми чирьями. По разговорам ребят мне казалось, что его на noctilge обязательно прикончат. Ведь все сознавали, что Рыжий ни в чем не виноват, что такая жестокость совсем не была необходимостью. Если бы нам разъяснили, что поезда загружены, и ехать нам нет возможности, все пошли бы, как и раньше.

Нет, был дан урок - все поняли, что для власти имущих человек не более как козявка, которую по прихоти можно раздавить каблуком и без всяких угрызений совести (да, где у них совесть?). Около десятка ребят просто физически не могли двигаться. Ноги у них покрылись язвами, на пятках подошв образовались гнойные нарыва. У необутых пыль и грязь набивалась в раны, что болезненно отражалось на всем организме. У медсестры сумка давно была пуста. Бинты, марля, мази, йод, марганцовка - давно было истрачено и нечем было

помочь больным. По пути она пробовала добыть нужные средства для подачи помощи больным. Но аптеки требовали наличные деньги, которыми она не располагала. Что-то получить через властей - все равно, что пролезть через ушко иголки.

Прошли совсем немного, и снова ребята в изнеможении присаживаются. А я - рядом с ними. Они роптали: "Взамен вешания лучше бы добыл телегу, ведь совсем нельзя идти, хоть ползи на коленях". Но эти жалобы ни к чему не приводили, только ослабляли силы.

Так шел день и другой, когда я был в роли поддержателя или увещевателя, не понимая своей задачи. Плестись в конце километров на пять от головы идущих мне надоело, да и польза мала. Потому я пошел вперед, все более оставляя ребят позади себя. Солнце перевалило точку зенита, и жар усилился. Воздух застыл как стекло, хотя бы туча какая нашла...

Пройдя ускоренным шагом часа полтора, я увидел на дороге густую толпу людей: "Что там, ребята?" - А черт его знает. Дойдем - увидим." Гонимый любопытством, я пошел еще быстрее, но не успел вовремя. От толпы наших ребят отделилась телега с двумя женщинами и мужчиной. Подойдя еще ближе, узнал следующее:

После случая у Петропавловки мой односельчанин Василий все время старался держаться вблизи учителя. И, выбрав момент, когда возле никого не было (ребята старались держаться подальше от гада-учителя) Василий приблизился и, ни слова не говоря, загнал нож ниже пуповины и взрезал к груди. Учитель свалился на пыльную дорогу. Василий же отер лезвие ножа о траву, сложил и положил в карман. Оглянувшись на лежащего, сказал: "Что, собака, заработал, то и получил" - и скрылся в кукурузных высоких стеблях.

Василия я раньше видел в селе, но никаких контактов с ним не имел. Он был стройный, высокий парень, крепкого телосложения, но имел и физический недостаток - всё лицо в крупных угрях, что снижало симпатию к нему

Только после войны я узнал, что он провоевал три года (первый год его в армию не взяли, и он работал на уральском заводе), имел много наград, но погиб в последний день войны при взятии Берлина. О том его отцу дяде Мише пришла повестка. Судьба учителя неизвестна, задеты ли были у него кишкы, выжил ли он. Навряд ли. Командир же войну пережил, после нее подхватил венерическую болезнь, запустил ее, да и лекарств не было. В общем - повесился он.

Конец пешего пути и трудоустройство

. Ещё несколько суток пути. Последний день обедали в рабочей столовой хлебом и тушеной капустой в собственном соку. Не очень вкусно и малопитательно. Но ели мы с аппетитом, нажимая на хлеб. Потом опять шли, и в полной темени остановились перед серым хмурым зданием с вывеской над дверьми: "Клуб". Немного потоптались в темноте. Хотелось отдыха. Наконец, клуб отворили, и мы всей гурьбой ввалились в помещение.

Здание это ничем не отличалось от сельских клубов, разве что было попросторнее. Ребята занимали места и укладывались спать на скамейках. В пути мы уже ночевали в клубах или школах. Каждый брал себе ком соломы и делал из него постель. Но здесь соломы было взять негде и темно, чтобы искать какую-нибудь подстилку. Большинство ребят - в одних рубахах, без жакетов, а лавки твердые и под утро пробирает дрожь.

А утром прошли только несколько кварталов с поворотами то направо, то налево. Наконец, остановились перед законченным четырехэтажным зданием, что нас удивляло. Многое для нас тут было диковинным: громадные здания, трамваи - будки с окнами на рельсах в городе бегают и битком набиты людьми, одни входят, другие выходят. Покататься бы в ней, да там, видно, и дождь не страшен.

А то утром было хмурым, моросил дождь. Нам сказали располагаться возле здания, кто где найдет место, и ждать. Но

дождь усилился, мы промокли до нитки и дрожали от холода, но никто к нам не выходил. Окоченевшие ребята ругались самой площадной бранью, но легче от нее не становилось - ведь спрятаться от дождя негде.

Оказывается, мы свалились на голову здешнего начальства, как снег среди лета, и оно никак не могло решить, что с нами делать, куда девать? - Наступал вечер. Заходим в здание, отворяем двери кабинетов и спрашиваем, до каких пор будут над нами издеваться?

- Вы не по тому адресу. Ваш вопрос нас не касается.

- А где же тот адрес, чтобы касалось?

- А откуда мы знаем, у нас свои дела...

Темнело. Вдруг подъехало несколько полуторок.

- Эй, новобранцы, садись по машинам!

И все повзбирались в кузова, мешая друг другу.

Переполненные машины двинулись в путь. Мы узнали, что город этот называется Сталино, а везут нас в г.Макеевку, это недалеко.

Сколько времени и куда мы ехали, никто уже не беспокоился. Те, что висели на бортах, боролись, чтобы им не выпасть, а те, кто был в середине кузова, старались, чтобы им чего не выдавили. Но, наконец, и это испытание кончилось. Нас подвезли к длинному одноэтажному зданию, похожему на колхозный коровник. Открылась дверь, и мы увидели чудо.

В середине потолка в одну линию висели электрические лампы, они как солнце сияли ярким светом. А во всю длину помещения стояли кровати. Возле каждой из них - тумбочка. Между кроватями метра полтора шириной проход от двери. На одной стене ближе к потолку висела черная тарелка. Она дрожала и лила то хриплую песню, то музыку. Чудеса!

Ребята бросились занимать кровати. Я занял вторую от двери. Потом нам выдали по ломтию хлеба и по половине селедки, кому что попало - кому хвост, а кому голова. Это было очень кстати, потому что оголодали все, как волки, селедка казалась очень вкусной и шла в дело с костями.

Однако ложиться на кровати, за которыми каждый из нас давно заскучал, не пришлось. Приказали нам выстроиться на проходе между коек. Здесь появилась Щучья Морда. Пространства было достаточно, чтобы построиться в три ряда. Нас окликали по списку. Выяснилось, что до места назначения дошло 94 человека. 76 человек рассеялись на пятисоткилометровом пути.

После же *проверки* нас повели в клуб, но не для спектакля. На сцене за столом сидело городское руководство и "покупатели". Последних было негусто, да и те, наверное, явились сюда по приказу. Да и кому нужна такая обуза в это время? Говорились речи о войне и патриотизме, о том, как "родной отец" не спит и не ест, заботясь о наших нуждах, и прочую муру говорили. Конечно, никто особенно не вслушивался в эту болтовню. От нас поднималась испарина. Высыхая, одежда отнимала тепло у тела, и нас тряс озноб. Хотелось скорее лечь в кровать и завернуться в одеяло, согреться, а тут...

Мне и другому парню, что стал командиром 1-го взвода после катастрофы с учителем, Рыбья Морда объявил благодарность, не жалея красок о хорошем поведении, дисциплинированности и исполнительности. Просто ангелы. А мне было тошно слушать эти дифирамбы от убийцы, бессильное зло наполняло душу.

По окончанию митинга три покупателя распределили нас между собой. Все они были представители Макстроя. Нас двоих взял к себе начальник телефонной станции Макстроя. Остальных по принуждению взяли бригадиры строительных бригад.

Линейные мастера.

Пошли мы с напарником на работу раньше остальных. Да и подстегивало любопытство: неужели нас за телефоны посадят?

У здания телефонной станции нас встретил тот самый дядя, что брал нас на митинге. Чуть ниже среднего роста, с темным волосом, курчавящимся на голове, он имел широкие кустистые брови, сросшиеся на переносице, и карие глаза. Это был умный, хороший человек, всегда заботившийся о своих подопечных. Он познакомил нас с телефонной станцией. Сначала завел в коммутаторскую. На всю длину стены комнаты, как бы вдавленный в стену, стоял коммутатор, поделенный темными полосами на восемь участков по полметра шириной. На каждом участке густыми рядами помещались гнезда для штепселий. Восемь девушки сидели перед коммутатором в наушниках и, как на клавишиах, то втыкали, то выдергивали штепсели из гнезд и переговаривались с кем-то невидимым. Они так быстро работали, что уследить за движениями их рук не было никакой возможности. И у меня сжалось сердце: неужели и я бы смог вот так работать? Потом вывели нас во двор. Там стояла небольшая, метра на три, вышка, на дощатой площадке которой находилась крытая будка. По лестнице мы взобрались туда. Начальник открыл дверь и пригласил зайти в будку.

- А это - сказал он,- помещение, чтобы узнавать, где произошел разрыв провода или какая другая неисправность линии. Это как контроль над работой линии. Вот видите - царство предохранителей.

Потом мы зашли в просторное подвальное помещение под телефонной станцией. Здесь на больших полках лежало множество телефонных аппаратов, трубок, мотков проволоки, разные инструменты, поясные ремни, полевые телефоны, "кошки" и много другого добра...

- А вот, ребята, и ваши учителя, - сказал начальник.- Идите, кто с кем пожелает, а после работы поговорим.

Дед Рак предложил мне идти с ним. Нам дали пояса с довольно тяжелой цепью, кошки для лазанья по столбам, полевой телефон, плоскогубцы, резиновые перчатки, солидный моток телефонной проволоки. Когда моя маленькая и тощая фигура была обвешена всеми этими атрибутами, дед Рак осмотрел меня и иронически утвердил: "Вот теперь ты

линейный мастер!" Потом он сам подвязался поясом, взял свои кошки, и мы вышли в город. Провода были проржавлены и часто обрывались, падали на другие провода, нарушая связь во многих точках. А военное время требовало четкой беспрерывной связи. Устранивая повреждения, дед Рак попутно учил меня, как найти место порыва линии, как соединить провода, чтобы крепление было "намертво", как лазить по столбам по узкому пространству между траверзами. Учил он и устройству телефонного аппарата, какие бывают в нем поломки и как их устранять. Наука эта несложная, и я быстро ее усвоил. Ведь с детства со своими сверстниками лазил по деревьям без сучьев и с гладкими стволами - забирались до самой макушки без кошек и ремня.

Дед Рак радовался моим успехам и не терял случая похвалить меня телефонистам и самому начальнику. Работы было много, и за 8 часов я очень уставал, но работа мне нравилась, дед Рак был веселым человеком, его никогда не покидало чувство юмора. Работать с таким человеком было просто приятно.

Вечером Яворщук (фамилия начальника станции) разъяснил нам, какое положение сложилось со связью: всех мобилизовали, на работу взять некого. Связь должна работать, как часы. И потому он просил нас не убегать: "Я хорошо понимаю, что вы соскучились по матерям и вообще по родным, что вам хочется домой, но верьте моему слову: если появится случай, чтобы вы могли беспрепятственно вернуться домой - я помогу вам". Здесь он, конечно, хитрил. Но я пообещал, что буду работать, как смогу, а если придется уйти, то заранее сообщу ему. Напарник же мой промолчал, со мной он тоже не откровенничал, только вскользь заметил, что ему опасно лазить по столбам - голова кружится. Потом уже я узнал, что уж тогда он планировал свои действия со своими односельчанами.

К трем часам дня мы ликвидировали все неисправности и пошли в общежитие. Там было пусто, только хозяйственная уборщица тетя Катя. Ужинать сегодня будем по талону, а завтра нам обещали выдать аванс. Оказывается, мы будем работать на

ставке. Вечером снова поужинали капустным супом, но, слава Богу, хоть дали вволю хлеба. Улеглись на койки. Ребята рассказывают, кто что делал: одни таскали кирпич на спине, на четвертый этаж, другие таскали туда же цементный раствор в ящиках, сделанных, как носилки, трети чистили кирпичом кровельное железо от ржавчины, четвёртые грузили кирпичную крошку на полуторки... Всем им разъяснили, какие нормы выработки и сколько за норму полагается денег. Например, за квадратный метр крыши, очищенной от ржавчины кирпичом, платили 4 копейки. Все подсчитывали, сколько они заработали за день. Оказывается, заработали от 60 копеек за день до рубля 25 копеек. Но чтобы только прокормиться, нужно зарабатывать не менее трех рублей в день, и то впроголодь. Вот какая оказалась житейская арифметика.

На второй день вечером без хозяев остались семь кроватей. На третий день половина общежития была уже свободной. Ушел и мой напарник по телефонной со своими односельчанами. В конце четвертого дня в общежитие явились только трое: я, Иван по прозвищу Белый, т.к. имел действительно белые волосы, и брови были почти незаметны, а белые ресницы были точь в точь, как у поросенка. Да еще посреди носа была у него вмятина от травмы, так что вид его не очень привлекал к себе, и он не имел друзей. Он бы тоже ушел со своими, но все уговаривались в узком кругу, а до него эти переговоры не доходили. Раньше я никогда с ним не встречался, хотя и жили мы в одном селе. А теперь обстоятельства привели к знакомству. И, наконец, третьим оставался белорус Митька, старше нас на два года и неизвестно как попавший в наше общежитие.

Я лежал на кровати. Приятно было полежать после лазания по столбам с тяжелыми кошками. На стене хранила черная тарелка. Диктор сообщил о взятии немцами некоторых городов на Западе. Иван сел возле моей кровати:

- Ты слышишь? До нашего района немцам далеко. Радио вон говорит, что дальше немец не пройдет, значит, у нас он не будет, потому можно возвращаться домой. Я слышал, как ребята

говорили, что уйдут, и я надеялся уйти с ними, но не думал, что они уйдут прямо с работы. Не уследил, когда они ушли. Давай и мы завтра до восхода солнца уйдем, чтобы, когда станет светло, мы были уже где-то в степи?

- Нет, мне Иван и Кузьма с Чирвой предлагали уйти вместе, и Зосим с Павлом, и другие ребята, но я не ушел, и уходить не собираюсь. Ну, придем мы домой и, даже если немцев не будет, то узнают свои, и еще кто знает, как они поступят? - намекнул я на повешение в Петропавловке. - Военное время, нянчиться никто не будет. А для чего нас гнали сюда? Для физкультуры, по-твоему? Нет, Иван, никуда я не пойду, пока имею такую работу, коллектив, который при нужде поможет. А скитаться в такое время без документов, без какой-либо поддержки, я не хочу.

- А что мне делать? Один я идти боюсь, оставаться здесь - не выдержу той работы и ничего не заработкаю, придется сдыхать с голода.

- Хочешь, будем работать вместе? Работа тяжеловата, но, думаю, втянемся, и не на одном месте, а ходить по городу. Интересно, а главное - рабочая ставка!

- А меня примут?

- Думаю, да. Там требуется еще пара человек. Так что давай спать, а завтра пойдем к Яворщуку, моему начальнику, и посмотрим, что он решит.

Утром мы с Иваном пришли на телефонную. Яворщук был рад, что я привел Ивана, и зачислил его в штат линейных мастеров.

На простые порывы проводов я ходил уже один. Ивана обучали то Лука, то дед Рак. Мы сдружились со всеми работниками телефонной станции, и жизнь наладилась.

Поселок Батман - западная сторона г.Макеевки. Здесь был пустырь, на котором выстроили длинные одноэтажные здания, как конюшни или коровники в колхозах. Все одного типа, они были разбросаны как-то без соблюдения равных расстояний и в большинстве случаев далеко дом от дома. Как будто получившие этот участок под стройку старались

застроить его хоть как, лишь бы другие не захватили площадь. Площадь не выровнена. Между общежитиями находились природные яры, бугры, глубокие колдобины. Наше общежитие находилось около кукурузного поля. Растения высотой в человеческий рост склонялись своими метелками далеко к горизонту, к которому поле постепенно возвышалось. Кукуруза служила зеленым парком и укрытием для влюбленных.

В полукилометре от нашего общежития находились ремесленная школа и второе после нашего мужское общежитие. Школа же была обнесена высоким забором с колючей проволокой. Постройки эти располагались так, чтобы с улицы не было видно внутреннего двора.

Утром открывались ворота, и из ограждения выходила колонна подростков в строгом строю. Командовал ими строгий военный. Видно, что дисциплина там была железная. Ребята были одеты в красивую темно-синюю форму, форменные фуражки с лаковыми козырьками. На рукавах приколоты латунные символы училища: молоток, перекрещенный с гаечным ключом. Широкий пояс с большой пряжкой, на которой были выдавлены большие буквы - Р.У.

А вечером колонна красивым строем приходила к воротам-браме, которые открывались, и ребята исчезали до следующего утра. Все это придавало школе таинственность, и мы с Иваном завидовали ребятам, их форме и той профессии, которой они учились. Ребята были нашими одногодками, и мы попытались даже поступить в эту школу. Однажды нам удалось встретиться с человеком, которого часто видели выходящим из ворот школы. Это был завуч, и мы изложили ему свое желание. Завуч сказал, что есть приказ не набирать больше учеников. Начальство школы уехало, а он административными делами не занимается и помочь нам ничем не может. Школа рассчитана на определенное число учеников и т.д. - Полный отказ.

Далее шли беспорядочно разбросанные женские общежития. Каких только национальностей девушек там не было! Вот гречанки поют под балалайку: "Ах, мой милый, не целуй, постой!" - Белоруски, украинки, русские, казашки. Не

буду перечислять, сколько национальностей есть в СССР, каждая из них здесь присутствовала в виде молоденьких девушек. Их тысячи.

А поселок грязный, нигде ни травинки, всюду валяются консервные банки, битые бутылки, картонные коробки, свежие и полусгнившие тряпки, мотки ржавой проволоки, части каких-то станков, наполовину вросшие в землю, кучи угольного шлака, - в общем, всякого хлама везде по всему поселку полно, но никому до этого нет дела. В свободное время я любил бродить по этому мусорнику: какое это богатство - и шестерни, и оси, и колеса. Эх, если бы такое было у меня дома, то я сделал бы все, что мне нужно и хочется.

Прошло некоторое время. Мне уже давали участок города, где я самостоятельно устранил повреждения. Потом назначили во вторую смену. Бригада - дед Рак, Лука и Иван до трех часов дня исправляли все повреждения, после трех дежурил уже один до 11 часов вечера. Дежурили после трех по очереди. Две недели дежурил один, его меняет следующий.

Я закрывал мастерскую, заходил к девушкам в коммутаторную и наблюдал, как неуловимо действовали они руками. А то слонялся по двору и скучал, но телефонистки нашли мне работу. В то время в городе уже не стало табака, папирос и сигарет. Хоть давай золото - закурить не найдешь. А телефонистки почти все были курящими и очень страдали без курения. И они прилагали свои женские хитрости, чтобы толкнуть и меня на непристойные дела.

- Слушай, иди, забери свой инструмент для выхода на линию.

Я шел в мастерскую, одевал пояс, брал кошки, полевой телефон, перчатки, отвертку, плоскогубцы и являлся к ним. А они уже вынули предохранитель на каком-нибудь щитке и уже через пять-десять минут им звонят:

- Телефонная? - Да. - В магазине 32 не работает телефон.- Почему не обращались раньше? У нас линейные мастера работают только до трех часов. Их рабочее время кончилось, и мы Вам ничем помочь не можем. Завтра сделают.-

Девушка, что-нибудь сделайте. Мы без телефона не можем и десять минут, а завтра Бог знает, что случится. - Вам ясно сказано, что никого из мастеров нет. - Сделайте, я в долгу не останусь. - А что у вас есть? - Что Вы хотите? - Курить. - Ах, девушка, просите что другое. Этой просьбой вы меня режете. - Ну, раз режем, до свидания - и штепсель выключается. - Алло, алло, девушка, не сердитесь, я пошутил, найду для Вас, что-нибудь найду... - А откуда вы звоните? - Ох, я бежал сюда с полкилометра. Это контора... - Ну, хорошо. Звоните мастеру. Только помните, что это его дело, захочет он или не захочет идти. - Я и перед мастером в долгу не останусь. - Хорошо, ждите...

Потом они дают мне инструктаж: Траверза пятая, провод третий. Пойдешь, поздороваешься. Он уже по амуниции узнает, что ты мастер. Спросишь: это у вас не работает телефон? - Сними крышку и скажи: "Ого, да здесь кое-что менять нужно. Крышку поставишь на место. Он будет тебя умолять сделать, но ты не торопись, спроси, что есть из курева. Если есть папиросы или сигареты, требуй 50 пачек. Скажет, много, говори "До свидания!" и иди к двери. И сколько бы ни торговался, упрашивал, твердо стой на своем. Сошлись на то, что тебе некогда лясы точить, и стремись уйти. Он сдастся. А сделаешь то, что говорим, мы тебя обцелуем, и любая тебя проведет вечером - кого только пожелаешь...

- Если будете так делать, то не пойду... - Вот дурачок, боягуз, да мы с тобой шутим. Иди, мы будем следить, и когда надо, включим предохранитель.

Я пошел, сделал все "по инструкции". Хитрый торговец все же меня облапошил, отдал 50 пачек дамских папирес "Шутка". Папиросы женские, гильзы длинные, а курить почти нечего, и в коробке всего 20 штук. Так я стал поставщиком курева.

Сиделка

Кормились мы с Иваном в столовой. В той части города, где мы жили, она была единственной. Меню ее было крайне однообразным. Капустный борщ - капустняк, капуста жареная в собственном соку, капуста тушеная, капуста сырья. Капустные листы сырье. Бери и кушай, сколько влезет.

Прошло немного времени, и мы уже не могли переносить капустного духа. Слава Богу, в ту пору можно было купить селедки. Была и колбаса - но нам не по карману. Вот мы и кормились селедкой, которая тоже изрядно надоедала. Иногда, очень редко, в столовой варили суп-лапшу или крупяной суп. Тогда знакомые нам девушки звонили из столовой: "Приходите!"

Мы приходили, наедались до некуда и ожидали очередного звонка. Днем заняты работой, ночью - спать. Как только темнело, из общежития выходить было страшно. Напугал нас случай с Митькой Белорусом: его вечером поймала группа девушек (говорили, что их было семеро), завели в кукурузное поле, там что-то ему перевязали и учинили над ним насилие. После этого у него началось омертвление некоторых частей тела и его увезли в больницу, в Донецк, так что мы не могли его даже навещать. После прошел слух, что спасти его врачам не удалось.

Тетя Катя нам часто рассказывала, что здесь есть много распутных девушек, и они уже неоднократно совершили гнусные поступки над женатыми и холопцами, кого удастся поймать. Мужчин почти нет, вот они и бесятся, говорила тетя Катя. Она же остерегала и нас: "Знайте, они не посмотрят, что вы пацаны, и станут удовлетворять свою похоть, а там - хай подыхает". Случай с Митькой нас напугал по-настоящему, и когда уборщица уходила домой, то мы закрывали обе двери на засовы - ведь теперь на все длинное общежитие нас только двое.

Однажды, выпроводив Ивана на работу, я отправился в столовую - есть хотелось. Покушав, решил пройтись по пустырю, посмотреть поселок. Выйдя почти на окраину, я увидел девушку лет 13-ти. Она часто наклонялась к земле, в сухой редкой траве иногда можно было найти мелкие белые и синие цветочки, она их рвала. Увидев меня, она пошла левее, я же, чтобы не смущать девушку, повернул и медленно пошел назад.

Вдруг услышал вопль ужаса. Оглянулся: девушка сидела, склонив голову, и кричала в голос. Я подбежал к ней: сквозь стежек босоножки в ее ступне торчал кусок проволоки. Это была ржавая пружина с острым концом, сантиметров десять длиной. Пробив тонкую резиновую подошву, проволока пробила ногу и торчала с кровью и ржавчиной сантиметров на пять над ступней. Я немедленно встал на колени и сильным рывком за пружину вынул проволоку из ноги девушки, от боли она вскрикнула и свалилась на землю. Что делать? Недалеко было женское общежитие, наверное, она оттуда. Я снес ее туда, положил на свободную койку и вышел. В общежитии было много девушек, пусть они о ней позаботятся. Некоторые из них выскочили за мной, хотели вернуть и узнать, что случилось. Но я, не оглядываясь, быстро ушел к себе.

Прошла неделя. Утром в выходной мы с Иваном были приглашены к деду Раку - онправлял именины своей старой подруги. Детей у деда не было, и он часто забирал нас прямо с работы - пообедать, или поужинать. Он знал, что мы скучаем по картошке, которой в Макеевке днем с огнем не сыщешь. А у него был свой огород с картошкой и луком. Бабка его часто причитала, что к старости им не к кому голову приклонить, что жизнь прошла, как один день и как, мол, тяжело на старости оставаться без детей, внуков и правнуоков. Когда приходило лирическое настроение, она была веселая и рассказывала много смешных былей и небылиц. Так что гостевание у таких людей для нас было большим счастьем: на душе легко, праздник, чувствуешь уют, как будто навестил родную семью.

Провели мы у деда весь выходной. Когда пришли домой, то тетя Катя собралась уходить:

- Эге, парень! Тобой начали интересоваться девчата, - смеясь, сказала она, - целый день просидела девочка, ожидая тебя. Совсем еще дитя, да и прихрамывает, но красивая...

На такую тему я стеснялся говорить и молчал. Когда же уборщица ушла, рассказал Ивану, что случилось перед выходным.

В понедельник она пришла в 10 часов утра, видно, тетя Катя сказала ей, когда я работаю. Иван уже ушел, а я вынул из тумбочки кусок хлеба, расколотил в холодной воде с сахаром, позавтракал и снова лег в кровать. Но вот вошла девушка, которая ранила себе ногу. Она поздоровалась и попросила разрешение сесть.

- Пожалуйста, - сказал я. Она уселась возле кровати на табурете и, покраснев, опустила голову.

- Как нога? - Хорошо, меня тогда отправили в больницу. Там что-то делали, я не смотрела, перевязали, надавали уколов и через три дня выписали из больницы. Еще немного болит, но мне надоело сидеть там.

Она взглянула мне в глаза, снова покраснела и затихла. Запасы нашего красноречия исчерпались. Мы оба умолкли, не находя, о чем говорить.

Проходили дни, недели... Она все приходила, сидела, уходила и все без разговоров. Придет, посидит, уйдет, сначала я смущался, потом привык. Но прошло время и ее посещения прекратились.

Вагон на Урал.

Как-то вечером я перезаряжал угольным порошком телефонные трубки, когда в мастерскую зашел Яворщук. Поздоровавшись, он сообщил мне новость: "Завтра приходи на работу с утра. Нам в короткий срок нужно снять со всех точек в городе телефонные аппараты. Предполагается эвакуация на Урал. У тебя есть желание увидеть Урал?" С тех пор, как я ушел

из дома, я все время мечтал как-то попасть в Свердловскую область, на станцию Сарапулька, откуда отец послал нам последнюю открытку. Надеялся найти людей, видевших его там в последний раз, и увидеть хотя бы могилу. А попасть на Урал официальным путем представлялось для меня счастьем.

- Да, меня всегда привлекают новые места. - А Иван, ты как думаешь? - Он тоже согласится ехать. Точно сказать не могу, но думаю, что без меня он ни на что не решится. - Хорошо. До свидания. До завтра.

Буря разноречивых чувств охватила меня после его ухода. Вспышками проносились надежды, сразу гасимые сомнениями.

Утром телефонистки и линейные мастера собрались в коммутаторной на митинг. Начальник выступил с краткой деловой речью. Распределив обязанности, рассказал, кому что предстояло делать, он предложил приступать. Нам была выделена полуторка. Сначала мы свозили аппараты в подвал. Но на железнодорожной станции уже формировался эшелон под вещи, которые должны быть вывезены в первую очередь. Яворщук бегал от начальника к начальнику и добился под оборудование телефонной товарный вагон. Работа закипела, погрузили коммутаторы, телефонные аппараты, инструменты. Предполагалось со всем этим хозяйством эвакуироваться Яворщуку, мне, Ивану и восьми девушки-телефонисткам. С погрузкой имущества мы справились в положенный срок. Но другие организации никак не могли загрузить свои вагоны. Тут сказалась нераспорядительность и безалаберщина. Что-то погрузили, а потом находилось более важное, и его грузили, выбрасывая предыдущие. Культурные люди - начальники - заводили такую матерщину, что уши сами глохли от стыда.

В железнодорожных тупиках формировалось много эшелонов для эвакуации в тыл. Мы с Иваном слонялись без дела, наблюдая, что делается вокруг. А творилось невероятное. Люди как будто ничего не знали, что происходит, и не предполагали, что может предстоять. И вдруг - паника, нераспорядительность, полное безвластие, Содом и Гоморра.

Мы с Иваном мысленно уже двигались на Урал. Разные картины рисовались нашему воображению, а суету, творившуюся вокруг, мы воспринимали как кошмарный сон.

Но в одно такое суетливое утро Яворщук предложил зайти к нему в кабинет.

- Я очень сожалею, ребята. Я к вам привык, и вы мне стали, как родные сыновья. Но живем в такое время... придется нам расстаться. В эшелоне, отправляющемся на Урал, места строго лимитированы, едут только те, кто сопровождает и отвечает за сохранность эвакуированных ценностей. Так что телефонную сопровождать буду я один. Вот приказ и командировка. Но не грустите, сколько мог, я позаботился о вас... В тупике уже сформирован состав. В нем - рабочие Макстроя, к которым теперь принадлежите и вы. Они командаются в Черниговскую область строить линию укреплений, дабы не пустить врага вглубь страны. Вот вам командировки, вот деньги, здесь суточные и командировочные. Распишитесь - и дай вам Бог удачи. Остальное там разберетесь и выясните сами... Это ближе к Днепру и вам легче будет добраться домой...

Дорога на запад.

На строительство укреплений в Черниговской области был сформирован солидный состав. Шесть десятков лошадей было помещены в товарные вагоны. На площадках стояло тридцать телег военного типа, окрашенных в защитный цвет. Кожаная сбруя: со всеми возможными "виденками", прочная, красивая, с медными бляшками и пряжками.

Были погружены и три полуторатонные бетономешалки. Ящики с селедкой, колбасой краковской, постельные принадлежности: подушки, наволочки, простыни, верблюжьи одеяла, шахтерские галоши, спальные матрацы без набивки. Все добро занимало полный товарный вагон. Был еще вагон-магазин. Дряхлые пассажирские вагоны заполняли рабочие. Вагоны были набиты людьми так, что спать приходилось сидя -

рассчитывали в пути быть не более суток. Но несталось, как гадалось.

Основная масса рабочих - женщины от 17 до 25 лет. Мужчин на весь эшелон было только 9 человек, кроме машинистов. Начальник строительства, инженер - его заместитель, два машиниста бетономешалок, ответственный за лошадьми и их упряжью и нас двое без квалификации и должности. В пути в уголке вагона, в котором размещался поездной штаб, мы с Иваном увидели весь мужской состав поезда. Но мы чем-то стесняли взрослых дядь, и они даже хотели нас посадить в женский вагон, но потом нашли другой выход: « Ребята, хотите, я вам дам работу? Работа не тяжелая - лошадей кормить».

В товарном вагоне находилось шесть лошадей. На соседней платформе стояли тюки прессованной соломы. Наша работа заключалась в том, чтобы брать тюки с платформы и задавать солому в корм лошадям. На ходу поезда специальным скребком выгребать из вагона конский навоз по проходу вагона против ворот, которые, отворяясь, ездили на колесиках и заходили за стенку, освобождая проем в два метра. Мы притащили в вагон восемь тюков соломы, уложили по два рядом, получилась постель, а два раскрыли и подкладывали лошадям по мере надобности. В других же вагонах лошадей досматривали женщины. Нас радовало, что ехали мы не в тесноте и что на остановках не надо бегать к вагону-магазину - старший конюх сам носил нам в корзине, что нужно, и мы могли покупать продукты, не выходя из вагона, плюс на неделю давали по пачке махорки.

Из Макеевки в Черниговскую область мы ехали 14 суток. Поезд то шел черепашьим шагом, то заходил в тупик, шел назад-вперед с короткими и длинными остановками. Иногда вставал просто в степи. По обеим сторонам дороги встречались бомбовые воронки, значит, фрицы уже доставали и сюда.

Очень тяжело было с водой. Никогда эшелон не останавливался там, где можно было бы запастись водой. Сухая

еда, в большинстве своем селедка, надоедала и измучивала людей жаждой. Большинство людей были голодными. К магазину добраться было трудно. Очередь, бывало, уже подойдет, но поезд дает свисток, и все разбегаются по вагонам, ничем не отоварившись.

Несколько раз на стоянке к нам в вагон заходила моя бывшая сиделка. Оказалось, что у нее есть тетя всего 20-ти лет от рода. Тетя, желая найти пристанище, мечтала или сама выйти замуж, или выдать замуж племянницу - на нее больше надежды: молода, красива. Кто они были с тетей, где жили, как их зовут, я не узнал, никогда не разговаривал с нею, а высказанное выведал Иван. Он-то и сказал девочке, что они с тетей обе дуры, неподходящее время сейчас для свадеб, и чтобы она больше сюда не приходила.

Вот поезд остановился недалеко от населенного пункта. Невысокие вишневые деревья скрывали стены хат, но соломенные крыши выглядывали из густой зелени листьев. Солнце перевалило зенит и начало свой спуск. Было в меру тепло. Недалеко от эшелона начинался пустырь. Трава на нем наполовину засохла, но под сухими стеблями зеленел нижний слой новой травы. Еще росли кустарники и одинокие вишни. Этот пустырь тянулся до самого селения. Возле вагона-магазина слышен был говор толпы. Умеренная тишина. На сердце - благодать, спокойствие. Мы с Иваном стояли у дверей вагона, опершись на косяки. Только что получили очередную порцию махорки. На курево истратили последний лист моей записной книжки. Дефицит на бумагу.

Стоим мы так, курим. Лошади хрумкают свою сухую солому, а мы созерцаем прелест природы. И вдруг видим: стайка девушек и хлопцов бегут по пустырю к нашему вагону и выкрикают мое имя. Сначала я подумал, что где-то там внизу возле вагона есть тот, кому обращены их возгласы. Но нет: бегут к нам и гурьбой вторят мое имя. Что за наваждение?

В груди замерло сердце: неужели наши люди оказались здесь, а мы едем к фронту? Ну, пусть ребята, а откуда здесь девчата? А ведь так звать могут только свои. Когда же все-таки

убедились, что это относится ко мне, мы с Иваном выпрыгнули из вагона и побежали навстречу. Объятия, поцелуи, родные, да и только. Ну, поток вопросов и ответов. Они нам, мы - им.

Из всех 12-ти я знал только двоих из нашей группы, земляки. Они Макеевку бросили на второй рабочий день и пошли в обратном направлении домой. Но когда стало известно, что немцы уже дошли до Днепра, то идти стало некуда. Тогда они отаборились в селе в Полтавской области и поженились, т.е. стали примаками... Девушки же знали мое имя из рассказов их избранников, о том, что случилось с нами в дороге, и как я защитил свой взвод и потому стал героем в воображении девушек.

Тroe девушек побежали в село. Под вишней на травке постелили рядно, на которое выложили сало, яички, хлеб, огурцы, помидоры и другие продукты, о которых мы даже и не мечтали. Расположились вокруг ряда. Девушки угощали и все вместе уговаривали остаться в их селе: "Мы вас сразу поженим", и обещали всякие блага. Иван поддался на соблазн и заявил мне, что останется.

- Как хочешь, но я поеду. Есть долг, особенно в это время. Анархия может довести до плохого. Но ты вольная птица, и я тебя не удерживаю, - ответил я.

Не удалось даже докушать. Загудел наш паровоз - сигнал по вагонам, я встал, простился и пошел к вагону. На душе было грустно. Потерять товарища в таких условиях тяжело. Девушки собрали все, что было на рядне съестного, и подали мне в вагон. Поезд дал второй гудок. Я соскочил с вагона еще раз попрощаться, и обратно.

Поезд шаркнул вагонами и покатил. Я стою в дверях, машу рукой. Они что-то кричат и тоже машут руками. И все больше отдаляются от меня. Вдруг от машущих платков и фуражек отделяется один и бежит за поездом, что есть сил. Это Иван. Вот он почти у вагона, но поезд идет уже быстро, он отстает... Все... Блеснувшая надежда пропала.

На очередной остановке я сидел на "постели", курил. Жестокая тоска овладела мною. Тоска по родным, по дому, по

своему kraю. Не было интереса глядеть из вагона. Никаких желаний, полная апатия. Вдруг у вагона появилась белая голова, белый чуб, белые ресницы, вдавленный посередине нос. Губы расплылись в улыбке:

- Принимаешь? - Иван! Вернулся?! - Да не могу. Привык к тебе, и когда ты вскочил в вагон, то у меня в груди что-то оторвалось. Нет, без тебя я никуда. - Ну и хорошо. В чужом kraю без друга очень трудно.

Я подал ему руку, помог ему влезть в вагон.

Пустая затея.

После описанных событий поезд наш еще двое суток ползal по рельсам то взад, то вперед. И вот наступил конец нашему путешествию. Между макстроевцами говорили, что выгружаться будем совсем в другом месте, чем предполагалось. Выгрузились на неизвестном полустанке, а потом все перевезли в село Борщаговку. Разместились на колхозном дворе. Колхоз располагался на юго-западной стороне села. Поставили лошадей к готовой коновязи на колхозном дворе. Дощатый сарай использовали под кладовую. Телеги расположили в виде забора, чтобы лошади не могли убежать в степь, если оторвутся от коновязи. Бетономешалки сбросили у кладовой, чтобы не мешали, рядом поставили полуторки.

Народу приехало очень много, потому во все хаты было подселено по три или даже пять человек. Нам с Иваном пришлось квартироваться на противоположном конце села. В небольшой старой хате жил старик со своей уже пожилой дочерью. Жили плохо, работать некому, хозяйство их в запустении. Из продуктов - лишь картошка да лук. Но когда мы поселились, хозяйка иногда варила борщ, занимала у соседей квас.

На следующий день после приезда и устройства на квартирах сошлись все на колхозном дворе, был устроен краткий митинг. Оказалось, что делать бетонные укрепления - пустая затея. Три бетономешалки и полуторки - капля в море. А

где брать камень и цемент? Решили рыть широкие, глубокие противотанковые рвы. Макстроевцам выдали штыковые лопаты. Отошли от села на полтора километра и начали работу. Работали исключительно женщины. Кроме приехавших макстроевок, на рытье противотанковых рвов были согнаны женщины местные, из районов, деревень и поселков. С запада на восток, сколько видел взгляд, замелькали белые платки. С западной стороны они скрывались за горизонтом, мелькали обширной линией и терялись в мареве восточной линии горизонта. Издали казалось, что как будто копошатся муравьи с белыми головами.

Нас с Иваном и еще двоих "старых" (по тридцать лет) женщин поставили к лошадям. Они тоже напрасно сюда были привезены, только лишняя обуза. Наша задача была кормить и поить лошадей на колхозном дворе. Утром мы приходили, запрягали в арбу пару самых спокойных лошадей и ехали в поле косить клевер. Потом привозили и раскладывали зеленку по желобам. После обеда снова косили и закладывали корм на ночь. Вот и вся наша служба...

В трех километрах от Борщаговки в Быкове находился сахарный завод. "Патриоты Родины" уже удрали, бросив завод и все заводское имущество. Люди начали растаскивать все, что возможно было унести или увезти. В первую очередь растаскивали сахар. Мы с Иваном побыстрее накормили лошадей, запрягли их в военную повозку и поехали в Быков.

Лошади застоялись, трудно было их удержать, так что мы мигом очутились на заводском дворе. Народа там масса: женщины, дети, старики - куда там Сорочинской ярмарке. Только здесь не покупают, а толпятся: кто в склад спешит, кто уже из склада. Телеги, тележки, тачки, т.е. все, что было на колесах, служило орудием хищения. Протолкнуться было нелегко, так что нам с Иваном пришлось потрудиться в полную силу, и напористость была вознаграждена. Нам удалось взять шесть лантухов сахара, пять мешков по 120 кг и один 50 кг. Лантухи по 120 кг были с желтым, еще не очищенным, сахаром, а 50-килограммовый с уже чистым, готовым сахаром. Но до

мешков с чистым сахаром было трудно добраться. Нас захлестнула общая горячка наживы.

Только отъехав немного от завода, мы опомнились. К нам вернулась способность мыслить. Мы одновременно один другого спросили: Зачем нам столько? - И рассмеялись. Когда завезли сахар во двор и растолковали деду, в чем дело, его охватил ужас.

- Не бойся, дедушка. Это был вольный разбор сахара, никто не останавливал и не запрещал. Все люди, кто мог, брали. Вам нечего бояться. Никому не говорите, и в случае чего на вас никто не укажет, и некому брать...

Снесли мы сахар деду в гулин. Конечно, он не мог представить столько сахара и что с ним делать.

Вскоре появилось море самогона. Цена дошла до 50 коп. за литр. Иван по водочному делу близко сошелся с главным конюхом и другими любителями выпить, и сам часто напивался допьяна. Дед его журил, отговаривал, что в таком возрасте пить никак нельзя: "Ты еще ребенок" и т.д. Но увершевания шли мимо его ушей, жизнь катила своим чередом. Однажды и меня напоили. Но мне это дорого обошлось. Рвало меня трое суток, и еще целую неделю не мог я ничего кушать, так был отравлен организм. После этого случая я не мог переносить запаха водки - ни с чарки, ни от дыхания выпившего человека. Меня мучило при этом. А, в общем, водка мне не пришла, иначе пил бы, как и другие.

«Рама».

День был погожий, солнечный. Мы шли после обеда на работу. К центру села улица здорово расширялась, образуя длинную площадь. Дворы не обнесены изгородями и потому деревья, где дальше, где ближе, выходили на улицу. Четкой границы между дворами и улицей не было, и уличная тропинка то углублялась во двор, то выводила на улицу. Мы шли по этой тропинке, а посередине улицы ехала телега, груженная высоким стогом из снопов пшеницы. На врубеле, прижимавшим снопы,

чтобы не распались, сидел мужик с вожжами и управлял лошадьми. В небе послышался гул самолета. Он быстро приближался, и мы увидели чудище невиданное. От середины крыл отходило два столба и соединялись в хвосте, образуя раму. Рама пролетела над центральной улицей села с запада на восток и за селом скрылась. Через несколько минут тишины снова послышался гул. Мы оглянулись: рама летела в обратном направлении.

Мужик на возу снопов был как раз напротив нас и смотрел в небо. Мы тоже остановились, казалось, что самолет завис над нашими головами. Вдруг от него отделилось что-то серое. Пронзительный дрожащий свист заполнил пространство. Глухой удар, а за ним оглушительный взрыв. Нас с силой толкнуло, и мы, как спички, распластились за стволом дерева.

Когда мы поднялись, то на площади и вокруг нее ничего нельзя было узнать. Взамен телеги со снопами зияла глубокая и широкая воронка. Вокруг нее волнами отходили бугры, покрытые землей и сажей. Это были раскиданные снопы, перемешанные с землей, остатки телеги и самого хозяина. Деревья с обеих сторон были обломаны, а уцелевшие ветки покрыты пылью и сажей. Все кругом было черно и неузнаваемо. Отряхнувшись от пыли и сажи, мы поспешили к лошадям. Там были в сборе все семь мужиков Макстроя.

«Серая туча» и путь в никуда

Начальник с шоферами хлопотали возле полуторок. Они должны быть исправны, чтобы в любую минуту, когда понадобится, их можно было пустить в дело. Давал он указания и по другим хозяйственным делам. Мы же с Иваном запрягли лошадей в арбу, готовясь выехать в поле косить клевер.

На линии рытья рвов копошились тысячи женщин. Их белые платки, как пламя зажженных свечей, полыхали в серой дымке. И так они были сосредоточены на своей тяжкой работе, что почти не замечали, что делается вокруг. Старший конюх

сказал: "Женщины так заняты работой, что и не замечают, какая туча надвигается. Вот град будет!"

Все посмотрели на запад. И действительно, от горизонта на западе надвигалась черная туча и так быстро, что, поняли - в село уже не добежать. По мере приближения туча все увеличивалась и как бы становилась реже и серела. Но вот стало видно, что туча состоит из отдельных тучек в каком-то шахматном порядке на небе. Да это тройки самолетов. А дальше все происходит непостижимо быстро. Самолеты долетают до места рытья рвов, разворачиваются, летят по линии копошащихся женщин и бросают на них град бомб. Летят все новые и новые тройки, и бросают, бросают бомбы, пока черная стена от разрывов не заслонила небо и сами самолеты. Такой черноты в пространстве я дотоле никогда не видел! Все, конечно, ожидали, что из этой тьмы в село побегут женщины. Но из этой тьмы никто не выбегал. Наверное, всех их похоронило в ужасном реве взрывов тяжелых бомб.

Когда первое оцепенение от увиденного прошло, начальство велело запрягать военные фургоны и подъезжать к макстроевской кладовой. Однако лошади от гула и содрогания земли как будто взбесились. Цепи, которыми они были привязаны к коновязи, рвались как гнилые веревки. А освободившись от привязи, жеребцы затеяли страшную драку. А их была половина на половину кобыл. Никогда бы не поверил, если бы сам не видел, как способны звереть лошади в определенных обстоятельствах. Они грызли друг друга, налетали грудью. Копытами выбивали зубы. Часто верхняя или нижняя губа просто отлетала вместе с зубами от удара острого копыта. Поймать или как-то прекратить драку лошадей было невозможно - затопчут, сотрут на порох.

Около коновязи, правда, еще оставалось с десяток лошадей, не сумевших порвать цепи. Но и их охватило общее волнение, и подойти к ним было опасно. Только когда табун дерущихся лошадей ушел далеко в поле, оставшиеся на привязи успокоились.

Появились десятка два женщин макстроевцев, которые по разным причинам сегодня не работали на копании рвов. Четверо из них согласились сесть на повозки управлять лошадьми. И тогда мужчины дружно стали помогать запрягать лошадей.

Всего собрали пять упряжек. Мы с Иваном решили ехать на одном фургоне. Первыми загрузили свои повозки женщины. Военные вазы были крепко сделаны, покрашены в зеленый цвет и имели большие и глубокие кузова. В передней части нашего фургона поместили ящик с копченой селедкой, ящик с краковской колбасой. Каждый ящик - в пятьдесят килограммов. Остальной кузов заложили шахтерскими галошами, а сверху уложили простыни, одеяла, пустые матрацы, наволочки. Этого тряпья наложили столько, что гора возвышалась над кузовом на полтора метра.

Кончили грузить, подвязали под кузовом походное ведро и поехали. Мужчины и несколько женщин уехали на двух полуторках. Одну им пришлось бросить - повредилось колесо, а заменить или вулканизировать было нечем. Начальник нам сказал, чтобы ехали на Яготин, а они будут там нас ожидать.

Уехали они. Двинулись и мы, сидя на высокой поклаже. Иван правил лошадьми, я же лежал сзади.

- Я вот что думаю,- говорит Иван,- Как же так можно, сколько людей сюда привезли, а сколько уезжает? А ты мне все толкуешь про коллективность, и что в случае чего о нас позаботятся. А на деле что вышло? Никто даже не предложил пойти к разбомбленным женщинам, может, там не только мертвые, но и раненые есть, ждали и ждут помощи. Бросили и удрали - своя шкура дороже!

- Да, Иван, ты прав. Конечно, надо было всем пойти туда, может, и правда, можно было кому помочь.

- Вот так и нас они бросят, а ведь был у нас шанс устроиться.

- Нет, того шанса я не признаю, слишком шаткое то устройство...

Дорогу мы спрашивали у людей и все ехали по направлению Яготина. На ночлег заезжали в колхозные дворы. Там было чем покормить лошадей, и самим можно было уснуть в теплой конюшне.

Так проехали весь путь до Яготина, но нигде наших упряжек не увидели - как сквозь землю провалились. Проехали Яготин, но и там не встретили ни повозок, ни начальства с машинами.

С Яготина мы должны ехать на Пирятин. Под вечер мы высматривали село недалеко от дороги, чтобы заехать на ночлег. На пути оказалась лесополоса, а за ней возле кустарников мы увидели две грузовые машины и группу копошащихся людей. Нас тоже заметили и замахали руками. Это были наши макстроевцы.

- Хорошо, ребята, что вы подъехали. Сейчас вон зарежут корову, покушаем горячего супа и свежего мяса. А сейчас кормите лошадей. Остальных наших возниц не видели?

- Нет, нигде их не видели...

- Ах, черт, где же они запропастились?

В стороне от машин, в кустах, на козлах висел котел. В нем уже начинала кипеть вода. На пне рядом мужчина точил огромный нож, поглядывая на привязанную к кусту жертву. Это была рыжая с белыми пятнами корова. По кольцам на рогах можно было понять, что ей семь лет, самый возраст, полное вымя - женщина надоила враз семь литров молока. Где взяли они эту корову, спрашивать было некогда. Вот, отточив нож, мужчина стал приближаться к своей жертве. Но в это время из кустарника вышел человек, которого окружили все, кто только был близко. И сразу началась паника. Резать корову не стали, котел с кипящей водой опрокинули и бросили в кузов машины, корову же привязали к нашему фургону, приказав вести ее в сохранности до первого же места, где они встанут табором. Двигаться надо на Пирятин... Сами же расселись по машинам и уехали в сторону Пирятина.

Надо сказать, что когда мы выезжали из Борщаговки, то возле коновязи оставалась одна белая, как лебедь, лошадь, а ее

пара далеко в поле справляла праздник свободы. Иван тогда пожадничал и пристегнул эту "лебедь" к нашей упряжке. Таким образом, мы уже имели трех лошадей, а теперь добавилась еще и корова. Мало того, что из-за нее мы двигались медленно, но надо было еще каждую встречную женщину просить ее доить, потому что из-за переполненного вымени она совсем не могла идти.

Не помню уж, сколько суток мы ехали к Пирятину. Но вот добрались до него. Медленно проехали этот городок, останавливаясь и расспрашивая прохожих. Но никто не видел ни машин, ни повозок вроде нашей. Доехали до конца городка, где на выезде оказалась военная застава. Далее она никого не пропускала. Конечно, мы обратились к начальнику заставы, рассказали, кто мы, спросили, что нам делать...

- Ничем, ребята, не могу вам помочь. Надо вам ехать на Яготин.

- Так мы же ведь оттуда как раз. Сколько суток добирались сюда. Где-то здесь должны быть и наши машины.

- Обстановка изменилась, и Ваши машины, конечно же, направлены в Яготин...

Делать было нечего. Мы поворачиваем и снова едем на Яготин. Прибыли в Яготин, но там тоже поставили заставу:

- Куда, орлы, прёте?

- Мы? - С Пирятина. Нас направили на Яготин.

- Да покуда вы ехали с Пирятина, обстановка изменилась. Поворачиваете оглобли на Пирятин.

Делать нечего, опять едем на Пирятин... Так мы ездили пять раз в Яготин и пять - в Пирятин.

В одном месте искали водоем, чтобы напоить лошадей и корову. Заехали в арбузное поле. Лето было теплое, как раз для хорошего урожая арбузов. И, правда, все огромное поле в крупных спелых арбузах. Только дотронься - лопаются сами и сок бежит. Подошли к куреню. В его тени дремал сторож.

- Что ж урожай не убирают? Сколько кавунов уродило...

- А, никому нет дела до кавунов. Говорил председателю, он рукой махнул. Еще три дня постерегу и, если убирать не будут, уйду домой!

Конечно, нас он угостил самыми лучшими арбузами. Наелись под завязку, да еще корове и лошадям дали. А сторожу вынули пару селедок.

- Набирайте кавунов, ребята, сколько можно, все равно им хана.

Мы сделали посреди барахла на фургоне выемку и вместили в нее арбузов двадцать.

По дороге увидели небольшой лесок, возле него в тени - зеленую машину с большой железной будкой на кузове. Военные парни сгружали с машины тяжелые деревянные ящики.

- Эй, орлы, а ну, давайте сюда.

Мы остановили лошадей, подошли к военным, их было трое.

- У вас посуда какая есть?

- Кроме ведра, нет ничего.

- Давайте ведро!

- Но видите, у нас трое лошадей и корова. Нужно их напоить, а как без ведра?

- Мы его не заберем. А что у вас на возу?

- Арбузы, мы ехали рядом с баштаном и сторож угостил.

- Ага, черт возьми. Так почему вы не хотите нас угостить?

- Берите, сколько хотите. Мы уже сыты ими.

Пошли к повозке. Каждый из них взял по два арбуза. А в их ящиках оказалось сливочное масло. С использованного одного ящика они сорвали клок лощеной бумаги, выложили им ведро и наполнили его маслом доверху, да еще два котелка натромбовали маслом:

- Берите с котелками, оно вам еще сгодится.

Они нас поблагодарили за арбузы, мы их - за масло, и поехали дальше. Из лубка изготовили лопатки-ложки. Едем и понемножку лопаткой отправляем масло в рот. Вкусное масло

просто тает во рту. Жаль, что нет хлеба. Просить мы стесняемся, а купить негде. Пробовали купить у хозяек. Но у одной нет печеного хлеба, у другой - пригорел, третья дала нам кусок: нате, мол, покушайте, а продавать нечего. Так что лишь стыда набрались, и после таких неудачных попыток обходились без хлеба, трескали масло без хлеба. Так и выели сначала с котелков, а потом и за ведро взялись. Но... Но с ведра только начали. Что-то закрутило в животе, а потом вместо испражнений пошло масло не переваренное. Началась у нас сильная тошнота и понос, которым мы отболели дней 8. За эти дни мы вообще не прикасались к пище, даже арбуз казался рвотным средством.

Последний, уже шестой раз едем на Пирятин. Иван вносит предложение: "Давай, за 15 километров до Пирятина, я оседлаю "белого лебедя" и поеду вперед. Если застава стоит до сих пор и не разрешает ехать дальше, то я быстро вернусь. Нечего мучить бедную корову." - "Наконец-то ты дал умное предложение. Действуй!"

Полетел мой Иван на белом лебеде на Пирятин, а я один - мучаюсь. Корова от усталости падает в дорожную пыль и никак ее нельзя поднять на ноги. Она лежит и как-то смутно смотрит на подсуннутое ей угождение. Я нарывал ей свежей ботвы со свеклы, нарезал целую кучу, она смотрит совершенно равнодушно. Ее глаза говорят: "Отвяжитесь от меня, мучители, дайте умереть спокойно!" Подкормив лошадей, подняв корову на ноги, мы медленно двигались к Пирятину. Уже и солнце поднялось в зенит, потом покатилось по наклонной к закату, а белой лошади все нет и нет. Я все жду: вот появится Иван, как договорились, и тогда мы решим, что дальше делать. Но Иван все не возвращался. Так, теряясь в догадках, уже в темноте добрался до заставы:

- Стой, куда прешь?

Я остановился. Ко мне приблизился солдат с керосиновым фонарем.

- Слезай, пошли!

Меня завели в будку. В стороне от нее возле дерева я увидел нашего "лебедя":

- О, лошадь наша стоит. А где же Иван?
- Какой еще Иван?

В будку вошли трое. Среди них был и старший. Я только дважды видел на заставе одних и тех же, а то все новые попадались.

Начался допрос. Документ у нас один-единственный - командировка, но этого недостаточно. Но я рассказал все, что интересовало работника заставы. Привели Ивана. Оказывается, его посадили в сарай, приставив охрану до выяснения его личности, потому что командировку он потерял. Но я вспомнил, как он ее укладывал под клеенку потника своей фуражки. Спохватился и он, пошарив в фуражке, нашел свою командировку.

Насладившись нашей беспомощностью, заставовцы немного подобрали и даже начали шутить. Пользуясь таким случаем, мы начали просить, чтобы нас взяли в солдаты и обещали выполнять все, что нам прикажут. Но нашу просьбу они встретили сначала громким хохотом. Потом посерезнели до суровости.

- Вот что, пацаны! Без вас тут тошно. Так что убирайтесь вы отсюда, да побыстрее. А то, как посидите там, где он сидел, да без еды и воды, то весь воинский дух из вас вылетит, как испуганный соловей с гнездышка. Так что, убирайтесь отсюда, живо!

- А лошадь можно взять?
- Свою лошадь забирайте обязательно!

Так нас выпроводили из заставы.

Проехав несколько километров, мы остановились в темноте. Пустили корову и лошадей пасть в свекловичную ботву, а сами накрылись одеялами и уснули на траве "перекати поле". Утром проснулись от утренней прохлады, умылись холодной росой, что собралась на листьях свеклы. Лошади дремали, стоя, корова отлеживала бока.

Мы окончательно поняли, что наше начальство с машинами проскочило еще до образования застав и что мы оставлены на самих себя, и что некому за нас решать, как быть дальше. Первый вопрос: что делать дальше с коровой? Ведь понятно, что те, кто может о ней спросить, далеко отсюда и никогда нас о ней не спросят. Перебирая разные варианты, мы решили обменять корову на десять буханок хлеба. Но скажу об этом сразу: мы объехали много сел и нам давали хлеб - кто буханку, кто полбуханки, кто сколько мог, но выменять у нас корову никто не согласился. Тогда мы решили отдать ее за 20 кг муки, из которой мы могли бы на стоянке печь коржи. Но муки уже никто не давал. Тогда мы решили отдать корову просто так, без ничего, какой-нибудь многодетной семье - но все равно от нее отнекивались, как от черта. Тогда объявляли, что корову может взять тот, кто желает. Желающих не нашлось...

- В чем дело? - спрашивали мы людей, - Ведь дойная, еще не старая корова, может, и теленка носит, никто не желает взять ее даже даром?

- А кто его знает, где вы ее взяли... Возьмешь, а потом хлопот не оберешься...

- Да послушайте, люди, поедем к сельсовету, мы дадим вам расписку, заверим у председателя, и никто вас не тронет...

- Нет, теперь такое время, что никому нельзя верить. Что-нибудь случится, вас и днем со свечкой не найдешь. Отдавайте корову тому, у кого вы ее взяли...

Да мы давно бы так сделали и без советчиков, если б нам сказали, у кого ее взяли. А может, купили или укради, нам неизвестно. Тогда заехали мы в поле и отпустили корову на свекловичное поле. Ботва сочная, зеленая, поправляйся и прости, что мы тебя столько таскали с собой, мучили. Рано или поздно, а хозяин, хороший или злой, для тебя найдется. Корова сразу улеглась среди сочной зелени, желая только отдыха.

Потом мы решили заехать в ближайшее село и сдать макстроевское имущество и лошадей с фургоном в колхоз. Но толстопузые и твердолобые председатели колхозов твердили одно: "Везите его дальше, тут и за свое придется отвечать, а вы

нам еще хотите навязать лишние беды. Нет, нет, увозите, туда... "Мы везли "туда", но там - такая же песня. Ну, раз так, то будем распоряжаться по-своему. Заехав в центр одного села, остановились в тени орехового дерева. Объявили сельчанам, чтобы звали людей, будет представление.

"Да что это за байструки, и что это они выдумают?" - любопытствовали селяне. Сначала понабегали дети, потом робко у одного забора сошлились женщины. Любопытных становилось все больше, они пересуживали между собой, что к чему. Некоторые женщины начали шутить и расспрашивать: "Когда это вы стали артистами? И что это будет за представление?" Но мы были невозмутимы. Сидели возле фургона и лузгали семечки подсолнуха.

На улице показался мужчина в чистой одежде и выбритый. По женским возгласам мы поняли, что это идет кто-то из властей. Он поздоровался с нами и попросил предъявить документы. Пришлось кратко рассказать о себе все, что его интересовало.

- Говорят, вы тут что-то разыгрываете, зачем вам понадобилось дурачить людей?

- Мы не намерены никого дурачить, а хотим только раздать людям все, что у нас есть в фургоне. Или пусть колхоз возьмет все это добро в свою кладовую.

- А с председателем колхоза вы говорили?

- Да. Он наотрез отказался от приемки чужого имущества, полагая, что нет у него такого права.

- Вот что я вам скажу тогда. Уезжайте из села, а то позвоню в милицию, тогда посмотрите, как разлагать народ.

- Вот это да... Поехали отсюда, а то, чего доброго, он еще какой ярлык прицепит...

Выехали мы и из этого села дураками, как Иван назвал. Остановились еще в одном большом селе, и начали наделять людей в зависимости от числа членов семьи. Охотно брали люди одеяла, простыни, толстые шахтерские галоши, матрасы, наволочки. Собралось людей много. Я спрашивал, сколько детей, а Иван отсчитывал "товар". Так что с раздачей барахла

справились быстро. Люди брали охотно, и получив, удалялись. Что касается лошадей и фургона, то мы уже понимали, что их нигде не примут. Тогда выехали в степь, распряжен лошадей и пустили на вольную волюшку. Сбrouю кожаную, крупную, красивую положили в фургон, и возвратились в село.

Председатель сельсовета, худая пожилая женщина, на наш вопрос: "Можем ли мы получить приют в селе, пока разъяснится, что нам дальше делать?" - ни слова не спросила, а как мы поступили с имуществом и куда подевали лошадей. Как будто она впервые нас видит. Но написала записку председателю колхоза: "Поселите ребят в бывшем доме для сирот" - и подпись поставила. Пришли мы до того самого председателя, которого уже просили принять наш воз и лошадей. Он взял бумажку и сказал: "Идите вон в тот дом, располагайтесь!" Сам куда-то позвонил, чтобы явился кладовщик и выдал нам продукты на жизнь.

Попали мы в богатейший колхоз. Тут сразу бросались в глаза добрые постройки, буквально все - из кирпича. Длинные коровники, конюшни, свинарник, все побеленное, чистое. Везде, между скотными помещениями, аллейки обсажены рядами деревьев. На птичьем дворе - сотни кур, уток, гусей. Другая половина двора состояла из административных помещений. В саду размещались десятилетка, дом-интернат для сирот на 12 человек, контора колхоза, кладовые - большое кирпичное здание с множеством ворот и дверей - для разной поклажи. Все постройки занимали свои места, и оттого создавалось приятное впечатление порядка, уюта.

Дом для сирот тоже был красивым зданием. Внутри устроены отдельно кухня и столовая. А жилое помещение было большой квадратной комнатой с огромной крестьянской печью. Жившие здесь ребята были мобилизованы в армию. После них осталось полной сухарей на печи: белые, серые и черные. Остались жить тут два старика и две женщины с Житомирщины. Они выгоняли скот на восток, а, возвращаясь домой, застряли тут, пока выясняется обстановка. Старики жили в комнате, а женщины - на кухне. Мы познакомились со стариками,

расположились и принялись грызть сухари. От их количества у нас просто захватывало дух. Старики даже смеялись нашей жадности.

- Видать, хорошенько проголодались. Погодите, сейчас вас накормят. И правда, прошло несколько минут, и в комнату вошла с большой корзиной красивая веселая девушка. Лицо ее было как солнце, испускало светлые лучи. С нами она просто заговорила, как со знакомыми, выкладывая из корзины продукты. Буханку хлеба диаметром сантиметров сорок, не менее, запах от которой заласкал ноздри. Потом достала двухлитровую банку молока, литровую чашку меда. Мясо она сразу отдала женщинам на кухне.

Только мы управились с молоком и медом, как женщины принесли ведерный чугун мяса. Мясо нежное, вкусное. Но старики отобрали его у нас и понесли обратно на кухню:

- Вы что, сдурели? Обожретесь, хлопот не оберетесь.

Потом кладовщица принесла еще муки, постного масла, меда и отдала все на кухню. Сказала, чтобы нам пекли пряники. Стушили еще килограмма четыре мяса.

- Завтра будем вас снаряжать в армию. Председатель сельсовета сказала, что поведет вас в военкомат. Нужно снабдить вас вещмешками, кружками, ложками и на три дня продуктами питания.

Еще только начало светлеть, как женщины с кухни растолкали нас:

- Вставайте, ребята, завтракать.

Скоро появилась и наша молодая кормилица-кладовщица. Принесла вещмешки, с ними два куска сала по 5 килограмм и по паре белья. Мы с Иваном завтракали, а они вместе со стариками все заполняли наши вещевые мешки. Из kleenki сшили сумку и напаковали туда табачку - ведь мы курящие. Подъехала телега. В упряжке пара лошадей с согнутыми шеями и злыми глазами. Жуют удила, танцуют - застоялись. Кучер - молодой парень, рядом - старуха, председатель сельсовета. Воз застлан цветным покрывалом, под которым душистое сено. Небольшая компания попрощалась с

нами, как с родными, а женщины - прослезились. Мы сели в задок, положили туда вещмешки и двинулись в дорогу.

Лошади все норовили бежать, но кучер сдерживал их прыть. На полях стояли копны, а то и все поле клонилось, шаталось волнами колосьев, или зеленело свекловичной ботвой. Пора уборки - но никто в поле не работал, поля остались сиротами. Только невидимые птицы оживляли степь своим щебетом.

Мы ехали широкой полевой дорогой. Копыта лошадей тонули в глубокой пыли. Солнце пекло несносно. Населенный пункт, где находился военкомат, от села этого находился в 18-ти километрах. Когда солнце перекатило точку зенита, мы находились уже в трех километрах от военкомата. Но доехать до него нам не пришлось.

На широко разъезженной дороге нам встретилась бричка. Самая настоящая бричка, как музейное напоминание о транспорте властьимущего класса дореволюционной России. В бричке, важно развались, сидело четыре сходных в одежде человека. Темные костюмы, белые рубахи, галстуки. Наша телега тоже остановилась, с ней легкой девочкой выпорхнула наша старушка-председатель и поспешила к ожидающей ее бричке. Разговаривали они шепотом, но, несмотря на это, и на то, что находились мы в десяти метрах от них, я все слышал.

- Куда вы направляетесь?

- Вон какие-то ребята прибыли к нам в село и я везу их в военкомат.

- Что за ребята? Откуда они прибыли?

- Они командировочные со строительства укреплений против танков. Но их бомбили и все разбежались...

- Ладно, оставьте вы этих ребят. Военкомата там уже нет, да и вряд ли он где-нибудь еще существует. Поступили сообщения, что мы... - следующее слово было так тихо сказано, что я недосыпал, но что-то вроде "в окружении". Отзовите их на место и... на совещание.

Вот такой разговор я услышал. Пассажиры брички были самым высшим районным начальством. Бричка тронулась

дальше, а наша старуха вернулась, взобралась на воз, бледно-желтая, как воск. Однако, она старалась не высказать своего смятения и, отышавшись, сказала:

- Это были знакомые из райцентра. Они говорят, что военкомат выехал в другое место, а где он обосновался, пока неизвестно. Так что поедем, поживете пока у нас в доме. А когда я узнаю, где находится военкомат, тогда вас отвезу.

Назад мы ехали быстро, кучер дал волю лошадям, а они, чувствуя возвращение домой, мчали нас без понукания.

Те, кто провожал нас, встретили наше возвращение бурной радостью, как будто мы не были дома лет десять. Женщины наши стряпали. Со старшей связался один из старииков, и порекомендовал Ивану завести роман с другой, она, мол, девица. Старики до захода солнца чинили селянам обувь. А мы с Иваном ходили, как неприкаянные, не зная, чем заняться.

Председатель колхоза, крупный сильный мужчина, тоже не находил себе места, заглядывая по всем углам. Его волновали плохие вести. Мы с Иваном обратились к нему:

- Не найдется ли для нас какое-нибудь дело?

- Если хотите работать, то идите вон туда, за птичником в поле. Там пасутся волы и там же найдете в борозде плуг с ярмом. Запрягайте любую пару волов и допашите начатую делянку.

Пошли мы в указанном направлении. За птичником нам открылся зеленый луг, целина. В луговых травах преобладали клевера густые, сочные, до полуметра высотой. Сытые крупные волы все по парам лежали в траве, жуя свою жвачку. Их массивные туши не были видны из травы, только мерно кachaющиеся рога. Иван принес ярмо, и мы надели его на лежавшую пару. Гоны были длинные, а волы двигаются медленно. Но мы их не понуждали, спешить некуда. Обошли три круга. Слева в десяти саженях было поле конопли высотой в два с половиной человеческого роста. Стебли толстые. Стоит стеной от поля, которое мы пахали.

В десять часов утра мы увидели солдата. Он вышел из конопли, и, озираясь по сторонам, словно крадучись, быстро

пошел в село. За ним стали выходить много солдат, без винтовок и шинелей. Все они, крадучись, спешили в село.

Мы дали отдохнуть волам, сделали еще три круга, и снова начали отдыхать. Поток выходящих солдат почти прекратился. Изредка лишь пройдет один, стараясь быстрой добраться в село.

- Пойдем, посмотрим, что там в конопле.

Оказалось, что там были брошены винтовочные патроны, солдатские каски. Взяли мы по винтовке, в рубахи набрали патронов. Потом сходили еще раз, про запас взяли еще по винтовке и в рубахи патронов и спрятали в густой траве вишняка.

Волов мы отогнали к их сородичам, а сами занялись стрельбой. Местность между коноплей и непаханой полосой превратили в полигон. Ровная местность просматривалась до самого горизонта, так что случайно появиться перед нашими винтовками живые существа не могли. Отмерили 200 шагов, воткнули в землю палки, надели на них по каске, и начали стрельбу. Она проходила азартно. Одна за другой изрешеченные пулями каски слетали в выемку под вишней. На ее место надевали новые. Время летело быстро, и мы опомнились, лишь когда солнце начало цеплять верхушки деревьев. От пороховой гари высохло во рту, почувствовался голод. Мы спрятали в укромном месте винтовки и пару ведер патронов, как запас на завтрашний день. Сделали все, "как надо", казалось, хорошо, и пошли домой.

На колхозном дворе возле дома, где мы жили, в сборе была вся дворня: конюхи, скотники, птичницы, ковали, слесари, каторгские работники, наши сожители по дому, наконец, председатель колхоза и кладовщица. Кроме того, сюда собралось полсела любопытных и страшавшихся: ведь за селом целый день шла стрельба, значит, идет бой. И как быть в таком случае? Дворовые даже начали оплакивать меня и Ивана, они ведь знали, что мы пахали именно там, где начался бой, и, наверное, попали под пули. Когда же мы появились перед ними, как ни в чем не бывало, живые и невредимые, все окаменели. -

"Живые!" - вырвалось из десятков глоток, удивленно и радостно. Люди ринулись к нам и окружили плотным кольцом. Первым около нас оказался председатель колхоза. Высокий, плотный, с круглым лицом и начинающейся лысиной, он спросил дрожащим голосом: "Где же вы были?"

- Как где? Пахали, потом были на том же поле.
- Там целый день идет бой, как же вы там могли быть?

- Никакого боя там не было. Мы пахали, пока не уморили быков, потом пустили их пастьись, а сами взяли в коноплях брошенные винтовки с патронами и учились стрелять в цель...

Толпа загалдела. Одни нас ругали, другие смеялись, острили, некоторые рекомендовали снять штаны и выпороть, как следует, чтобы больше не нарушали мирную жизнь села.

- А, трясца Ваши мати - незлобно, по-женски выругался председатель.

- Вы ведь перепугали все село. Все уверились, что под селом идет бой.

Потом мы пошли ужинать, а люди еще долго обговаривали случившееся. А утром председатель уже не разрешил нам идти пахать:

- Сидите здесь. Кушать дают, понадобитесь, работу вам дадут. Отдыхайте пока.

К сапожникам приходили селяне и, узнав, что мы томимся без работ, одна тетка попросила, чтобы мы перевезли материал из старой ее материнской еще хаты к ней, т.к. мать перешла жить к ней. Потом к нам еще многие обращались, особенно вдовы, и мы работали, ни с кого не боясь никакой платы. Ведь в колхозе нас кормили, а ничего больше нам и не требовалось. Правда, у одной хозяйки оказалось много связанного в сполики пахучего табака, и разрешила нам взять, сколько хотим. Так мы его листьев натолкали целую наволочку.

Здесь прекрасная родючая земля, и колхозы вдвое богаче, если сравнивать с нашими. По всему богатство видно. Постройки кирпичные, капитальные. Животные упитанные и люди благодушные. Правда, люди лишены информации. Радио

забрали, газеты не приходят, народ питается слухами, а слухи ходят разные. Так что люди жили обещаниями официальных крикунов, что "враг через Днепр не пройдет", что его "утопят в Днепре" и т.п. И хотя тревожные слухи не прекращались, но люди верили официальным заверениям и жили хоть не твердой, но надеждой.

Чем объяснить, что власти под угрозой строгой кары забирали радио? - Только тем, что боялись, что враг по нему повторит ту правду, о которой они и сами догадывались, но держали про себя. А почему руководители боялись правды? Потому что правда эта в том, что их злодеяния, человеконенавистничество и преступления никаким законом не писаны.

Дорога в ад

А мы с Иваном чем жили, на что надеялись? После поездки в военкомат и услышанном разговоре иллюзий у нас не было. Но все же мы надеялись, что председатель сельсовета узнает, где военкомат и посоветует, как нам дальше быть и что делать. Ведь она - власть, а властям мы привыкли верить. Несколько раз мы пытались увидеть ее и посоветоваться, но поняли, она нас избегает:

- Убегает, как корова от оводов, - сказал Иван.

Делать нечего, пока кормят, живем здесь. Но как-то утром прибежала к нам кладовщица, взволнованная и напуганная. Должен сказать, что она очень привязалась ко мне, хотя прямо про то ничего не говорила. Так вот, она сообщила, что в селе уже полно немцев и что они ходят по хатам и выискивают чужих, т.е. тех, кто не живет в селе, и угоняют куда-то в лагеря. Потому она предложила нам спрятаться, а потом присесться в этом селе как постоянные жители.

Нет, уж раз немцы здесь, от них не спрячешься, нужно бежать. Теперь нам стало известно, что местность Пирятин-Ягодин была длительное время в окружении, и за это время фронт далеко ушел на восток, что нам его не догнать и к своим

уже не пробиться. Вот тогда мы и решили возвращаться домой, а значит, идти к Днепру. Но как туда попасть? Днем показываться невозможно, по дорогам ездят мотоциклисты. Выпустил автоматную очередь, убил и поехал. Приходилось днем спать где-нибудь в пшенице или кукурузе, а ночью идти. Конечно, случайно встречавшихся мужчин или женщин спрашивали про направление на Днепр, но попадались и такие, что показывали совсем в противоположную сторону.

Кому верить, куда идти? - Так и плутали вокруг этой местности. Утром делали себе постель среди пшеничного поля, завтракали пшеничными зернами. Они хрустели на зубах, как камни. Насытившись - засыпали. Ночью же шли по звездам. Жажду утоляли росой с листьев кукурузы, свеклы, лопухов и иных бурьяндов.

Выморенные и отощавшие, в конце концов, мы вышли к Днепру. Нашего берега и не видать. Сердце сжалось - мы, степняки, жили все возле пруда, в котором старой жабе по колено. Ни плавать, ни нырять не умеем. А здесь ширина, берега не видно. Как преодолеть такую водную даль? Ходили мы от хаты к хате по- над Днепром. И лодки есть, и люди есть. Но никто не дает лодки, и перевозить нас никто не желает. Только посылают один к другому: мол, идите, там такой-то перевезет. А тот направляет к другому. Ходили мы, ходили взад и вперед, но так ничего и не добились.

- Надо лодку украсить, тогда в тихую погоду переплырем сами. На том и решили. Началось новое хождение, теперь с целью присмотреть, где лодку можно отцепить. Но и эта задумка ни к чему не привела. Везде лодки прикручены к железному рельсу, вкопанному в землю, толстой цепью с тремя огромными замками, или к растущему дереву. Да вдобавок возле лодок привязана собака величиной с теленка. И поняли мы: нет, не достать нам лодки.

В одном селе посоветовали нам пойти к Демьяну, он - перевозчик. Нашли мы того Демьяна. Сухой, маленький старик грелся на солнце. Его мучила одышка, плоская грудь ходила ходуном, как ковальный мех. Он плохо слышал, и просьбу свою

нам пришлось излагать, наклоняясь к его уху. Выслушав, старик спросил:

-А чем вы заплатите?

Мы с Иваном имели при себе по одеялу из верблюжьей шерсти, по две простыни и по наволочке. В одной из них тащили табачные листья. Вот это богатство мы и предложили старику за перевоз - больше ничего нет. Он оскалил свой беззубый рот вроде улыбки и переспросил: "Вы что, ненормальные, или набитые дураки?"

- Почему, дедушка? Одеяла верблюжьи, дорогие, да и простыни что-то стоят.

- Вот я и говорю, сами вы верблюды. Ослы. Это кто же из-за вас будет рисковать своей жизнью за такую ерунду? Вам туда надо, а немец пульнет со своей стрекозы, и вас нет. Но пусть, вам туда необходимо, рискуйте, А мне-то какая нужда рисковать жизнью?

- Ну, дедушка, что же тогда голову морочить. Так сразу бы и говорил, что, мол, не повезу, потому что смерти боюсь.

- Нет, я могу везти, могу рискнуть, только за это вы должны мне платить золотом.

- Да мы, дедушка, в своей жизни и не видели, какое оно есть...

- Тогда и идите спать в солому.

- Эх, дедушка, старый ведь, скоро к Богу, а ты душу свою теряешь...

- Обойдемся, каноны я знаю...

Так и ушли мы от деда Демьяна ни с чем. Ходили голодные, злые. Просить есть стеснялись, а хозяйки сами предложить покушать не догадывались. Но спрашивать каждого встречного, как переправиться на ту сторону реки, вошло в нашу привычку. Однажды попали в гурт женщин, стиравших белье. Они-то и сказали нам, что километров за 15 отсюда есть паромная переправа. Идите туда, и вас перевезут паромом. Мы последовали совету женщин, пошли в указанном направлении.

И вправду, дошли до паромной переправы еще в первой половине дня. Шло сюда множество народа. Ближе двух

километров к парому нельзя было приблизиться, столько народа, телег и всякой всячины. Мы с Иваном сразу стали пробиваться к парому. С большими усилиями пробились ближе и в четвертый его заход приход втиснулись-таки на него. Паром сильно перегружался. Цепляясь за оградку в воде даже плыли люди. С середины же реки стало видно место, где выходили люди с парома. Потом берег вздымался трехметровой кручей, с правой стороны которой виднелись кусты лозы. И более там ничего не было видено, кроме желтеющей кручи: ни человека, ни твари какой. Пустыня, и только.

Но вот паромщик приблизился к причалу, легонько качнулся и остановился. С парома по извилистой дороге, глубоко прорытой в песке, потекла река человеческих голов. Но когда пришло время и нам выходить на кручу и увидеть, что там делается, то сразу стало муторно. Здесь оказалось много немцев. Из общей толпы они отделяли женщин и отводили их далее влево. Туда же направлялись и повозки. Мужчин, большинство которых было в военной форме, стариков, подростков и даже мальчиков 9-11 лет, всех строили в колонну по пять человек. Попали в колонку и мы. Когда, будучи в колонне, мы вышли на возвышенность, то увидели, что эта колонна достигает горизонта и уползает куда-то за него. По обе стороны колонны немцы на гарцающих лошадях с автоматами и пистолетами на поясах, у каждого к седлу привязан поводок от овчарки.

- Вот мы и попали в ад, - грустно изрек Иван.

- Да, - сказал один бывший боец, - только ад еще впереди, а это только дорога к нему.

Эта мрачная колонна состояла, в основном, из военных, хотя были в ней и дряхлые старики, и подростки. Выходить из колонны по надобности не разрешали, два шага в сторону, и автоматная очередь срезала нарушителя. Позади колонны ехали два фрица. Отставшего на несколько шагов от колонны поднятый на дыбы конь бил подковами передних копыт в спину. От сильного удара жертва падала, как подкошенная. Тогда немец вынимал из кобуры наган и с гарцающей лошади стремился попасть в голову. После удачного попадания дул в

ствол и прятал пистолет в кобуру. Конечно, жертвами были в основном старики, но было много и молодых, по какой-то причине не успевавших за колонной.

Позади колонны вся дорога была усеяна трупами. Слышалось, что смельчаки решались бежать. На таких спускали овчарок. Должно быть, эти псы были приучены есть человеческое мясо, и как только настигали жертву, в мгновение от нее оставалась лишь кучка окровавленного мотлоха. Это истязание, видно, более всего действовало на людей. Было страшно, очень страшно.

Села обходили стороной. Стремились гнать открытой местностью. Проходили Кагарлык. Жители поселка стремились дать кусок хлеба, огурца, но падали от автоматных очередей. И те, кто давали, и те, кто стремился взять. Помнится в темноте гвалт собак, бешеное гаркание немцев. Сначала трудно было что-либо понять, потом выяснилось: нас загоняют в какое-то большое здание - то ли казарму, то ли школу. Света нет, помещения буквально натолканы человеческими телами. В окнах взамен стекол - железные листы. Грудь сдавлена так, что ни выдохнуть, ни вздохнуть. Ночью многие задохнулись от нехватки воздуха. Да и какой тут воздух: ведь двое суток мочились и испражнялись прямо в штаны. На третий же сутки все это испарялось и стало воздухом. Слава Богу, в четыре часа утра открыли дверь. Даже у нас с Иваном от свежего воздуха на какое-то время было обморочное состояние. Русский в коридоре сказал:

- Выходите. Там, во дворе будете проходить возле большой кучи барахла. Себе можно оставить только пачку табака и коробку спичек. Остальное все бросайте в кучу. Нельзя при себе иметь бритвы, нож, иголку - за все смерть. Помните: только пачку махорки и коробку спичек - еще раз повторил нам переводчик (или кто он там был?).

Когда душегубка эта освободилась от живого, и остались только мертвые, мы с Иваном переобулись. Угол простыни на ногу и ботинок, остальное вокруг ноги и на пояс. Так мы решили сохранить четыре простыни. Крепко подтянув пояса, мы

и табак из наволочки разместили в пазухах. Осмотрев один другого, выбежали во двор.

От коридора метров на 20 шла асфальтовая дорожка, в конце которой стоял огромный котел, по обе стороны дорожки в шахматном порядке стояли немцы с палками или резиновыми шлангами. Бегущему по дороже следовало увернуться от ударов, и редко кому это удавалось, а немцы стремились, чтобы никто не мог уйти без удара. И в этом они преуспевали. Добегая к котлу, останавливаться было нельзя. Мужчина, стоя на высокой скамейке, деревянной лопаткой черпал густую перловую кашу и клал тем, кто что подставит. И тоже стоят два немца с палками, тоже бьют.

У меня никакой посуды нет, и потому подставляю соединенные ладони. Каша горячая, обжигает руки, но я ее не упустил, а быстро сорвал с головы фуражку - и кашу туда! Свалил. Но за это время немцы успели-таки нанести мне несколько ударов понизе спины.

Фуражку я надвинул снова на голову, кашу теперь можно съесть в свободное время, а сейчас надо увертываться от ударов. Еще пробежать метров сто, и там, в строю, не бьют.

Мы побежали к куче разных вещей, бросаемых несчастными. Она была огромной, высотой с первый этаж и диаметром не менее 20-ти метров. Подбежав к куче, мы бросили туда свои наволочки с нашими одеялами и домашними ботинками и рванули было дальше. Но фриц остановил нас. Мы обмерли: неужели он заметил у нас набитые запазухи, в глазах мгновенно помутилось. Ведь смерть. Но немец почему-то не стрелял, а палкой указал на какие-то лохмотья, лежавшие в куче. Первым сообразил Иван. Он взял с кучи то, на что указывал немец и быстро одел на себя тот довольно замызганный, с дырами ватник. Тогда и я взял из кучи указанное немцем и быстро надел на себя. Это было зимнее полупальто, довольно поношенное. Сукно серое, вытертое и белый, с вытертой шерстью барайи воротник. Вдогонку получив по палочному удару, прибежали в строй. И только здесь съели свою перловку. А вскоре нас прогнали на станцию.

Там посадили в угольные вагоны. Вагоны были без крыш, в рост высокого человека. А натрамбовали в них людей так, что руку, оставшуюся у туловища, нельзя было высвободить. Ногу подними, останешься во взвешенном состоянии.

Между вагонами сверху устроены небольшие площадки. На них разместились гитлерюгенды, пацаны лет по тринадцати, но в военной форме, на рукавах, груди и пилотках - черепа с перекрещенными костями и фашистские свастики. Вооружены автоматами и длинными капроновыми удлищами. Сидя на этой площадке между вагонами, еще не оперившийся хищник мог бить по людским спинам в обоих вагонах. Один - до полвагона, а с другой площадки второй достигал вторую половину вагона. Так достигалось перекрещивание ударов по всем вагонам, и укрыться не было никакой возможности. Ехали мы только в согнутом состоянии. Стоило чуть приподнять голову или шевельнуть плечами, как удлище падало на согбенные спины и головы. Человеческий кал и моча, нагретые преющимися телами, испаряясь, доводили людей до удушья.

Тroe суток продолжалась эта пытка. Наконец, ночью где-то выгнали из вагонов. Ноги так распухли, что обувь лопалась не только по швам, но и на местах, где не было швов. Но, не дав отдохнуть, снова погнали, на этот раз по шоссейной дороге. Распавшаяся обувь не держалась ногах. Но мы с Иваном все же не потеряли ее на дороге, таскали при себе. Ночи становились все холоднее, а в иную ночь случались заморозки, и мы надеялись свою обувку хоть связать как-то. А сейчас - еле двигались по острым твердым камням. Ноги стали, как битые валенки, налились свинцом, и не было сил оторвать их от земли, сделать шаг. Но надо идти: пока движемся - живем. Упасть - значит, быть убитым. Так и тянулся этот длинный, как показалось, путь. Наконец, загнали нас в какую-то загородку. Разбираться не было ни времени, ни сил. Как зашли, так все и попадали, и угроза смерти теперь нас не подняла бы на ноги. Потом некоторые приподняли ноги, чтобы быстрее избавиться от отеков. Я забылся...

Может, часа через два или три-четыре меня растолкал Иван. Я услышал песню "Яблочко", исполняемую какими-то жалкими голосами, хриплыми, писклявыми, невнятными. Кому же это так весело тут живется, что на песни потянуло?

- Да, потянуло! Поверни голову, посмотри, что делается!

Я с большим усилием повернулся на бок и посмотрел, откуда раздавалась песня - и от увиденного меня охватил озноб - как будто десятки тысяч муравьев влезли под кожу. На небольшой площадке, примерно десять метров на десять, правильными квадратами примерно через полметра стояли мужчины разных возрастов. Там были совсем голые, иные в исподних рубахах, иные только в кальсонах. "Рубахи" и кальсоны - говорю условно, потому что у них на тела остались только отдельные клочья и ленты.

Все до единого были босы. Площадка цементирована и густо засеяна мелким битым кирпичом. Вокруг несчастных стоят немцы с палками. И все это освещается яркой электрической лампой, пристроенной на балконе казармы. Не менее ста человек вот так поют, вернее, воют, и в такт этому пению притоптывают босыми ногами по острым камням. Тех, кто притоптывает слабо, выводят с площадки и бьют по голеням и косточкам ступни. На другой день мы увидели это место. Вся площадка и щебень были залиты кровью. Что же сделалось здесь, с людьми? Потеряли все людское, жалость, милосердие. Почему так зверски настраивается человек к человеку? Ведь над животными он не будет так издеваться. Конечно, животных он режет, колет - это выработалось веками, для пищи, но издеваться, истязать животное - никто не делает. Почему же он тогда истязает человека? Слабого, не имеющего власти, не причинившего никакого зла истязателю? Да они-то раньше и не встречались на своем веку. И вот - убивает, мучает, наслаждается страданием мученика и, насладившись его муками и страданием - убивает. Почему ни одному мучителю-убийце не спросить себя: а что было бы, если бы на месте истязаемого был бы я? Что было бы?

Нет, такие вопросы в голову сильного в момент его зверства не приходят, а надо бы...

В аду

Он являл собой огромный четырехугольник, огороженный колючей сеткой высотой пять метров. На каждом его углу - вышка с площадкой для часового, пулемета и прожектора. В одном из углов установлен во всю высоту, шириной метров шесть, щит из толстых досок. Возле щита установлены два котла в два человеческих роста. Со щита над котлами торчат концы двух труб по 20 см в диаметре. Днем из этих труб откуда-то снаружи, за щитом не видно, течет вода.

В противоположной от котлов и щита стороне устроены крепкие сетчатые ворота. Сюда люди заходят в ад, чтобы погибнуть с голода. В центре четырехугольника громадные, особенно в длину, трехэтажные здания. Говорят, это бывшие военные казармы. Со стороны щита по линии угла казармы три ряда ящиков, примерно до сорока метров. Это туалет под открытым небом. Ящики в кровавых лентах, но пустые.

И еще мертвая зона. Территория вдоль стен колючей проволоки шириной в 5 метров. Полшага в эту зону, на вышке срабатывает пулемет, и нарушитель падает мертвым. Все же остальное пространство набито мужскими телами. Лагерь этот назывался Бердичевским, хотя, сколько видел глаз, на горизонте не было видно ни одного населенного пункта.

Утро начиналось в четыре часа. Многие люди были разуты, раздеть, или очень плохо одеты. По ночам же часто примораживало. На свежем воздухе, без всякой подстилки и одежды, было холодно. Потому на ночь многие стремились попасть в казарму. А утром в четыре часа немцы выгоняли всех из помещений. Начиналась уборка трупов. К казармам подгоняли три арбы - каждую арбу тянуло пять человек. Выносили трупы, наполняли арбы, а потом отвозили к глубокому провалу и там сбрасывали. Убрав мертвецов из

помещений, убирали территорию лагеря, работа эта начиналась в 4 часа утра и кончалась, когда наступала полная темень.

Задолго до утра по всем территории начиняли строиться по пять человек в ряду локоть в локоть - одни ряды, другие, третья. В общем, весь лагерь во всю ширину и длину как бы находился в строю, хотя ширина этого строя составляла не менее четырехсот метров. Если бы такую колонну поставить в очередь по пять человек, то ее длина была бы не менее сорока километров. Читателю представляется возможность вообразить, когда же люди, находящиеся в середине колонны, могли получить свой черпак воды? А те, кто попадал в последние ряды колонны? А мы с Иваном даже не подозревали о какой-то очереди. Но после пятидневного толкания в толпе, мы нашли односельчан. Это была для нас неожиданная радость - свои, да еще и пожилые люди! У нас возникла какая-то надежда на их опыт и возраст.

После бурных излияний радости встречи, мы узнали, что они находятся здесь уже более двух с половиной месяцев и совсем ослабли. Нет сил передвигаться - ноги пухлые. Их было трое; дядя Миша, пятидесятитрехлетний колхозник, Алексей Сергеевич, сорока шести лет, бывший мой учитель третьего класса, третий - Валентин Маламуж, бывший студент четвертого курса. Часто я видел его на переменах, а главное, он мог крутить тарелки на острой палке. Он был старше меня и Ивана на 5 лет.

У нас сохранилось немного табака, и мы не мешкали закурить ради встречи. Мы с Иваном завязали остатки табака в тряпку и очень берегли его, чтобы не потерять. Уже давно не курили - не было бумаги и огня. Конечно, мы спросили у найденных друзей, не имеют ли они бумаги, чтобы закурить.

- А что, у вас есть табак?

- А покажите мне,- попросил дядя Миша.

Мы дали ему узелок с табаком. Он развязал его, понюхал содержимое и сказал:

- Да, ребята, табачок пахуч, очень хорошо, что вы приберегли его, теперь я не позволю вам травить свои

организмы, и так убитые голодом. С этими словами он запрятал узелок подальше, под шинель. Мы смотрели на него с недоумением и обидой.

- Ничего, потом поймете, в чем дело,- сказал он, лукаво подмигнув.

- С этого момента, ребята, мы родные братья, и будем друг о друге заботиться, о всех, как о себе, тогда мы не пропустим какой случай и выживем в этом аду. Предлагаю вот это место считать нашей постоянной "квартирой". Здесь будем проводить ночь. Куда бы кто ни ушел, он должен являться на это место. Так мы не потеряем друг друга в этих людских тысячах.

"Квартирой" было место на углу туалета под открытым небом. Ящики были пусты и зловония не было слышно.

- Если бы был огонек, мы покурили бы.

- Огонь у меня есть,- сказал Валентин,- а где вот взять бумаги?

Валентин любил физику и первым в селе сделал ламповый радиоприемник. На фронте ему случилось найти снайперскую винтовку с разбитым оптическим прицелом. От него он отвинтил уцелевшую линзу и потому так уверенно сказал, что огонь у него есть. Бережно вынул из нагрудного кармана тряпку, в которой была замотана линза.

Дядя Миша выбрал из щебенки покрупнее кусочек кирпича, на ровную поверхность положил щепотку табака - и дал Валентину зажечь линзой от солнца. Валентин сначала зажег кусочек ваты, вырванный из подкладки пальто. Потом на уголок кучки табака насыпал золы и навел свою линзу. Тертая масса задымилась, и сразу воздух наполнился приятным запахом табака. Все жадно вдыхали дым. Вокруг нас образовалась сильная давка. Каждому хотелось хоть издали вдохнуть табачный дым. Табак быстро сгорел, но толпа давила нас со всех сторон, не унимаясь. Потом долго корили себя за допущенную ошибку - ведь нас могли раздавить. Разве в такой обстановке можно открыто показывать что-либо, подобное табаку.

Всем была поставлена задача: найти банку, бутылки, чашку, в общем, найти посуду, с которой можно было бы пробиваться к котлам. Несколько дней поисков увенчались некоторым успехом. Нам удалось найти две банки литровой емкости. Дядя Миша, Алексей Сергеевич и Валентин до нашего еще появления здесь пробовали пробиться к котлам, но их старания ни разу не увенчались успехом. Полмесяца они с утра до поздней ночи отдавливали себе бока и грудь в страшной давке, но до котлов так и не доходили. Потеряв всякую надежду добыть литр "супа-воды", они к дальнейшим пробам относились скептически.

Мы с Иваном надеялись пробиться к спасительным котлам. Шесть суток пробыли мы в толкучке, передвигаясь вперед по миллиметру, а иной раз откатываясь назад на пять метров. Люди здесь, сдавленные со всех сторон, просто засыпали, падали обессиленными под ноги других. Ослабевшего как бы затягивали, удавливали вниз, чтобы занять его место. У многих грудная клетка трещала так, как спицы колес груженой телеги на крутом спуске. Мы с Иваном прокляли свою дурную непослушность. Ведь старшие наши друзья отговаривали лезть в ту душегубку. Теперь же делать было нечего, мы дотолпились до того, что ни вперед, ни назад не могли сдвинуться. И все же сила массы сделала свое дело, и нас притолкло все же к котлам в общем потоке. Удалось получить по баночке пойла.

От котлов шли стороной. Здесь уже стоял фриц с нагайкой и в какой-то мере наводил ею "порядок". Мы немного надпиши из своих банок, потому что донести полными все равно не дадут. Осталось по полбанки у каждого, и мы берегли их, как зеницу ока.

Придя в свою "квартиру", мы были встречены с радостью старшими друзьями, что возвратились живыми, да еще с драгоценной влагой. Дядя Миша за щепотку табака у кого-то выменял граммов 200 хлеба - и нам вручили ожидавшие нас маленькие пайки.

Одну принесенную нами баночку пойла дядя Миша распределил на троих, и все жадно глотнули свою порцию. На

нас с Иваном не делил, мы свое выпили на месте. На донышке банки осталось не более двух столовых ложек сырой гречихи, смешанной с просом. Вернее, это был отсев гречихи и проса, как говорится, пужина, пустые коробочки. Эту пужину дядя Миша распределил каждому по кучке, строго предупредив не глотать ни одного зернышка, а, разжевав, высосать все, что можно, а оставшуюся лупу - выплюнуть.

- Вон, видите, все ящики окровавлены? Этим нелюдям, оказывается, мало смертей от голода, так они стараются убивать людей, играя на их голоде. И для этого дают необработанные зерна гречихи и проса. Лупа с гречихи не перетирается, сбивается в твердый, как камень, комок с торчащими наружу остриями гречихиных чешуек, острых, как бритва. Проходя по кишечнику, такой комок на ленты разрезает кишки, и от того человек в страшных мучениях умирает.

Болела голова, болела грудь, все тело болело. Несколько дней мы с Иваном держались у своей "квартиры", отдыхали после толчей. Дядя Миша и Алексей Сергеевич с Валентином тоже мало двигались, больше лежали у квартиры.

С каждым днем наши небольшие, ничтожней почти силы убывали. Никакой надежды на выход из этого ада. Постепенно нашими душами овладевала апатия, равнодушие ко всему окружающему. Вокруг трупы, трупы, а людей не уменьшается. Мертвых вывозят, а живых все пихают сюда и пихают. Конвейер действует, как часы.

Бродя по лагерю, куда только можно пролезть в надежде найти что-нибудь съестное, возле одной казармы на балконе мы увидели старого человека с лысой головой и длинной седой, острой бородой. Он размахивал рукой и что-то, наверное, говорил, но до нас его слова не долетали. Но по лагерю разнеслась после этого молва, что постепенно будут выпускать из лагеря людей из западных областей. Навряд ли кто-либо поверил в такое чудо, но почувствовалось какое-то оживление. Оказывается, некоторые люди в лагере имели кое-какие продукты. Появились менятьщики: за золотые перстни и крестики начали менять буханку хлеба, крупу, узелки зерна,

даже иногда предлагали сало. Но обладателей золотых вещей, наверное, было мало, потому что меняла перешли на обмен барахла. Разную одежду - пальто, материю. Но, конечно, все должно быть новым.

У нас с Иваном, как было уже сказано, еще оставались по две простыни. Они немного загрязнились, но все же видно было, что еще не стиранны. За четыре простыни нам удалось выменять два килограмма перловой крупы. Радовались все... подумать только: два килограмма крупы! Но воды не было, разводить огонь не было с чего и где. Дядя Миша с кусочком жести соорудил мерку граммов на десять. Теперь на ночь мы получали крупу. Она была такая твердая, что при жевании крошились зубы. Я, Иван и Валентин жевали, а что не могли прожевать - так глотали. Дядя Миша и Алексей Сергеевич свои порции растирали кирпичами и ели муку вместе с глиной.

Несколько раз мы с Иваном пробовали дойти до котлов. Но, подавленные со всех сторон, обессиленные, добирались до квартиры и там отдыхали. Потом мы увидели, что между казармой и воротами всегда строится колонна в тесные ряды, и люди здесь пристаивают с утра до поздней ночи. Что это? Мы с Иваном, как обычно, толкались по всему лагерю, наблюдая, что где происходит.

Завели знакомство с несколькими парнями из Западной Украины. Несколько ребят клятвенно заверяли, что слышали от своего земляка (он работает в лагерной охране), что коменданту лагеря пришел приказ понемногу выпускать гражданских лиц из лагеря, но только жителей Западной Украины. На всякий случай мы выучили на память несколько адресов. С этих пор наша постоянная "квартира" "пустует". Мы с Иваном тащим своих старших друзей в этот строй и пристаиваем в нем до ночи... Строй (ожидающих выхода) в десять шеренг плоский, один другого давит и боится, чтобы его не выдавили из строя. Обратно не войдешь.

Так проходили дни, недели, а никого не выпускали. Но люди все строились, ведь все равно, где быть. Дядя Миша, Алексей Сергеевич, Валентин, наконец, не захотели более

отдавливать себе ребра, сил у них больше не было на строй. Но мы с Иваном упорно каждое утро шли и выстаивали целые дни.

В одно утро толкотня поднялась ужасная. Почему-то очень много людей стремилось в строй. Мы с Иваном занимали всегда место возле своих новых, западных, друзей, и тут они потеснились, освобождая наши места. Вдруг все зашевелилось. Показались немцы с палками и автоматами. Они окружили квадрат, в котором находились сотни людей. Вокруг этого квадрата образовалось пространство около двух метров. Со стороны ворот палками и автоматами работало десятка два немцев. Они оттеснили в сторону людей и по образовавшейся пустоте к воротам начал двигаться строй, в котором были и мы с Иваном. Ворота распахнулись, колонна вышла за ограду и ворота сразу захлопнулись. Все произошло в такой суете и так неожиданно, что мы с Иваном и подумать не успели, как же теперь там остались односельчане?

Но был еще один страшный вопрос: А куда нас? Отпустят домой или сразу поведут к оврагу, а там...

Наш квадрат остановился возле небольшого домика недалеко от ограды. С левой стороны стояли три скамейки из досок. Колонну остановили перед этими скамейками. На одну из них взобрался русский лет тридцати. Он обратился к колонне:

- Кто умеет читать и писать немецким шрифтом, выйдите из строя и постройтесь на правой стороне!

Все молчали, опустив головы вниз.

- Что? Никто не владеет способностями писать и читать на немецком языке?

Все молчат.

- Раз так, придется вас обратно отвести в лагерь. Без пропусков - аусвайсов - мы вас отпускать не будем, а у нас некому их выписывать.

В колонне зашевелились, и человек восемь вышли и построились справа. Иван толкал меня, но я не поддался. Черт знает, что они придумают, и Иван, сердясь, вышел сам в надежде, что сам выпишет пропуск, и мы быстрее уйдем от этого проклятого ада. Какие чувства испытывали люди, пробыв

в условиях, из которых потеряли надежду выбраться, и вдруг почувствовали, что все, может, позади?

Кратко скажу о себе. Я даже не почувствовал, а далеко упрятанным сознанием понял, что, может, все же выживу - но не возрадовался. Почему-то охватила полная апатия ко всему. Хотелось лечь на травке, свободно раскинув руки, отдыхать, ни о чем не думать. Не было даже чувства мучительного голода и жажды. Организм высок до такой степени, что мышц не осталось - только кожа и кости. В одном колхозе кладовщик сам полюбопытствовал нашим весом. Я весил 39 кг, Иван - 41.

День тянулся мучительно долго. Что-то медленно выписывали проклятые аусвайсы. Выходить из строя не разрешалось. Подходили записывать адреса каждый раз к своему писцу, садиться не разрешалось. Мучила неуверенность. Додержат, мол, нас до темени, а там откроют ворота - и все тут. Сделали видимость, что выпускают, а на деле впихнут снова в лагерь, ведь каждый день сотнями гонят и гонят за ограду все новых людей.

Солнце почти касалось крыши казармы, когда нам раздали пропуска. Выстроили в тот же квадрат и, став на скамейки, несколько немцев через переводчика толкали напутственную речь. Я ничего не слышал. В голове гудело, ноги подламывались. Только помохнуть товарищей, стоявших по бокам, удерживала меня от падения. Наконец, все людские глотки рявкнули что-то воюющее или лающее, после чего, очевидно, старший немец залаял, как охрипшая овчарка - и стоявший квадрат людей исчез, в мгновение ока испарился, так что я даже не увидел, куда кто девался.

От ограды шла натертая колесами дорога, так что ботинки (если их можно еще так назвать) скрывались в пыли по голень. Солнце садилось. Если ориентироваться по солнцу, то дорога шла на юго-запад. Но мы никак не могли правильно сориентироваться. Нам все казалось наоборот. Там, где у нас солнце заходило - здесь восход, где должен быть юг, там почему-то север. Но раздумывать времени не было. Задача стояла в том, чтобы побыстрее отойти от этого ада подальше,

скрыться от зловещих ворот, которые, как гигантские пасти драконов, глотали тысячами людей и в утробе проволочной ограды перемалывала и переваривала их в прах, в ничто, в еду для червей.

Домой

На дороге остались только мы с Иваном. Куда же подевались остальные? Хоть бы один человек был, чтобы у кого было спросить, куда мы идем? Но делать нечего - отойдем подальше от лагеря, а там будем разбираться. Рядом с дорогой тянется картофельное поле. Свернули и идем по полю, не отдаляясь далеко от дороги и надеяясь найти хоть маленькую и надгнившую картофелину, пусть как горошек, ну,... Но где там... Ведь не одна сотня ног прошла по одному и тому же месту. Ничего найти не удалось. Долго мы шли. Как будто и спешили, а оглянемся: лагерь все еще вот он, близко, как будто движется вслед за нами.

Хоть бы свежей травки пожевать. Но уже поздно, выгорело, ветер и роса сделали свое дело. Даже сухой травы нет. Только рядом с наезженной дорогой редкие кусты полыни, по три-пять стеблей на кусте, со своими густыми соцветиями. Их зерна дурманят горечью. Горечь оседает в носу, во рту и даже становится горько в груди и животе.

Прошел еще какое-то время, и последние силы оставили меня, я свалился на землю. Сколько времени Иван возился со мной, не могу сказать. Но когда прошел обморок, понял, что мой друг изрядно испугался. Слезы на его глазах и радость, что я очнулся, говорили о том, что он думал, что придется проститься со мной. Сам падая от слабости и радуясь, что я жив, он не переставал уговаривать меня дойти до дороги, там он меня на время оставит, а сам пойдет вперед, чтобы принести воды и что-нибудь поесть. Ползком и на коленях дотащил он меня обратно до дороги, положил на край старой свекольной канавы, между кустами полыни, и сам ушел добывать воду и пищу.

Остался я один, беспомощный и слабый. Солнце, будто издаваясь, висит низко над лагерем и как бы говорит: "Я бегу быстрее, чем ты, видишь, вот он, ад, недалеко, и ты можешь снова в него угодить". Я пробую подняться, в глазах темнеет, живот переламывается, ноги дрожат, потом немеют, все куда-то плывет, и я падаю в кусты полыни. Полежав, напрягаю силы, сажусь. Обвожу взором все поле вокруг себя. Везде до самого горизонта - пустота. Иван, и тот исчез, как сквозь землю провалился. Зато лагерь с его вышками, колючей проволокой - так близок.

Всматриваюсь: от лагеря по дороге движется телега, она выглядит пока игрушечной, вроде как в спичечной коробок впряженли два жука. Телега, приближаясь ко мне, все увеличивается. Потом она сделается огромным фургоном. Его тянут тяжеловозы-ломовики. Одно копыто такой лошади, как камень крестьянского жернова. На фургоне сидит немец в поношенной солдатской форме. В одной руке у него вожжи, в другой кнут, которым он слегка понукает то одну, то другую лошадь. С его носа свисает капля и, освещенная солнцем, блестит всеми цветами радуги. В левом углу рта сигарета, с которой временами исходят клочья дыма.

Непреодолимое желание затянуться табачным дымом так захватило меня, что я пренебрег всякой опасностью. Да и раз он не чувствует, что с носа его свисает соплей булька - значит, стар, а от старика меньше риска получить неприятности. Все это мелькнуло в голове само собой, и я решился. Когда фургон был против меня, то крикнул: "Эй, ты, дай покурить!" Немец натянул вожжи, лошади остановились.

- Ком,- махнул мне рукой. Я попробовал подняться и подойти к нему, но ноги дрожали, в глазах темнело, и земля вновь подкатилась подо мной.

Потом он подвел меня под руки к фургону, с усилием втянул меня в фургонный ящик и усадил на доску-сиденье, а сам сел на свое место. Из кармана он вытянул металлическую коробочку, в которой находился табак, курительная бумага и какое-то устройство. На него он положил бумажку, всыпал

кучку табаку, крутнул, и вышла готовая сигарета. Мне оставалось только помочить ее слюной, заклеить. Потом он чиркнул зажигалкой, поднес огонь к папиросе. После второй затяжки меня снова кинуло в обморочное состояние. Тогда немец забрал у меня папиросу и выбросил на дорогу. При этом он все время говорил что-то на своем гортанном и рычащем языке. Я же молчал, не зная, как двигать головой, отрицать или соглашаться. У ног его был прикреплен болтами к доскам фургона небольшой деревянный ящик, с большим висящим замком. Он открыл ящик, вынул небольшой сверток, в котором оказался шоколад. Немец отломил мне кусочек, примерно три на три сантиметра, остальное тщательно завернул, положил в ящик и нацепил замок. Потом он взял вожжи и лошади, вздымая свои огромные копыта, потащили тяжелый фургон с легкостью спичечного коробка.

После съеденного шоколада мне стало как-то легче, светлее. Теперь я с любопытством рассматривал чужестранца. Он, действительно, был стар. Из-под нахлобученной на голову шапки торчала редкая белая щетина. Дряблое тело иссушено годами, тонкая шея с висящими вдоль кожаными полосами при каждом повороте головы грозила переломиться, и, отпав, повиснуть на кожаных полосах. Руки,держивающие вожжи, мелко дрожали, как в лихорадке. Вместе с ними дрожали и вожжи, отчего звенели разные прядки, бляшки на уздачках. Получалась дрожь-музыка.

Наверное, плохо у фрицев с войсками, если в вояки берут такую рухлятину. Я оглядывался назад. Ограда с вышками и крышами казарм постепенно отдалась и уменьшалась. Когда проехали километра два, я увидел на картофельном role Ивана. Конечно, он не рассчитывал, что я могу быть на повозке и потому, взглянув на нее, опустил голову в поиске съестного. Жестами я попросил немца остановить лошадей, указав на Ивана: "Мой брат, геносе, брат..."

- Я, я,- лошади остановились. Иван сначала оторопел, когда я его окликнул, потом пришел в себя. Немец предложил ему тоже сесть в фургон, и мы поехали дальше.

Мои волнения об Иване кончились, мы снова вместе, а лагерь уже далеко. Впереди все отчетливее вырисовывалась небольшая дубрава, в которую мы и въехали через полчаса. Оказалось, что это не лес и не дубрава, а бывшая деревня, о которой можно было догадаться скорее по составу деревьев. Здесь росли орехи, яблони, груши, слива, а между деревьями - бугры большие и поменьше. Уже не было признаков помещений, а просто холмики, поросшие крапивой, лопухами, лебедой и прочим бурьянном, высохшие и поваленные на землю дождями и ветрами. Наверное, и бывший житель этой деревни не смог бы уже сказать, где именно проходили улицы между этими хаотичными буграми и деревьями. Еле-еле заметная и малоезженная дорога шла по буграм или между ними, огибая деревья. Проехав немного по этой бывшей деревне, вернее, кладбищу, немец остановился возле избенки на курьих ножках. От бывшей улицы хату ограждал наполовину разрушившийся хворостяной забор. Хатка была небольшой, крытая железом, сплошь продырявленным ржавчиной.

Немец встал с фургона и нам предложил тоже: "Ком!" - Махнул нам рукой и сам вошел во двор. Двор был как будто нежилой, будто здесь никто и не ходит, нет даже тропки к крыльцу, все заросло бурьяном. Но, на наше удивление, перед немцем у самого крыльца, как по щучьему велению, появилась женщина средних лет с тощим лицом в морщинах. Только по темным без седины волосам, выбивавшимся из-под тряпицы на голове, можно было судить, что женщина еще не очень старая. Лохмотья неопределенного цвета висели на ней, как на палке. Черные брови сломлены так, что над большими испуганными карими глазами они висели не дугами, а крючками. Немец обратился к ней, показав на нас:

- Матка, картофель, млечко - мало-мало.

Потом повернулся, сел в фургон и уехал. Мы с Иваном остались стоять. Женщина ушла в избу. Мы присели, надеясь, что она выйдет во двор и как-то мы решим, что делать. Есть очень хочется, но вряд ли у нее есть что съестное. Но хотелось хотя бы попить воды, жажда очень мучила.

Быстро начало темнеть, а женщины из избы так и не выходила.

- Зайдем в хату, попросим воды и уйдем.

Пошли мы в тесную переднюю комнату. С одной стороны плита, с другой - столик. Между плитой и столиком проход в соседнюю комнату. В углу на пне ведро с водой. Воды в нем было мало. В темноте еще можно было слабо видеть предметы - на полочке мы нашли глиняную кружку. Чтобы зачерпнуть воды, приходилось наклонять ведро. Так жажду утолили, но зато чувство голода удвоилось. Женщина из второй комнаты не выходила, делать было просто нечего, на дворе уже с вечера начинался приморозок, идти из хаты не хотелось. Решили под столиком постелить одно пальто, а другим укрыться.

Это была наша первая ночь на свободе, без щебня под бокам, без каблуков, бьющих тебя по зубам и носу, без наваливающихся во сне на голову тулowiщ, так что прерывалось дыхание. Свернувшись калачиком, грея один другого собственными телами, мы крепко уснули.

Ночью я проснулся и почувствовал удушье от скопившейся в комнате вони, будто я очутился в туалетной яме. Сначала я даже не понял, где нахожусь, и что все это значит. Может, это Иван испачкал штаны? - Нет, у него все в порядке, а вонь не прекращалась. Загадка эта утром разгадалась, когда нас разбудила хозяйка так рано, что единственное окошко еще только начинало подсвечиваться начинаящимся рассветом.

- Дети мои, скорее подымайтесь. Вот вам по паре картофелин, по кусочку огурца, больше у меня ничего нет, и поскорее уходите. Я вижу, что вы несчастные дети, и потому признаюсь вам. У меня тут сын, он офицер, но сильно изранен и больной. Я боюсь, что чье-то присутствие здесь привлечет внимание фрицев, и они тогда найдут его и убьют.

Конечно, мы немедленно надели свои пальто, извинились за беспокойство и ушли. Надо было ей сказать это вечером, мы бы тогда ушли сразу. Еще затемно выбрались мы в степь из этого бывшего села. Небо стало пламенеть жаром на

востоке. И здесь перед нами возник самый мучительный вопрос: "Как нам идти, в какую сторону? Может, если в этом направлении идти - то будем только отдаляться от своей местности?

Начали мы вспоминать. Больших городов возле нашего села нет. Белая Церковь от нас более 100 км, и Умань примерно так же. Но их надо спрашивать, чтобы хоть как-то сориентироваться. Нам показалось, что где у нас восход, здесь запад. Вот и сейчас солнце почему-то восходит на западе. Но тогда север и юг тоже менялись местами. Решили идти в любое село и узнать, где мы были и что за местность, где находился лагерь, а потом спрашивать людей, как идти на Умань или Белую Церковь. А как оттуда добраться домой, нам уже известно. Конечно, лучше всего было бы найти географическую карту.

Вошли в село и у встречных людей попросили покушать. Нас накормили. Потом мы спросили, как добраться до наших райцентров, но никто и не слышал о таких городах. Карт у наших детей не было, когда они учились, а сейчас вообще никакой бумаги нет. Только в третьем селе нам посоветовали зайти к одному учителю, может, у него есть географические карты.

Последовали мы этому совету. Учитель учил детей до четвертого класса, и у него нашлась географическая карта, на которой были обозначены районные центры Украины. По нашему рассказу мы узнали от людей, что лагерь, из которого мы вырвались, располагался возле г.Бердичева Житомирской области. Это был Бердичевский лагерь для военнопленных. Учитель помог нам выписать самый короткий маршрут, которым мы сможем добраться в свой район, а значит, и домой. Направление мы теперь знаем, у нас осталась одна забота - голод.

Начиная с первой хаты, мы просили кушать. Кто зовет в хату, кормит борщом или молоком, кто дает куски хлеба. И пока пройдем село, едим в трех-пяти хатах. А за подкладку пальто собрали до пяти кг хлеба. Животы стали полными, как

барабаны, а есть все равно хотелось. Выходим за село и начинаем приниматься за припасенный хлеб, доедаем его, пока приходим к новому селу, а там все повторяется сначала.

Так было шестнадцать суток нашего пути домой. И странное дело, мы почти постоянно ели в основном хлеб. Он был вкуснее всего, и без сала, сахара и других добавок. Только где-то на четырнадцатые сутки у нас исчезло чувство сильно изголодавшихся. И лишь через несколько месяцев организм вышел из отощавшего состояния и началось постепенное увеличение веса тела.

* * *

Прошли соседнюю деревню, спустились в яр, потом на гору полтора километра - там и родное село.

Как там мама, пришла ли она тогда с центра села домой? Как сестра?

Вхожу во двор и сердце сжимается в больной комок, во рту сухо. Хата маленькая, окна маленькие и еще ниже опустились к земле. На крыше выглядывают латы сгнившей соломенной кровли, как ребра у худой лошади. Перед хатой копна полусгнившей соломы с торчащими стеблями усохшего осота... Вокруг хаты весь двор в высохшем бурьяне. Прямо пустка... перевожу взор на окошко. В нем удивленные лица Нины, Маруси, Гали и Оли, бывшей тогда ребенком. Еще

большая тревога разлилась в теле - маминого лица в окне не видно. Отворяю дверь и влетаю в хату.

- Юрко,

Юрко,- все бросились ко мне.

- А мы думали, что это за человек стоит во дворе и все разглядывает. А Оля



сегодня, когда пили молоко, кричала: "Остави Юркови!" - И как она могла знать, что ты придешь?

Оля, Маруся, мама, Юра, Нина, 1953г.

- А где мама? - вырвалось стоном у меня из груди.

- Мама копает свеклу, она придет поздно вечером, потому что уже часто бывают морозы, и бригадир держит до ночи женщин. Боится, что свекла останется в земле.

После этих слов все напряжение отошло, боль неизвестности прошла и стало легко и радостно: все живы... Нет, не все, Женю я уже и не думал увидеть. За обступившими меня сестрами я не видел лежащего на топчане, а только услыхал всхлипывание. Бросился к топчану: "Женя, ты? Что с тобою, Женя? Я считал, что никогда тебя уже не увижу. Ведь ты стоял на границе, а все знают, что все, кто был на границе, погибли в первые же дни войны».

Позже Женя рассказал: " Еще войны не было, и мы стояли в Карпатских горах. Что там - трудно пересказать словами. Высоко сияет солнце, а под тобою тучи. Или и вверху тучи, и под тобой тучи, а ты как будто паришь между ними, и нет ни земли, ни неба.

Дней за шесть перед началом войны из нашей части несколько подразделений

Оля, Маруся, мама, Юра, Нина, 1953г.

забрали и увезли с границы километров на 150-200. Не могу сказать точно, как называлось то место, только расположились наши части на опушке леса. Потом оказалось, что нашу часть откомандировали для строительства аэродрома. Все там делалось вручную. Щебень равняли, заливали цементным раствором, трамбовали разными трамбовками.

По соседству с нами располагалась танковая часть. Какая именно, мы не знали, но лес кишел танкистами, а грохота танков слышно не было. Пришел строжайший приказ: проверить моторы и гусеницы. В общем, танки были разложены на части. Моторы промывали и ремонтировали. Когда все было разложено, произошла первая немецкая бомбейка. Большие группы самолетов бомбили аэродром и, особенно, танковую часть. За короткое время весь лес был уничтожен вместе с танками и танкистами. Из нашей же строительной части осталось в живых несколько десятков человек, да и те наполовину раненые. Я был контужен. Через какое-то время подогнали полуторки, и нас увезли в кузове. Все страдали там от жажды и боли. Больше ехали ночью, потому что налеты и бомбейки на дорогах были непрерывными. Потом кончилось горючее, и достать его не было никакой возможности. Нас переложили на повозки. Рядом с повозками шли солдаты других частей, неся носилки с ранеными. Солдаты шли без шинелей, многие босиком и без оружия. Винтовки бросали, да они и валялись везде на дорогах за ненужностью - ведь патронов к ним нигде не было. А двигаться надо было все быстрее.

Кроме бомбейек, нам начали досаждать немецкие мотоцисты. Несколько вооруженных до зубов мотоцилистов догоняли и убивали наших безоружных раненых и голодом ослабленных солдат. Число их на дороге все уменьшалось, как лед на палиющем солнце. Однажды командиры какой-то части приказали езловому оставить нас на попечение селян..."

Приложение 5.

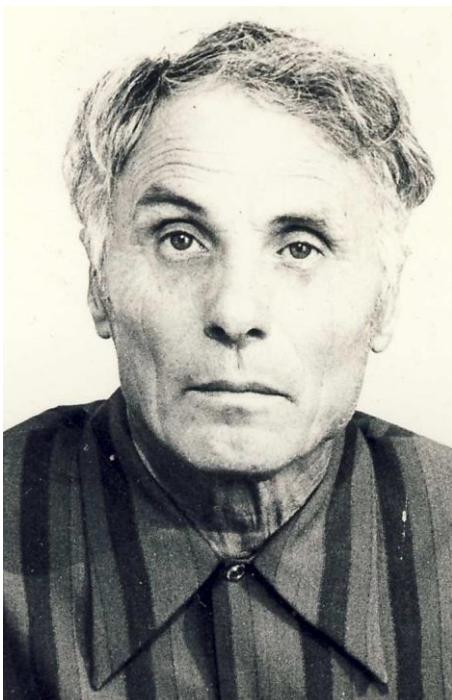
Рассказы Ю.И.Красовитова о жизни и о войне

(Воспоминания

Юрка Ивановича
Красовитова, жителя села
Шевченково на
Черкашине, 1923 года
рождения, инвалида
Отечественной войны,
моего двоюродного дяди,
записаны в июле 1987 г., -
В.Сокирко)

(Л.Ткаченко:
машинописный текст
"Воспоминаний
Ю.И.Красовитова"

заканчивается на
полуслове, и никому не
удалось вспомнить,
существовала ли
следующая рукописная
тетрадь или не случилось
Юре её написать из-за
очередного попадания в больницу со своей изнурительной
незакрывающейся раной. Скорее всего, ему трудно стало
писать, и потому он обрадовался Витиному предложению
наговорить на магнитофон свои наиболее яркие воспоминания с
тем, чтобы Витя за зиму расшифровал записи на машинке. И
хотя Юрины устные воспоминания начались с малолетнего его
возраста и порой повторяют его письменные, мы решили
выложить на сайт и те и другие - хочется сохранить и его
живой язык и его литературное слово. Правда, в расчёте на
русскоязычного читателя, мне пришлось (с



(сожалением) множество украинских слов заменить русскими, Яркие украинские, как мне кажется, понятные всем я оставляла. Заголовки расставил Витя.)

Первое впечатление от колLECTивизации.

С чего начать? - Пожалуй, с сильного детского впечатления.

Отец мой до революции окончил семинарию, но работал учителем, а в революцию по просьбе односельчан исполнял церковные обряды. Так что, когда в село пришли красные, остановились в отцовском доме. Вначале они очень косились на сбиравшихся для крещения женщин с младенцами, но, порасспросив народ, успокоились. После гражданки отец и совсем закрестьянствовал, а когда на месте старой панской экономии стали организовывать новый хутор с раздачей земельных наделов, то он одним из первых перевез на новую землю свою многодетную семью. Я родился в этом году и лишь по рассказам помню трудное время устроения.

Мама всегда была красива, и с отцом жила всегда в ладу. Нас у нее было девять детей, но лишь семеро дожили до взрослых лет. И вот что я запомнил.

Был на хуторе небольшой лужок, тянулся вдоль балочки, и я пас на нем нашу конячку Зорьку. А с обоих лужковых бережков тянулись людские полоски и наделы - поля. Там и у нас была посеяна полосочка буряков, и мама их полола...

Вдруг идет. Кто? - В фуражке со звездой великой, в кожаном пальто с деревянной кобурой, перевязанной ремнем аж до колена. Здоровая кобура - молодецкий такой, здоровый парень. Я его знал - его сын Михайло мне одногодок, по улице вместе бегали.

Вот подходит он к маме... Сколько ей было годов? Тридцать уже было, а все равно была красива собой. Ну, а он - ее годов, или даже моложе. А я был просто дитем, но уже понимал, что он что-то плохое маме говорит про батьку, что, мол, муж твой уже старик. Ну, а мама в ответ: "Ты надел кожаное пальто, струсили воши, да прицепил это к поясу, так

думаешь, что тебе уже все дозволено, что можно оскорблять моего мужа? Какое ты имеешь право оскорблять?»

Ну, он что-то еще говорил, а она... в общем, схватил от мамы доброго леща по морде. Ну, и я, конечно, раз пас Зорьку, то был у меня добрый дубчик, побежал помогать маме и ударил его своим дубчиком, думая, что это так нужно.

Подивился он на меня: "Ну, ладно,- говорит маме,- пожалеешь!" и пошел вдоль речки в село.

Мама ни в чем не была виновата, он сам к ней цеплялся. Когда он встретил батьку, то сказал ему: "Ну, Иван Михайлович. Ваша жинка такая, знаете, я с ней пошутил, а она мне так врезала, аж щека опухла". Батька мой по-русски говорил хорошо и ответил: "Знаете, Семен Михайлович, наверное, она не приняла Ваши слова за шутку, а посчитала их всерьез". Только так ответил, и ничего больше. И вроде бы нам ничего не было, но все же этот Семен Проценко все время здесь терся уполномоченным от района, руководил, и старался чем-нибудь ущемить. Видел, что семья большая, а стремился взять податей побольше.

Но пришло время, и стали накладывать новый, большой налог - и не только на нашу семью, а на всех. Конечно, куркулей тут не было, какие на хуторе куркули, когда собрались одни выселенцы, у кого раньше вообще своей земли не было, успели понастроить себе лишь халупы, как умели, небольшие хатки - а все одно налоги...

Ну - выполнили, а потом еще накладывают, и такое началось: хлеба давай-давай! Жернова отбирали, а у кого был конь - то повинность гужтрудом, что значит работать на дорогах целый год без никакой платы.

Прошел так год, на следующий - забирают весь хлеб, так что его не было вовсе, и картошку, и фасоль - все. Два года такие налоги. И беспрерывно искали у людей - то одно, то другое. Ну, а после этого и объявили коллективизацию. Стали говорить, как вместе все будут вести хозяйство, то будет хорошо, и до такого дойдем этапа, когда вареники сами в рот будут влетать... одно общее одеяло на всех трактором

затягивать. И работа бесплатная. Ну, бесплатной работы и так была. Батька мой в то время был закреплен на два десятка хат для ликбеза и должен был заниматься два раза в неделю зимой. А что ему за это платили? - Ничего! Вообще, никто ни за что не платил, ни за что... Летом днями он на коне возил кирпич для стройки школы-семилетки за 30 км от станции - все лето, и никто за эту работу ничего не платил. Приедет домой вечером раз в неделю - и снова на неделю.

Ну, вот, началась агитация и коллективизация. Агитация, а больше нажим: "Кто в колхоз не будет идти, тот подкулачник, и так далее. Они, мол, льют воду, чи що..." - И в этот момент несколько человек арестовали, пришили им вроде агитации против колхозов, что не надо туда идти. Заявлений в колхозы появилось больше. К другим по ночам приходит уполномоченный с целой командой и ведет в контору или сельсовет: "Подавай заявление!" - И так каждый день, каждую ночь...

Сначала сколотили "Комнез" - комитет незаможных. Там были такие люди - передовой авангард, кто ничего не имел своего, ни коня, ни кур. Да, бедняки, что были даже рады коллективизации, когда все всё сдают. И все равно трудно шли люди... Такая шла борьба... не какие-то выступления, а просто уклонялись и выжидали... А их давили. Кого не могли просто прижать, находили контрреволюцию. Одного нашли, что он петлюровец, и потому не хочет идти в колхоз - и арестовали, потом другого... И так запугивали людей, что все больше и больше втягивалось людей в колхоз. Писали заявления, писали под нажимом. Тем же, кто оставался, некуда было деться. Дошло до того, что почти все уже написали заявления, посыпали скотину. Коней всех сдавали, а кто имел корову или теляницу, то можно было теля оставить себе. Как-то все же регулировалось.

Ну, а потом пошла другая волна, не знаю, откуда она взялась, но только вроде, что не будет колхозов. И все! - начали люди растаскивать назад каждый свое - бороны, шлеи... Но скоро наехало много из района всяких оперуполномоченных,

милиции, и начали выискивать врагов: кто первый пустил такой слух, чтобы "растаскивать"? И, конечно, нашли одного, другого, третьего, кто что-то тявкнул среди своих, а те донесли. Вот несколько человек снова поплатились: зачинщики, контра, против колхозов. Их, конечно, забрали, а остальные, напуганные, снова пошли писать заявления. И осталось всего семейство четыре, которые абсолютно не хотели идти в колхоз. Это был Гродник - как его ни вызывали, не идет в колхоз, и все тут. Еще Данила... тоже не хотел идти. Потом четверо сестер, и еще семья... И что с ними сделали? - отобрали всю полевую землю и огороды обрезали так, что не имеешь права ходить до туалета: это, мол, колхозная земля, не имеешь права на нее вступать. Все!

Куда делись сестры-девчата, не помню, хата осталась их беспрizорной. Кроквы с крыши у нее спалили, а остов долго еще стоял в лопухах, помалу разваливался. Гродника же и усатого Данилу забрали вообще. Ну да, раскулачили... Нет, суда никакого не было, забрали, да и все. Правда, семьи остались. Жена сначала в хате жила, ее никто не трогал, а хлопец его уехал, где-то устроился работать и домой больше не возвращался. Такая была судьба!

1931-33 гг. Первые колхозные голодные годы.

И начали снова сводить все вместе: сдали коней, сдали плуги и бороны. У одного была молотилка, ее тоже забрали. Он за нее сколько-то отсидел, как кулак, а когда вернулся, работал в колхозе.

Ну, а как все забрали, то не осталось у людей ничего. Только комитет незаможных был колхозной силой. Там были и такие, что имели хлеб, и что нужно до хлеба, а были и такие, что ничего не имели. Зайди к нему - у него и борща нет налить, и жена привыкла ходить по хатам, а не работать для семьи. Вот, к примеру, наш сосед: его жена только и трепала языком, рот раззявит - и он умер с голода. А ведь работал трактористом! И на курсах учился, первым человеком был. Она ж осталась - ходила по хутору.

Да, все отобрали, и снова отбирали. Как неделя пройдет, снова идут по дворам и ищут в земле прутьями, и в хате шарят. Фасоль на столе - и ее возьмут. И на чердак лазили к спонам на кровле, проверять, какая там половина, перевеянная ли, везде щупали, искали зерно. Короче говоря, забирали все. Сам очевидец, хоть и был пацаном, а все понимал, голод и меня мучил.

В.С.: Скажи, ведь колхоз организовали, зачем же теперь отбирать у колхозников?

Ю.К.: А кто его знает? Говорили: стране надо иметь продовольствие. Но, думаю, недалеко его отправляли, себе оставляли.

Того Семена, что лез к матери, а она его - по щеке, в соседней Зеленой Дубраве главой колхоза поставили. И люди у него особенно пухли, помирали. На всех работах умирали: на поле, где пололи, на конюшнях. И скотина легла, и кони, а ведь это основная рабочая сила. За них наказывали: если портилась кобыла, то такого человека, как вредителя, засуживали без всякого разговора. Слава Богу, что у нас он не остался.

Люди у Семена вымирали поголовно. Была запряжена такая бестарка, как катапульта, и ее нагружали, даже еще живыми. Женщины и мужчины ездили по местам работы и по хатам, забирали всех, кто из хаты не выходил, даже тех, кто, обезумев, смеялся - и тех взваливали. А потом свозили в кучу, засыпали землей. И все!

Один человек был на работе, но сил уже не хватило уйти, и он лежал. Ну, а те дядьки с подводой были поздоровее, может, еду прятали, и силы еще оставались. Ну, вот, потянули они и его, как мертвого, а он и говорит: "Хлопцы, я же еще живой, что вы делаете, дайте, я сам умру..." - " Да, ничего,- говорят ему,- там в яме и кончишься. Все равно, не сегодня, так завтра". И вскинули на подводу...

Бот везут, а у него все же какой-то инстинкт сохранялся, на дороге взял, да с телеги и скатился... Ну, они увидели, приостановились, думали снова взваливать на подводу, а потом один говорит другому: "Ну его к черту подбирать, будем еще с

ним возиться, завтра подберем" - и поехали. А он пополз от смерти на карачках, как мог. Дополз до завода. От сахарного завода ходили на станцию подводы. Там он как-то сел на поезд и уехал в Донбасс. Попутчики ему что-то дали поесть, и он не умер. Устроился сторожем в столовой, рабочим, помаленьку оклемался, а потом и в шахте стал работать.

В.С.: Скажи, а вот тот председатель колхоза, он почему не умер с голода? Ведь ты говорил, что у него люди сплошь умирали.

Ю.К.: Чтоб Кесарь умер? Да я ж тебе говорил: они ходили по хатам и забирали все съестное.

В.С.: Но ведь они все это отправляли государству, в Москву?

Ю.К.: Да никуда они его не отправляли. Тот хлеб, который надо было отправлять, его давно забрали, потом они все отбирали только под предлогом, что для государства. Соберется начальственная шайка и ходит. Уже давно район ничего от них не требует, потому что знает, что ничего у людей нет.

Обычная картина.

Помню, край села, а под горкой еще не зарос лесом хутор. Хатки невелики, и всю эту гору над речкой видно. Там еще картошку сажали, и люди иной раз роются, хотя давно уже ничего нет, понимаешь: ее посадили, а через 10 дней вырыли... Все же знают, картошка, и люди лезут полем. Те пошли, те раком полезли, а двое-трое - уже лежат, все, никуда уже не лезут. Полежат до утра, когда приедут и заберут в яму. И такое - каждый день, почти каждый день. Тот тарасовский дядька, что на Донбассе спасся, после войны приехал, а почти все его село вымерло. Единицы остались. У него вся семья умерла, четверо детей, жена. Один он остался, спасся.

Ну, как-то пошли жнива. И кругом была такая строгость, что нельзя было трогать ни колоска. За колосок 8 лет давали, да и просто забирали... Если кто тебя увидит, Боже тебя избавь... И опять же: ни за работу, ни просто - ничего не дают. На семя ни у кого, конечно, картошки не было, чтобы посадить. В огородах

росли бурьяны. Поля тоже до осени заросли такими высокими осотами - настоящий лес. Человек поднимает в нем руку и не видно. Короче говоря, этот год, а потом и другой, а там и 33-й - еще хуже. Ничего нет, все подмели, все забрали.

В зиму половы разные терли, а кто припрятал фасоли и еще что - на том зиму и перебились...

Весной же та картошка под горой была спасением. Там начали пахать и картошку выворачивали. Она хоть и вымерзла, а все же крахмал в ней остался, хотя стал как мыло. И если эту мыльную картошку смешать немножко с патокой, то так было вкусно: куда там шоколаду!

А как всю картошку там выбрали - все перекопали еще раз, тогда начали есть бурьяны. Да, еще в те времена страшно стали дохнуть кони. И почему на них такой мор пошел? Ведь они уже были выпущены в осот пастьись, им было чего есть. Ходит конь в осоте, раз, упал - готово, все. И люди на них сразу набрасываются... И вот только кости валяются и голова...

В.С.: А люди сами не забивали их из-за голода?

Ю.К.: Что ты, нет. Выпустили их по весне очень слабых, работать на них было нельзя, вот от зелени большой, видно, и начали они умирать.

В.С.: Слушай, а людоедство тогда было?

Ю.К.: Как раз в это время. Только не везде. Не все села одинаково голодали. Вот в нашем селе не так уж смертно прижимали, может, начальство такое было, что не все грабили и вычищали подчистую - ну, и людей больше выжило. Конечно, и у нас умирало много, а все же больше половины выжило, потому что не так сильно обдирали, все геть под метелку, как в других селах. К примеру, Тарасовка - там же было сплошное людоедство. Пройти нельзя было. Хаты поразвалились, заросли бурьяном, там и дороги не стало видно, вся заросла лопухами.

В больнице я встречал людей оттуда, и они рассказывали, как там было: "Вот, говорит, лежит человек и слушает за соседями - ворочаются они или нет". Если долезет до него и не видать никого во дворе, значит: "Ага, уже умер!", -

лезет к умершему, вырезает у него ягодицы и все, что можно вырезать, наедается - и сам умирает. А им - другие также.

В.С.: Но кто-то из этой деревни выжил, раз рассказывал?

Ю.К.: Да, многие тогда были на стороне, там выжили. Были и такие, которые смогли-таки захоронить что-то съестное и тем выжить...

(*В.Сокирко: Далее перерыв в магнитофонной записи, когда Юрко Иванович рассказывал, что его мама до обыска рассыпала в опустевшем курятнике полмешка зерна, и оно перемешалось с пометом и грязью, и ни одна из проверяющих команд в помете искать зерно не стала; эти полмешка помогли семье выжить в самые трудные дни: мама тихонько отмывала от грязи и помета зерна, просушивала их, терла осторожно, чтобы никто не видел (жернова были строжайше запрещены) и варила жидкую болтушку - мучнистую воду*).

... Да, от Тарасовки шел страх людоедства, и туда люди просто боялись ходить. А вот такой случай рассказала мне Варка. С нею в Звенигороде жила дивчина из Тарасовки, учились вместе в школе медсестер. По воскресеньям им давали какой-то суп и они уходили домой, чтоб повидаться или переодеться. И вот шли они домой и поздно уже стало, только до Тарасовки дошли, ну и та дивчина пригласила Варку: "Переночуй у нас".- У нее были еще и отец, и мать. Положили на кровать вместе, потом дивчина эта говорит: "Не могу с краю спать, с сестрою когда спала, то привыкла всегда у стенки". Ну, и поменялись они местами...

И вот она совсем было уже задремала, в полусне, когда слышит, заходят к ним отец и мать (а они знали, что дочка их была под окном, а гостья с краю). Убедившись, что обе спят, отец обухом топорика крайнюю по голове хрясть и прямо с постелью стащили, т.е. свою дочку, а думали, что чужую...

А та - совсем проснулась и, как вышли все из комнаты - она и выпрыгнула в окно в одной рубашке и побежала. Прибежала домой, сразу же к матери: "Ох, мамочка!" - "Да что такое?" - "Вот такое и такое"...

Ну, конечно, другим она не рассказала, только потом...

1933-1934 гг. Про детское ожесточение и порчу.

У нас, детей, какие впечатления были от детства? Вот если кто залезет на чужую черешню, а хозяин его поймает, то он не торопится, а подождет, пока пацан слезет, а потом палкой по голове как врежет, тот и остался на земле. Такой тогда был суд и право... Да, за черешню, еще зеленую, а ведь детский желудок хоть что-нибудь требует.

Или вот еще эпизод. За селом сразу кладбище. Там жил с матерью Санька лет 18-ти. И вот он откопал такую круглую ямку, может, по пояс. И везет на возке свою мать, в такой драной свитке, как голой. Вывалил ее в эту ямку, но полностью впихнуть ее не смог, чуть землей закидал. Но земля скоро осела, и нога так и торчала из ямки несколько недель, пока собаки ее не отгрызли, а может, кто сердобольный все же землей прикрыл ее. Такая осталась от детства картина. А вот и другая картина.

Идем мы в школу: Иван, Виктор, мои ровесники, как стая воробьев на дороге после дождя. И вот глядим: по грязи ползет женщина, пена изо рта, глаза мутные, невидящие, груди как тряпки в грязи голые, и сверху какая-то тряпка, а не свита... Она ползет, а хлопцы: "Ха-ха..." - Иван ей: "Чего ты вытаращила очи?" - И грязи комок ей в глаза шарах... - А все кругом: "Ха-ха..." - Да, бесчувственность такая была, и сами ведь голодные...

Пришел потом откуда-то из района приказ, чтобы давать школьникам из многодетных семей через день по 500 г хлеба в руки - тем, у кого было 6 или 7 детей. На нашем кутке такое давали мне и Ивану Прищине, у них тоже было 6 детей.

А с хлебом вышло так: я получил всего три раза. Ходили за ним мы с Иваном. Выдавал этот хлеб один учитель, такая хата его стояла немазаная, лишь укрытая. И как приходишь, то все его нет на месте, а если застанешь, то хлеба нет, не привозили. Но три раза хлеб все же был. И когда я приношу шматок хлеба домой, то мама его раскрошит, берет чугун воды и это крошево кипятит с добавкой липы - как суп для всех. В лесу тогда всю липу ободрали. Хоть липовая кора и листья и невкусные, но, видно, все же в них есть какая-то польза, потому

пообламывали все ветки, и большинство деревьев поусыхало потом. И что тогда люди только не ели?

Правда, вот в нашей семье был запрет: "Боже избавь есть мясо!" И ведь правда: кто ел конину, поумирали, редко кто оставался. Может, потому что эту конину недожаривали, не знаю, но умирали. А так ели разные растения и чего только не пробовали. Хотя, конечно, в буряне пользы для людей очень мало и для людского питания он не подходит, а все же мы ели. И вот, если есть кусочек хлеба, с тем липовым блином, то получается что-то вкуснющее. И каждому - вот такая порция! И потому я сильно дорожил тем кусочком хлеба...

Караси, хлеб и мать.

В тот раз я хлеб все же получил и домой возвращался, крепко его держал. А разума у меня еще не было, какой там разум?.. Иду улицей и вижу одного парня, он далеко от нас жил - и я его знал мало, только видел. Он гораздо старше меня, видный. И вот несу я в руке свой хлеб, а он несет три рыбки, три карасика маленьких. И так я засмотрелся на тех карасиков. А он мне: "Что, пацан, хочешь рыбу ловить?" - "Хочу! А как ловить?" - "А вот,- говорит,- удочка, крючок, закинул, рыба за них и цепляется, видишь, три штуки уловил. Хочешь, идем до меня в хату, я тебе сделаю удочку, ты тоже будешь ловить..." - Я и загорелся: "Боже, когда-нибудь и я рыбу уловлю!" - и согласился. - "Ну, давай твой хлеб, а я тебе сделаю такую удочку" - У него, видно, была булавка, из нее он гнул крючок и делал на нем беретку. Загнуть булавку нетрудно, но где ее достать? Такие булавки достать было очень трудно, только когда приезжал еврей-старьевщик и менял их на шкуры или еще на что. Но такие приезды редко тогда были. А главное, что он на булавке как-то мог зубильцем сделать беретку (зацепку), чтобы рыба оставалась на крючке.

Ну, заходим в его хату, совсем обычную, но в крыше все снопы повыдернуты, небо видно и, значит, дождь свободно в нее будет лить. Меня поразила сплошная темень, все черно, в саже, стены и всё. Лишь когда глаза привыкли к темноте, увидел, что на лежаке около печи сидит какая-то женщина, косы

слипшиеся, полуголое тело, чем-то рваным накрыто, груди висят грязными тряпками - что-то такое безобразное, и глядит на нас сумасшедшими глазами. А он садится спокойно на лавку в саже. Тут же, немного дальше от лежанки, положено четыре кирпича, на них - сковорода. Он пошел, вырвал несколько снопков из своей хаты - ведь на дворе тепло, лето - и распалил. Двери открыл, окна и так были выбиты. Налил на сковороду полстакана воды, положил своих карасей и жарит... Сидит, готовит. В хате - дымина! Но из-за того, что дым стелился под кровлей, а я еще был малым, то мог сидеть и ждать. "Сейчас, - он говорит,- вот только съем, и буду тебе делать".

В.С.: Сам съел все?

Ю.К.: Вот слушай. Начал тех карасей есть, прямо с костями, с чешуей, с головами, и тем хлебом заедает. А та женщина, его мать, сидит в лохмотьях на лежанке и смотрит, как он нагибается над едой, что и он заметил: "Чего ты вытарила очи? А ну? Может, хочешь, чтобы тебе карася дали? Или хлеба? А вот дулю не хочешь?"

Боже! У меня закружилась голова от всего - ведь такое матери... (подавляет рыданье)... И уже не мог я ждать ни сачка того, ничего... Как выскоцил, и только дома опомнился.

В.С.: Мать не ругалась, что хлеб ты отдал?

Ю.К.: Я маме рассказал, как все получилось, и ничего она не ругала, только сказала: "Нужно умней быть немного, ты ведь хлопчик уже такой, что должен понимать - так все бы тот хлеб ели, а ты отдал его, и всем есть нечего". А больше ничего она не сказала.

Как мама нас спасала.

Мне повезло пасти корову у одной хозяйки, и от нее немного перепадало. Она заставляет: "Ешь только при мне, и все". - Ну, что тут будешь делать... Но домой не принести тот гречаной блинчик... А дома от голода стала пухнуть Нина, а Женя уже опух. Совсем плох стал Женя, мама рядом с ним сидит, а он и подняться не может ... (плачует)... Мама какой-то пучок просяной соломы трясет, хоть что-нибудь в нем ищет. Да, Женя был почему-то наислабейший. Наверное, он ел меньше

всех из-за нас... И вот: "Не умирай, подожди хоть немножко"...
Боже, поможет ли что... (рыдает)... А потом встала и пошла.

У нас за изгородью было старое токовище, заросшее сплошь осотом. Тогда пырей и осот были первейшими бурьянами. Но все же там, где когда-то молотили жито, взошло совсем немного росточеков жита, и даже появились колоски. Она увидела, в тех колосках уже есть жито, но не зерном, а доброй крупенкой, как пшено. Конечно, надо было бы подождать, чтобы колоски набрали силу, однако, уже нет никакой выдержки. Она и собрала тех колосков в сито, принесла, высушила в печи, крупинки эти вытащила, размяла скалкой на доске и испекла ему блинчик, маленький такой. И он съел его понемногу, и ты знаешь - ему полегчало...

Тогда мать узнала, где еще было житнице запущенное, пошла туда - может, и там есть. Есть и там! Еще колосков набрала немного, и так полнедели нас тянула... А потом уже Евдоха помогла.

Мать пришла и заплакала. Та: "Чего ты" - "Да, - говорит, - Женя умирает". И Евдоха принесла молока. Конечно, немного, совсем немного, но и оно сильно помогло. Женя протянул еще дня два, а за это время жито на житнице уже подросло. А там мама уже на поле нарежет колосков и снова нас так кормит... Ну, Нина поправлялась быстрее, так что мама больше за Женей ходила.

В.С.: Слушай, а в то время где отец был?

Ю.К.: Как где? - Работал. Делал что велели, возил на стороне конем, редко домой приезжал, если удавалось, что заработать.

На то, что он заработал, как-то удалось купить овцу, черную овцу с рогами, и с ягненком. В это время народилась Гая. А мамы в груди не было молока никакого, абсолютно, и она не могла кормить Гая. Та овца давала полтора стакана молока, полстакана за один раз. Ягненок мог уже сам пастись, и ему того молока не давали. Мама в молоко добавляла воды кипяченой и так кормила Гая. Кроме того, были у нас еще девять серебряных ложек, а в районе открылись торгины,

потому что у людей еще бывали кольца, серьги золотые, монеты. Понемногу у каждого, но вместе - много. У нас ничего золотого не было, но вот к венчанию им подарили девять серебряных ложек и пожелали, чтобы и детей у них было девять (так оно и случилось - девять детей). Но вот когда отец увидел, что ничего уже больше не сделать, что не спастись, то он взял эти ложки и отвез их в торгсин. За них дали нам пуд овсяной муки, только с ботвой, грязью и овсяными лушпайками. Мама, как пересеяла ее, только миску муки получила, а остальное - весь тот мусор. Растигивала она муку надолго и варила из нее болтушку.

Как Юрко нашел чужую труху, и мать его не заругала.

По соседству с нами жила Ярина, у нее было два сына. Один, Микита, старше меня на два года, а еще его старший брат Иван, который убежал. Но про это надо рассказывать подробнее, потому что это интересный момент в моем детстве.

Про Ивана никто ничего не знал, Микита по возрасту должен был бы уже работать летом, мы же, пацаны, только пасли, а кто и так гулял. Я же чужую займанку пас за стакан молока или блинец. Но Микита не работал, он был один у матери, и пас корову свою и все нам рассказывал про шахты, про уголь, а что это такое, мы не понимали, но все равно он нами распоряжался. Хотел - набьет кого, хотел - мы пасли его корову... Что хотел, то и делал.

Но они с матерью часто уезжали, а маму мою оставляли на своем хозяйстве. Правда, когда корова была, то мама не ходила. А когда они сбыли ту корову, то она соглашалась. Где они там с Микитой ездили, никто ничего не знал, но они были уверены: на дворе все в порядке. Ключи Ярина забирала, а курам что нужно - оставляла.

И вот они раз уехали, и мама пошла к их двору, и я - с ней. Занялась она делом, а я везде залезаю - ведь интересен чужой двор. Заглядываю в углы - что там? Ну, что говорить - пацан... Были там сарай и хата - ничего, конечно, интересного. Полез на горище (чердак) под соломенную крышу и вдруг

увидел там кучу кукурузных шкурок, отходов от помола кукурузных зерен. У него к середине размалывается, а кожура, она сырее, отходит. И целая куча!

Мама там по двору хлопочет туда-сюда - и я ей ничего не говорю, потому что она меня уже предупреждала: не лезь нигде, а мне ведь интересно. Побежал я домой, взял мешок, собрал в него эту шелуху и отнес домой в сарай, сколько мог отнести. И так раза три или четыре. В своем же сарае под крышей даже фронтона не было, один смигник. Так я его отодвинул, очистил угол и - туда свою добычу... В общем, добрый мешок получился, ведер 5-6.

Тогда каждый делал себе жернова. Доставали камни около мельниц и делали из них жернова. Но нельзя было их хранить. Боже избавь, если найдут: за жернова могли припаять, что хочешь. А все равно каждый ими пользовался, один к другому ходили. Листья сушили и терли, мололи. И вообще, все, что доставали - мололи.

В.С.: А почему не разрешали молоть? Чтобы не трогали колхозное зерно?

Ю.К.: Не знаю, какая была тому причина, но не позволяли ни под каким видом. Как находили, то жернова разбивали, а хозяев брали в город.

Ну, вот, спрятал я и жду - боюсь - что будет? Ведь, когда приедет эта Ярина и увидит, что нет... Но когда я гляжу на те лушпайки, что намешаны с мышиными кизяками, то понимаю, что про них давно забыли. Да, и не голодные они были. У них камора была всегда заперта, что в ней - мы не знали (от каморы ключа маме она никогда не давала), а может, там было и зерно, кто знает. Короче говоря, я боюсь, жду, когда они приедут. Приехали, проходит месяц, другой - и ничего. А голод все набирает и набирает силу. Мы, дети, все облизали по горищам-чердакам - Иван, Виктор, мои товарищи. Лазили, лазили...

По соседству с нами Швонка - тоже такое явление, что ничего не делало, а только ходило по селу, да ждало, когда этот обещанный рай настанет... Нет, не был активистом, а просто вот само такое. Как со светом встал, пошел за всеми наблюдать - как

унтер Пришибеев - что и где, а потом докладывал начальству. У него самого было три дочки, одна моих лет, две - поменьше. И когда мы по-детски гуляли, то заходили к ним иной раз. А когда не было его дома, то и на горище залезали. И один раз в смищике нашли припрятанную телячью шкуру. Сколько лет ей было, кто знает - но совсем сухая. И моль ее поела, хозяин, видно, сам про нее забыл...

А Виктор сей, у него батька туберкулезный был и умер, а раньше был лесником, и они богато жили. У него росли две сестры еще, старше, и младше. Он же мне одногодок. Мать у него ничего не умела, в огороде запущено. Младшая, хоть и была шустрая, но еще несмышленна, а старшая была в мать - лишь сидит. Не пряли ничего, видно, привыкли, что все им отец достанет. И потому сейчас Виктор сильно голодал.

А тут кожа попалась, я, может, и не додумался бы, а он практичный. Говорит: "Давай, заберем эту шкуру и поделим, на всех разрежем".

- А зачем?

- Да ее можно осмолить и холодец сварить!

Конечно, мы ее взяли, вытянули через буряны у хаты в огород и в бурянах спрятали. Потом разделили, но никому не говорим. И я тоже не говорю, потому что если бы батька узнал, что я взял чужое, то Боже избавь...

В.С.: Что, бил ли батька?

Ю.К. Нет, но он мог так морально наказать, что я стеснялся после попадаться на глаза. Он всегда был с нами по-хорошему, душевно, я если что-то не так сделал, то он лишь говорит: "Как же ты?" - и я этого боялся.

Но вот жизнь заставляла, и я свою часть шкуры принес и тоже спрятал в свою кладовку.

Проходят два месяца, но никто ничего не говорит. Абсолютно. Что делать? Папе я боялся сказать, а маме все же сказал: "Мам! Тогда-то и тогда-то взял я..." - "Да как можно?" - испугалась она, а про себя чувствую - обрадовалась: "А где ж оно?" - говорю... Полезла она, удивилась. "Ну,- говорит,- ты - наш спаситель".

Потому что до того дошло, что ничего уже нет, а Женя и Нина пухнут...

Ну, и начали. Возьмет мама мисочку, чугун ведровый на 10 л. Мисочку лушпаек этих переберет, кизяки выбросит, промоет, просушит, на жерновах скрутит и приготовит болтушку. А клали еще и бурьян разный - хоть мало питание, а заживок уже есть. Чувствуется, что организм что-то получил. Чувствуется, что ты что-то ешь. Так на этой крупе и жили. А они - так ничего нам и не сказали, не знали.

Про разбойника Ивана, его брата Микиту и сестру Саньку.

Сейчас я расскажу еще про этих Яровых, и на том сегодня кончим.

Старший Иван убежал на Донбасс - не знаю, как он там жил и работал. Тогда из нашего края много людей туда уехало на заработки, чтобы прожить - и это оправдывалось. Рабочий класс там получал гроши, но имел еду.

Сестренка Санька была чернява, красива. Еще девчук только, не любилась ни с кем, никто еще за ней ничего не замечал. Вместе с девчатами и хлопцами погуляет, да до дому. Я был в нее тогда влюблен: черные косы, как смоль, брови черные, лицо такое... правильное, носик, губки, вежи нависают закрученные, а лицо и тело - как мрамор, белые... Ну, чудо природы!

И вот как-то вечером гуляли-гуляли, а утром просыпаюсь, и никого дома не слышу. Маруся спит, а Нины, мамы и отца нет. Уже видно стало во дворе, рассвет, и солнце только начало червонеть. Выскочил на двор - а там народу! Улица наша широка, а народ - даже в нашу дверь толкается. Спрашиваю: "Что такое?" - Говорят: "Санька повесилась". Еще вечером гуляли, а вот - повесилась... И все гадают: "Почему?" - перебирают, что могло случиться. Ведь никакой еще любви... Может, она дитину заимела? Так еще мала, лет 15-ти, и никто не замечал, вся была на виду.

Ну, ничего не сделаешь, так оно, подошло, значит. Повесилась - поховали. Мать за ней не убивалась особенно, и Микита тоже никогда не вспоминал, о сестре не говорил.

Прошел год после смерти, и вдруг событие. Тогда начали уже полоть бураки. Моя мама и другие молодицы и бабы нашего кутка, человек 15-20, пололи около леса. А полоть надо было добро - тогда же химикалиями не травили, и потому все лето надо было полоть.

Погода была июльская, жаркая, и буряки уже сильно расстелились на поле... И вот, они полют, а в обед идут в лес дрова ломать. Ломают сухой хворост-дрючками, навязывают его в гарные такие связки, а вечером несут домой. Так все лето делалось, и одновременно с прополкой заготовляли дрова.

Вот насобирали они дров и снова полют. Солнце уже садится, тень... В эту пору лучше всего полется, прохлада уже чувствуется. И они торопятся до конца дойти, чтобы завтра там не допальывать.

И вдруг в лесу крик: "А-а-а!!!" Да мало ли кто кричит, пастухи, или кто... может, в зеленя кто лезет. В том лесу, кстати, на какой-то делянке жила семья: семеро братьев и их мать - худая, горбатая, но как только близко к ней кто подходит, она берет дробовик и бьет солью прямо в задницу. Или просом - Иван два раза получал. Но самих братьев мы не видели, только старуху, хатку, на поляне огород со скирдой гнилой соломы...

Но все же на крик оглядываются - ничего не видно. К вечеру и темноты стало больше, так что видно с трудом: кто-то бежит-бежит, падает и снова бежит... прибежал наконец-то охотник Степан Шлявский и смотрит на всех мутными от страха глазами. А ведь в руках у него дробовка, единственного на селе. Почему-то только ему охота разрешалась и имел он дозволение открыто полевать. Бил он больше барсуков - все мясо. Раньше у нас богато дичи родилось - и лисиц, и барсуков, и волков. Ну, вот, прибежал он:

- Ох, там... людину зарезали!
- Как, что такое?

Оказывается, он засек барсучью нору и решил в засаду лечь на ночь, когда барсуки выходят. Недалеко от него шла молодая посадка дубков. И вот он видит: меж их рядами выходят два человека в хороших костюмах полотняных. И вдруг один чуть отстал, выхватил нож и в затылок другого - раз! Два! Тот оглянулся и сразу тикать. Но его догоняет и еще - раз! Тот почал кричать, схватился за рану. Его уже начало шатать, он за дерева окровавленной рукой хватался. А как его еще раз ножом, то он другой рукой схватился за другое дерево. И долго так бежал. Мы потом на дубках 15 следов окровавленной руки нашли.

В.С.: Ну, и что, все тут же побежали смотреть?

Ю.К. Нет, тогда побоялись. Телефона в селе нет. Только на другой день дошли до телефона и позвонили в район. Ну, а мы, пацаны, уже под лесом были, ждали. И видим: приезжает в машине милиция. Никогда раньше не видели мы машины. Поставили они кордон, никого не пускали, а что там меряли - не знаю.

Что же нашли? - Только обугленный труп. Он под конец ножом все же в сердце ударил, докончил. И сразу, как только понял, что кто-то вскочил и убежал, его видя, то не растерялся, "добрый" был бандюга, сразу перевернул убитого на спину, навалил на него сухого хвороста, листвьев, подпалил, а сам где-то исчез. И никто его не нашел. Слухи разные, а ничего толком не узнали, даже убитого: все погорело. Нашли только уголки недосгоревших денег. Значит, некогда было эти деньги искать, надо было самому бежать. И так и закрылось это дело.

Проходит еще какое-то время, женится Микита. Берет из соседнего села жинку. Сам то он был красивый, аккуратный, а взял - старше и выше себя - какую-то кикимору, некрасивую, нескладную. Привел он ее домой и пожил, может, только месяца два-три. Как забеременела она, сам он дернул куда-то, к ней Микита больше не приезжал. А жена его родила девчонку, и началась у нее со свекрушой потасовка, одна другую за косы тягают... Если одна вышла из хаты, то другая берет мешок с ее шмотьем и на улицу выкидывает... То старая, то другая... Такая

борьба. И идет эта борьба год, второй, третий. В конце концов после войны дошло дело до суда. И присудили их к разделу: пополам огород, старухе, как старой хозяйке - хату, невестке - сарай. Хата стояла на одной половине огорода, а сарай - на другой. Сарай, правда, неплохо сделанный, деревянный, аккуратный. Тогда невестка попросила мужчин сделать в нем проемы для окон, вставить двери. Обмазала она его глиной, побелила, сенцы отгородила. В общем, сделала себе хатку, маленькую, но хатку. И стала, наконец, хозяйствкой... Но погреб у них остался один. А держать в одном лежу картошку на зиму, огурцы солёные, капусту - двум хозяйствкам нельзя, ибо одна другой портит. Или одна закрывает, а другая замок пробует срывать. И потому невестка решает копать для себя подпол, чтобы совсем отгородиться от свекрухи; потому что та после раздела еще злее к ней стала. А решила она просто в сенях выкопать яму, дробину в нее спустить, и накрыть чем - вот и погреб...

И начала она копать. Один штык прокопала и уткнулась в какую-то каменную плиту - камень такой неформенный, гарный кусок каменца. Она его окопала кругом, чтобы убрать, но сама не может и с места сдвинуть - тяжело. Тогда пошла она к соседу, он был плотником, и инструменты все нужные у него были: "Дядько Кондрат, вот так и так. Яму рою, а там такой тяжелый камень, не поможете ли мне его вынуть, чтобы дальше мне копать?" - Ну, взял он лом и пошел. Подбил он клинцы и вдвоем, раз-два, вытянули наверх. А под ним вдруг оказалась - яма готовая, только небольшая в окружности и не очень глубокая, в рост человека, и там, в той яме - скелеты. Стоят, как бы поставлены, наги, голы.

У них, конечно, ужас... Да, видеть такое! Собрался народ - знаешь, такое событие! Что такое, что такое? С сельсовета приехали: "Откуда скелеты?" - К свекрови - не знает ничего, как ни пытали ее: "Не знаю я... не знаю..."

Но тут милиция все же заработала, задумалась: "Откуда ж взялись эти кости?" - И нагадали-таки. Нашли, что в былое время, такого-то году, кажется, в селе Княжичи, не стало

человека. Дал он домой телеграмму, что едет домой с шахты, а не приехал, пропал. Ждали-ждали сына, так и не дождались. И там, и сям искали - нигде нет, как провалился сквозь землю. Нет!

Вызвали тех людей, у кого без вести сын пропал. Приезжают, старые, конечно, по вставным зубам опознают, что это был их сын. Короче говоря, пошла такая канитель, следствие. Но никого тогда не забрали. Микиты не было. Много позже приехал-таки Микита на родину посмотреть. Приехал до людей, потому что матери его Ярины уже не было. А жена с ребенком, конечно, были. Девочка стала девушкой. Были у него еще старые товарищи, и он рассказал, что Иван, брат его, недавно умер. И все рассказал.

Иван работал на Донбассе и как узнавал, кто с ним работает из земляков, заводил с ним дружбу, подбивал, чтобы больше заработать, не тратить деньги на то-сё. Мол, поедем когда до дому, там погуляем. А по возвращении завозил до своего дома. Ведь тогда подводы были редки, и со станции нужно было пешком идти. А он так подтасовывал, чтобы завезти до своего дома этого друга ночью. А тут с радости от встречи выпьют, клали спать - и молотком...

И вот Санька, та Санька, увидела: "Что вы делаете? - говорит,- что вы делаете? Я заявлю об этом, я заявлю"... - А там у них уже был один убитый, и, наверное, она знала и понимала, дивчук уже гарный была: "Заявлю!" Тогда они и ее задавили и повесили. Побоялись, что она заявит - Иван, мать и Никита - родную свою сестру и дочку. Подвесили ее, а люди все не понимали: почему она так повесилась? - Им ведь спешить надо было: и убитого спрятать, и с сестрой управиться. И повесили ее так, что ноги стоят прямо на полу. Ну, как так можно? - А это они вначале ее задавили, а потом подвесили - она и стоит, прямо так...

В общем, приехал Микита и рассказывал, какая была смерть того Ивана. Жена его чистила картошку, нож у нее острый был, срезанный тут вот. А у него, как приступ какой. Говорил, говорил, а потом начал нападать на нее. А у нее

реакция защиты: как нож в руке держала, так и подставила, чтобы он ее не свалил. И нож точно вошел в его сердце. Так она зарезала своего мужа, ни с того, ни с сего... "

(Юрко смеется, потом вздыхает: "Вот так и погиб Иван, такая была у него судьба".)

1935-38 гг. Давили налоги.

А дальше жизнь наша шла так. Женя, как оправился, пошел работать. Нина пошла учиться, поступила в техникум. Отец и мама работали в колхозе.

(В.Сокирко: Нина говорила чуть иное: их семью в колхоз не принимали, потому что отец был священнослужителем. Но Юрко отверг ее слова: в самом начале коллективизации, когда все его уговаривали, он со всеми вошел в колхоз, но после распада, когда колхоз собирали заново, несколько месяцев отца не принимали, но все же приняли - а то где же ему еще шесть лет было работать?)

Конечно, получали за работу мало, жили впроголодь, потому что сильно давили налоги: податки, податки, податки... Особенно давил заем. Сельхозналог - это ладно, а вот заем - очень большой заставляли делать - облигации эти. Ведь деньгами не платили, были только трудодни, ну, как бригадный подряд. За полсрока давали аванс, скажем, по кило или 700 г зерна. А за другое полугодие платили уже из балансов, что получалось после вычета расходов. И бывали года, когда мы еще и оставались должны. А денег совсем не было. Так, где же деньги брать на все эти налоги, позичку (займ) и остальное? - Изворачивались. Вишня родила тогда - так все собирали до вишенки и сдавали на пункт, и какая-то копейка за это попадала. Платили по 20 копеек, или еще как. И по-другому еще как доставали.

Короче говоря, так было устроено, что все люди беспрерывно были у государства в долгу. Беспрерывно! Долг не успевал кончаться за этот год, как начислялся уже за другой. Из-за этого людям ничего не хватало. Но все же, когда в семье все работали, то хоть по 200 г хлеба давали, и у мамы было что регулировать в еде. Было из чего ей коржа испечь, даже

пирожка какого, галушки намесить из теста. И хоть сала никакого, а все-таки если хлеб есть, то уже можно жить.

Но что еще страшно донимало: никакой обувки и одежды. Раньше коноплю рвали, лен сеяли и целую зиму пряли. Мама пряла, а иные ткали рядно, полотно. Из этого полотна и рядна и шили одежду: и штаны, и сорочки, подштанники - все было полотняное. И бобрики шили из полотна, всякая стеганка из него же. И тогда нельзя сказать, чтоб одежды совсем не было - было что-то на базаре и в магазинах, но денег-то не было...

Но особенно донимала обувь. Ведь тряпка, особенно зимой, враз мокнет, а раскисла - сразу порвалась - и нет!

Как только отец ни старался, каждый день и шет обувку, и латает. А если достанет кусок ремня от тогдашних двигателей на молотилках - тогда они были на ременных передачах. Знаешь, такой здоровый, на месте стоит, маховики громадны. Заводили его, разогрев головку докрасна, а потом за эти колеса двигали: пых-дых... на рейках стоял... Так... а для чего я его тебе приплел?

В.С.: Ты рассказывал, как жить было сложно без обуви...

Ю.К.: Да, основного, чего не было, так этой обувки. А приплел я его почему - что у этого двигателя были такие широкие маховики, а на них надевался паз - ремень широкий... тканый, но грубый и толстый - подошвы из него получались хорошие. Вот отец, бывало, из старых, выкинутых пазов (они ведь рвутся) и мастерил. Просит машиниста дать старого ремня (и не только он один просил, другие тоже, так как обуви у всех не было - все страдали поголовно)... А если у кого был теленок или корову резал, то шкуру требовали сдать. Оставить себе - Боже избавь, ни за какие деньги нельзя. Да поросся, если заколол, то не имеешь права его смолить, только содрать и сдать кожу туда же.

В общем, налоги были такие, прежде всего сельхозналог: сдать мясо, яйца, молоко, если корову держишь, а яиц обязательно 120 штук. Мяса 40 кг обязательно должен сдать, но можно было его заменить деньгами, а оно же дорого стоит, так что сами его и не ели... Сельхозналог - это великий налог. За 60

соток огорода требовалось платить крупные деньги. А потом еще приходили эти уполномоченные и смотрели, что у тебя есть и сколько деревьев, и накладывали налог на сад на каждое дерево. Определяли, сколько там может быть дохода - хотя на нем, старом, может, ничего и не растет. Сейчас, когда за яблонями ухаживают, то они могут дать урожай каждый год, а раньше они давали яблоки через три года, налог же на них накладывали каждый год сполна. Потому-то и стали вырезать люди деревья с огородов...

И, конечно, заем - он был наибольший налог. Если работают три-четыре человека, то по 250-300 рублей на каждого, хочешь-не-хочешь, а добывай. Да продай он весь хлеб, что в колхозе получает, то этих 300 рублей не наторгует, когда по 200-300 г хлеба в день дают.

Вот такая была сильная тяжесть. И все были тогда в постоянном напряжении, в беспрестанной работе. А отец еще и так: если кто строил, то он брал сокиру (топор) и шел на дополнительную работу. Он хорошо плотничал, да и всякую работу хорошо делал.

В.С.: А за учителя его так и не держали?

Ю.К.: Не то, чтобы люди его не принимали, а сам он уже не стремился к этому. Тогда уже молодые стали приезжать учителя, их к нам присылали - комсомольцев, партийных. Так что в такой его работе и не нуждались! Детей учили как-то... А он делал всякие разные работы.

1937-38 гг. Арест отца.

А потом пришло это: Одного арестовали, другого... Ежовщина эта... И вот услышали мы, что доктора Цветанова арестовали, а потом еще и того, и того... И снова пошел страх, люди боятся. Кого? Чего? - Все боялись, все! Ибо кто знает - приезжали не один раз...

Наступила зима в 37-38 году. И уже забрали троих, которые нигде ни в чем ни грамма не виновны. И вдруг приезжают: раз-два - арестовали, повезли, и ни слуху, ни духу. Просто из района приезжает уполномоченный, забирает - и все.

Отец наш, он - кто? - Труженик, все время работал, был справедливым и безотказным: все подписывал, все податки тянул, как ни трудно было выплачивать. Трудодней у него всегда много было заработано, но главное - семья детей! Он трудится, жена трудится, столько детей, понятно, он совсем не ждал и не думал, что его такое постигнет. Про тех, кого брали, все же думали, что было все же за что: то ли сказал что-то неосторожно, ведь на слове тогда часто людей ловили. А он нигде и никому ничего не говорил. Понимал, Боже избавь о чем-либо вообще говорить. Все понимал. И вот вдруг...

Мама как раз тогда поехала в Киев, чтобы хоть что-то достать на подошвы. Поехала к родичам, может, где что раздобудет, а то ведь на работу идти надо - а босый в зиму. Выйти воду взять к колодцу - не в чем. Ну, нет, и все! Тряпками обмотаешь ноги... Ну, а на работу как идти? Тут самые холода начались, выюги замели, когда она поехала в Киев. А отец в то время работал недалеко в свинарнике, в бывшем лесниковом сарае. В нем организовали колхозную свиноферму, сделали посередине проход, по обе стороны станки для свиней. Голов там было немного, да тогда и везде скота было немного. Батьку определили на свинарник, т.к. он уже стал старым, стариком почти, и сил у него не было.

И вот приходит батька из ночной смены, а мороз сильный был, и вокруг рта у него на бороде все смерзлось. А так как бриться было нечем, то он давно уже только стриг бороду и часто отпускал бороду больше, чтобы потом разом постричься. Борода у него была седая. Приходит он и говорит: Дети, я немного отдохну сейчас от мороза.

Он сделал себе на ноги досочки от липы, как подошвы, веревки из конопли привязал, кусок рядна оторвал, обмотал ноги - так гарно и получилось, как обувь, как лапти. - Ну, и они намокали, сильно намокали, от того ноги замерзали. Но ведь никуда не денешься. Ведь он по свинарне все ходил или сидел, а там сильно парит, сарай закрыт. Вышел на улицу - только дошел, как вся его мокрая обувка замерзла. И все веревки на обувке нужно отмораживать. Ну, он запалил трошки в камине на

печке, и то одну ногу к огню поднимает, то другую, чтобы они отмягчели. Наконец, размотал и говорит: «Маруся, почисть картошку, а я немножко отдохну, распалио печку и будем завтракать». И полез отдыхать, да не успел. Только вылез и примостился, ноги долго растирал занемевшие. Как вдруг заходят. Двое. Охранник наш и оперуполномоченный из района по фамилии Денисенко. Он непоганый был человек, видно, душевный. И говорит: «Того... ну... готовый есть акт, там все напечатано, только оформить, поставить фамилию-имя-отчество - а так все готово»...

И снова говорит: «Вот, Иван Михайлович, пришел Вас арестовать... обыск сробыть... ну и... - А что тут обыскивать? Ряднина на лавке драна-передрана, на печке тоже драная свита лежит, ее уже и одевать нельзя, лишь на подстилку. И кругом - все голо, ничего нет, ни одежды - только на нас рванье. Никакого коврика. Ни пальто, чтобы можно было одеть. В чем он пришел, тем и укрылся - и все...

«Ну что ж,- говорит,- я ни в чем не виноват. Я надеюсь, что долго держать не будут». А тот ему: «Да, конечно, ничего, придете скоро домой».

И пошли они за дверь. Мы - до окна, а оно замерзшее, ничего не видно, а перед хатой снегу намело, не выйдешь. Было так снежно, и брел он, видно, по сугробам.

На третий день мама приехала. В районном центре встретила нашего хлопца сельского, который ей говорит: "Тетка Груния, Вы не знаете, какое у Вас горе? - Вашего мужа забрали..." - Маме стало плохо.

Чуть отошла она и стала искать отца. Пошла в милицию, по начальству ходила, и ничего ей не сказали, никто ничего не знает. Походила, походила, хорошо, хлопец тот ждал ее, пока она ходила, и не ехал назад. А как она сама убедилась, что ничего добиться нельзя, то поехала домой. Состояние у нее и у нас было, ну, понятное. И хотя мы дети были, а понимали, какое это горе великое...

1939-40 гг. Начало моей работы.

В мае 38 года родилась Оля, мама сильно переболела... Работы было очень много - и в колхозе, и дома. Мы продолжали бедовать. Летом и я начал работать в колхозе.



Сначала меня взял один буденовец-кавалерист. Он еще ходил в форме, картуз имел старый, но, главное, с козырьком лаковым, подпоясывался по-военному, любитель был ухаживать за колхозными жеребятами. А должен сказать, что за конями тогда ухаживали лучше всего, потому что были они главной рабочей силой. Не дай Бог кобыла "скине лоша" (*"выкинет жеребенка"*)

или что станет с ним или с кобылой, то это страшное дело - Сибирь! Судили враз, как вредителя, да и все. Без никаких.

Ну, а я тоже коней любил. Еще когда не было колхоза, и мне было два года, то у нас был такой жеребенок, низенький, но я был еще совсем мал, чтобы влезть на нее. Она была до того смирная, что, бывало, ее под бугорок подведу, чтобы повыше встать, изо всей силы ручками хватаю за гриву и прыгаю, а там ползаю, ползаю по коленям ее, пока - раз, и вылез. И она стоит, хоть бы что. Вот какая была конячка. Потом подводил ее до воза, влезал на воз, а с него прямо на нее прыгал. А когда подрос, то доверяли мне коней пасти - и Иван, и иные, у кого были кони. У нас бережок был такой, и, как свободное время выпадает, то говорят: "Ну, идите, попасите коней". И мы, бывало, пасем их, потому привык к тому с самого раннего детства.

Когда вышел в первый раз на наряд в колхоз (тогда наряды были), то этот Сергей Становой говорит: "А не хочешь

жеребят пасти? Ведь я видел, что еще совсем малым на конях ездили?" Отвечаю: "Хочу!" - Сильно любил я жеребят. Их до двух лет не запрягали, и только потом начинали приучать к лошадиной работе.

Там тоже была смирная конячка, ей двух лет не было. Она у меня стала ездовой - без седла, правда, но ничего. А жеребята, ты знаешь, их как из загороди выпустишь, то они до края села помчат. Не знаю, в каком месяце, но как только они начинали немного есть траву, их сразу отучали от молока, чтобы не затягивали, не задерживали коней для работы - ведь летом все ими делалось. И вот, как только жеребята выскочат из загороды на дорогу, только пыль стоит и нужно за ними успевать. Обычно на бережок их гнали. Но там с обоих боков посевы, и требовалось их оберегать, потому нельзя было даже слезать с кобылки и все время гонять их - то в одну сторону, то в другую.

Когда я еще больше стал, то целое лето картофель полол, была норма - восемь соток в день. Конечно, тогда жука не было колорадского, и не сильно земля была забурьянена. Я работал в садово-огородных бригадах. Нас, хлопчиков, брали туда полоть и окучивать картошку. А была она посажена квадратами 10 на 10. Так что если ты прополол 8 квадратов, то знаешь, что никто тебя не обманет, ты свободный. И потому мы старались. Ну, конечно, мы не так хорошо пололи, как женщины. Но женщинам давали полоть - буряки, кукурузу и иное такое. А мы - картошку окучивали. Эти восемь соток стоили 0,75 трудодня. Больше 8 соток мы и не выпальвали, хотя знали, что требуется сделать 10, тогда будет полный трудодень. Ну, а наша детская норма была как раз 0,8 трудодня.

В.С.: А что стоил трудодень?

Ю.К.: Ну, как тебе сказать... Смотря какой год, как уродится, и еще, какую потребуют госпоставку. Ведь у колхоза нет права решать, сколько людям давать - это как район разрешит. Бывало, что чуть больше оставалось, а бывало, что почти ничего на трудодень не давали. К примеру, только 200 г проса. Было и такое.

Уже в 39-м году, когда работали - мама, Женя, а я имел еще детскую норму, до сотни трудодней за три месяца заработал - от школы и до школы. Год этот был единственный, когда давали на трудодень много. Так: по 4 кг пшеницы - это не шутейное дело. Для доставки зерна была такая повозка-бестарка, в нее вмещалось 6 центнеров. Сзади же у нее была такая специальная дырка, ее откроешь - и зерно само течет в коробки, мерные, которыми носят зерно. Так нам в тот год привезли три бестарки. И стало даже некуда хлеб деть, мешков у нас нет, носилок нет, как хочешь. То дверь затулили, ряднин настелили - высыпали. И еще раз, и еще раз! Вот это был год! Вот когда мы наелись! И пироги с вишнями! С картошкой! С фасолью! С буряками, с маком! Это было самое лакомое. И коржи пекли. Здоровые такие коржи, толщиной сантиметра два.

В общем, наелись хлеба.

Далее детство мое шло так: летом работал, зимой учился. Кончил семь классов... в 39-м? - Нет, в 40-м...

В.С.: Это тогда тебя Женя уговаривал: "Учись Юрко, чтоб не оставаться на тяжкой работе"

Ю.К.: Подожди... Да, кажется, в 41-м (нет, в 40-м) поступал в плодово-ягодный техникум. Тогда молодежи было богато, и все хотели учиться. На одно место было 22 человека. А у меня оценки были - тройки. Двоек, конечно, не было, иначе не выпустили бы. И, конечно, я не прошел по конкурсу. С письмом у меня было плохо. Ведь левша, а в пятом классе меня начали приучать писать правою. Отвык я писать левою, но и почерк плохой сделался - это сильно мешало мне, снижало оценки...

Ну, что ж - вернулся домой, а мама в то время решила купить хату в Шевченково и переехать с хутора.

(*В.Сокирко: Юрко, видимо, первый раз поступал в техникум и неудачно в 39-м году. В следующем, 40-ом, он все же поступил, проучился один курс, а в 41-м началась война.*)

Про отца и как посылки к нему не доходили.

- А почему мать решила переехать с Юрково, бросить там дом?

- Не могла она глядеть на тех иуд, которые сгубили батьку. Она ведь знала, кто сдал батьку, он сам об этом писал...

- Он писал после суда в Умани?

- Да, и не только. Он все время так писал...

- А сколько ему присудили?

- Пять лет лишения свободы и три года лишения права голосования.

- Ну, а за что? В чем его обвинили?

- Не знаю, какая у него была статья, но пришли ему, что он вроде агитировал, чтобы не парили сечку для коней... Четыре свидетеля такое сказали. А кому мог он такое говорить, и не спрашивали...

Сидел он где-то на Урале, на повалке леса. Но в лесу не был, потому что старый и на физическую работу не годился. Был где-то на кухне, помогал все делать - заключенных ведь было очень много.

Что он просил в письмах? Все время просил: "Очень страдаю без курения, без табака. И я вас прошу, если сможете, пришлите мне немножко табачку". Так мы его слали, слали, слали, а он все просит. А что, получил он его, или нет? В письме спрашиваем, получил ли послание - и никакого ответа на это... Значит, письма не доходили, потому что все время просит - вышлите табаку, и ни разу не сообщает, что получил посылку, а только просит. А письма, в которых мы писали про посланное, наверное, ликвидировали - и все! Иначе нельзя понять, как это может быть. Мы ведь один раз послали полную посылку махорки - ничего другого. Думали, может, так дойдет. Кто знает, что там можно, а что нельзя класть, а махорку, ясно - можно. Думали: ведь он узнавал и просил про то, что послать можно. Он писал: "Всем я доволен, но вот немножко б табачку, страдаю без курева..." А ведь денег не было, но мать, где немножко оторвет, где яичек продаст и еще что такое - и все слали!

А уж потом, когда я был в кавалерии в 43-м году и поехал домой, то узнал, что пришла от отца открытка. По числу увидел, полгода назад он ее писал, понимаешь? - Но все же

дошла. А там было написано: "Дорогие родные или соседи! Напишите, есть ли кто из моей семьи живой и сообщите мне об этом". И, очевидно, было написано, что "я сильно болен и хочу знать о своих родных" (это можно было чуть разобрать). Но была еще одна строчка, замазанная... Что же он сообщал нам, так и не знаем...

Конечно, мы писали по адресу: Свердловская область, станция Серапулька. И все. И никто никогда больше не ответил.

Переезд в Шевченково. Вещий сон-предсказание.

Значит, после провала в техникум возвращаюсь я в деревню. А самому неудобно... Ведь просил старший брат учиться, говорил: "Я все буду делать, сам буду босым ходить, без костюма, а ты учись! Ты первым выучишься. И что я заработка - тебе первому куплю..."

По возвращению домой сначала захожу в сарай, где у нас была корова. Я знал, что мама хату покупать ходила, но не знал, купила ли. И я подумал: "Не буду домой заходить в хату, Бог знает, кто там живет. Нашей коровы в сарае нет, а коза привязана - значит, уже другие хозяева, а наши уже переехали".

Переночевал я у Виктора. Он нашел для меня кусочек сала, потому что перед тем я наелся кавунов и есть хотел страшно. А он еще кавунов положил мне в кошелку. Потом мы пошли в конюшню, где раньше были свиньи, и работал отец последний раз. Ну, мы там всю ночь болтали и заснули только ранним утром. Спал до 11 часов. Его мать разбудила: идите завтракать или обедать. А после ты, Виктор, иди работать. Еще посыпала кавунов, и я ушел. С таким чувством прощался с детством, со своим жилищем, с Юрковым... Так наступала новая полоса жизни.

Пришел я в Шевченково - а где же купленная хата? Зашел к тетке. Оказалось, от нее недалеко - через яр перейти. Все тут было тогда заросшее, только небольшой участок земли для лука и картошки, а остальная земля сливником позарастала. Я подивился, конечно. Пришел в хату, и вижу, она не имеет стены в сенях, а стреха висит. Зашел: а там и кровли нет: один спонник лежит, а другой прямо падает. Аж страшно, сам

испугался. И сидит баба, что тут раньше жила, и сторожит хату. Ее хозяин - летчик. А раньше жил один дед. Был он когда-то пасечником на службе у Энгельгардта, и забрал его золото. Пан был болезненный, бессильный, а пасечник зашел к нему по каким-то делам и внаглу ограбил, взял золотые вещи. Жандармы требовали вернуть, но ничего доказать не могли. А закон был такой: срок давности 10 лет, как истекало 10 лет, то он уже без всякого страха купил своим детям землю (у него было четыре сына и пять дочек - всем купил) и построил дома. Один из братьев умер, другой выучился на летчика, а другие жили тут. Про них говорили, что они под лес на дорогу выходили грабить. А летчик был справедливым. Он вызвал соседей и говорит: "Вот ваша новая соседка. Вот протоколы продажи - все документы у нее в порядке, теперь это ее хозяйство и огороды. Вот там - мое было, там и там..." - Все честно сделал - и уехал. А та баба, что в его отсутствие глядела хату (он приезжал сюда лишь летом, как на дачу), пришла в тот день - по привычке.

Я же, как пришел, поел, что мама мне насыпала, и говорю: "Хочу отдохнуть". А та баба все не уходит, все болтает и болтает. А где лечь в хате, не знаю. Тогда взял одеяло и подушку, вышел под яблоню, и заснул, как убитый. Заснул и снится мне, что я как будто шел в другом селе, на его краю. И что иду я по краю села, а там - жито - рожь. И начинает оно колыхаться, как будто по нему волны гонят. Издали - все ближе, ближе. Налетает вихрь, и все это жито вертит, крутит, рвет и несет прямо в гору. А сверху падает. И как будто дорогу делает. Пыль поднимает - чувствую - вот-вот задохнусь. Что делать? Увидел канаву небольшую с заросшей водой, присел в ту канаву, чтобы меня на воздух не взмыло и не задушило. И вот я прямо слился с той канавой... и проснулся! А сердце так и колотится.

Пришел в хату, мать удивилась: "Что так недолго?", а баба та еще сидит. Рассказываю свой сон, а баба вдруг: "То твоя жизнь такая будет. Все тебя будут рвать..." И точно ведь, как каркнула, зараза - всю жизнь рвет.

Колхозная работа взамен учебы.

Вернулся я, брат мне и говорит: "Ну, что ж, голубчик, если не хватало головы - будем работать вместе". Я и не протестую, конечно, буду, не станешь же иждивенцем...

На другой день идет он в колхоз на наряд и слышит: 15 пар коней, плуг, где-то на краю села надо пахать. Ранее был там садок, а теперь залежь. Осот выше деревьев, его скосили, но стебли остались и торчат, а ходим мы босыми, хоть уже и осень стала. Вроде еще тепло, но часто затягивает небо, а пошел дождь - совсем плохо.

Правда, неподалеку от того поля оставалась еще одна хата, в ней жила молодая вдова. И как начнется дождь, то было где переждать, встать. Как набыются в сени все тридцать человек - и те, кто за плугом ходит, и кто с конями...

Но самое страшное - острая стерня на поле, торчаки такие! Я так набил ноги, хотя и шел всегда свежей бороздой, где торчаки уже перевернуты. А по стерне идти, по этим острым, косой срезанным торчакам - да, Боже! Пятки ободрал все... А гоны длинные, да и сколько ты выработаешь сразу? Только полполоски метров 6 шириной. Да еще и голодные.

Брали с собой маленький кусочек хлеба, да поллитра молока на двоих - вот и вся еда пахарей. Наша корова молока мало давала, и теляти не хватало. Но немного все же отрывали от теляти, когда кашу варить - то в воду молока подмешивали, и нам мама поллитра давала в поле. На день двоим, знаешь. И кусочек хлеба.



Женя его разломит, как старший. "Ладно, - говорит, - я первый". Надпил немного, у шейки бутылки, и дает мне: "На!" - Я говорю: "Не буду, пей, чтобы осталась половина". Ну, он немного еще выпил, а потом говорит: "Больше не буду!" Вот так: один другому предлагает, а оба голодные. Поторговались - и как-то выпили.

И пошла у нас такая работа каждый день: и пахать, и буряки вывозить. А буряки возили далеко - за 15 км, холодно - уже приморозки, а идти ведь приходится без всякой обуви - ну, ничего нет. Там где-то кто-то какую-то кожу чинит и шьет, а тут ничего нет, хоть кричи. Откуда-то мама принесла такую рванину, и давай ее штопать, а мне все равно ходить не в чем.

Откуда-то взялся кусок кожуха, и где он раньше валялся? И вот обмотаю я ноги теми кусками кожуха, завяжу, и пошел. Но веревки быстро рвались. Идешь, раз-два - и уже распустилось, снова заматывай! В общем, скажу я тебе: не дай Бог! О Господи, как же это трудно было.

И нет никакого приварку от нашей работы. Так что пришлось зарезать теленка. Бычок, правда, малый еще был, а все равно - надо сдавать шкуру. Обязательно, потому что как узнают, то - штраф будет. Не имеем права шкуру иметь. А все же у нас Петрик был ветеринарным врачом. Он дал справку, что теленок сдох. Но хоть он и сдох, а шкуру надо все равно снимать и сдавать. На это же он написал, что теленка вывезли пацаны, они не знали порядка, и шкура пропала. И, в общем, как-то ее "затерли" и кожа эта у нас осталась. А рядом с нами жил дед, курник его называли, шкурник, по-вашему, и брал он за выделку в извести, в настое дуба - половину шкуры. Люди, как найдут кусок кожи, несли ему, а после: вниз шерсть, наверх - кожу, меховые чуни сами себе делали - вроде лаптей. И хорошо в них было ходить, тепло... Так и перебивались.

Так я и работал - до 40 года. И еще учился. Наработаюсь, а приду домой - задачи решаю. И почерк исправлял. Природоведение я знал. Знал и обществоведение. Правда, что касается этого "супильствознавства", то как-то так получалось, что не было чего знать. Дело в том, что была такая

маленькая книжка про суписьтвознавство, в ней всегда печатались вожди. В школе нам часто говорили: "Дети, на таких-то страницах, такие-то портреты, фамилии - замажьте сильно чернилами и все, что напечатано про них - все позакресливайте". Ну, мы мараем - портрет, и все. То какой-то оппортунист, то враг там - и все это суписьтвознавство, пока пройдет учебный год, то почти третья часть от книжки остается, а остальное - все замарано и вырезано. И так - все время. И вновь печатают портреты, и снова их режут. Так что нечего было и знать. А вот другие дисциплины требовалось учить.

Поступление в техникум.

С математикой у меня было посредине. Не сильно я ее любил, но приходилось, т.к. понял я, что надо стараться. В общем, решил я подготовиться основательно, чтобы поступить. Это уже моя стала задача. Уже ни под чьим давлением, а сам понял, что такое - работать... да.

Пошел другой год, и вот лето, экзамены. И так я обрадовался, что оказался в списках принятых, что не верил сам себе.

В.С.: А куда ты поступал?

Ю.Л.: В агрономический техникум.

Когда сдаешь экзамены, то про отметки никто не говорит. Заходишь: в аудитории два-три человека, один из них спрашивает... Ну, я отвечал вроде все, а про себя сомневался: кто знает? Грамматику, все эти правила, знал хорошо, однако ж... Короче, сильно обрадовался.

На дворе зачитывали списки принятых. А сдавало много народа, так что двор техникума был весь полон. И вот один стал на стул и читал, кто остается, а остальным - забрать документы. Слыши: фамилия вроде моя. И не верю себе: то ли слышал про себя, то ли нет. И у всех так! Потом сказали, что в корпусе висит список принятых, хлынули туда все и в том корпусе нельзя было протолкаться. Но я все равно дождался, пока все разойдутся, добрался к списку и вижу: "Есть". Несу домой радость, сильную радость. А как Женя обрадовался! Какие были гроши, копейки, что можно продать, все, лишь бы...

В.С.: Скажи, а у самого Жени к учебе способностей не было, да? Почему он сам не стремился учиться?

Ю.К.: Да ты что, ведь нельзя было! Он после отца стал кормильцем. Разве ж мама могла все сама, столько ртов в семье? Нина пошла учиться, хотелось и ей помочь... Да, Нина тогда уже окончила техникум, но еще только уехала на работу далеко и была совсем не устроена. Раз девушка, то семье она не могла ничем помочь. Распределили ее под Киев, писала она редко, а чтобы приехать и помочь - об этом и речи не было. Гола, боса поехала - платьишко одно на себе, юбка и платок - вот и все. А надо ведь было одеться, раз меж людьми она уже агроном! Тогда это считалось званием. Так что помохи от нее никакой не было. Женя просто не мог всех выходить, чтобы и на себя ему время еще оставалось. Да, он пожертвовал собой ради семьи, а не потому, что был неспособный. Нет...

Конечно, учился он тоже не очень, потому что еще в школе он все время работал. Такое выпало на него уже с детства. Мне же расти немного было легче. Уже была такая возможность, чтобы я больше не работал, а он вот - с самого детства. Он и не пас почти, а сразу - то конями жать, то еще куда - и так все время.

Объявление войны.

Мы готовились к экзаменам, и вдруг кто-то прибежал: "Война началась!" - "С кем?" - "С немцами!"

Ведь знаешь, как тогда верили. Такие налоги большие брали, такие тяжелые работы выполняли, все это, чтобы "никогда не шагать врагу по земле нашей" - такая песня была. И знали мы примерно, что в Германии населения гораздо меньше, почти столько же, как на одной Украине. А нас же - вон сколько! Как когда-то говорили, что Японию шапками закидаем, так и сейчас студенты шутили: "Этих мы шапками забросаем! Подумаешь!

И я тебе скажу: никакой паники не было, никакой такой грозы. Как было с Финляндией: где-то там повоевали и кончили. Так и тут считали, что быстро справимся.

Однако время проходит, и чем далее, тем события хуже. А тут еще один момент. Начали собирать у всех тетради - по литературе, по всем курсам - от первого до четвертого. У всех, приехали эксперты сличать почерка. Но никто не знает, из-за чего. Посдавали тетради - и все. А потом меж студентов пошел слух, что кто-то поцепил курицу напротив сельрады, повесил ее за шею. Под ней фанеру, а к ней приkleен листок со стихами. Не знаю, кто его читал, но только содержание такое: "Як мени на свете жить, долгоносиков ловить" (а тогда курей вывозили на поля для борьбы с долгоносиком, который ест буряки) - а больше вроде ничего не написано. И вроде какие-то листовки были еще разбросаны по селу... Но что было в них, неизвестно.

(В.Сокирко: После войны Юрко услышал от Ольги Павловны, жены дяди, что эти стихи писал её сын Коля, погибший потом в Германии.)

Послевоенный эпизод с помешанным Петром.

Был такой случай. Готовился я к экзаменам. Вызывали на консультацию, а потом давали 3-4 дня готовиться. Дисциплин же много было. Почти все, что учили, требовалось сдавать.

Один раз лежу я в саду и учу. И тут приходит Петро, мой сосед. Он вначале тоже ходил в техникум, но потом что-то случилось, техникум он бросил и пошел на шофера. Кончил курсы шоферов, а техникум как раз получил новую машину-полуторку. Ну, он стал шоферить. Получил ту машину, только оформил, и поехал в учхоз, как по дороге свалился в большой яр, а там разобрал всю машину до мотора - все, что можно раскрутить, и раскидал. И пошел домой.

Я ничего этого не знал, хотя до того жалел, что он ушел, т.к. учился он хорошо, и с ним было хорошо готовиться. В математике он был крепче меня. Даже уговаривал его, чтобы не бросал учебу...

Ну, вот, пришел он ко мне в садик и молчит. Ходит туда-сюда, возьмет конспект, помнет, кинет и снова ходит. Потом скинул штаны, залез на яблоню, яблоки трусит, и снова ко мне лезет к конспектам. И ничего не говорит. Ничего. Я ему:

"Петро! Что ты... (а батька его пил, как запьет, то месяц ходит все под хатами)... только за руль взялся, а уж магарычу получаешь много, раз стал так пить?" - Кстати, тогда шоферам и не сильно запрещали пить. Пили, и садились за руль. Ведь машин было мало. - А он ничего мне не отвечает, а потом вдруг побежал прочь.

Надоумила меня Яся из Киева, красивая такая дивчина, мы с ней часто гуляли: я, Петро, Володька и еще дивчата... Вот она зовет меня: "Юрко, иди на улицу" - "А что такое?" - А она как бы подготавливает меня: "Вот ты какой, и гулять не идешь. Мы хотели потанцевать немного".

А я на балалайке играл, и мандолина была у меня, но больше балалайка...

- Да, видишь, я готовлюсь.
- Да ты знаешь, что с Петром сделалось?
- Нет.
- Чокнулся он. Что-то у него с головой сделалось. Выехал в яр будущий и там разобрал машину... И у дружка Василия Бокия с Ранькой окна побил.

Мне экзамены сдавать, напряжение сильное, а тут Петро. Правда, когда я понял положение, то, как только он прибегал ко мне, я говорил строго: "Петро! Сядь!" - Он садится, сидит и что-то делает. - "А ну, Петро, иди домой!" - И он слушает, как автомат, бежит. Там же его начали запирать в сарае. Когда он побил окна, начали совсем закрывать.

В.С.: А начальство как реагировало, что машины не стало?

Ю.К.: Не знаю, что там делалось у директора, мне надо было экзамены сдавать. Психиатры? Где у нас психиатры? Но, правда, повезли его в район. А он все время бежит ко мне. Прибежит, что я скажу, то он делает. Вот приходит его мать и плачет: "Юра, смири его, он такое вытворяет!" - Прихожу: "Петро, что ты? А ну, брось, и чтобы такого никогда больше не было!" - и он слушается! Понимаешь?

В районе в больнице, кто его обследовал, не знаю, только говорят, что нужно везти его в Киев и дали направление

в Киев. А в Киев ехать нет денег. Где-то батька его занял денег на два билета, себе и мне, и просит, чтобы я вез Петро, потому что он его не слушал, а вязать - так нужно было бы гнать спецмашину.

Никого он не слушает, не понимает - ни матери, ни сестры, никого. Только меня. Такое вот чудо. А мне - надо экзамены сдавать. Что же делать? До испытаний по ботанике оставалось два или три дня, И кто знает, успею ли я вернуться, ведь езда тогда шла дольше и труднее. Пошел я к преподавателю, кому сдавать, объяснил. Он знал Петра, согласился: "Ладно, нужно помочь, я договорюсь с директором и приму у тебя экзамен потом". Сходил к директору, тот разрешил.

И поехал я с Петром и его батькой. Взяли коржа, кусок оселедца... Сколько-то проехали, контролер начинает спрашивать билеты: "Кто батька?" А на Петра билета нет, думали, больной, ему не обязательно. Ну, что ж делать? - Отдал ему билет, а на остановке выгоняют меня. Но как меня выгнали, то и Петр из вагона прыг - и бежать. А батька бегом за ним. Пока я не крикнул: "Петро, стой!" - Он встал. - "Иди сюда!" - идет. Подходит, говорю: "Пошли!" Сели на лавке в поезде. Проводники этому удивляются. Завел я его туда, заходит и батька. Стал я снова выходить, Петро опять за мной. Тогда они увидели и сказали: "Мы напишем акт и вышлем его на сельраду, чтобы заплатила за билет, а сейчас езжайте".

Отвезли мы его. Психиатрическая больница была на Лукьянковке под Киевом. Стали там в очередь, чтобы его сдать. Очередь большая, людей много, особенно женщин. Приходит наша очередь, я стою в стороне - ведь разговаривать надо батьке, а я - посторонний человек. Но зашел и я. Женщина что-то его спрашивает: "Что с ним?" Отвечаю: "Кто знает, что с ним сделалось" - "Жаль,- говорит,- такой красивый мальчик". Приняли у нас его.

Вышли на двор, отошли поодаль, где поглуше, и в клениках на бугру сели на какую-то колоду, чтоб перекусить. Вынул он кошелку, а из нее коржа и кусок оселедца. Только

начали есть, а сверху "А-а-а!" - Глянули, над нами четыре этажа, окна большие, а в них женщины - голые и полуголые, крик такой, одна другую за косу дерет, одна другую стягивает, вылезают... И каждая кричит: "А ну, иди ко мне... Дивись, какая я вся..." Боже, мы коржи в кошелку - и бежать! Только когда вышли, на ходу поели, потому что есть хотелось страшно, сутки ведь не ели.

В.С.: А ты знаешь судьбу Петра? Вылечился ли он?

Ю.К.: Да, он и сейчас живет. Тогда же он через два месяца там распух, потому что ничего не ел. А кто ж там с ним будет церемониться? Кто рядом с ним - то раз-два, его еду похватали, а он голодным остается. Потом прислали домой сообщение, что приезжайте, заберите своего сына... Тут уж я за ним не ездил, родители сами на себя понадеялись. И правда, сильно он изменился, не обращает ни на кого внимания, не понимает, кто перед ним, полная апатия... Да, наверное, накачали лекарствами. Побыл он дома, как заходит к нам его мать: "Юра, зайди к нему, может, повлияешь, он ведь тебя раньше слушал..."

Нет, ничего он не вылечился. Говорить не говорит, тупой взгляд. Если кто входит в хату, то прячется в комнату и не показывается. Но мать просила, и я стал приходить. Но только я в дверь, он что-то проворчит и спрячется. А иной раз на лавке сидит и что-то такое говорит, вроде веселое. Так я ходил-ходил, мало-помалу он отошел, дошел до какой-то кондиции...

Война. Эвакуация скота.

И вот один раз меня и еще одну дивчину-студентку вызывают в техникум, хотя занятий уже нет, все разошлись. Директор нам говорит: "Помогите организовать санпост, оборудовать комнату - это и это вынести, то принести..."

Оборудовали мы санпост. Студентов старших курсов в то время почти всех мобилизовали, и потому мне и еще Миколе почти через день нужно было ходить дежурить на этот санпост. Прочитали нам лекцию, как надо оказывать первую медпомощь, как шины накладывать. Особенно важно было дежурить ночью. У нас все было наготове: и на случай пожара, и если раненые

поступят - восемь коек было заправлено, все медикаменты наготове, бинты в шкафу, шины, чтобы перевязывать.

А в химической аудитории, в отдельном крыле с особым входом, хлопцы-студенты жгут книжки. Какие книжки, не знают, но жгут. Прямо в аудитории, пооткрывали двери, окна занавешены, чтоб не видно было огня. А в туалете разбирают трактор. В техникуме было два трактора на таких шипах, знаешь, "Универсал", кажется, назывался. Так его разбирают и кидают в уборную - прямо в жижу. Старый туалет слегка спихнули для удобства и кидали. А новый туалет был устроен дальше.

Короче говоря, везде такое делается. А мы дежурим на втором этаже, где балкон. Сидим там, так как делать нечего, и скучаем. И глядим из окна, как по улице плывет скотская река - овцы блеют, свиньи, колхозные табуны. Может, суток пять шло такое течение. Сколько скота прошло! Директор же сидел, глаза в угол устремил, и в этой позе как замер. Залысина у него, чуб черный, сам похож на негра, губы большие, сам плотный, и видно, как пульсирует в нем кровь... И молчит. Идут студенты-третьекурсники за документами: "А где же директор? Как подписать?" - А он сидит неподвижно. Сидел, сидел, потом все же ушел...

Проводы. Как-то под утро, уже светало, прибегает на санпост Маруся: "Иди, тебе повестка! На семь часов утра, и при себе иметь кружку, ложку, пару белья и на три дня харчей!"

Раньше я подходил к директору: "Давайте документы - все идут в армию, а что же я буду здесь сидеть". - Он отвечал: "Батенька мой, Вы дежурите на посту! Это пост! Если оставите пост, и расстрелять могут!" - Но когда Маруся принесла повестку с сельрады, тут у него уже никаких возражений. Ни слова. Броде потерял дар речи. Молчит, и все.

Побежал я домой, а у мамы сердечный приступ. Трясет ее, не разговаривает. Глаза такие... Я: "Мама! Ну, что Вы, ну разве можно так - ведь все же уходят..."

По дороге зашел через яр к тетке, попрощался и попросил, чтобы дошла до мамы, успокоила ее. Но когда ее дочь

Мария узнала, куда я иду, то своими руками взяла мой узелок и увидела, что он почти пустой - да и маленький. Она тут же на машинке из куска полотна смастерила мне торбу, положила в нее хлебины, кусочек сала и кружку, ложка у меня была в кармане. Поблагодарил я ее и еще раз попросил: "Пожалуйста, поддержите маму".

Но хоть и быстро Мария шила, а время все же прошло. Дохожу до сельрады, до деревьев у нее, вижу, а там мама стоит - как смерть (... полуслезы-полувсхлип). Сколько себя помню, а такою она не была, клянусь... (плачут)... И ничего она не говорит, и не пускает... И никого уже тут нет, все ушли... Ну, что ты будешь делать? Я стал просить: "Мама, идите домой... Мне надо догонять, ведь это военное дело, тут шутить не будут. За это могут и расстрелять... Это же такое..."

Оторвал ее руки от себя, на деревья опер, да и пошел. И пошел, и пошел... (еле справляется с волнением). Лишь за поворотом посмотрел назад. Думал, что оглянусь лишь тогда, когда не увижу, чтоб не узнал, то ли упала она там, то ли стоит. Ведь если упала, нужно возвращаться, а возвращаться - невозможно. Ничего нельзя. И пошел я.

Дорога на Восток.

Прихожу в Ольшану. Там регистрируют, всех записывают. Потом построили и сказали: вот командир ваш, капитан Харченко - из соседнего села. Он был туберкулезным, и с лица такой зеленоватый, худой, плохо дышал. И медсестра - оттуда же. Значит, надо идти - эвакуироваться... Чтоб была дисциплина, чтобы то да то... Вы уже считаетесь военными. Не мобилизованными еще, но на военном положении. Так что, если будут нарушения дисциплины, то будут применяться все меры, как положено законом к взрослым гражданам. В основном, собраны были ребята 23 и 24 года рождения. С третьего курса хлопцы шли наперед, как продовольственная часть, заказывали для нас еду. Мы доходим до села - там уже готова еда, сварен борщ и еще что-то. Да, кормили нас тогда хорошо, с мясом. Так что наедались...

Позднее узнали, что эвакуируемся на Донбасс.

В.С.: И все пешком?

Ю.К.: Да. Прошли Русскую Поляну, у Черкасс перешли Днепр. Толчая была страшная, на дороге трактора стоят. Ехал-ехал, горючее кончилось - бросили. Военные раненых везут на повозках, а то еще и несут раненых и требуют повозки для своих... и вот команда - слезать с повозок. Крик, гвалт. Или везут целые мешки денег, помню - пятерками... А как те мешки посыпывали, чтоб уложить раненых, такой крик поднялся, мешки развязались и пятерками устелили дорогу так, что мы просто шли по деньгам.

В.С.: И никто не брал?

Ю.К.: Не брали. Может, кто и брал, но я не брал, и командир сказал не трогать ничего, не трогать. В общем - столпотворение: и трактора, и машины, и скотину все гонят, гонят и гонят. Насилиу перешли на ту сторону Днепра. Там стало свободней. И вообще показался мне богаче край, зажиточней жили люди, и колхозы там были для людей, и скотина тучная...

Казнь на марше.

Но у какой-то Петропавловки - уже перед Донбассом, нам вдруг вместо обеда выдали брынзу. А мы ее сроду не видели и не ели. Соленая такая! Выдали нам ее такими квадратами. А остановились мы в небольшом вишнячке, и где та станция - неясно.

Вот сидим на траве, есть ее не можем, и начали "воевать" этой брынзой, хоть и голодные. Но ведь после того, как давали борщ с мясом, кто же будет есть брынзу? Начали бросаться, и как будто снегу накидали ее кругом, так что в траве белеет. Командир командует строиться, но без обеда никто не хочет строиться, не встают. А я был назначен командиром взвода. Почему именно меня он поставил, не знаю. Видно, увидел, что я почти всегда иду впереди, а я просто понял, что отставать - утомляешься догонять, а если идешь себе и не отстаешь - лучше. Но быть командиром взвода - значит, отвечать за людей. Если где кто отстал, то ты его ловить будешь? А когда он позатрет яичко и отстанет, не может идти и

все - что же, мне его сторожить? Вот, если бы были подводы для подвоза таких, а то нет у нас ничего. И так: остался, и остался...

Командиром другого взвода был учитель, много старше нас, и даже не с нашего района. Итак, было два взвода; вышло 170 человек, дошло только 95, остальные растерялись по дороге, отстали. И вот этот случай... (*тяжело вздыхает*) ... команда строиться.

Ну, я встал, как командир взвода, порядки я знаю, в техникуме нам подготовки немного дали, вместо физкультуры учили маршировать. Встал и тоже скомандовал строиться. А они и ухом не ведут.

- Что не хотите строиться? - спрашивает командир.

- Сажайте на поезд, - ему в ответ.- Тут поезд уже есть. Мы не будем дальше идти, устали. Не можем идти! - Вот такие выкрики.

- А кто конкретно не будет идти? Много таких?

Но они кучей сидят и массой выкрикивают.

- Будете строиться?

- Не будем, не будем - уже много голосов, одновременно.

И тогда он пошел куда-то. Аж позеленел от ярости. Он ведь худой был, и болезненный глянец на лице. Ушел.

А спустя немного времени едет подвода. На подводе такой столб. Не знаем мы, что это такое... И приехала та подвода к нам, прямо в эти вишенки, в садочек. Два человека с нее встали и сразу начали копать яму. А мы не обращаем на них внимания, какое нам дело... Раз он (командир) ушел, нам ничего не сказал, что мы, с тем учителем, будем стоять, тоже сели прямо на травку.

Видим, идут к нам три человека. В синей форме.

В.С.: Особисты?

Ю.К.: Наверное. Канты у них красные, в сапогах хромовых, в фуражках с красными околышами. И сразу: "Встать! Строиться!!!"

Построились... Подходят ко мне, я первый стоял: "Кто не хочет идти? Кто агитирует, чтобы не идти? Кто на поезд хочет?"

Я говорю: "М-м-м... , в моем взводе нет таких... нет, кто не хочет идти" - А что мне говорить, я испугался...

Тогда спрашивают учителя: "Кто не хочет идти? Кто хочет на поезд? Кто?" Он вышел и вдоль шеренги идет, идет, идет... Все на него смотрят...

Был в его взводе парень из соседнего села, рыжий, рябоватый, по нашим детским соображениям - не красивый, не годящий. С ним никто не водился, не дружил - а ведь тут каждый себе товарища ищет. Со мной был дружен такой чернявенький хлопец Зосим Крикля, привязался ко мне, и мы с ним хорошо шли... Ну, вот, подошел тот командир взвода к Лейбенко и показывает: "Вот этот!"

Они, конечно: "Выходи из строя! Подойди!" Подходит он к ним, а у них уже все готово. Арестован. Сразу высаживают его на повозку и читают: "Именем социалистического... военный трибунал..."

В.С.: Трибунал хоть был?

Ю.К.: Трибунал? - Да эти три человека и был трибунал! Они и читали "Военный трибунал в составе такого, такого и такого-то... то... то..."

В.С.: Ну и что? Приговорили за неподчинение? Или за что?

Ю.К.: Да... за нарушение военных законов приговорить... к повешению...

Всем команда... (*какой-то всхлип*)... Кругом! Шагом марш. А Лейбенко остался на подвode...

В.С.: И никто не видел, что с ним стало?

Ю.К.: В общем, не будем про это... Мы пошли...

В.С.: Не видели?

Ю.К.: Нет. Ушли...

(*В.Сокирко: Потом, без магнитофона, Юрко Иванович все же дополнил: "Не хотел записывать, но тебе скажу: да, прямо при нас и повесили того Лейбенко, прямо при нас". И больше ничего не говорил. Видно, ему об этом даже вспоминать трудно, больно переживать заново.*)

Не знаю, сколько мы после того прошли, полдня или больше. Командир про дисциплину вновь сказал: "Чтобы не было отстающих, командирам идти не впереди, а сзади, и чтобы шли все вместе". Потому пошел я последним... А что ты сделаешь, как будешь его подгонять, если он не может идти, если шкандыбает через силу... Но все равно думаю, надо довести их. Понимаешь, какое стало положение? Уже мы боимся...

В.С.: Теперь все стало серьезно...

Ю.К.: Да, серьезно, тут шутить уже нечего. Идем так с хлопцами. Один ногу натер - кровавыми пузырями, не может идти. А подвод нет, и никто ничего не сделает - терпи! Идем и идем.

Но вот впереди свалка какая-то, нет строя, все на дороге сгрудились. Что такое? Доходим и оказывается, что на запряженной под воде лежит убитый учитель - командир взвода... Какой-то сельский парень порешил его за то, что указал на невинного, ведь Лейбенко вообще рта не раскрывал. И Василь в отместку полоснул его ножом, а сам сразу скрылся. Не знаю, остался жив или нет учитель, а Василя того больше я не встречал.

На Донбассе в эвакуации.

И вот приводят нас туда, на Донбасс. А мы - из сел, городов и не видали. Районный центр - разве это город? А тут видим дома высокие, правда, закурены-задымлены очень. И ездят по улицам коробки какие-то. Машины мы, конечно, видели, но эти звякают...

Поселили нас в одном месте... голодных. До самого вечера мы сидели и ждали, что будет. А вечером подгоняют к нам машины, сажают и везут в Сталино. Сейчас Донецк, а тогда был Сталино. Оттуда - в Макеевку. А там уже подготовлены, знают, что к ним прибудут эвакуированные пацаны, и надо их пристроить. Напоследок командир объявляет мне благодарность за хорошее поведение в дороге, и еще одному, которого поставили под конец командиром взвода, и тем, кто был нашими фуражирами.

Да, нашлись и на нас покупатели. Ведь привезли нас не для того, чтобы гулять. Моим покупателем оказался Ярощук, забыл его имя-отчество... Он был заведующим телефонной станцией и похож немного на Брежнева: брови густые, широкие и черные. Но - хороший человек! Он взял меня и еще одного, кому выносили благодарность. Я забыл, откуда был этот парень, из Будыщ, что ли. Потому что побыл он лишь три дня, я с ним не успел и сойтись, он убежал, без вещей даже.

Поселили нас в рабочем общежитии - длинном здании. По обе стороны прохода - койки, на стене хрипучка висит. Мы такого раньше не видели. Про наушники-радио я уже слышал, а вот репродуктора на стене не видел. Мне понравилось: хорошо, музыка есть. Было это в поселке "Путь Ильича". Рядом с общежитием было засажено поле кукурузой: кукурузный парк! И нигде нет ни дерева, акации даже белой, ничего... Зато завод и ночью, и днем курит, доменная печь недалеко - все время пламенем пышет. Сорочку наденешь - за день черная.

Ну, значит, пошли мы на работу на телефонную станцию. А там - никакой церемонии: "Вот, хлопцы, так. От нас ушли те, кого взяли. Взамен я уже брал из ФЗО, но они убежали... А вас я прошу: не бегите! Телефонную станцию нельзя покинуть. Я знаю, что вам хочется до матерей, домой. И я сам сделаю так, когда увижу, что это нужно, чтобы вы поехали домой, свободно поехали".

Вот какой хитрый мужик был... Ну, я не думал никуда бежать. Правда, хлопцы на третий день почти все разбежались. Остались я, белорус Митька, и из нашего села Иван - сын Гарравы Белого. Иван Белый - так его звали, а фамилия у него - Шевченко. Трое на общежитие осталось.

В.С.: Трое осталось из 170?

Ю.К.: Не 170. Я уже говорил, что пришло 90 с лишним, разбежались...

В.С.: Ну и команда! А почему разбежались?

Ю.К.: Хлопцы попали, в основном, на стройку. И надо было носить кирпичи на спине на третий или четвертый этаж.

Приходили назад еле живые от усталости. А зачем стройка - когда все кругом уезжают?

Телефонная работа.

За эти дни, пока ходил исправлять повреждения, немного научился я соединять провода, лазить по столбам, телефон разбирать, научился немного монтировать

Обычно связисты до трех часов сделают все, а с трех часов оставляют дежурного, и меня оставляли даже самостоятельно. Прямо на телефонной станции, рядом с коммутатором, где работали восемь женщин в наушниках - руками, как на клавишиах, быстро так. Город промышленный, телефонам работы много, и потому женщинам и покурить некогда. Но иной раз они просят меня: вынь предохранительный щиток. Я выну, и уже минут через 10-15 звонят: "У нас в магазине телефон не работает, придите чинить". Телефонистки и посылают меня чинить им за табак: ведь я чинить не обязан. А за махорку - вроде исправляешь, да еще и потогуешься - за сколько табака ремонт. Эти телефонистки - завзятые курильщицы, почище меня были. Потому, если дают не меньше 40 пачек, то исправляю... снова вставлю предохранитель на место. А из добычи себе пачек пять оставляю... Часто меня посылали. Так вот мы и работали...

Начало дороги на запад.

Но вот приказ - подготовиться к эвакуации на Урал. Дали нам вагоны: надо все телефоны снять - мы загрузили целый вагон. Конечно, это долгая работа, снимать телефоны. Потом еще коммутаторы, другое оборудование. И вот все у нас готово и упаковано, можно отправляться на Урал. А вдруг другой приказ: всем ехать в Черниговскую область на окопы.

Начальник телефонной станции Ярошук говорит: "Что ж, хлопцы, такое дело, что весь Матстрой едет в Черниговскую область, и я не знаю, с кем поеду на Урал, кого дадут уже там, на месте. Что я буду делать, не знаю, а вам должно ехать со всеми".

Был организован целый эшелон: 60 коней по 6 коней в вагон, в остальных - женщины. Из мужчин были лишь обслуга

паровоза, да водители двух грузовиков. Взяли с собой еще две бетономешалки и 30 повозок, военных фургонов, новых, красивых, покрашенных. Смотреть коней пристроили нас, хлопцев. Объяснили, что уход за ними такой: вон площадка с тюкованной соломой, нужно в каждый вагон занести по три тюка, на них и спать можно. Основная работа - давать лошадям эту солому и чистить на ходу. За это будут вне очереди давать хлеб и оселедец (селедка) в поездном магазине (а на остановках в него и вправду было не протолкнуться, тем более что поезд то встанет, то снова пойдет - как же тут за магазином поспеешь?)

Ехали мы так с Донбасса на Черниговщину - полмесяца!
В.С.: Полмесяца?

Ю.К.: Полмесяца! То кого-то пропускаем, то дорогу разбомбят, исправляют, и так все время... Туда-сюда... Встретили там хлопцев, но не буду говорить, хотя это и интересно...

В.С.: Да, Юра, ты больше о себе рассказывай.

Ю.К.: Это были хлопцы нашего района, которые шли вместе с нами, а потом убежали... поженились там, что ли... Ведь уже два месяца прошло.

Короче говоря, приехали мы в Черниговскую область, в село, вроде бы, Борщаговка. Большое село. И земля там какая-то луговая, не как у нас пригорками, а ровная, равнинная. Там еще был Быковский сахарный завод... Люди сахар на заводе разбирали и водку гнали... я не пил, но Иван пил...

Да, сгрузились, наконец, в этом селе на колхозном дворе. Там под деревьями стояли ясли для коней, коновязь. Там мы и поставили своих лошадей. Нам говорят: "Хлопцы! Будете ухаживать за конями и здесь. Уход небольшой: есть корыто, в которое насос качает воду из колодца - поите коней. Потом надо поехать на поле накосить клеверу". В общем, нужно было накосить клеверу два раза: пораньше утром, чтобы часов в 10 заложить в ясли, и вечером, чтобы заложить на ночь. И напоить. А лошади красивые, высокие, ножки тонкие - не для упряжек, верховые. Где их брали? Так мы за ними и ухаживали.

А в полутора километрах от села наши женщины и из других районов - роют окопы. Как посмотришь - то одни белые платки, словно снег. Противотанковые окопы копают, широкие такие рвы, страшные работы... Правда, наш поезд привез бетономешалки, коней, чтобы строить укрепления. Однако кони стояли, возы тоже, как сгрузили, не шелохнулись, бетономешалки стояли. Машины все же ездили, заготавливали и возили продукты, где-то чего-то искали. И еще выгрузили целый вагон и загрузили дощатое помещение - простынями, матрасами без соломы, наволочками, одеялами, галошами шахтерскими - толстые такие галоши... глубоченные... вместо сапог. Немного людям выдали, а остальное в кладовую про запас спрятали. Людей же разместили по квартирам. Все село было забито квартирантами.

Нас с Иваном, как молодых, поселили на другом краю села. Идти на работу - устанешь шагать. Интересно, что в селе очень широкие улицы и не видно никаких границ улицы и дворов.

И вот мы ходим за конями, а рядом варят еду для Матстроевцев на окопах. Ну, и мы у того котла едим... Чего-нибудь своего в котел всыпем, и едим. Правда, мы и не сильно голодными были. Хорошие были колбасы, краковские. И оселедцы не соленые, не портятся. Жир течет, шкурку очищаешь, и капает. Ох, и вкусно. Мы приносили того оселедца на еду в квартиру, где жили у деда с дочкой.

Сколько мы там пробыли? Не слишком долго, вроде бы с неделю.

И вот после обеда и отдыха идем, чтобы поехать на косьбу клевера на ночь. Улицы широкие, и мы идем по стежкам под деревьями. А на самой улице по центру едет повозка, полная снопов. Дядько везет снопы, сидит поверх них высоченько. Все спокойно.

Но вдруг вой с неба. Смотрим: какое-то чудо, мы такого не видели никогда. Летит рама, а посередине ее сигара толстая. Низко летит, даже видны на ней какие-то знаки, хотя и не разберешь, какие. Пролетела она над нами, там где-то

развернулась и назад летит. Подвода продолжает ехать, а мы - рядом с нею, только на тропке под деревьями. И вдруг - вжжжии-иии, прямо в повозку... и разметала там все. Куски коней с землей перемешаны... Мы упали, а потом бегом оттуда.

В.С.: А вас не задело?

Ю.К.: Нет, ничего. Только сильно поднялась земля и дым был какой-то удущливый. Мы побежали от удушья - газ такой противный...

Прибежали на стан, там начальство. Уже какая-то тревога меж ними чувствуется. Вдруг видим, движется к селу что-то вроде такой хмари, тучи, и быстро нарастает из-за горизонта. А когда стали ближе, мы увидели - самолеты! Вот они развернулись, да как начали бомбить по тем женщинам, по тем окопам. Такой дым, чернота сотворилась. Черная стена в степи, такая громадная, что солнце закрыла... Страх, что там стало.

А нам говорят - запрягайте, хлопцы! Поприбегали какие-то женщины, они не были на работе, или из поварих, и кричат: "Запрягайте! Быстро коней!" - и начали грузить с кладовой...

В.С.: Как с кладовой? Для чего?

Ю.К.: Ну, решили уезжать... И пять повозок тем добром нагрузили...

В.С.: А раненых и убитых с той бомбекки кто вытаскивал?⁶

Ю.К. Ничего мы не знаем, что там делалось. Там уже темнота наступила, ночь... Нам же команда дана: "Спасать имущество", а что там с этими женщинами сделалось, мы не знаем...

Начали мы с Иваном запрягать лошадей - а их половина с коновязи отвязалась. Когда бомбекка началась, то они цепи поотрывали и... пошли гулять: гоняют, биться начали, аж губы летят, как один другого бьет. Все ж запрягли свою повозку. И еще из пойманых коней запрягли пять повозок. И стали грузить шесть возов разом: галоши, простыни, одеяла, матрацы, материю...

Попали в окружение.

Сначала ехали вместе, целые сутки. На машинах везли кого собирали - и женщин немного, и, конечно, начальство. Потом нам говорят: "Езжайте на Пирятин, спрашивайте дорогу на Пирятин!" А сами двумя машинами уехали...

Ну, проехали мы сутки. Утром подъезжаем к лесополосе, а там наши машины и наши люди. Корова стоит, и рядом дядька готовится ее резать: кормить надо людей. Где они ее взяли, не знаю, но корова дойная, молока много. Он нож точит, и котел уже кипит, Другие дрова таскают из лесополосы. Ну, и мы сразу поворачиваем к ним. Где остальные пять повозок с женщинами, не знаем, а своих вот нашли... по этой дороге на Пирятин.

Наточил он нож и подходит резать горло - вдруг тревога: какая-то депеша поступила... Кто-то прискакал, не знаю, что он там сказал, но они сразу все на машину, на другую закинули котел, вылив воду - и все! А нам - привязали корову сзади и говорят: "На Пирятин!"

И еще в Борщаговке привязал Иван белого коня. Так что у нас получилось теперь четыре скотины: трое коней и корова... Ну, знаешь, как корова идет. Кинуть же ее не можем, ибо начальство привязало и строго наказало нам: "В Пирятин приедете, мы там будем!" Ну, мы и мучаемся с нею, и некого попросить с ней управиться. Так и едем. Вечером заезжали в село или колхоз, чтобы переночевать, потому что на поле стоять опасно: могут и коня взять, и из поклажи, а ведь это государственное имущество. Одеяла всякие. А если мы заснем, и корову отвяжут? Боимся, чтобы не пропало. А как приехали в колхоз, то там есть сторож, можно около него поставить повозку и отдохнуть.

С Пирятина на Яготин и обратно - гоняли нас много раз.

Б.С.: Неужто ни одного начальника не нашлось, чтобы направить вас на восток?

Ю.К.: Куда ж на восток, когда там уже немцы?

Б.С.: На востоке немцы?

Ю.К.: Да, так получается. В окружение попали. Вот и гоняли нас туда-сюда.

Ездили мы, ездили, пока наконец-то поняли, что наших тут уже нет, где-то они проскочили.

Что ж нам делать? Некому доложить, некому груз сдать. И я говорю Ивану: "Давай корову оставим где-нибудь людям". А если будет нужна, то заметим, где оставили. Ну, вроде как продадим. Только на что?» - « Да выменяем хлеба, или крупы, ведь хлеба у нас нет. Колбаса и оселедцы есть, а хлеба нет». Тогда же хлебных магазинов не было, и можно было только у людей печеного хлеба просить.

Заехали в село, вроде богатое. Там вообще села много богаче наших, у людей - коровники кирпичные, все под черепицей... крепкие такие хозяйства, и все так аккуратно содержатся. А у нас все под стрихою, наискось, под соломой. И вообще та сторона Украины богаче. Заехали и объявили: кому надо корову? Продаем корову за 10 буханок хлеба. Наносили нам хлеба, а корову никто не хочет брать: "Кто знает, где вы ее взяли... Если придут немцы, то спросят, откуда корова..." - Вот такие разговоры. И снова мы ездили-ездили, и я говорю: "Знаешь что, Иван? Давай определяться. Заедем в какой-нибудь колхоз, попросим у них приюту, может, там какое руководство еще есть, что-то они нам скажут, посоветуют. А так - что ж мы будем ездить?"

Последний колхоз.

Заехали в один колхоз. Богатый такой, и председатель колхоза на месте, и председатель сельрады тоже.

В.С.: А почему они не убежали, остались на месте?

Ю.К.: Это же за Днепром, оттуда бежать не планировалось. И скотину не эвакуировали, ничего не вывезли. Птица вся на месте. А колхоз богатый: кирпичные постройки, и контора, и сельхозрада в сторонке от колхозного двора. Аккуратно так поставлено.

Зашли мы к председателю сельрады, пожилой такой женщине. Показали ей командировки, показали, что у нас кони, упряжь, военная повозка.

"Да, - говорит она,- это военное имущество, такое дело, да... " Велела она председателю колхоза, чтобы имущество

поместили в кладовую, и упряжь. А коней, конечно, на конюшню. Корову же мы еще раньше на бураках оставили - кто ее возьмет, того и будет. Да, она и идти не могла. Как мы ее отвязали на буряках, то она сразу и легла, и есть не захотела, так утомилась, бедная.

"Ну, говорит,- получите расписку, чтобы у вас документ был, куда вы имущество дели, а потом идите туда-то... ". Оказалось - у колхозного двора был большой дом для беспризорных, сейчас пустой, кого позабирали в армию, кого увезли. А жили там два старика и две женщины, пришли с запада, с Житомирской области, когда выгоняли оттуда скот.

А мы голодные были, ведь с собой лишь оселедцы были, мы страшно их обьелись и больше есть не могли. Потом просто их раздавали и меняли на огурцы, помидоры. А в конце просто голодные ездили. Только когда ночевать останавливались, то у сторожа просили поесть, и он: "Ладно, хлопцы, пойду, принесу вам, что есть..." -Другой раз поллитру приносил, и хлеба, луковицы, кусок сала, огурцы, помидоры... Ну, съели, переночевали, а на следующее утро поехали - и снова голодны. В общем, сильно изголодались. И вот, говорят нам - идите туда!

Приходим на двор и говорим: "Послали нас до двух стариков"- Но на месте только один, а другой где-то на селе промышляет, работает. А этот занялся сапожничеством - и люди к нему, справа нужна. А две женщины заняли кухню, здоровый такой зал. Там было много и коек, но их вынесли, оставили только четыре, и все.

Печь там была здоровенна - и полна сухарей... Эх, как мы накинулись на эти сухари! В чугуны побросали их и хрумтим, работаем... аж челюсти шелестят... А старик смеется над нами и говорит: "Подождите, скоро вас накормят!" - И, правда! Через какое-то время - приносят мясо, не знаю, говяжье или свиное, килограмма три-четыре, и отдают тем женщинам: "Готовьте хлопцам!" Еще приносят литровую кружку молока и белый хлеб, знаешь, сантиметров 30 в диаметре, как жернов... здоровый хлеб был! Это принесла с кладовой молоденькая кладовщица. "Вот,- говорит,- хлопцы, пока ешьте, а завтра

выпишем и молока, и мяса, и все что надо, ведь все есть: коровы, и гуси - полон двор!" Ведь чуют, что немцы уже близко - то для кого это все? Гнать некуда - потому режут скот, не жалея.

В общем, хорошо мы тут зажили, - но скучно - слоняемся без дела. Председатель колхоза - такой толстенький парень, высоченный, плотный - здоровый мужик, говорит: "Чего вам делать - Вон баба хочет переехать к дочке, хату свою развалила, все столкнула вот, перевезите ее. Берите волов и везите".

- А где ж те волы?

- А там, на поле.

Ну, мы и пошли в поле. Боже, волы в клевере! А клевер хорош, по колено - и они там, лежат парами, как и ходят, только рога видны. Такие те волы тучные, громадные, и лежат по паре - там, там...

Мы подходим, выбираем сильных, согнали их помаленьку, пригнали до воза, а там и ярмо, и все, что надо, есть. Запрягли и поехали. Потащили арбу такую здоровую прямо до той бабы, что переезжала. Ну, и стали возить... Нагрузим всего с гвоздями немало - волы повезут, лишь бы арба выдержала. В общем, три раза мы так съездили и все забрали - до забора с калиткой - ну, все!

"Ой, что ж вам, мои дети, дать?" - это женщина, чью мать мы перевозили к ней.- Что же, голубчики, вам дать?" - А мы уже сытые, нас там кормят, так что же еще надо? - Ничего, говорим. Но, правда, я увидел, что у нее над хатой стоят споники табаку, что желтым цветом, и сами листья у него желтые. По латыни называется - "никотиане табакум". А зеленый лист, из которого махорку делают - это "никотиане рустикум".

Ну, я и говорю: "Нам ничего не надо, но если можно, табаку немного".

- У-у, сколько хотите, столько берите!

Ну, раз так, то мы листьев табачных нарвали по наволочке, и еще там столько же оставалось. Он уже

высушеным был. А на другой день снова что-то нужно делать. Ведь наелись - мяса, молока, меда... - "Так что же делать?" Нам отвечают: "Что делать? Запрягайте коней ездовых, председатель сельрады сказала, что повезет вас в военкомат..." - Ну, в армию, значит, в армию... Мы ж, пацаны - хочется солдатом быть... Посмотрели бы...

В.С.: И сколько времени вы пробыли в колхозе?

Ю.К.: Да не очень долго, это рассказывать долго, ну, дней 4-5...

И вот встаем рано, а нам уже нашли торбы, красивые такие вещмешки с ремнями, чтоб на плечах нести. Наготовили туда харчей, и даже белье положили. Откуда они его только взяли? Белье нижнее, кружку, ложку, мяса - ну, как готовят мобилизованных. И говорят: "Ну, хлопцы..." Женщины и дядьки, что в детдоме жили, и другие люди пришли провожать нас в армию. Посадила председатель сельрады нас на повозку с ездовыми конями, красивыми такими, сытыми, и поехали. Она кучером впереди сидит, а мы сзади на сенце сидим, курим. Приятный табак.

Проехали, может, километров семь, а до военкомата в районе - 15. Проехали какое-то село, и степью едем, вернее, по какой-то широкой дороге. А навстречу нам едет бричка. На козлах - кучер, а другие сзади, как паны. Когда же сравнялись с нами, то оказалось, что это какое-то партийное районное начальство. Они председателя узнали и остановились. Она тоже соскочила и побежала к ним через дорогу. А у меня с малолетства исключительный слух был, потому хоть они шепотом и далеко, а я все же слышу: "Куда ты едешь?" - она отвечает, - "Да хлопцы вот, командированные с Донбасса, были на окопах, их начальство где-то проехало машинами, а они вот просят... в военкомат отвезти".

А ей отвечают: "Какой там военкомат? Нет военкомата. Мы - в окружении, и надо как-то выбираться". Правда, я недопонял про окружение. Услышал только, что надо как-то выходить из положения. Они еще договаривались о встрече или еще что, не понял, распрошалась она и вернулась к нам - белая

вся, как стена меловая. Вся такая встревоженная. Но нам не признается, и говорит: "Знаете, хлопцы, поедем назад, ибо я встретила районное начальство, оно говорит, что военкомат переехал в другой город и неизвестно еще куда..."

- А что же нам делать?

- Поедем, будете пока у нас жить, а как узнаем, где военкомат, то я обязательно вас отвезу туда.

Поехали обратно. Сумки забрали, и домой. И снова нам варят еду женщины. И снова спрашиваем у главы колхоза, что делать... досадно скучать. "Если хотите,- отвечает он,- то вот есть загонка на поле, и волы там есть и, кажется, два плуга, и ярма к ним. Так берите - и пашите".

Пошли мы. Запрягли один плуг, вытянули его из борозды. Там уже метров шесть было пропахано, неширокая осталась полоса, но длинная такая. А остальное - трава по колено. Волы помаленьку идут, сытые, силы им хватает плуг тянуть, только помалу. Ну, прошли три-четыре круга, и присели отдыхать. Вдруг видим - солдат выглядывает! Недалеко от поля, где мы пашем, конопляник был, метров 15. Конопля тонкая, а высотой, может, в два человеческих роста. Я раньше не видел такой конопли. Чудо такое, как лес. И вот, из той конопли вышел солдат - и в село. Потом - другой, а там три вышло сразу, а там еще - и так человек 15 прошло... Ну, мы тогда волов выпрягаем, они и пошли себе до гурта, где паслись остальные. А мы с палками пошли посмотреть, что в тех коноплях делается? А там - патронахи лежат, и винтовки.

В.С.: Побросали?

Ю.К.: Побросали, да в село. Мы набрали полные пазухи патронов, взяли по винтовке. Потом каску нанадели... И давай палить! Стреляем: то он, то я! Он - я! Из одной каски решето сделали, другую повесили. Кто знает, сколько мы стреляли, еще патроны собирали... Наконец, в какой-то канавке с вишенками винтовки и патроны спрятали, травой укрыли, "на завтра".

Солнышко садится, но еще высоко, а мы уже приходим домой. А к нам: "Хлопцы! Где вы были?" - и председатель колхоза, и бригадиры.

- Да вот там пахали, отдыхали...
- Да там же стрельба шла!
- Это ж мы стреляли, - рассказали, как было.
- А хай бы вас черт побрал! - тут ведь паника: под селом бой идет...

И вправду, мы же все время стреляли, а никто не знал...
Как-то мы не подумали... Да, пацаны, что сделаешь.

В.С.: А солдаты из села куда делись?

Ю.К.: Где-то в селе остались, а куда дальше, кто ж его знает? В село заходили, чтобы переодеться, просить одежду. Они уже знали, что делается кругом, и что надо им делать...

На другой день тревожно было, и встали потому рано. Вышли, но только вдруг: шарах... Как раз птицу выпускали, в гурт ее попало - то сколько перьев вверх поднялось! Мина! И, конечно, паника. Думали, обстрел начался. Но была всего лишь одна эта мина, больше не стреляли. Приносит нам кладовщица еду на другой день и говорит: "Знаете, хлопцы? Бегите, а то в селе уже немцы с другого края и уже начинают искать чужих. "Ком, ком, ком" - забирают, лучших отбирают и увозят..." Ну, мы испугались. Куда идти? Что делать? Пошли мы туда, где жила председатель сельрады - но не нашли. Правда, председателя колхоза встретили, а он говорит: "Не имею никакого отношения к вам".

Взяли тогда мы те торбы, положили в них хлеба, сухарей, кусок сала - и пошли. Я спрашиваю: "Куда, Иван, будем идти?" - мы же теперь понимали, что окружены. - Он отвечает: "Будем идти домой".

Путь домой.

В.С.: А на восток почему не решили пробираться?

Ю.К.: Как тебе сказать? Мы ж пацаны, что мы можем решать? Нам домой хочется... У нас еще нет другого понятия. Если б нас взяли в армию, если б давали присягу, то другое дело. А мы... В общем, когда ездили меж Пирятином и Яготиным, то мы ж просились. Приедем в Пирятин к заставе... Там какой-нибудь начальник. Погон тогда не было, а в петлицах - ромбики. Он проверяет наши командировки, а мы просимся:

"Возьмите нас в армию". - А он: "Брысь! Сопли утри, и без вас тошно!" - Или еще что такое же оскорбительное, и гонят нас далее, чтобы и близко не было: "Оботри губы..." - В общем, тогда не взяли, а теперь нам уж не до того было, хотелось домой, да и все.

Мы шли, шли... и дошли до Днепра. Ночью. Днем опасно было. По дороге старика или женщину встретишь, они предупреждают: "Не попадайтесь, потому что немцы забирают чужих. Кого поймают - угнают". А куда они пойманых гонят - неизвестно. И потому мы днем останавливались, спали, ели пшеницу, питались в основном пшеницей и водой - где придется. А ночью шли. Направление примерно знали: на Днепр. И вот пришли.

Там и деревья у берега попадаются, а местами и густо. Да, пришли, а что дальше? Мы привыкли к речкам, которые переступить легко, а тут? - Море, куда там, не видно другого берега, такая ширина! А волны такие, о-ё-ёй... Аж в душе замерло, как же нам туда перебраться?

Начали спрашивать людей, думали, может, лодку где найти, договориться, чтобы кто перевез... Ходили туда, сюда - нет. Направили нас к одному деду, мол, дед этот перевозит. Пошли к нему. Было у нас по одеялу, по две простыни, наволочка, в которой табак носили. У меня были еще хромовые ботинки домашние, я поменялся с одним... красивые такие ботинки. У него нога больше была, он и взял мои, еще в походе. Предлагаем мы деду свои вещи за перевоз. А он отвечает: "Хлопцы! Требуется лишь золото! Золото!" - "Какое золото?" - "А кольца, серьги..." - "Да откуда?" - "А иначе зачем рисковать... Вам туда надо, то вы можете и под пули идти, понятно за что, а мне чего рисковать? Я же хочу золота, если убьют, то хоть внукам что-то оставлю".

В общем, ни на какие уговоры не идет. И мы ушли. Даже решили, что просто украдем лодку и сами поплырем. Но ого-го, прикованы те лодки - или к живому дереву, или к таким громадам и такими цепями, что их не сдвинешь. Ничего не получается.

Снова пытались, и вот нам говорят: там-то и там-то, далековато, но перевозят. И шли мы туда два дня, блудили берегом.

Паром и путь в лагерь.

И увидели: перевозят! Паром ходит. С этой стороны немногого низина, а с правой есть вроде кручи небольшой, там какой-то лозняк и - как будто другой Днепр течет. Тот Днепр течет так, а тут - поперек ему. Народа - целая река, и женщины, и дети, и деды, и военные в форме прямо, только без петлиц и винтовок, в обтрепанных шинелях, знаешь, а грязи и цыпках... И подводы завозят на тот паром, повозками прямо выезжают. Так мы только на третий или четвертый паром втиснулись - без ничего, и то еле-еле, понимаешь, какая толчея была! Под вечер, солнышко уже садилось...

В.С.: Ну, и бесплатно вас перевезли?

Ю.К.: Да, погоди ты... Бесплатно, да. Кто ж там на пароме билеты будет брать, если люди через перила падают... Да и не видно, куда люди на том берегу уходят... Как в прорву исчезают. Там лозничок такой, и как люди на пригород выходят, то далее их и не видно... И никто не знает, что там делается...

А вот когда мы уже переплыли под вечер, то увидели сами: Боже! - Немцы! С собаками! И лошади у них. И люди уже не массой, а гадюкой такой, змеей идут, насколько видно. По пять идут. Идут люди, а они их ставят, ставят - конвой, конвой, конвой. И так идут и идут. Те, на пароме еще плывут, а тут уже идут. Беспрерывным потоком. Сюда плывут, а дальше идут, только под конвоем и с собаками!

В.С.: Да, организовали они...

Ю.К.: Да! А мы и не видели. И никто не видит, что здесь творится. С той стороны не видно, а тут - сразу вот, уже в пасти!

В.С.: И вы попали туда в колонну?

Ю.К.: А как же? Там уже никого не выпускали. Правда, женщин где-то отделяли, в другую сторону их ставили, а на этой дороге всех гнали мужского пола: и хлопчики, как мы, и в шинелях, и старики с бородами, даже те, кто с палочками ходил. Все, кто попал. Где? - Где Кагарлык.

... А люди стоят - смотрят на нас. И сколько я примерялся, думал, если б расступились чуть-чуть, то два шага сделал - и спасение! Но нет: конвоиры с собаками, с автоматами, и стрелять будут безо всякого. Сколько там было немощных, кто отстал и не мог идти и сел - то конвоир реагирует сразу: та-та - и готов!

В.С.: Стреляли тут же?

Ю.К.: Да, отставать нельзя, только немного отстал, он с автомата полоснул - и готов! А отбежать-то собака не отпустит. Такой, в общем, устроен расклад.

В.С.: Ну, и куда вас гнали?

Ю.К.: И гнали нас, гнали, гнали. Пригнали в Белую Церковь. На ночь загнали в здоровые казармы. Загнали, а потом кто-то зашел и говорит по-русски, что утром будете выкидывать вещи, чтобы у вас ничего не было, даже иголки, бритвенного лезвия, абсолютно, чтобы ничего не оставалось на руках и в карманах. Можно оставить пачку махорки и коробок спичек. И все. Больше ничего не разрешается, иначе расстреляют.

Никуда не денешься. Что делать? Одели мы рабочие ботинки, концы простыни замотали в ботинки и обмотали их по ноге аж до пояса - чтоб не кидать их. Ведь осень уже настала, а мы в одних пиджачках. Когда на Донбассе заработали деньги, то купили себе такие суконные, в полосочку, костюмы, красивые костюмы по 70 рублей. А в наволочках у нас был табак (мы его еще носили, не кидали). Мы его в пазухи позабирали так, листья на себе так разгладили, перевязали простыней, немного толще стали, особенно на животе, но незаметно...

И вот рано, в 4 утра, когда чуть-чуть развиднелось, командуют: "Выходи! Выходи!" Из дверей, как мы выходим, дорожка поворачивает за казарму. И в шахматном порядке стоят немцы - или с ломакой, или с плеткой, или с резиновым шлангом. И беспрерывно бьют. Только "Швии-их!" Как не успеешь, то сразу... И так, падла, всех...

В.С.: Чтоб быстрее шли?

Ю.К.: А черт его знает, может, наслаждение такое... И так - до самой кучи. А там за казармой сразу - куча такая! Куча

всего, что кидали. Ну, я и Иван кинули свои одеяла, наволочки, ботинки... Около той кучи стоит еще немец и смотрит. Он задержал нас: "Вэ-ей!" и что-то говорит. Я думаю: "Боже, неужели заметил табак в пазухе?" Испугались мы. А он взял из кучи бобричка и ватник, кинул нам и плеткою... Тогда мы поняли, что это он не про табак спрашивает, а кидает нам одежду. Схватили мы, на себя одели, ведь в руках нельзя ничего нести... и дальше...

А дальше был котел. Здоровенный. И перловка варится. Только подходи. А во что ее возьмешь? Немец берет перловку лопаткой и ляпает кашей прямо в руки...

В.С.: Прямо в руки?

Ю.К.: Ну, да, больше не во что... Но я увидел, что один даже выпустил кашу, так она горяча, и картуз перевернул - он и ляпнул мне в картуз. И Иван за мной так же сделал. Потом мы с этими картузами побежали дальше и едим на ходу. В общем, гнали нас дальше.

Из тех казарм посадили нас в вагоны. Вагоны открытые, по шею как раз. Мы же с Иваном худые были, такие шкеты зачуханные... И так придавили нам головы и рты, что нечем дышать. Так людей набили... Кроме того, каждый мочится и оправляется, у кого есть еще, чем оправляться, что в желудке есть - и туда, в штаны. А ночи были холодные, а дни жаркие.

В.С.: И что, целый день вас везли?

Ю.К.: Трое суток нас так везли! Да, еще как везли... Стоим, а меж вагонами такие площадки. И на тех площадках сидят немчуки, может, по 13-14 лет... Такие, в форме, черная с черепами, эсэсовцы, или гитлерюгенд. И значит, у них такая удочка, вроде рыбу ловить, с капроновой леской такой длины, чтобы на полвагона доставала. И велят, чтобы все были согнуты вниз. Нас это не касалось. Я подергаю головой, чтобы дышать как-нибудь. Когда нос сплющен, то задыхаешься. Люди чувствуют, что пацан задыхается, то один от другого немного отодвигается... Не дай Бог!.. Такое страшное мучение! И если кто немножко приподнял голову, то охранник как лусканет

через всех своей капроновой удкой, по всем головам... А что ж ты сделаешь, едем так...

В общем, взопрела одежда, смрад такой, что задыхаешься от него. А ехали так: проехали где-то полустанок, потом чуть назад, пропускают поезда, потом снова в тупик загоняют... ну такое...

В одном месте сгрузили нас ночью. Ночи же, как назло - светлые. Если бы темень была, то попробовал бы бежать. А то, такая ночь, что невозможно: все видно. Выгнали нас из тех вагонов - и все у нас из штанов потекло - а куда же еще... Ну, хоть немного разрядилось, не давят. Идти же неприятно - все штаны позалипались. Но жить хочется, идешь... В голове туманит. Шли по шоссейной дороге, бульжником уложенной. Если б по грунтовой идти, а то по бульжнику. Ноги опухли, ботинки рвутся, как колоды сдавили... занемели... Но если упал - расстреливают, надо идти. Весь день гнали нас.

Лагерь.

Пригнали. Ограда такая, и вышки с электричеством. Ночью пригнали и электричеством освещаются эти проволоки... прожектора наведены на стены. По вышкам стоят с пулеметами, видно... А далее - три-четыре казармы... здоровенные казармы. И вся та площадь, было видно, зацементирована, а теперь набиты щебнем, не каменным, а из кирпича.

Вогнали и нас туда. Народа много, и мы тут сразу во дворе, как зашли строем, так и попадали, ноги вытянули. Но слышим, около казармы кто-то поет: "Ой, яблочко, куда ты котишься..." "Много голосов, и по-разному. Я говорю: "Иван, глянь, кому там еще петь хочется?" А он глянул и говорит: "Посмотри сам, что делается". - Я глянул, а там такой балкон, а на балконе электричество вниз светит. Внизу же площадочка квадратная из щебенки и камня, и на ней люди, раздетые, кто в одной сорочке, кто в одних трусах, а кто и без трусов, совсем голый... Около каждого немец, и заставляет их петь и танцевать: "Немцу в руки попадешь, не воротишься!" И бьют шлангами по ногам...

В общем, тошно мне сделалось... (*давится волнением*), потерял я сознание. Не знаю, что там дальше было, Иван меня растормошил. За это время, слава Богу, кончилась та страшная картина. Это ужас! Ужас!

И снова гонят, топчут и топчут людей. Заплывает людом все - ведь некуда деваться, только лишь умирать. А умерших вывозят.

Итак: есть зона такая шириной метра три или пять, не знаю - до проволоки не подходит, ибо как раз пулемет на этой линии строчит. Только чуть-чуть, на полметра ближе стал, и "тюк-тюк" - готовый. Там и упал. В центре площадка такая - там поставлены лавки, а на лавках есть ящики, чтобы оправляться. Здоровая площадка, но и там, меж ними (толчками) - люди спят. Кто оправляется. А кто под ящиком лежит... Вот как...

В.С.: А кормили как?

Ю.К.: Кто кормил? .. Где-то были котлы, но до них не доберешься. Да, котлы были с той стороны проволоки, за щитом, а сюда проведены трубы и вывеска. Так они там встают и черпают. И все беспрерывно. Вода в котел льется беспрерывно, а под котлом то горит, то не горит. И засыпают там какую-то грязь с гречкой, какие-то последы проса и вроде бы все это разваривается. Но когда ж оно там сварится, если вода беспрерывно бежит... Ну, конечно, кто до того котла протолкается, тот что-то съест. Но кто может туда протолкаться, когда сплошная масса людей? Вся эта площадь, если просчитать, то можно шесть телефонных столбов поставить (*телефонные столбы стоят через 50-80 м*) - вот и посчитай, какая там была площадь (*около 10 га*) - вся она набита людьми. Кто ж тут доберется? Воды б напиться...

Встретили мы трех земляков: мой учитель, который учил меня еще в 3-4 классах, еще пожилой человек, его, кажется, призывали, потом комиссовали, но ходил он в шинели, и Валентин - старше меня на 3 года. Они тут уже были давненько, не знаю, неделю или две, и почти уже не поднимались. Но, благодаря тому, что мы с Иваном принесли табаку в пазухах, то иной раз пайку хлеба выменивали и делили. Откуда хлеб

брался? Непонятно. Но случалось, что увидит кто, что мы курим, и просит, а взамен дает хлеб. Конечно, редко так попадало.

Один раз мы с Иваном постелили фуфайку, что нам дали, укрылись другой.

В.С.: Слушай? И все жили без всякой крыши?

Ю.К.: В казарму нельзя было и пробиться, да уда никто и не мог дойти, просто задавят.

В.С.: А где был этот лагерь?

Ю.К.: Где-то под Бердичевым. Там раньше были военные казармы, и из них они сделали лагерь.

Земляки эти наши были уже без сил и просят: "Хотя бы помочить в горле..." -

Неделю здесь или уже две. И потому мы ночью вставали, чтобы пробиться, протиснуться к тем котлам. И все-таки добились мы, выпили баночку, вот такую. Ливанули в нее воды той и, может, с ней попала ложка каши, не каши, а гречки с просяным последом. Ту воду мы выпили, а что осталось, Иван всунул в карман и все оно там разровнялось так.

У нас был условлен специальный пункт на углу казармы, между казармой и теми ящиками, на котором мы собирались, чтобы знать, что не заблудишься. Мы условились, что на этом месте, линии искать друг друга в случае чего. И вот дошли мы до своего пункта и принесли в баночке воды. Они разделили эту баночку на троих. А им на троих нет посуды, но хорошо - нашли какую-то старую консервную банку... Кто знает, что в ней было раньше, ржавой, но некуда деться...

Так и шло время... Сколько мы так прожили, не знаю. И всего два раза за все время удалось дойти до тех котлов... Силы падают... время идет... вывозят каждый день по повозке. Ту повозку тянут человек пять-шесть спереди за оглобли, а человека три сзади толкают. И на ту арбу накладывают умерших. Промеж живых сносят трупы и вывозят за проволоку, в общую яму... А ты думаешь: там за проволокой трава зеленеет, вот бы травички той наесться...

Нашли как-то головку подсолнуха, кто-то кинул, что ли... такая сырьеватая, семени еще не было. Мы разделили ее на троих - о, такое кушанье было! Что-то в желудок впихнули... А оно такое, вроде вата, знаешь... белое "мясо"...

В.С.: И никто из немцев не разбирался с вами - кто, почему попал?

Ю.К.: Никто! Да кому там надо разбираться... Такая масса народа...

В.С.: А местные не приносили еды?

Ю.К.: Что? - Не было ничего... Кто знает, может, их непускали, где там те местные... В общем, так мы там толчемся, что уже один другого держит. И как встать и подвести надо, то один другого подводит. Вот так.

Выход.

А потом вдруг явился какой-то с козлиной бородой, старый-старый, в какие-то прежние времена русский генерал, и говорит, что, мол, будут отпускать домой, не волнуйтесь, постепенно. Сразу - из западных областей, а потом и остальных.

После этого начали строить колонны. Ну, какое там: западники сотворили квадраты и никого к себе не пускают. Правда, мы с Иваном и с дядьками своими успели познакомиться с западными хлопцами, узнали адреса у них. И сами врем, что мы тоже... западные. И начали с ними строиться. Каждый день строимся. А старики наши говорят: "Да кто там будет выпускать?" - и легли там, где люди стали меньше топтаться, и уже не хотят никуда идти: "Все! Будем умирать - никто нас не выпустит!"

Мы же с Иваном все-таки ходим. Один раз пришли, а там уже стоят все, и немцы отгоняют с той стороны, и с этой отгоняют. Я кивнул знакомым, и, когда немец повернулся, они немного отодвинулись, я - раз, и туда. А потом, момент выбрал, и Ивана впустили. Вовремя, т.к. вдруг больше немцев стало... такой сделали коридор, все оцепили: "Выходи!" А куда? Некоторые говорят, что они, может, обманывают, выведут, а там будут расстреливать... А, может, они... немного отпустят, а остальных расстреляют... черт знает. Но только факт, что вышли

мы за загородку, а там нужно подходить к тем, кто пишет "аусвайсы", по-русски - "документы"; где есть имена и адреса. Мы с Иваном записали, конечно, закарпатские адреса, я уж забыл тот адрес. Получил аусвайс, спрятал в картуз, карманов не было...

В общем, выпустили взаправду. Предупредили, чтобы обходили леса, в них могут быть партизаны, а партизаны могут стрелять. Они партизан уже боялись, конечно.

Добрый немец.

Пошли, а куда идти? По солнцу определили запад. А нам надо, вроде как наоборот. А вот пойдем, и кто знает, куда попадем? Иван говорит: "Лишишь бы подальше от лагеря, от загороди этой. Давай, чтоб нас не вкинули назад".

И пошли мы такой дорогой. Все вдоль нее выгорело. С одного бока было картофельное поле, но ни одной картофелины. Я уже так ослаб, что если не идти, то упадешь. И она все недалеко, та загородка! И брама (ворота) видна! Аж страшно, вдруг увидят нас, назад кинут - и все!

И надо идти, а нет сил. И слабость, и отчаяние. У меня закружилась голова, и чтоб совсем не упасть, я должен был сесть. Дорога там была обкопана канавкой, только она уже завалилась. Небольшая такая канавка, и над ней полынь. И сел я в той полыни, пал и говорю: "Знаешь, Иван? - Иди! Может, хоть что-нибудь раздобудешь помочить рот, выпить воды какой, а, может, найдешь какой травы, может, картофелины, а тогда придешь за мной". И пошел мой Иван помаленьку, уже и не видно мне стало его. Сижу я, хотел подняться, но голова сразу темная становится, крутится, и я лечу вниз. Сижу.

Вдруг вижу, что оттуда, от загороды, выезжает повозка. Приближается. Здоровенные такие колеса у фургона, как у военных, только ящик глубокий, огромный. Тут же ручка с винтов, видно - тормоз - винт, что колодки к передним колесам прижимает. Перед ящиком перекладина и в виде лавки доска. И сидит немец. И вижу я: курит он и булька из носа висит, на солнце светом переливается. "Старый", - думаю. Но все же испугался.

И все же такое желание закурить появилось, что вдруг я подал голос: "Пан! Закурить - раухен!" - И что? - Он останавливает коней, слазит. А кони такие - копыта у них, что сковородины. Здоровенные такие, толстые. Ну, вот. Сходит со ступеньки и идет, плеткой помахивает. Тут уж я испугался: не убежать ведь мне. Будет он сейчас "давать прикурить"... А он подошел ко мне и рукой показывает куда-то... Не понимаю, вытаращил глаза, гляжу и боюсь. "Что ты хочешь?" - Он говорит: "Ком!"

Ну, я немного учил немецкий. "Ком" - значит: "Идем!" Хотел я подняться, но упал - свет померк. Не могу. Тогда он так плотно взял меня, поднял за руку и довел до его воза, подсадил. Потом сам подскочил и что-то бормочет... А черт знает, что ты там лопочешь... Сели на ту лавку. Он сразу вынимает портсигар, а там у него машинка и табаку разрезанные желтые листки. Крутнул, и готова цыгарка. Дал мне, чтоб послюнил, чиркнул запальник спичкой, и закурил я. Разва два потянул, и у меня вообще вся земля и кони перевернулись вверх ногами. Позеленел я, и с той лавки вперед наклонился (в обмороке). Он это увидел, выхватил у меня цыгарку, придержал и поправил меня на той лавке... А мне все так... Он же открывает ключиком свой ящик и вынимает такую маленькую плиточку шоколада. Отломил мне: "Ессен!" - Ну, я съел. Боже, как приятно пошел, знаешь, как хорошо мне сделалось, хорошая, такая, значит, вещь... Ну, поехали мы потом потихоньку. Вижу - Иван идет. Я говорю: "Пан, вон комрад мой!" - и зову: "Иван!" Он удивляется, что такое? - "Иди!" - И вот повез он двоих, ... далеко...

В.С.: А аусвайса он у вас не спрашивал?

Ю.К.: Нет, ничего не спрашивал. Только что-то бормотал: мол, откуда? - А я молчу. Вдруг не захочет вести, если скажу, откуда.

Без он, вез, и начались деревья. Мы думали, что это село какое-нибудь. А приехали - там только бугры, где хаты были. И дороги нет - едем между буграми. Обычно дома в ряд, а тут они были каком-то беспорядке. Лопухами все поросло между

деревьями разными - яблонями, липами... Видно, было село, и не стало. И, наконец, тенек и хатка под железом небольшая, правда, вся ободранная и обшарпанная. Останавливается он и нам показывает: "Слезать!" - "Бег!" Потом пошел сам к хате, и мы идем за ним. Женщина отворила нам, худая такая, лет сорок ей. Он только сказал ей: "Матка! Млеко (какая-то еда еще) мало-мало". Она молчит, и пошла вроде до дверей. Мы стоим. А он повернулся и пошел. Сел на воз и поехал дальше. Что он хотел сказать? Чтоб мало давала нам есть?

Ночлег на дороге.

Сидим мы на лавке. А она зашла в хату и не выходит. А уж вечереет, солнце заходит... Ждали, ждали мы, когда она выйдет, а она так и не выходит. Иван говорит: "Давай зайдем, хоть воды..." Зашли, а она из другой половины хаты выходит. Мы говорим: "Тетя, можно воды напиться?..." - Молчит, махнула рукой и пошла к себе. А мы снова во двор. Напились, а есть хочется... Сидели мы, сидели, темно становится. Зашли мы в дом, положили фуфайки, бобричком укрылись и лежим, греемся.

Выходит она из другой комнаты, выносит чугунчик с пятью картофелинами и огурец. Ничего не говорит, и уходит. Мы разломили огурчик надвое и картофелину и съели все полностью, прямо с кожурой. А как мы съели, она несет еще. И начало нас свербить, был такой зуд, такое состояние. Я еще раза два попил воды, и заснул сразу.

До света, однако, она нас будит и говорит: "Хлопцы! Я вас прошу, берите еще по паре картофелин, и огурец соленый съешьте и - идите" И начал я догадываться. Когда ночью просыпался, то чувствовал, что человечьим экскрементом воняет. Думал было, что это Иван, но этого не может быть, потом уснул. Она же говорит: "Идите раньше, чтобы никто вас тут не увидел, а то немцы увидят, а у меня больной сын лежит. В общем, мой сын офицер и сильно раненый, при смерти. В общем, если немцы увидят, то и дострелят... Я, говорит, сразу испугалась, а потом увидела, что вы свои, и я вас прошу". - Мы: "Что Вы, тетя, мы сразу садом пойдем. Если бы Вы про это

сразу сказали, то мы бы и ушли сразу, в лопухах бы переночевали. И не надо было б Вам волноваться".

Поблагодарили мы ее, попрощались и пошли. Снова - куда идти? Сдуру и не спросили, может, она направление нам дала бы. Правда, по пути село было... Шли, шли... Как мы шли - Всего-то километра, а пришли под вечер. Десять шагов пройдем, да сядем, а потом один другого подведет, да снова переведет... Дошли до села и зашли.

Тогда еще не было такого, чтобы старосту спрашивать, или еще кого. Просто напросились - нас и накормили. Мы - едим, как в прорву, только давай. Но люди знали, что много давать нельзя. Дала хозяйка нам борщу по тарелке, да и хватит, хлопцы, а то домой не дойдете.

Переночевали, а на другой день уже четыре раза ели или пять, пока прошли по тому селу, да еще и куски посибали за пазуху. Карман у бобрика порвался, так я за подкладку клал. Пройдем немного - съедим по кусочку, еще пройдем - опять по кусочку, пока до другого села дойдем, то по буханке съедали (если сложить кусочки).

Вот так и шли-шли мы, кормились. В общем, с Бердичева до дома шли мы 28 дней. Было какое-то Ставище, далее ... Буженко, Лысянка, за Лысянкою - Майданенко, оттуда шли на Будыщи, и, наконец, до дома.

Встреча с родными.

Уже октябрь начался. Жив-то не было, а буряки были долго, по снегу их убирали...

И знаю, что пришел, во двор зашел, а не верю. У хаты как будто ребра светятся, кроквы выглядывают, снопы поразорваны, значит, как дождь - то течет. Надо что-то делать! Такая кучка соломы, и все позарастало. Лопухи вокруг хаты... ну, прямо пустота! Захожу, Нина была дома и Оля - маленькая, но она уже разговаривает. И рассказали мне, что целый день она кричит, когда молоко пьют: "Оставьте Юркови!" Значит, по разговорам чуяла, что где-то Юрко бедствует.

Пришел я и спрашиваю: "А где мама?" - Ведь от самого того лагеря я думал, как она тогда, когда меня провожала, до

дома дошла, или упала, и может, ее уже нет? Чем ближе подходил к дому, тем тревожней становилось. С замиранием сердца Нину спросил: "Мама где?" Отвечает: "На буряках, буряки копа ет" - И у меня все внутри расслабилось...

В.С.: А буряки копали для кого? Колхозы оставались?

Ю.К.: Ну, да, колхозы оставались. Как было все, так и оставалось... Только тягла почти не было. Где была конячка, даже крича и слепа, то и ту забирали...

(*В.Сокирко: Моя запись на магнитофоне Юрковых рассказов на этом закончилась. Ещё случилось мне записать застольный разговор о войне Юрко и моего отца, приходящегося Юркови двоюродным братом.*)

Воспоминания о войне

Здесь в селе, Володя, всегда считалось 12 инвалидов войны. Многие из них уже умерли. Таких, как я, осталось всего 3-4 человека. Однако сейчас уже 25 или 30 новых инвалидов. Раньше они совсем инвалидами не считались.

Нина: Это они за гроши инвалиды. Что-нибудь где болит - инвалид!

Юрко: И то же с боевыми наградами. Да кому их там в боях давали? Возьми меня. Как забрали в 44-м в кавалерию (не только меня, а много хлопцев из села тогда забрали), то вся моя "боевая деятельность" протекла в том корпусе... И все вперед, вперед и вперед... И все новых ребят брали, на коней сажали, даже не переобмундировав, в своем - и кидали в бой: там взять переправу, там мост... Все время в боях. И каждый раз политрук выходит: "Товарищи! Кто останется живым, все будут награждены!" А бой



кончился - и уже не до того...

Володя: Вот, некому писать...

Юрко: Нет, просто на 40 км передвинулись - срочно надо снова в бой. И такое творилось все время. Награды обещали, но ничего из тех наград к нам не доходило...

Как побывал в бою, то увидел, что спастись нельзя. Убивают и задних, и передних. Но сзади ведь у нас сидят и смотрят, как ты себя в бою ведешь. И после боя, если остался жив, то перед строем объявляют, трус ты или нет... А куда трусов девали - не знаешь... Чтобы не влиял на других...

Вот такое было положение, и понял я, что никто не поможет, ничто не даст спасения, даже если бояться - все равно убывают.

Был случай.

Железный мост мы брали на Буге. С краю запалили село на ихней стороне. Нас два эскадрона (а там всего по полсотни, эскадроны неполны, на них коноводов половина. Я считался сабельщиком, ибо был рослее и немного уже бывалей, а новых ребят всех держали в коноводах. Они все время около коней держались, и когда надо - их брали в бой. Так держимся мы все над речкой, водичка далеко внизу... скалы такие тут... Село же только начинается, нет еще ясных улиц: одни загороды из камней, лабиринты такие выложены. Кто как мог их выкладывал, огораживая свою частную собственность.

Иду я вдоль тех заборов осторожно и вижу - огнетушитель выглядывает... Сразу пригнулся, смотрю дальше - кокарда, погоны золотые - лежит немец за ручным пулеметом. Тут я совсем упал... Никакого приказа тут не нужно... Упал за заборчик, а оттуда за угол, а потом из-за той стенки выглядываю, что там? - А он меня туда-сюда ищет, я же около него упал - вот-вот увидит... Я вскочил, через забор, и к нему.

У меня был карабин - поставил на него. А он - оп! перевернулся, и мигом пистолет у него в руке. Все мигом... Лежит на спине и на меня наставил пистолет, а я на него - карабин. И еще машу: "Брось! Бросай! Бросай оружие!" - говорю. Не стреляю. Такое вот оцепенение - и у него, видно,

тоже... потом как-то мгновенно сработало, что мне надо стрелять. И я - раз, и махнул ему в ногу. И он сразу пистолет откинулся и обмер... испугался, видно.

Я взял пулемет, там еще была коробка железная и рожки с патронами, и ему говорю: "Ком! Пошли!" - показываю вперед. Дал ему этот пулемет, только рожок вытянулся, чтоб опирался, потому что я ему в ногу выстрелил... Одно мгновение было мое: он или я. А он, видно, дошел до стресса и не смог, а то если бы сразу из пистолета стрелял, то все. Отвел я его к своим, сдал... Вот такой был момент.

Разведка.

Как подъехали мы поближе к мосту, то меня послали в разведку к мосту. Меня и еще двоих. И говорят, что ходить должен первым идти, а хлопцы после. Ну, значит, я пошел. Часовой там стоит, и немцев до черта видно... Машины стоят. На переправе всякого много. То ли меня приняли за молдаванина, то ли еще почему, но я так и прошел почти до переправы...

Володя: Без оружия?

Юрко: Не, я с оружием был, у меня карабин, только так, не очень заметно, у тела... Ну, дошел я почти до переправы, увидел, что мост целый и через него идет движение. А это была моя основная задача - узнать, цел ли железный мост... Ну, и едут по нему все... И я сразу пошел назад к своим хлопцам, что засели в канаве. Канава эта на полсела, и там не было еще немецких постов и техники. Иду я к ним, а тут выскакивает какая-то собака и бежит к ним... С какой-то ближней хаты... Ну, хлопцы из-за нее чуть поднялись, а часовые около машин увидели, что в канаве какие-то военные... И началась стрельба. Пока я добежал, одному перебило ноги... автоматом чесанули.



Второй мне говорит: "Прикрывай, а я потащу его дальше". - Ну, в общем, получилось так, что я стрелял-стрелял... Вижу, канаву ту он уже переполз и дальше потащил, а мне до каких пор стрелять, некого уже прикрывать, и патронов у меня немного, и карабин один. А немцы идут целой цепью с автоматами и стреляют, прямо сеют перед собой. Вижу, что уже пули достают до меня: автомат не слишком далеко бьет, метров на двести всего. Схватился я и побежал. Догнал своих, взяли мы раненого под руки и в какой-то сарай затащили. А тут уже наш край села, где наши кавалеристы засели...

Ну, раз мост цел, командир командует: "По коням!" Коней подвели и "по коням" - чтобы не дать немцам перебраться на ту сторону. И знаешь, быстро так... Конники... паника... И видно, что хороших частей там не было, так, собрали их шоферов и разных иных. Слабая у них была охрана. А они, как увидели нас, то сразу, кто успел - на ту сторону бросились, моторы загудели. Около той переправы столпотворение, сами собой проезд заклинили, и там черт знает, что творится. И вдруг взрыв. А приказ мы получили от командования, чтобы мост был целым. Да не получилось.

Конечно, немцев, которые остались тут - захватили около их машин. Руки вверх и куда-то повели, из села в степь. Мы же подошли к берегу, в камни. А берег высокий, весь в скалах. Они засели в тех камнях и начали бить по селу из винтовок, и все зажигательными, зараза... Село это низко лежит, но не напротив переправы, а дальше. И, конечно, оно загорелось, ведь все хаты крыты камышом, и сараи тоже. Август - жарища стоит. Короче говоря, как они стали зажигательными лупить, то там ад начался. Кони схватились. То им можно было за хатами притаиться, а тут - все горит. Все село стало свечкой, ведь камыш горит, как порох. Коней вывели, но теперь-то куда? Отступать нельзя - нам нужно к речке.

Переправа.

И вот команда: брать переправу, переправляться на тот берег. Мы прибежали к воде, и что? Там везде низенько до самой речки, а они поливают огнем. Был со мной Алешка

Бандурь, в одном взводе - тут он и погиб. Уткнулся в песок, так и остался... Я лишь почуял, что ойкнуло рядом, а знаю: кругом стрельба, и все пули рвутся разрывными. И один говорит: "Чего не посмотрел? Твоего земляка понесли". - Я только: "Да?", а их уже и не видно. Быстро очень... Ну, а тогда... Оставались нам черные резиновые лодки, потом понаходили разные доски и иные плавсредства.

Володя: А резиновые лодки откуда?

Юрко: А немецкие, да их штуки три было, немного. В основном же всяких дверей нанесли. Откуда все это собрали? Ведь село на горе. А может, прямо с хат брали, но там двери вмурованы. Их связывали, связывали всякие лапы и такое... Ну, перебрались мы на ту сторону, и они сразу утекли из тех скал в село. А мы окопались, когда вылезли в гору, за камнями. Пятаком таким окопались - до села. Приказали окопаться. Откуда-то нам поднесли боеприпасы, в переметных сумах, запасные патроны, привели и некоторое пополнение, с той еще недели, прислали и их сюда, сразу в дело. Считалось тут два эскадрона, а, наверное, по 27 человек, не более.

Наступление.

Только окопались,- приказ: "Взять село!" - Да как же? - Комэска приказал... Сам то он в бой не идет, а крайнюю хату занял и меня вперед, как связного, посыпает... , а там командир первого взвода, старший лейтенант командует. Он со своими дошел до половины села - оно чуть в низине, а потом в гору пошел. А другой эскадрон что-то отстал, в поле еще. И получилось: наша линия уже там, а они - еще так... Немцу стоит только сюда в разрыв двинуться, и мы окажемся отрезанными от своих, 200-300 м разрыва.

И вот лейтенант, кто командовал полевым эскадроном, говорит мне: "Быстро до командира, пусть он командует нашим отступить, или пусть подвинет другой эскадрон, а то нас могут отрезать". - Ну, конечно, побежал я до комэска. Бегом - и туда, и сюда.

Прибегаю до этой крайней хаты, а там - ликер... Ну, да, все, что немцы кинули: и закуска, и все. А у командира

эскадрона свита была: это санинструктор, по коням санитарный врач, старшина и еще карлик. Возил он его для развлечения - на чем хочешь играет: на аккордеоне, губной гармошке... Такая была свита. Сидят они в той хате, песни поют, а я тут прибегаю и говорю: "Товарищ капитан! Товарищ лейтенант просил, чтобы или верхний эскадрон передвинулся вперед, а то мы далеко зашли, или нам тогда нужно немного отступить".

- "Никаких отступлений! Вперед, только вперед!" - орет, аж раскраснелся. И все - другого разговора нет! Бегу я назад, а там, где уже низ, хата стоит на таком пятаке, и далее надо в горку. И тропинка ведет мимо хаты. А около нее стоит стакан горилки и тарелка со сметаной. "Матерь Божия! Такая малая людышка, ты ж голодный, голубчику!" - приглашают меня. - "Но ведь некогда"- отвечаю. - "Да, на!" - суют. Он - горилку, она - сметану. Я все же остановился, горилку отпихнул, а сметану взял, а то в горле пересохло, и без ложки, прямо с тарелки выпил, поблагодарил и побежал было, гляжу, а наших там уже нет, уже везде немцы. Все село их мундирами заголубело, и кричат наподобие нашего "Улля".

Побежал назад под горку, а там недалеко бежит наш боец и кричит: "Убегай! Снайпер бьет по той дорожке!" - и я немного в сторону отбежал. А наши все - все оттуда бегут... И что ты думаешь? Все наши и минули ту хату, где сидел комэска со своей свитой. А они в ней пьянятся, ничего не видят и не знают. Добегаю до той хаты и я.

Все побежали до окопов. Расстояние не очень большое, но до тех окопчиков все же добежать время требует. Ну, а там тоже паника. Некоторые побежали уже за окопчики, прямо к берегу, и встряли в те скалы. Черт знает что...

Ну, а я забегаю в ту хату. Не знаю почему, может, мне почему-то сказал командир, но забегаю и кричу: "Немцы!"...
(Перерыв в записи.)

... А командирская бурка казачья - это главное в эскадроне, как знамя. Если утеряна бурка командира, то расформировывается вся часть. И вот бежит он - и не может. И я на него оглядываюсь, то побегу, то останавливаюсь. А он что-то

кричит вперед, но кричит беззвучно, нет никакого звука, даже я рядом ничего не слышу. И он сам аж посинел. Ведь был выпивши, а тут такое случилось, понимаешь... Что ж мне делать?

Да ведь не так, как я говорю, а мгновенно все решается. Я ту бурку сдернул у него и бегу вперед. Понимаю: они бегут и не стреляют, значит, хотят взять живьем. Но и у меня было, чем отбиваться. Были обязательные две гранаты противотанковые, и лимонок штук пять я подобрал. Точно, как лимоны, желтые, с ручкой - очень удобно, как шуганешь ее, так черт его знает, куда летит. Противотанковая - тяжелая, а эти - легкие и с таким хвостом, далеко летят. Тут я увидел, что на пути от села до тех окопчиков выступает одна скала, нет, камень, таким приступчиком сантиметров 30, только чтоб голову и плечи спрятать. Сзади, метров на 6-7 больше таких скал нет. И хватило соображения на нем остановиться. А комэска уже почти хватают. Тут я гранату выхватил и кинул, а сам за тот уступчик... И уже от наших стрельба идет, черт его знает какая.

А у наших, значит, какой-то майор появился. Он, видно, был с политической службы, может, из дивизии, так как я видел его очень редко, но все же как-то видел. И вот, как я кинул гранату, появился майор. Схватил тот пулемет, что я принес, и орет: "В окопы, сволочи!" - потом - "тат-та-та!" - поверх голов... Ну, и очухались, почали, знаешь.

А тем часом, я с буркой за камнем лежу, и комэска добежал 7 метров, тоже упал, а над нами пули. Как майор в окопы людей загнал и сам с того пулемета начал стрелять, атака их и захлебнулась. Отбили...

Ну, а вечером, когда стрельба прекратилась, я полез к своим. И он туда уже перебрался. Он пошел вниз, а я - в окоп.

Володя: А бурку комэска взял?

Юрко: Да я ее еще раньше командиру взвода дотянул, чтобы в камни отнесли, где штаб, к мосту...

Ночная вылазка.

А потом приходит майор и говорит: "Товарищи! Оказывается, у немцев оставлен наш пулемет. Где-то оставили

станковый пулемет". Откуда он это узнал? У нас не должно быть такого пулемета, но на период наступления как раз послали к нам пулеметчика с пулеметом и другим к нему имуществом. А когда бежали, то около каких-то кустов оставили...

"Вот этот парень смелый, - показывает на меня, - и этот, - указывает на усатого дядьку из Кировоградской области, лет сорок ему. - Вам задание: взять пулемет! Будете награждены, а без пулемета мы здесь не удержимся. Немцы силы свои сюда добавляют. Завтра они будут стремиться мост забрать, а нам - надо его удержать".

Вот так, пришлось лезть снова. Но они что? - Немцы есть немцы. Они, значит, паны. Там кончается село, крайняя хата спалена, и где была межа, даже яма выкопана, и канава есть, правда, заросшая стала, как выемка. Нас заставили бы там окопаться, конечно. А они только посты позанимали по углам хат, а остальные легли спать. Черт его знает...

Володя: Дисциплина, видно, и у них стала хромать?

Юрко: Да нет, у них всегда так... Я сколько раз в окопы за языкком лазил - посылали. Вот у нас все время смотрят: не лезет ли кто, а они - дремлют, голову склонил, и лишь ракетница лежит рядом. А в траншее - углубление, завешено одеялом - и там человека четыре - не в ячейках сидят, а режутся в карты. Вот такая у них бывала картина.

Володя: Они больше на своей славе держались, что у них много хорошего оружия...

Юрко: И панские привычки еще, Володя, панские привычки, понимаешь ты. Обязательно у них во флягах спирт, сырки эти, замотанные в фольгу... Паны - культура... И в этом они сильно прогадывали в сравнении с нами.

Ну, конечно, мы долезли. Вдвоем с дядькой. Он, конечно, командовал. Как пулемет брал, то предупредил: "Ты, в случае чего, немедленно мне помогай". А у меня карабин был.

И вот зашел он, где часовой ходит, тоже, знаешь, полуспит. Пришел, повернулся туда, повернулся сюда, с угла не угол. Не успел я повернуться, как мой дядько, как кошка,

прыгнул и ножа ему в грудь всадил. Быстро поклал... Видно, битый был дядько. Вот так: раз-раз - и поклал. Теперь показывает - давай! Помаленьку. Пока кусты близки, а ночью, как посмотришь в сторону наших окопчиков, то даже стернина сереет, как человек кажется. Правда, с нами было договорено, что как только мы будем лезть, то... Но мы увидели, что нечего бояться: те спят, а те ходят под хатами. И потянули мы тот пулемет и еще коробку с лентами. Вот.

Самооборона.

А на другой день начали нас бомбить. Страшная бомбежка. Этот самолет, он очень маленький. Вот он есть, и сразу - нет. Сколько я ни стрелял - не попал. Один даже совсем близко пролетал, и летчик перегнулся - а все равно не попал. Главное, спрятаться от бомб некуда было. И окопчики наши спасти не могли... Но и немцы не попадали.

И так они целый день бомбили. Одна партия самолетов отбомбится, другая появляется... Наша авиация? - не видели. Не было. А те кидают, и такое они там наворотили на этом пространстве между селом и нами - но почти все остались живыми! Ударило, конечно, там и там, но... живы.

- Но теперь - говорит - берегись! Все боеприпасы приготовить, патроны, оружие, все, что было из переметных сум. А - ни кухни, ни артиллерии нашей нет. Отстали - черт знает, где они. Нет ничего. И патронов нет. Я нашел, правда, еще пулемет их, и к нему две коробки рожков.

Наш пулемет звучит: "та-та-та", а их - "Кр-о-у-ру" - и рожок выскакивает. Насобирали хлопцы патронов, автоматов набрали... И правильно. На другой день шли беспрерывные атаки. Целый день. Атака за атакой. И зачем? Ведь видят, что смысла нет, а все равно гонят на нас и гонят! А мы уже пристрелялись бить их короткими очередями... Они же идут в полный рост, как раньше в кино показывали белогвардейцев, их психическую атаку. Но - не доходят...

На другой день - затишье. Утром, нет, ночью - снова патроны. Осталось их мало, и гранат тоже мало, и другого нет. И никого из начальства нет! Понимаешь?

Мой окопчик был так, что с одной стороны соседом у меня был Курбанов, а с другой стороны старик, тоже узбек. Так что ж ты думаешь? Ведь третьи сутки не ели ничего... и не ясно, как можно так... Прокопал я у себя так, что на коленях встать можно, а дальше идет сплошная скала, камень. И в ней понемногу вода собирается, не от речки, конечно, а от грунтовых вод. Мы сначала эту воду ругали, потому что стоять в окопах в воде тяжко, и тело от нее сделалось таким - с рубцами от раздражения...

И вот тихо стало, а тревожно: а вдруг надумают наступать, а нас там мало и без патронов. И сосед мой стоит на коленях, положил голову на камень-стенку и спит-храпит... - "Что ж ты делаешь? Ты ж пойми: на тебя будут лезть, я и не услышу... Я от твоего храпа ничего не слышу..." - Полез, разбудил. И далее... Так я лазил-лазил меж соседями, а то вылезу и гуркну на них. И грозил: "Спать будешь, убью!" - и так - до другого. Но пока от того обернусь, этот уже спит.

Володя: Ты что, был отделенным?

Юрко: Да, нет. Но не было никого из начальства, ты понимаешь? И где оно? - Так, самооборона... Наступило такое, что геть - сморился. Поклал голову... тай заснул. Не знаю, долго ли я спал, но тормошит кто-то: «Вылезай!»

- Що? Немцы? - Нет, нет! Подошла пехота нас менять. Давай, давай, быстрее, быстрее... О, Боже, радость!!!

Ещё момент о пленных и перебежчиках.

Ещё был перед тем такой момент, что ... Значит, позвали нас вниз до речки исты (есть) по очереди... В ведре наварены куры, прямо выпотрошены - и картошка. Захолонула она и стала как холодец. Даже не хочется есть, а тут курки... почти по курке каждому... раз, вынул и грызешь... без хлеба, без ничего. Но все же сгрыз полкурки. Но знаешь, дорвался с голодухи - и курка сразу, у меня живот и заболел, треба где-то оправиться. Вниз идти нельзя, бо там вроде как штаб организовали начальство. Где ж денешься, нема где деться. Заметил я, что метрах в 20 сзади - такой кол высоченный стоит, кругом него камни насыпаны. Решил - в камни, ведь нигде не сковаешься,

отовсюду видно. Вот помаленьку и полез до того кола... И вдруг, раз: лежат два немца! За тем колом! В немецкой одежде, в пилотках с немецкими знаками...

Володя: Мертвые?

Юрко: Нет, живые, молодые хлопцы, ну, такие, как наш Вадим. И мне сразу: «Мы русские, мы русские», - «Русские? А как же это вы так?» - «Мы были отставшими, нас и забрали в плен...» Один с Курской области, а другой забыл... Спрашиваю: «Как вы сюда попали?» - А они: "Умирали с голоду в лагере... А потом мы решили, что пойдем - нам только выйти, а тогда перейдем к своим..."

Я думаю: «Боже, на что это мне? Я же должен отвести их...»

Володя: К особисту?

Юрко: Да не к особисту, а к своим... А их там... А их там ведь просто расстреляют... Это ж обязательно... Я уже когда лез, то видел немца своего, уже расстрелянного.

Володя: Обязательно расстреливали пленных?

Юрко: Ну, а что ж? Кто же их будет держать и возиться с ними? И кто там будет с ними разбираться...

« Так что хлопцы, - говорю, - идите». Их оружие я забрал. Не знаю, что там закопано было, бо открыта была земля, где они лежали... Свежевырыто было, но я и не смотрел, что там...

Володя: Ну и что, так и шлепнули этих ребят?

Юрко: Да! Они еще просили: дай нам хлеба в обмен на спирт! Он у них во флягах был. У нас во флягах вода, а у них - спирт... А я себе думаю: этот спирт я и себе не возьму и вам он не нужен будет. Отдал я им что было у меня хлеба и сырки,... бо знал, что будет...

Володя: А сказать, объяснить им положение ты не мог?

Юрко: А как же я им это скажу?

Володя: Да, конечно. Постреляли их?

Юрко: Да! Я когда ужинать ходил, то видел, что они уже лежат там... Вот какое это "впечатление". И вроде на моей

совести две жизни - а я не мог иначе... А если бы еще кто другой подошел?

Володя: Да, тогда и тебя бы положили...

Юрко: Да, Боже! Без всякого сомнения, сказали бы: "Ты что? Предателей укрываешь?" - и сразу!

Вот такое получилось. А ведь оно, конечно, молододурне... И что они там понимали... Им бы надо самим переодеться где-нибудь, зайти в любое село и сказать: "Дайте одежду какую-нибудь..." - И кто их поймет, может, это разведчики какие?

Володя: Да, а там же в армию вступить сразу...

Юрко: Ну, либо в армию вступить, либо пойти далеко-далеко в наш тыл. А там уже как-то разбирались бы, хотя бы в лагерь отправили, а тут же кто разбирается... На фронте никто не разбирается...

Про ордена опять

. И вот, как пехота наши позиции заняла - радость такая. Это ж ад был, и мы выходим из ада. То были без ничего, а тут вот - подмога пришла! И мы живыми себя почуяли. Ведь думалось, что уже готовы, нет никакой надежды. И вот... А они все подкрепляли - и уж самоходки пришли, встали на селе. Такая радость сразу - давай переплывать назад. И что ты думаешь?

Мне еще повезло. А там одна лодка, в которую наши сели - и вот, может, они ее заметили, черт его знает, а ведь еще темень была, до рассвета - и как начала бить артиллерия, и как жахнуло под той лодкой - то ее подняло и бросило, что никто не выплыл - только сама она дальше поплыла разбитая - в быструнку у моста...

Остальные же вышли к коням...

- "Так, Красовитов,- награждается орденом Красного Знамени! Орден и документ получите на месте формирования!... Такой-то... - то-то..."

И так зачитывали прочим...

Володя: Ну, и получил?

Юрко: А получил дулю!

Володя: Как?

Юрко: А так! Сразу бросили нас под Кишинев. Формировка была на ходу. Добавили свежих новобранцев - и под Кишинев: взять станцию. Пришли под станцию. А там такая горища...

Володя: Юра, тебе хоть последнюю награду дали?

Юрко: Да ничего... Да какая разница... А-а... за этот ... "Отечественной войны первой степени" дали...

На марше.

Володя: Но вам хоть дали отдохнуть две недели?

Юрко: Нет! Сразу, я тебе говорю, сразу бросили... Кавалерия так и воевала: где-то проехали 40 км - и в бой! Проехали - и в бой! Ни спать, ни соснуть не дают!

Володя: Но ведь нельзя без сна и отдыха?

Юрко: А вот так! Вот пока эти 40 км ехали ночью - то и отдых. Кони идут, а все спят, только головы колышутся... А у меня была еще командирская лошадь - от убитого командира. Под драгунским казачьим седлом - оно удобней. Драгунское - тяжелее, и красота в нем есть, а то - подушечка, лука - хорошее... Но, бывает, что некому это и взять...

Эскадрон был почти весь из нацменов, все на одну рожу... и даже ординарец. Старший лейтенант. Я взял эту кобылу, она была высока, красива, тонконога. А бежит!.. У меня там был конь раньше, то километра два-три проехал - и все сбил. А эта - и галопом, и рысью, как хочешь... Но, как бывало, выезжаем строиться, по пять человек, то с ней сложность - не привыкла. Привыкла быть в командирском строю. А ночью я сплю, шатаюсь, а она из строя вышла и пошла... И никто меня не останавливает, не спросит...

(Л.Ткаченко: *Рассказы Ю.И.Красовитова закончились, даже не дойдя до времени его ранений. О них и о послевоенной его жизни рассказали сёстры Нина и Оля (см. "Воспоминания Нины Ивановны Красовитовой"¹¹)*

¹¹ <http://www.sokirko.info/Tom7/Nina/>

Приложение 6.

Воспоминания Нины Ивановны Красовитовой (24.05.1917-26.05.2010гг.)



Моя родня

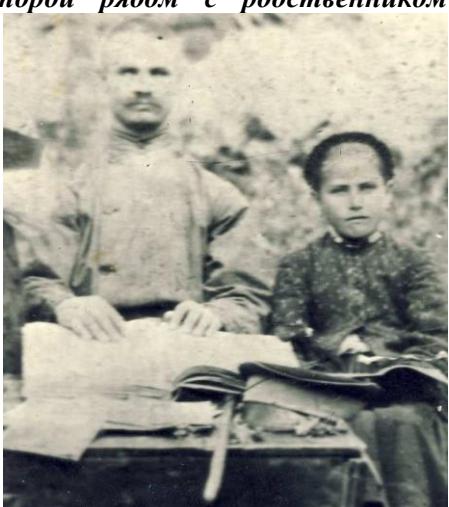
Дедушку я помню очень плохо. Его звали Сокирко Иван Степанович. Он был крестьянином, обрабатывал землю и еще копал людям колодцы, погреба. В копке и устройстве колодцев он был мастер, хотя это была тяжелая работа, и может, потому дедушка умер раньше, чем я могла его запомнить. А вот бабушку Марту помню лучше, она прожила дольше – отец забрал ее в свою семью, когда она была совсем больна, и я за ней ухаживала. Она умерла у меня на руках летом страшного 1933 года.

У бабушки и дедушки было пятеро детей: три сына – Иван, Данила, Климентий, и две дочери – Василиса и самая младшая из детей – Груния, наша мама. Жили дедушка и бабушка

напротив нынешнего музея Т.Г.Шевченко. Тогда, правда, там была только старая усадьба деда и бабы знаменитого поэта.

В. Сокирко: Ниже приведена фотография из музейного архива, на которой рядом с родственником Кобзаря (Т.Г.Шевченко) соседская девочка из моего прадедова рода Сокирко по уверению сотрудницы музея).

Выходит, она – какая-то моя часть, и сейчас через нее я смотрю на самого себя, тогдашнего, в ней. Это кажется странным, но это так. Слава Богу, сохранились наши семейные фотографии



дореволюционного времени, главная из которых для меня – жены Ивана Сокирко Марты с сыновьями Данилой и Клином и внуком от Клима – Владимиром – моим отцом. Через это фото со мной в прямой связи находится род моей прабабушки Марты.

Старший из братьев, дядя Иван (Иван Иванович), после женитьбы остался жить и работать в отцовской хате. Его брат – дядя Данила(справа на фото) стал прекрасным сапожником. Он мастерски шил любую обувь: сапоги, туфли,

ботинки на заказ богатым людям, и на этом хорошо зарабатывал. Долгое время он жил и работал в Киеве, где познакомился с девушкой. Звали ее Оля. Он женился, а когда началась революция, возвратился в Кириловку, потом купил и достроил хату в хуторе Юрково и там жил до конца своих дней. Но в свое последнее время очень болел и умер от туберкулеза легких. У них было пять сыновей: Витя, Сергей, Дима, Вася и Коля.

Дядя Климентий жил в местечке Тараща и работал на богатого хозяина. Он славился как портной и мог сшить любую одежду: костюм, пальто, брюки, белье. Шил он и богатым, и бедным. Все его любили и благодарили за красиво пошитую одежду. Наша мама очень любила своего брата Клима. Он всегда давал ей полезные советы.

Однажды его пригласил к себе местный помещик. У того была племянница Антонина, и он решил выдать её за красивого, трудолюбивого парня. Женившись, дядя Клим скоро переехал в Кириловку, взял участок и построил дом. У них родился сын Владимир. Была еще девочка, но она умерла маленькой. Может, от потери дочки появились странности в поведении Антонины, что сделало сиротою маленького Володю.



В. Сокирко: *О матери моего отца Антонине Зелинской мне было известно от отца только то, что она бросила его. Это осталось его всегдашей болью, и он даже не упоминал её имени. Я не понял причины этого разрыва и могу только гадать. В семейном архиве Красовитовых есть, по-видимому, половина свадебной фотографии Клима и Антонины, на которой видны дамская рука и подол нарядного женского платья (до пола). Скорее всего, отрезание Антонины произошло в связи с их драматическим расставанием.*

В войну Клим ушел на фронт, попал в плен и приехал в село только после

поражения Германии в 1918 году. Но к жене он не вернулся. Примирение не состоялось. Антонина осталась жить в его доме под крылом его матери Марты, которая как бы приняла на себя опекунство над своим внуком Володей. Судя по неохотным пояснениям Красовитовых, у Клима появилась в селе вторая (гражданская) жена и даже, кажется, ребенок, но их отношения так и не были официально зарегистрированы до скоропостижной смерти Клима в 1922 или 23 году. Так Володя стал круглым сиротой в родной хате и при родной матери и бабушке. Реально же попечительство над ним приняла на себя партийная ячейка села и воспитала из него верного партийца, окончательно оттолкнув от непонятной матери. Я думаю, что в драматической судьбе моей бабушки Тони виновно слишком поспешное и, возможно, нежеланное замужество, и смерть второго ребенка... Володя же оставался верен памяти отца, хотел ему подражать, учился шить. И хотя судьба и армия



власти повернули его к профессии авиатехника, он

продолжал любить портняжное дело. Нам досталось любоваться сшитыми им вещами.(пальто для внука Артема).

Василиса и Груня продолжали жить со своими родителями и старшим братом Иваном. Но тетка Василиса не мирилась с невесткой, и потому родители поспешили выдать ее замуж. Василиса встречалась с парнем, они любили друг друга, но родители не выдавали за него, потому что он был бедный.

Но вот к Василисе посватался Павел Крицкий, вроде бы и богатый, имел хозяйство и деньги. Он был некрасивым и тете неприятным, но родители ее уговорили. Потом оказалось, он просто одолжил у хозяев пару лошадей и несколько золотых, чтобы только сосватать за себя Василису. А мужем он оказался жадным и скучным, выдавал ей продукты на приготовление пищи по счёту. Бывало даже, когда работали в поле, то он ехал на возу, а она шла за возом пешком – не разрешал садится, чтобы не утруждать лошадь. Но у них было трое детей: Татьяна, Мария, Василий. **На фото Юра Красовитов (слева, стоит рядом с Василисой) и потомки Василисы (1953г)**

Начало нашей семьи



Последняя дочка Ивана и Марты, Груня, работала в церковно-приходской школе на кухне, помогала повару готовить обеды для учеников. Она была приветливая, обаятельная, трудолюбивая девушка. А мой отец, Красовитов Иван Михайлович, приехал в наше село в 1910г. учительствовать и приметил красивую девушку Груню.

В.Сокирко: *К счастью, сохранились и «Трудовая запись священника и педагога И.М.Красовитова» 1921 года, и несколько их фотографий*

дореволюционного времени (на последней Груня, похоже, уже на сносях, в ожидании первенца – Раи)

Сам он родился в 1885 году в Орловской губернии. В 1907 году окончил курс Орловской духовной семинарии и начал учительствовать в церковно-приходских школах: сперва в селе Орёво Орловской губернии, потом на Украине – в Тараще, Кириловке. Преподавал географию и математику. Ученики его любили, и Груня полюбила. Они встречались больше года. Перед своим отъездом он дал Груне денег на фото, взял фотографию с собой и сказал ей: «Жди Груня, я за тобой приеду». Слово свое сдержал, приехал. Маму нашел у сестры Василисы. Она была у тетки на хозяйстве, пока та гуляла на свадьбе, играемой у родителей мужа. Отец сказал маме: «Груня, я приехал за тобой. Поедем к моим родным». Бабушка Марта не соглашалась отпускать дочь, потому что та была молода, и у нее еще не было приготовлено все приданое. Но отец сказал, что ему не надо приданого, он возьмет ее, в чем она есть.

Они поженились 7 ноября 1912 года, и отец сразу же увез жену к своим родителям в Россию. Когда приехали в Киев, отец купил маме новую одежду, а маму предупредил: «Учи, Груня, если мои родные будут называть тебя по имени, значит, ты им понравилась, и они приняли тебя в свою семью. Если будут называть по имени и отчеству, значит, не понравилась». Мама

очень беспокоилась, как ее встретят. Родители отца были



интеллигентные образованные люди, но о них я очень мало знаю. Мою бабушку по отцу звали Анной, а дедушку Михаилом. У них тоже была большая семья: два сына и пять дочерей: Маня, Саня, Валя, Глаша, Нина, а как звали младшего брата отца, к своему стыду, не знаю. Родители папы встретили маму доброжелательно. Она была хоть и молодая, но очень умная и обаятельная. Она приглядывалась к свекрови, во всем ей помогала, выполняла любую работу. Ей никто никогда не загадывал, что делать – она сама знала. Свекрови невестка понравилась, и она стала называть ее по имени, а сыну сказала: «Ваня, у тебя хорошая, добрая и умная жена, береги ее».

Папа устроился на работу. Привожу запись из его первой трудовой книжки (она чудом сохранилась): «Преосвященным Зиновием Козловским рукоположен во Диакона к Успенской церкви Карабаевского уезда, Орловской Губернии села Бочарок 30 июля 1913 года. Тем же Епископом он рукоположен в священники к той церкви 1 августа 1913 года». Был учителем в земской школе села Бочарок. Здесь родилась Рая 12 декабря (29 ноября ст. стиль) 1913 года. С 1 сентября 1915 года переведен к Покровской церкви села Ново-Троицкого Мариупольского уезда. Здесь 2 октября 1915 г. родился Алеша, а 24 мая (11 по ст. стилю) 1917 г. – я . Здесь же родился Женя 17 августа (4 по ст. стилю) 1918 г. Отец работал. Мама нянчила уже четверых детей.

Пришла революция и гражданская война. В стране стало неспокойно, неразбериха и хаос. Власть менялась несколько раз в день. Заходили то красные, то белые, то петлюровцы, то деникинцы. Жить стало тяжело и голодно.

В Сокирко. «Лишь совсем недавно мне пришла в голову мысль, что в той самой церковно-приходской школе села Кириловка, где преподавал Иван Михайлович Красовитов, получал начальное образование и мои отец Володя Сокирко, и в памяти всплыли отцовские насмешливые рассказы про церковно-приходскую школу вроде заучивающего молитвы по пуговицам своей рубашки школьера: «Вначале идет пуговица у горла. Это Бог-Отец, потом вот у груди идет вторая пуговица, это Бог-Сын, а вот на животе где-то должна быть третья

пуговка, это Бог-Дух Святой! Да где же она? А-а, ее матери мне до ширинки пришила». Это очень похоже на рассказанное отцом же поручение школьяру от батьки «принести от соседа ножницы, чтобы овец стричь», на ходу сын повторяет наказ, но от частого повторения ножницы превращаются у него в «долото». Сосед слышит о долоте, чтобы овец стричь. Вспомнилась еще одна школьная присказка времен церковного обучения, правда, рассказал ее мне учитель русского языка как пример школьного сочинения с началом из слов на «о». «Обозревая окрестности Онежского озера, отец Онуфрий обнаружил отроковицу Ольгу, омывающуюся оным озером. Ольга, отдайся, озолочу. Отроковица Ольга согрела отца Онуфрия оглоблей. Отец Онуфрий околел»

Но это, конечно, из гимназических анекдотов.

Ни разу у Красовитовых таких шуток я не слышал

Возвращение на Украину

Мама поехала на Украину, чтобы взять кое-какие продукты. Она очень долго ехала, потому что поезда ходили не регулярно и были переполнены беженцами. Отец очень волновался, что долго нет мамы, но она вернулась и привезла продукты. В то время на Украине было немного спокойнее, и мама уговорила отца переехать туда.

Временно они жили в доме дяди Клима, где жила и бабушка Марта, помогавшая Антонине растиль нашого двоюродного брата Володю. Нужно было строить своё жилье. Недалеко от Кириловки, в 8 км, был хутор Юрково. Дядя Данила уже там жил. Он рассказал отцу, что там наделяют землёй под строительство хат и для ведения хозяйства. Хутор Юрково принадлежал к селу Боровиково, где был сельсовет и начальная школа.

Отец поехал в Боровиково и получил разрешение на надел земли и строительство дома. Отец и мать сразу же переехали на хутор и начали строить временное жилье-курене из жердей и соломы – пруты носили с леса, а солому с поля. Все

делали сами, своими руками, носили на своих плечах. Еду готовили на дворе, на кирпичах.

19 марта 1923 года родился Юра. Летом этого года случилась беда. Все ушли на работу, дома с Юрой осталась только Рая. Ветер раздул костер, на котором готовили еду, огонь перебросился на курень, и тот загорелся. Рая успела выхватить из куреня маленького Юру и отнесла его подальше. Вернулась, чтобы спасти что-нибудь из вещей, но огонь моментально все сожрал. Погорело все: одежда, ковер, перины, подушки. Мама, увидав дым, догадалась, что горит у них. Она бежала со всех сил, но когда прибежала, все уже сгорело. Она плакала от горя и радости и благодарила Раю, что она не растерялась и спасла Юру.

Хутор Юрково расположен на равнине, в нём – две улицы, один конец которых тянется к ставке (пруду), а другой к полю. Вокруг ставка растут вербы, из него выбегает узенькая речка. Огороды с одной стороны тянутся к полю, а с другой – к речке, а потом огороды тянутся от речки к хатам. Там, где заканчиваются хаты, расположено кладбище, а за кладбищем – хуторское поле. Хуторское поле отделяется от Зеленяньского глубоким рвом. Гребень рва зарос травой. По гребню шла тропинка под уклон и вела к лесу. От хутора до леса 4-5 км. Лес тянулся от Зеленяньского поля к селу Боровиково. Под лесом было наше поле, где сеяли рожь, пшеницу, ячмень, сажали арбузы, дыни и овощи.

Строительство хаты.

Жизнь налаживается. Когда курень сгорел, ночевали под открытым небом. Начали строить хату. Строительным материалом была обыкновенная земля и солома. Солому собирали на поле после уборки урожая. Воду носили на коромысле со ставка под уклон через двор и огород соседей на расстоянии 300-400 метров. И воду и солому носили на плечах. Среди двора накапывали земли, заливали ее водой, бросали туда солому и босыми ногами месили. Когда земля с соломой бывала

замешана, закладывали ее в специальные деревянные формы для самана. Саман раскладывали по всему двору и сушили на солнце. За лето наделали самана на хату. Всю эту тяжелую работу делали отец и мама.

Для верха хаты нужен был лес, древесина. Отец пошел к леснику, который жил по соседству, за помощью. Денег на покупку дерева не было, и они договорились, что отец будет отрабатывать стоимость дерева. Отец делал у лесника самые трудные работы: пахал, сеял, убирал урожай, обколачивал и привозил к нему домой.

Наконец, из самана сложили стены, из дерева сделали верх, покрыли снопами ржи. Рожь отец вырастил на своем огороде. При строительстве хаты помогали мужики из Кириловки – отец позвал. К зиме хата была построена. В хате сделали печь, грубку, лежанку. Возле грубки поставили топчан, сколоченный из досок, длинную лавку, полочки, где ставили всякую утварь. Бабушка Марта дала маме несколько ряден, чтобы застелить топчан, лежанку. Стены в хате были мокрые, потому что грубка и лежанка не могли быстро обсушить хату. Пол был земляной, его застилали толстым слоем соломы. Первую зиму высушить хату не удалось.

Вот и вся обстановка, но мы были рады, что все вместе живем в хате. От строительства хаты остался еще саман и дерево, и родители решили построить сарай. Когда построили сарай, то отец купил жеребёнка. Вырастил его и тот помогал отцу по хозяйству. Для лошади нужна была телега. Телегу дал дядя Иван, но она была ветхая. Помог отцу её отремонтировать кузнец Коцюбинский. Он и его жена дружили с моими родителями. Потом родители купили телочку, и уже через два года мы имели корову. Дальше отец купил пчелосемью и развел пасеку. У него было 8 ульев. Он поставил пасеку в вишневом саду. Потом тот же Коцюбинский помог отцу сделать борону и плуг, чтобы легче было обрабатывать землю. Старшие дети помогали по хозяйству, ездили с отцом и мамой на поле, убирали урожай. Младшие пасли корову, лошадь.

Когда отец вез с поля арбузы, он угождал всех, кто встречался: пастушков, соседей. Когда качал мед, тоже угождал соседей. Жизнь налаживалась. Отец и мама очень тяжело трудились и на своем поле, и отрабатывали за дерево, но они были молоды и работали, чтобы растиль детей и лучше жить.

Наши соседи.

С правой стороны от нас жил Голуб с сыном и женой. У них тоже была земля, но они мало на ней работали. Хата была маленькая, без одной стены и дверей, была покрыта полынью, а вместо дверей стояли вязанки из полыни. Он любил ходить в гости ко всем соседям, хотя его никто не приглашал. Почти каждый день заходил к моим родителям. Федор хорошо выучил, когда мама подает завтрак, и никогда не опаздывал. Хотя наша семья была большая, мама и ему давала поесть.

С левой стороны жила Перепичка со своей семьей. Через улицу напротив нас – семья Цегельников. У них было двое детей: сын и дочь. Сын Федосей был инвалидом детства, горбатый, но добрый парень. Работать он не мог, всю работу делала его сестра Ульяна. Отец часто помогал им по хозяйству. Помню, что всей семьей они уехали на Дальний Восток по вербовке. Хату же продали Олейникам. Кондрат и Евдокия Олейники подружились с моими родителями, и эта дружба длилась многие годы.

Еще в соседях были Яровичка, Шванка, Коцюбинские, Демченки, дядя Данила. Отец со всеми соседями был в дружбе. Всем помогал, чем мог. Многие благодарили его, а иные завидовали: в глаза были хорошими, а за глаза делали всякие гадости.

Смерть братика Алёши

Алеша был старше меня на два года. Он рос умным, красивым, добрым, чутким мальчиком. Когда мама горевала и плакала, Алеша тогда подходил к ней, садился рядышком,

обнимал и просил: «Не плачьте, мама, мы подрастем, будем вам помогать: я дрова колоть, Женя носить воду, Нина на огороде». Родители отдали его в школу в селе Кириловка, и он жил у бабушки, лишь на каникулы приезжая на хутор. Алеша ходил уже в четвертый класс. Но однажды после внеочередной побывки дома он очень не хотел возвращаться в село: плакал, убегал. Отец еле уговорил его ехать учиться. Прошло немного времени, и бабушка сообщила маме, что Алеша заболел. Мама сразу же пошла к нему. У него была высокая температура. Мама отвезла Алешу в больницу к доктору Цветанову, но спасти Алешу не удалось. Алеша умер в 11 лет, в 1926 году. Похоронили его в Кириловке на кладбище в центре села.(Это кладбище снесли в 50-ые годы при строительстве техникума.) Родители и мы, дети, очень плакали за ним. Он всегда живет в моей памяти.

В 1926 году родилась Маруся, а в 1928 году Валя, но в 1930г. Валя умерла. Снова горе и скорбь о ребенке. Похоронили Валю на хуторском кладбище.

Коллективизация.

Когда Советы окончательно пришли к власти, началась коллективизация. Каждый день созывали людей на собрания, проводили агитацию о том, как хорошо они будут жить в колхозе. Большинство людей не верили в эту сказку и надеялись, что не придётся вступать. Сперва записывались в колхоз те, кто не хотел работать на своем участке. Они думали, что ничего не будут делать, а им будет падать манна небесная. Они будут спать под одним одеялом, и вареники сами будут в рот вскакивать.

Наши родители не стремились вступать в колхоз, но началось принуждение. Отец еще некоторое время работал на своем поле, но сеять и сажать то, что он сам хотел, комнезамы не разрешали. Они заставили контрактовать землю и сеять сахарную свеклу, которую он должен был посеять, вырастить, убрать и своей повозкой вывезти на Ольшанский сахарный завод на расстояние 20 км. За весь этот труд ничего не платили.

Уполномоченные, активисты, комсомольцы ходили по дворам и забирали у людей коров, лошадей, инвентарь. Забрали все и у наших родителей. Деваться было некуда, и они записались в колхоз.

Школьные годы.

Мы с Женей ещё до коллективизации пошли в школу. В хуторе была начальная школа, и мы проучились в ней 3 года. В 4-й класс начали ходить в село Боровиково за 4 км, в семилетку. Мы с радостью пошли в 4-й класс, но радость наша была краткой. Учителяствовал в этой школе Демченко Иван Дмитриевич. Он знал о том, что наш отец русский, что он из духовенства. Он плохо относился к таким людям, как мой отец. И к нам он стал относиться плохо. Когда он заходил проводить урок, то сразу обращался к нам: «Выходите из класса». Мы сперва не понимали, за что он нас выгоняет, и не спешили выходить. Тогда он подходил и за шиворот со злостью выталкивал нас за дверь со словами: «Вон из класса, поповские морды». Мы шли домой и плакали. Нам очень было обидно: мы хотели учиться, а нам не давали.

Сначала мы ничего не рассказывали родителям, но вскоре все открылось само собой. Учитель этот и учеников настраивал против нас. На уроке он рассказывал, что Бога нет, и говорил: «Дети дайте богу кукиш (дулю)». Дети давали кукиш, но не Богу, а учителю прямо в лицо. Когда я и Женя вместе со сверстниками шли домой, они дразнили нас, нападали на Женю. Это было почти ежедневно. Мы терпели, но однажды, когда Явух, по прозвищу Царек, начал дразнить Женю и хотел его ударить, терпенье мое лопнуло. Я набросилась на Явуха и начала его колотить. Он не ожидал такого напора и не отбивался, а кричал и звал на помощь своего отца: «Папа, папа!» Дома он пожаловался своему отцу, что я его отколотила. Его отец пришел к моему на разборки. Не знаю, о чем они говорили, но когда тот ушел, мой отец позвал меня и спросил, как все было. Я рассказала всю правду, и он меня не наказал. Я рассказала отцу об учителе, что выгоняет нас из класса. Он очень

огорчился и попросил нас потерпеть в надежде, что поменяется учитель. Почти месяц мы не ходили в школу, но задания узнавали у одноклассников и всё делали. Однажды они сказали, что их учит другой учитель. Звать его Ильченко Иван Федосеевич. Мы пошли снова учиться. Нас уже никто не выгонял из класса, и мы окончили семилетку.

Моя подруга меня предала.

Мою подругу звали Натальей Голуб. Жила она с матерью недалеко от нас, через хату. Мы вместе росли, играли, ходили в школу и закончили семилетку. Я ходила к ней, она ко мне, часто вместе учили уроки. Мне учеба давалась легче, ей труднее. Мне достаточно было два раза прочитать, и я все запоминала, а ей нужно было зазубривать, за это она иногда сердилась на меня, но я этому не придавала значения.

Учились мы уже в седьмом классе, и нам на двоих выдали учебники: ей физики, а мне химии. На протяжении года было все нормально. Мы делились учебниками. Пришло время выпускных экзаменов. Началась подготовка к экзамену по физике. Договорились, что Наталья подготавливается первый день, а на следующий дает мне учебник и подготавливается я. На следующий день я пришла к ней, но не застала дома. Мать сказала, что Наталья ушла в поле по свекловичную ботву. Я приходила к ней несколько раз, но ее не было, она не приходила. Время шло к вечеру, откладывать было нельзя, ведь завтра экзамен, и я пошла искать ее на поле. Прошла вдоль растущих вишен по тропинке вглубь сада и увидела, что она прячется от меня в зарослях: простелила здесь ряднужку (подстилку -Л.Т.) и целый день зубрила физику, а матери сказала, чтобы она меня обманывала.

Она спряталась, чтобы не дать мне учебник, чтобы я не подготовилась к экзамену и сдала хуже ее или вовсе не сдала. Она открыто сказала, что учебник мне не даст. Мы поссорились, но учебник я всё же получила и целую ночь просидела над ним. Все повторила и экзамен сдала «на отлично». Подруга тоже сдала «на отлично». Мы обе получили свидетельства об

окончании семилетки, помирились и решили вместе учиться дальше.

В газете прочитали, что проводится набор в Киевский медицинский психо-неврологический техникум. Я, Наталья, и еще пять девушек нашего выпуска поехали поступать. Две девушки провалились, остальные успешно сдали вступительные экзамены.

Начались занятия в техникуме.

Учеба мне давалась легко. Я радовалась, но через два месяца меня вызвали к директору. **Он сообщил, что отчисляет меня из техникума** по той причине, что пришла бумага на моего отца, что он из семьи священника, сам окончил Духовную семинарию, что он лишен права голоса и еще много всякой грязи. После разговора с директором я поехала к своей тете Мане, папиной родной сестре. Она была замужем за Митрофаном Ивановичем. Он читал лекции в институте. Я очень была расстроена, плакала, они еле успокоили меня. Дядя Митрофан на следующий день поехал к директору техникума, поговорил с ним, и меня оставили учиться. Но кто-то был заинтересован в том, чтобы меня исключили из техникума. Через неделю снова поступил донос на моего отца с угрозой, что если меня не отчислят, то жалоба пойдет в вышестоящие организации.

Меня снова вызвали к директору. Он сказал, что не хочет иметь неприятности и рисковать своей карьерой и отчисляет меня из техникума. Я очень плакала, горевала и делилась своим горем с Натальей, не зная, то это она написала про моего отца и, подписалась другой фамилией. Так подруга испортила мне жизнь.

Я забрала документы и приехала домой. Рассказала обо всем родителям. Они огорчились, но ничего не могли сделать. Такая была политика. Я помогала по хозяйству, но нужно было искать какую-нибудь работу, чтобы хотя бы купить себе кофточку и юбку.

Продолжение коллективизации.

Коллективизация в хуторе продолжалась. Людей загоняли в колхозы. Советские работники начали настраивать людей один против другого. Те крестьяне, которые трудились и имели свое хозяйство, объявлялись врагами бедных. Крестьян начали делить на кулаков, единоличников, колхозников. Единоличниками считали крестьян, которые имели лошадь, корову, свиней, птицу и сельхозинвентарь. В хуторе таких семей было пять. Так, один крестьянин числился куркулем только потому, что у него крыша дома была покрыта железом. Когда начали организовывать колхозы, то все наделы на полях забрали в колхоз. Обрабатывать земли в колхозе было нечем. Отобрали у крестьян сельхозинвентарь: плуги, бороны, котки, культиваторы и др. Потом принялись отбирать лошадей, коров, свиней, птицу. Ходили целые бригады, организованные из бывших лодырей. Они уже чувствовали себя хозяевами и с удовольствием забирали у людей заработанное честным трудом. Сопротивляться не было никакого смысла, сразу объявляли врагами и забирали неизвестно куда, и больше в хуторе их никто не видел и не слышал. Многие просто убегали тайком, бросив свои хаты. Среди людей возникло недоверие друг к другу. Не обошло это горе и нашу семью – пришли бригадой к нам, забрали все нажитое тяжелым трудом: лошадь, корову, инвентарь.

Люди ходили в колхоз на работу, но за работу им ставили только палочки – так называемые трудодни. Насчитывали на трудодень по 100 г зерна. Многие крестьяне разочаровались в колхозе, особенно те, кто мечтал о райской жизни. У тех, кто перестал ходить на работу в колхоз, отбирали землю около хаты – опахивали вокруг хаты, и земля уже считалась колхозной. Бригадиры давали задание на каждый день. Если крестьянин не выходил на работу, то придумывали наказания. Так, делали деревянный щит, на нём большими буквами писали «Я лодырь и прогульщик», вешали его на спину мужчине или женщине и водили по всем участкам, где работали

колхозники. Мои родители уже работали в колхозе, потому что надо было кормить детей.

В 1925 году старшая сестра Рая уехала в Киев, как на спасение. Ее взяла к себе тетя Маня. У тети Мани и дяди Митрофана было две дочери: Мария и Надежда. У Надежды семейная жизнь не сложилась, она разошлась с мужем и осталась с маленьким сыном Левом. Она и пригласила Раю нянчить Леву. Потом Рая устроилась на заводскую кухню и проработала там до начала войны. Она помогала нам одёжкой и обувкой.

В колхозе урожаи были плохие, и государство решило пополнить свои закрома крестьянским хлебом. Каждому крестьянскому двору доводили план сдачи зерна государству. То зерно, что крестьяне зарабатывали на трудодни, домой почти не привозили, а сразу сдавали государству. Но этого им было мало. Так, они организовывали бригады колхозных активистов-комсомольцев, которые ходили с острыми железными прутьями, перерывали ими весь двор, искали везде: под печкой, под лежанкой, в кладовках; в сараях, пересматривали все уголки. Забирали все, что находили: фасоль, просо, гречиху, рожь, пшеницу. Даже если находили горсть зерна, конфисковали её, оставляя людей голодными.

Эти постоянные обходы, грабежи людей властями привели к страшному голоду 1932-1933 гг., когда нечего стало есть ни людям, ни скотине. В колхозе начался падеж скота. Люди разбирали эту падаль и ели. Некоторые люди кормились кошками и собаками. Даже доходило до людоедства – матери убивали своих детей и поедали. Страшные настали времена. Одному ходить было невозможно. Если шли в лес за дровами, то собирались человек по пять-шесть. Страшную славу получило село Тарасовка. Из хутора Юрково, из сел Боровиково и Шевченково путь на Звенигородку проходил через Тарасовку. Это село заросло полынью и сорняками в рост человека. Люди повысили, оно стало полупустым.

Вот какую историю рассказала чудом спасшаяся девушка. Две девушки учились в Звенигородке. Одна была из

села Тарасовка, а другая из села Шевченково. На выходной они шли домой, и тарасовская предложила своей подруге Тане переночевать у ее родителей. Таня согласилась. Дочь хозяев звали Валя. Мать и отец Вали были очень внимательны к Тане. Мать Вали подала ужин – студень и картошку мерзлую. Таня насторожилась и даже испугалась, откуда в такое время студень. Студня она старалась не кушать, но тревога закралась в ее душу, хотя она не подала виду, что заподозрила неладное. После ужина мать постелила девушкам на полу и сказала своей дочери, чтобы она ложилась к стенке, а Таня пусть ложится скраешку. Старики же легли на топчане. Валя вскоре уснула, а Таня не могла уснуть. Вдруг она услышала шепот стариков, что когда девушки уснут, то они Таню потянут в кладовку. Услышав такое, Таня перекатила Валю на свое место, а сама легла на ее и притворилась, что уснула. Когда старики услышали, что девчонки уснули, они подошли к ним, накинули удавку на свою дочь и потянули в кладовку. Воспользовавшись моментом, Таня тихонько вышла в сени и выскочила во двор. Не разбирая дороги, бежала она через сорняки, падала, поднималась, не чувствуя боли, и снова бежала от этого ужасного места. Только когда начало светать, она нашла дорогу и еле дошла до дома. Она долго болела, но рассказала людям о случившемся лишь много лет спустя.

Голодные теряли рассудок. Но все же большинство старалось не кушать падаль. Они ходили на поля, собирали гнилую, мерзлую картошку, свеклу, ели лебеду, листья акации, липы. Наша семья тоже страдала от голода, но дохлятины мы не ели. У нас осталась гречневая полова (мякина), не знаю, как ее не забрали активисты. Половы было маловато, но первое время мы обходились ею. Мололи полову на ручных жерновах, добавляли мерзлую картошку, и мама пекла блины. Я и Женя ходили на работу в совхоз на сбор вредителя долгоносика. Раз в день там нас кормили супом (крупинка крупинку не догоняет) и давали 100 г хлеба. Мы суп съедали, а хлеб несли домой, и мама делила этот хлеб на всех. Но и это длилось недолго, только на время сбора долгоносика.

У мамы были золотые сережки – красивые полумесяцы и две серебряные ложки. Она променяла их в торгине на несколько килограммов пшена. Варила она из того пшена кулеш: он был таким прозрачным, что пшено почти не было видно. Весной, когда появились крапива, лебеда, конский щавель, а позже свекольные листья, мама собирала это все и варила борщ. Отец сумел спрятать мешок пшеницы в ставок, что находился в конце огорода соседа Кондрата Олейника. Отец привязал к мешку камень, и утопил в воде. Дал Бог, и никто не видел, как отец прятал мешок. Когда обходы по дворам прекратились, отец достал пшеницу, и она нас спасала от голодной смерти. Мама поджаривала ее на противне, растирала на крупу и варила супы.

Несмотря на голод, работы в колхозе не прекращались. Людей каждый день выгоняли на работы. Пахали землю, сеяли, мужчины косили, женщины пропалывали сахарную свеклу. Я тоже ходила полоть сахарную свеклу с женщинами из нашего хутора. Поле это было далеко, около села Боровиково. Лето было дождливое. Росточки свеклы заросли сорняками, приходилось каждый росточек поддерживать, окучивать, чтобы он не упал и рос. Мама давала мне на обед блюдце вареных слив, в них еще даже косточки не образовались. Сливы мама поливала ложкой свекольной патоки. По пути к полю росли дикие черешни. На черешнях уже завязались ягоды, они были еще без косточек и очень горькие, но я их ела. С работы идем засветло. Смотришь: там упал мужчина, а дальше женщина. Я тоже уставшая, у меня нет сил идти, ползу на четвереньках, уже не обхожу мертвых тел, а переползаю через них. Мне страшно. Я усилием воли заставляю себя встать и идти домой.

Для уборки мертвых людей колхоз выделил телегу и активистов (они не голодали, они сделали себе запасы, обобрав людей). В большую яму свозили мертвых. Бывало, что человек упал, но еще не умер. И его тоже бросали на телегу к мертвым. Человек просился, чтоб его на брали, что он еще живой. Возили ему отвечали: «Не умер, то умрешь, а мы за тобой возвращаться не собираемся. Бросай его на телегу».

Один мужчина как-то выкарабкался из ямы и целую ночь полз на Ольшану. Там кто-то помог ему добраться до станции Городище. Уехал он на Донбасс, устроился на работу и выжил. Через много лет он приезжал на хутор и поведал историю своего спасения.

Овца для Ани.

На прополку свеклы я ходила потому, что в июне 1933 года мама родила девочку. Назвали ее Анной в честь бабушки по отцу, но до сих пор называем её детским именем Галя. После рождения Ани мама была очень истощена, кормить ребенка грудью не могла, ведь питалась плохо, все старалась отдавать детям.

У нас от лошади остался жеребенок. Он подрос. И родители решили продать его. Отец повел жеребенка в Ольшану, но не продал, а выменял за него овцу с ягненком. Овцу стали доить и кормить ребенка. Через несколько дней овца оторвалась и убежала. Дома был только Женя. Он погнался за ней и добежал аж до Ольшаны. Там мужики помогли Жене поймать овцу, завязали ее веревкой, и Женя поволок ее домой. От перенапряжения у него пошла носом кровь. Мама еле её остановила, успокоила Женю и уложила в постель. Он отдохнул и почувствовал себя лучше.

Овца стала главной кормилицей маленькой Ани. Когда мама работала, то овцу доила Маруся. Марусе было семь лет, она сама была голодная, но никогда не пыталась выпить выдоенное молоко, всё приносила Ане.

Как-то наша соседка уехала погостить к своим родственникам, а маму попросила посмотреть за хатой и хозяйством. Мама пошла хлопотать по хозяйству к соседке, Юре за ней. Мальчик он был любопытный. Пока мама делала работу, Юра везде заглядывал, залез на чердак хаты и увидел в уголку кучку мусора. Он разгреб этот мусор и обнаружил под ним смесь разных зерен пшеницы, чечевицы, гороха, фасоли, ячменя и др. Юра перенес все это домой и сначала маме не сказал. Он знал, что она будет за это ругать. Потом он рассказал

маме, где он все взял. Она пожурила его, но отнести обратно не заставила. Она волновалась, что соседка обнаружит пропажу и будет неприятность, но все обошлось. Соседке этот мусор был не нужен, а нашей семье те зёरна стали небольшой поддержкой.

Путь к учёбе

Я все-таки мечтала учиться. К родителям в гости из Кириловки как-то пришла дочь маминой сестры Васьки. Мама рассказала ей о наших трудностях и о моём желании работать и учиться. Татьяна работала в агрономическом техникуме рабочей. Она сказала, что сейчас в аудиториях техникума делают ремонт к учебному году, нужны рабочие. На следующий же день я пошла в техникум устраиваться на работу. Не помню, как меня оформляли, только помню, что нашла Татьяну, она привела меня в класс, дала тряпку и швабру, познакомила с женщинами, что с ней работали, и я приступила к работе. Полы были покрыты известью после побелки потолков и стен. Известь уже присохла к доскам, и мыть было тяжело. Я мыла старательно и добросовестно. Женщины поняли, что можно воспользоваться моей старательностью и начали уходить по своим делам, и я делала работу и за себя и за них. Они мне приказывали, что если спросят о них, отвечать, что они временно вышли. Я боялась потерять работу, думала, вот заработаю денег и куплю себе какую-нибудь одежду. Но денег, конечно, я никаких не получила. Я мыла эти полы, горько плакала и старалась, чтобы меня не видели заплаканной. Почти неделю мыла одна. Мужчина приходил проверять и заставал только меня. Однажды он спросил, где же другие работницы, мне пришлось придумывать разные причины, чтобы оправдывать их отсутствие.

Я мыла последнюю аудиторию, когда снова пришел этот человек (я уже знала, что он завуч). Я обратилась к нему с просьбой поговорить со мной. Он согласился меня выслушать. Я рассказала, что поступала в Киевский психоневрологический техникум, проучилась там два месяца, но общежития мне не дали, а нанимать и оплачивать квартиру нет денег, и я

вынуждена была бросить учебу и возвратиться домой. Документы и выписка о сдаче экзаменов у меня есть: «Можно мне поступать в этот техникум?» Завуч сказал, что вступительные экзамены уже идут, но, может быть, кто-то не сдаст, тогда мне сообщат. Я принесла документы, он посмотрел и велел ждать. Я работала и ждала. Через неделю завуч позвал меня и сказал, что я могу сдавать экзамены. Первой была математика. Я правильно решила все задачи, все примеры, ответила все правила. Второй экзамен – украинский диктант написала без ошибок, устный экзамен тоже сдала хорошо. Географию сдала «на отлично», а за историю немного боялась, но, слава Богу, тоже сдала хорошо. Прошла по конкурсу, и меня зачислили. Я пришла домой радостная, сообщила, что меня приняли. Родители тоже обрадовались.

Учёба

Так в сентябре 1934 года я начала учиться. На уроки ходила в кофточке и юбочке, но приближалась зима, а мне нечего было надеть и обуть. Мама поделилась своей печалью с соседкой Евдокией Олейник. Мои родители дружили с этой семьей. Соседка сказала маме, что у нее есть старая фуфайка, но ее нужно чинить-стирать и принесла её. Я ее выстирала, починила. И ещё принесла сапоги своего мужа – большие, скривленные, с задранными носами. Но я была рада и этому.

Я внимательно слушала лекции учителей. Все сказанное конспектировала, старалась запоминать поданный материал. Учеба мне давалась легко. На всех уроках, когда меня спрашивали, отвечала правильно. Учителям нравилось мое старание, и они хорошо ко мне относились. Через несколько месяцев учебы снова пришел донос, и директор сообщил, что меня исключают за классовую принадлежность отца. Я плакала и просила не исключать, ведь ни я, ни отец ни в чем не виноваты. Узнав, что меня хотят исключить из техникума, учителя вступились за меня, потому что я хорошо училась. По просьбе учителей директор разрешил мне посещать занятия, но

предупредил, что мне стипендии и общежития не будет. Я согласилась и на это. Родители были огорчены, но рады тому, что меня оставили, и обещали мне помогать. Мама попросила тетку Ваську, чтобы она взяла меня на квартиру. Тетка согласилась. После окончания занятий я приходила к тетке и сразу помогала ей по хозяйству, только потом садилась учить уроки. У тетки было трое детей, они уже были взрослые, и только младшая Мария была еще не замужем.

На занятия я продолжала ходить в старой фуфайке и старых сапогах. Я старалась приходить в аудиторию раньше всех, снимала фуфайку и садилась на неё, чтобы не видели её студенты. На перерыв почти не выходила из аудитории. Все время пряталась, чтобы меня меньше видели в этой фуфайке и сапогах.

На выходные я ходила домой. Мама старалась меня накормить, а потом на целую неделю давала продуктов. Мама пекла мне пирожков, пряников, давала картошки, разных круп. Все продукты я приносила и отдавала тетке. Она готовила кушать, и питались мы все вместе. Все было хорошо до тех пор, пока тетка не взяла на квартиру еще двух студенток. Эти девушки были из села Гута Селещанская Лысянского района: одна была дочь председателя колхоза, а другая дочь главного бухгалтера колхоза. Конечно, они жили зажиточно, не то что мои родители. Все колхозное было ихнее. Родители этих девушек навезли тетке всего: пшеницы, белой пшеничной муки, разных круп и овощей. Такие богатые квартирантки тетке понравились. Она к ним относилась ласково, а ко мне стала относиться как к бедной родственнице, ещё и высказывать мне недовольство, мол, у мамы в селе был жених, он ее любил, но она вышла замуж за священника, хотела пановать, а теперь сидит в бедности. Мне было очень обидно, что родная сестра плохо отзывает о моей маме, несправедливо упрекает ее. Я сказала маме, что буду искать другую квартиру.

В воскресенье к родителям в гости из Шевченково приехала другая родственница, вторая жена дяди Ивана Домаха. Мама рассказала, что для меня нужно искать квартиру. Тетя

Домаха сказала: «Пусть идет к нам. В тесноте, да не в обиде». Дядя Иван умер в 1927 году, и она жила с неродной дочерью Ольгой и родной Катей.

Я перешла к тете Домахе. Она была женщина добрая, сердечная. Ко мне относилась как к своей дочери, всегда старалась накормить меня до возвращения Ольги с работы. Когда я пришла на квартиру к тете Домахе, Кате было 9 лет, она училась во втором классе. Кате я понравилась, мы жили с ней дружно. У меня были пышные выющиеся долгие волосы. Я заплетала косу и укладывала вокруг головы. Катя любила играть с моими волосами, она их расчесывала, заплетала, укладывала. Тетя попросила меня, чтобы я помогала Кате учить арифметику. Мы учили уроки, сидя на печке или лежанке. Зимой день был короткий, темнело быстро. Я приходила с учебы уже в темноте. Изредка удавалось делать уроки при керосиновой лампе – это была роскошь. В основном зажигали каганцы. Их делали так: в небольшую бутылочку наливали керосин, из тряпья делали фитиль, обмокали в керосине и вставляли в бутылочку, фитиль поджигали. При таком каганце я учила уроки и то украдкой, когда Ольги не было дома. Тетя Домаха хлопотала по хозяйству, но, увидев, что Ольга возвращается домой, быстро приходила к нам с Катей и велела тушить каганец. Ольга сердилась, когда видела, что горит свет. Тетя Домаха говорила: «Если ты не выучила уроки с вечера, то я разбужу тебя рано утром, и ты доучишься». И правда, она будила меня в четыре часа утра, и я занималась.

У меня к тете Домахе сохранились добрые, нежные чувства. Я ей благодарна за ее доброту и понимание и всегда вспоминаю ее добрым словом. Пока я жива, и она живет в моей памяти. Светлая ей память и царство небесное!

Практика. После окончания третьего курса студентов посыпали на практику. Меня направили в колхоз «Звезда» села Сердеговка Шполянского района. На квартиру меня устроили к молодой женщине. Она работала на ферме дояркой. Колхоз был богатый. В его кладовых было много продуктов: мука, мед, молоко, мясо, разные овощи. Все продукты мне выписывали по

себестоимости. Я выписывала ордера на продукты питания и отдавала эти ордера хозяйке. Она получала продукты и готовила вкусные обеды. Еды было вдоволь. Молоко отстаивалось, и я часто набирала в кружку сливок и кушала их с хлебом. На практику я приехала худая, а за два месяца пополнела. Мне было очень хорошо в этом колхозе. Меня все уважали. Я выполнила все задания по практике и аккуратно написала отчет. Все задания председателя колхоза и агронома тоже выполняла. Всегда была в поле на работе. Они были довольны моей работой и хорошо ее оценили. Перед практикой всем дали подъёмные и мне тоже, за работу в колхозе заплатили. И я решила себе одеть: набрала красивого шелка на платье, купила кофту и юбку, туфли и жакет.

Практика была рассчитана на три месяца, но ее сократили до двух, потому что увеличилась учебная программа. Почтальон принес мне открытку из техникума, где было написано, что меня отзывают на учебу. Я пошла в контору колхоза, показала открытку, получила деньги. Хозяйке тоже сообщила, что практика окончена, и я уезжаю. Хозяйка привыкла ко мне, и ей не хотелось, чтобы я уезжала. Я ей много помогала по хозяйству и на огороде. Она подготовила праздничный обед, позвала людей на мои проводы.

Я опаздывала на занятия на два дня. Дома начали волноваться и послали за мной Женю. Он меня заторопил: «Что ты здесь сидишь? Занятия уже начались». Я быстро уложила вещи, хозяйка наложила в сумку всякой вкуснятины, и мы уехали домой.

Когда я пришла в техникум, то меня не узнавали – я же поправилась, некоторые завидовали. Я снова пришла на квартиру к тете Домахе. Катя встретила меня с восторгом – радовалась, что я буду у них жить.

Когда я училась на втором курсе, за мной начал ухаживать парень – он учился на четвертом. До этого я не дружила с парнями, потому что была стеснительная и краснела до ушей, когда ко мне подходил парень. Я не ходила ни в кино, ни на танцы. Основным моим интересом была учеба. Звали

этого парня Емельяном. Ему хотелось провожать меня домой, а я его прогоняла, но он все-таки под всякими предлогами провожал. Он закончил техникум, и пути наши разошлись. Когда я уже работала в лесничестве, встретила его маму, и она сказала, что он погиб в первый год войны.

Репрессии

В 1937-1938 годах снова начался коммунистический террор. Людей забирали ночью и увозили неизвестно куда. Никто их больше не видел и не слышал. За неосторожно сказанное слово или непослушание объявляли врагом народа. И все думали, кто же будет следующий. Террор не обошел и нашу семью. Отец всегда честно трудился, никогда не агитировал против Советов, а они считали его своим классовым врагом. Не давали жить спокойно ни ему, ни детям. Он как мог старался быть веселым и всех подбадривал. Когда кто-то из детей жаловался, он говорил: «Подождите детки, дайте только срок, будет вам и дудка, будет и свисток».



В это время он работал охранником на свиноферме. Обуться и одеться не было во что. На работу ходил в рваных сапогах, а чтобы защитить ноги от обмораживания, обкручивал ноги еще мешковиной, а потом увязывал веревками. Родители посоветовались и решили, что мама поедет в Киев к родственникам и Рае, и они помогут купить обувь и одежду для отца и детей. Шёл февраль 1938 года. Зима была снежная и очень холодная. Сугробы были выше крыши. Окна в избе были зарисованы разными узорами толщиной в палец. Отец пришел с

работы уставший, замерзший, весь обледенелый. Он растопил печку, поставил на огонь казанок с картошкой, чтобы покормить детей и самому поесть, размотал тряпки с ног и развесил их перед печкой, чтобы просушились. Сам лег немножко отдохнуть, пока сварится картошка. Но не успел он отдохнуть и поужинать. В избу вошли три человека: один в кожанке и с кобурой на боку и два сельских коммуниста-активиста. Они сказали отцу, что он арестован, и нужно сделать обыск. Понятным пригласили Голуба Федора. Произвели обыск, но ничего не нашли. Да и искать было нечего. Это был повод арестовать отца. Дома были только младшие дети: Юра, Маруся и маленькая Аня. Дети начали плакать. Отец оделся, обмотал тряпками ноги и, уходя, сказал: «Не плачьте, дети, сидите тихо, я скоро вернусь. Я ни в чем не виноват». Тогда еще дети не знали, что видят его в последний раз. В эту же ночь арестовали еще четверых и всех увезли неизвестно куда. Женя ходил в сельсовет, спрашивал, куда отправили отца. «Не знаем», – отвечали ему.

Мама торопилась домой, она чувствовала беду, но возвратилась только через два дня после ареста отца. Добираться было трудно, да и сумки у неё были тяжёлые. В Ольшане зашла в отделение связи, чтобы узнать, привезли ли почту из хутора, чтобы подвезти на телеге сумки домой. Почтальон сказал ей, что отца арестовали, а где он находится, никто не знает. Маме сделалось плохо, ей оказали медицинскую помощь и едва живую привезли домой. Она долго болела. Лежала в больнице в селе Шевченко. Дети оставались одни. Все заботы легли на плечи Жени. Ему помогала соседка Евдокия Олейник. Я продолжала учиться в техникуме. Мама настояла, чтобы я заканчивала учиться.

Поиски отца

Мама очень плакала, она пыталась хоть что-то узнать об отце. Женя успокаивал маму, что он будет искать отца и ходил по всем инстанциям и организациям, но везде слышал один и тот же ответ: "Не знаем". В Ольшане, в милиции ему, наконец,

сообщили, что отца отправили в Умань. Мама собрала всё необходимое для передачи, и Женя поехал в Умань. Долго он искал учреждение, где содержали отца, узнал, что будет суд, но на заседание суда никого не пускали. Женя дождался окончания и с большим трудом добился встречи с отцом. Отец рассказал Жене, кто давал ложные показания против него. Свидетельствовали против отца: Красюк – председатель сельсовета, Бондаренко, по прозвищу Шванка, – активист, который ходил по дворам и выгребал у людей до последнего зёрнышка. Особенно ошарашило отца лжесвидетельство Задорожного. Отец никогда не думал, что люди так могут врать в глаза. Все лжесвидетели говорили, что отец вёл агитацию против советской власти. По этим лжесвидетельствам отца осудили на 8 лет лишения свободы и 3 года запрета на въезд на место жительства. Отец очень похудел, очень горевал о своей семье. Отец просил Женю, чтобы он позаботился о матери, младших братах и сёстрах, ведь Женя остался старшим мужчиной в семье, все заботы легли на его плечи. Отца отправили в Сибирь.

Отец написал письмо, в котором просил табака, очень ему хотелось курить. Мама собрала посылку, но он ее не получил, это видно было по второму письму – он снова просил выслать курево. Потом переписка прекратилась. Наши письма к отцу не доходили – неизвестно, где они пропадали. Последняя открытка пришла к нам после изгнания немцев. Она шла полгода. В ней было всего три строки. Начало первой строки: «Я жив», дальше до середины третьей строчки было вымарано, прочитать невозможно. Заканчивалась открытка словами: «Сообщите, жива ли моя семья». Эта открытка пришла из Свердловской области, станция Сарапулька или Тарапулька. Мы писали письма по этому адресу, но больше никаких известий не получали. Так и не знаем, где могила его, а очень бы хотелось узнать.

Начало работы в МТС

Несмотря на то, что отца репрессировали, мне всё-таки дали окончить техникум. Я не видела, как арестовывали отца, потому что готовилась к государственным экзаменам и домой приходила редко. Зима была холодная, снежная, дороги переметало, до хутора добираться было очень трудно. Когда я узнала, что отца арестовали, сразу же пошла домой – хотела бросить экзамены и идти искать отца, но мама уговорила меня закончить техникум, а поиском отца занялся Женя.

После сдачи экзаменов и получения диплома, в котором была указана специальность «младший агроном», меня и ещё одну девушку, Феодосию Кайлиниченко, направили в Карапышскую МТС Мироновского района. Из МТС давали направления в колхозы. Выпускникам полагался месяц отпуска. Мама нуждалась в моей помощи, и я осталась с ней. Ведь после ареста отца мама долго болела и преждевременно в мае месяце 1938 года родила девочку. Назвали её Олей.

Феодосия согласилась, что на работу поедем после отпуска, но обманула и уехала сразу. Я приехала в МТС через месяц. Директора в кабинете не застала, но молодая женщина пригласила меня в свой кабинет и предложила у неё дождаться директора.

Мы познакомились. Фамилия ее Калиновская. Она работала участковым агрономом в селе Карапыши. Я прождала директора до конца рабочего дня, но он так и не пришёл. Идти мне было некуда, и Калиновская пригласила меня к себе переночевать. У неё была пятилетняя дочь – очень красивая и умная девочка. Мы с Калиновской долго разговаривали, она мне рассказывала, как нужно работать, чтобы завоевать авторитет директора: главное, нужно всегда быть на участке, и если случаются неисправности или поломки тракторов, комбайнов, сразу докладывать директору. Я благодарна этой женщине, она много мне рассказала о работе, о людях, многому научила и всегда хорошо ко мне относилась, а я всегда прислушивалась к её советам.

На следующий день утром мы с Калиновской пришли в контору МТС, директор уже был на месте. Я поздоровалась и сказала, что приехала работать по направлению. Директор сказал: «Давайте свои документы». Я хотела открыть чемодан, но не нашла ключа, растерялась, покраснела до ушей и не знала, что мне делать, но директор взял мой чемодан и пошел к кузнецу.

Кузнец сделал ключ, я открыла чемодан, достала документы. Он посмотрел их и сказал: «Твоя однокурсница работает уже целый месяц, а ты только приехала». Я рассказала, что заболела мама, её положили в больницу, а я ухаживала за младшими детьми. Он выслушал меня и сказал: «Всё понятно». В его кабинете висела большая карта. На карту были нанесены колхозы. Директор подвёл меня к карте и показал все колхозы на моем участке. Конечно, Феодосии достался лучший участок, её колхозы находились близко один от другого. Мне достался участок похуже. Колхозы находились в разных сёлах, далеко друг от друга. Самое большое село Пустовиты, в нём было три колхоза, в селах Юхны и Зеленьки – по одному. Директор повёз меня в Пустовиты, чтобы ознакомить с работой и руководством колхоза.

Работа в колхозах. На этом участке был агроном по фамилии Прядка. Когда он называл свою фамилию – мне он показался смешным и вместе с тем интересным. По полю Прядка ходил без рубашки. Спина была сожжена солнцем и шелушилась. Он повёл меня на свекольное поле, где женщины были заняты прополкой сахарной свеклы.

Женщины с тяпками шли одна за другой, и казалось, что по полю движется живая лента. Прядка подходил к каждой, здоровался за ручку и говорил разные комплименты. Он два дня знакомил меня с участком, после уехал, и больше я его не видела. По какой причине он ушёл с работы, я не знаю.

Так началась моя трудовая жизнь. На работу выходила рано утром, а возвращалась домой поздно вечером. Весь день на свежем воздухе, все время в движении. Мне это нравилось. На квартире я была в селе Пустовиты у молодожёнов. Детей у них

еще не было. Хозяйка была весёлая, добрая. Продукты мне выписывали в колхозе по себестоимости. Хозяйка получала продукты и готовила обеды на всех. Я жила с ними дружно и весело.

На работе я делала так, как советовала мне Калиновская: если случались поломки тракторов, комбайнов, сразу же сообщала в МТС и просила прислать поскорей ремонтников. Однажды поломался трактор, я сообщила в МТС. Меня спросили, какая поломка. Я ответила, что вышло из строя магнето. Специалисты приехали, отремонтировали и даже сообщили директору, что я правильно определила поломку. Авторитет мой вырос. Директор МТС и главный агроном часто приезжали в колхозы, которые я обслуживала, всегда находили меня на работе и были довольны.

Почти каждый месяц собирали собрания. На эти собрания приглашали председателей колхозов и специалистов. Меня тоже приглашали. Своей однокурсницы Феодосии я ни разу не видела, почему-то она эти собрания не посещала. На одном из таких собраний директор МТС в своём выступлении сказал: «К нам на работу прислали двух агрономов. Я когда приезжаю в Пустовиты, то всегда застаю агронома на работе, а вот агронома на втором участке никогда не застаю на работе. Однажды я объездил все поля на участке Кайлиниченко, нигде её не нашёл, и никто её не видел на работе. Я уже начал волноваться, не случилось ли чего. Пришлось ехать на квартиру. Приехал, спрашивая хозяйку: «Ваша квартирантка дома?» Хозяйка ответила, что она на работе, но когда я строго спросил, где квартирантка, то хозяйке пришлось сказать: «Они спят». «Представляете, горячая пора, уборка урожая, а агроном спит». Так директор раскритиковал Федосию на весь район. А мне объявили благодарность за работу. Все агрономы в МТС относились ко мне с уважением и симпатией. По окончании всех сельскохозяйственных работ праздновали день урожая. Сначала было праздничное собрание, а после собрания организовали бал. Приглашение было и мне, и моей сокурснице, но она снова не приехала. Бал закончился поздно, и меня

забрала к себе Калиновская. Она мне рассказала о новостях и о том, как оценивают мою работу.

На участке, где я работала, был ещё специалист – зоотехник. Звали его Иваном Пронченко. В его распоряжении была повозка и лошадь. Он ездил на участки повозкой и сообщал мне всегда, что едет на такой-то участок. Я часто с ним ездила. Он был парень серьёзный и умный, внимание мне уделял, но я относилась к нему, как к другу. В селе Пустовиты был клуб. Иван приглашал меня в кино, на танцы, но я не приходила. На работу уходила рано, а возвращалась домой поздно. Ужинала вместе с хозяевами, разговаривали, шутили, и я ложилась отдыхать. Однажды я всё же пришла в клуб. Иван увидел меня, сразу подошёл и пригласил меня в кино, провожал домой.

Когда через некоторое время я снова пошла в клуб, Ивана в этот вечер не было. После кино за мной увязался какой-то студент, и хоть я прогоняла его, он все-таки шел за мной до самой квартиры. После этого я не ходила ни в кино, ни на танцы. Я ещё подумала, что хозяевам может не понравиться, если я буду приходить поздно, им тоже нужно отдохнуть.

Бывало по работе я уезжала в сёла Юхны или Зеленьки. Там задерживалась допоздна, и если нечем было возвратиться домой, то оставалась. Я уже познакомилась с хорошими людьми, и они приглашали к себе переночевать. Мне не было скучно. Я всегда была среди людей, растений и природы.

Как-то, когда я возвратилась в Пустовиты, хозяйка рассказала, что к ним заходили сельский учитель Яков Михайлович и Иван Пронченко – студент Киевского мединститута (он приехал на каникулы к родителям). Они спрашивали обо мне. Прихожу в другой раз, а в доме гости – «кавалеры», разговаривают, шутят. Я поздоровалась, хозяйка позвала присоединиться к их компании. Я села возле неё, разговоры, шутки продолжились. Я очень устала, хозяйка тоже была не против отдохнуть и нашла повод, чтобы нам уйти. Мы вышли на кухню, закрыли дверь и больше к гостям не вернулись, заснули, а хозяин ещё долго сидел с гостями.

Они ещё приходили к хозяевам, но я избегала встреч с ними. Особое внимание ко мне стал уделять Яков Михайлович. Он приходил на квартиру, говорил, что у него серьёзные намерения, что он хочет на мне жениться. Я ему ответила, что я еще не собираюсь замуж, должна поработать, потому что нужно помогать маме и младшим детям. Потом он присыпал ко мне свою сестру, чтобы она меня уговорила выйти за него. Я сказала ей, что подумаю. Но жизнь повернулась по-другому.

Наступил 1939 год. Весной стало работать трудно. Уже были проведены все посевы ранних зерновых и сахарной свеклы. Появились всходы сахарной свеклы и тут же появился её вредитель – долгоносик. Химических средств против него не было. Борьбу вели вручную: копали рвы, ставили всевозможные ловушки, но вредителя не уменьшалось. Я целыми днями была на полях вместе с людьми. На ячмень напал другой вредитель – блоха. Я очень переживала, даже боялась.

Увольнение с работы

Однажды поздно вечером пришла на квартиру, а хозяйка даёт мне бумагу. В ней было написано, что меня вызывают в МТС. На следующий день я сразу же поехала в МТС, зашла в здание и увидела, что в коридоре на стене висит приказ о моём увольнении. В приказе было написано: «Уволить с занимаемой должности в связи с классовой принадлежностью отца». У меня как будто все внутри оборвалось, по телу пробежали мурашки, и слёзы ручьём потекли из моих глаз. Как было хорошо: работала, радовалась жизни, думала, что всё прошло. Снова беда. Директора пришлось ждать до вечера. Застал он меня в слезах, позвал в кабинет, но ни о чём не расспрашивал. Наверное, из той бумаги, что к нему пришла, он все понял. Он сказал, чтобы я написала заявление, что он поедет со мной в Земотдел и в обком партии в Киев, поговорит там, и меня восстановят на работе. Я села писать заявление, но за слезами не видела строчек. Директор попросил, чтобы я успокоилась и начал мне диктовать. Я сейчас и не помню, что я писала.

На следующий день мы поехали в Киев. Сначала в Земотдел. Директор зашёл в кабинет сам, а я осталась в коридоре. Не знаю, о чём они говорили, потом позвали меня. Спросили как работаю, какая обстановка на полях, какие меры принимаю по борьбе с вредителями. Я ответила на все вопросы и услышала, что они не против моего восстановления на работе.

Потом поехали в обком партии. При входе в здание меня обыскали с ног до головы. Верхнюю одежду заставили снять, и я осталась в одном платье. Директор сразу зашёл в кабинет, мне сказали ждать вызова. Потом охранники завели меня в кабинет, где сидели трое: мой директор, секретарь обкома и кагебист. У кагебиста морда была похожа на Гоголевского Собакевича. Он посмотрел на меня исподлобья и сказал: «Твой отец репрессирован. Он враг народа. Занимался вредительством, а тебе доверили такую ответственную работу». У меня вырвалось: «Мой отец ни в чём не виноват. Он не занимался вредительством». Лицо кагебиста покраснело, как свекла, глаза налились кровью. Он приподнялся со стула, удариł кулаком по столу и крикнул: «Значит, ты обвиняешь советскую власть, что она сажает невинных людей». Я сказала, что не обвиняю советскую власть, а обвиняю тех людей, что оклеветали отца. Кагебист продолжал: «Ты обвиняешь органы дознания в некомпетентности, а тебе доверили работу в колхозе. Ты же будешь заниматься вредительством, как твой отец». Я больше ничего не могла сказать в свою защиту, и в моей голове промелькнула мысль, что меня могут арестовать. Я расплакалась и меня вывели. Я ещё долго стояла в коридоре, дожидаясь директора. Когда директор вышел, по выражению его лица я поняла, что он отстоял меня. При выходе мне отдали верхнюю одежду. По дороге домой директор сообщил мне, что ему разрешили восстановить меня на работе. Я снова приступила к работе. Никому ни о чём не рассказывала и старалась быть веселой, но слова, сказанные кагебистом, не выходили из моей головы.

Положение на полях не улучшалось – долгоносик свирепствовал. Всех специалистов часто созывали в МТС

отчитываться о проделанных мерах борьбы с долгоносиком. На одном из таких собраний меня встретила Калиновская (на ее участке было не лучше). Калиновская знала о всех моих неприятностях, хотя я сама ей ничего не рассказывала. Наверное, директор рассказал. Она посоветовала написать заявление об уходе по собственному желанию: «Ты видишь, долгоносик жрёт свеклу, и ты, и я ничего не сделаем. Всю вину могут свалить на тебя, пришлют вредительство и даже могут засудить». Я сама часто об этом думала, но мне не хотелось уходить с работы.

После разговора с Калиновской я подала заявление об уходе по собственному желанию, отработала две недели и рассчиталась. Мне было горько и обидно. О своём уходе с работы я не рассказала даже хозяйке. Яков Михайлович ещё приходил, надеялся, что я соглашусь на его предложение, но я сказала ему, что уезжаю в отпуск, после отпуска поговорим. Попрощалась со всеми и ушла. Это был конец мая 1939 года.

До станции Городище я добралась поездом и стала ждать попутную машину. Ко мне подошёл красивый стройный молодой парень в форме пограничника и попросил разрешения сесть рядом. Я ответила: «Садитесь, место свободное». Он назывался Михаилом и стал расспрашивать меня, но я о себе старалась поменьше рассказывать. Он тоже о себе не очень-то рассказывал. При прощании взял у меня домашний адрес и сказал, что напишет мне.

Дома меня радостно встретила меня мама, обрадовались и младшие дети. От Михаила начали приходить письма. Он служил на западной границе. В одном из своих писем он написал, что хочет приехать ко мне познакомиться с моими родителями, но для этого я должна выслать свою автобиографию, заверенную Сельсоветом. Получив такое письмо, я не ответила, и переписка прекратилась.

Приехала домой и места себе не нахожу, что делать и как жить дальше. От своих сверстниц узнала, что они едут в Корсунь – там открываются курсы учителей младших классов. Я решила тоже поехать. На курсы приняли, и я стала заниматься.

После учебы в свободное время выходили в город. Конечно, денег у меня почти не было, и я просто ходила и смотрела город. Время было трудное, жила бедно, но всё же молодость брала своё. Как мне не было трудно, я не показывала уныния никому, радовалась, шутила и даже подбадривала подруг. Однажды в городе встречала своих подруг. «Где ты была?» – спрашивают. «Хожу по ресторанам и шарю по карманам», – ответила я. Подруги смеялись над моей шуткой, а одна из них, Полина Захаровна, потом всегда припоминала её при встрече.

Забыла сколько времени я занималась на этих курсах, и наверное, закончила их. В газете прочитала, что проводится набор в Уманский педагогический техникум. Я собрала документы и поехала в Умань, но опоздала, набор закончился. Огорчённая приехала на автовокзал, взяла билет, сижу жду автобус на Звенигородку. Ко мне подошла интеллигентная женщина, красиво одетая. Она села возле меня, и мы начали разговаривать. Я ей рассказала о своей работе в колхозе, и что привозила документы в Уманский педтехникум, но опоздала, набор закончился. Теперь еду домой и не знаю, что мне делать дальше. Она внимательно выслушала меня и спросила: «А ты можешь привезти документы к 1 сентября в Звенигородский отдел народного образования?» Она назвала мне все нужные документы, я записала и сказала, что привезу. На этом наш разговор закончился. Она ушла, а я поспешила на подошедший автобус. У меня появилась маленькая надежда устроиться на работу.

Работа в школе

Перед началом учебного года я повезла документы в Звенигородский РОНО. В коридоре очередь, но вдруг дверь открылась, из кабинета вышла та женщина, с которой я разговаривала в Умани. Она сразу меня узнала, зазвала в кабинет, пересмотрела документы и дала мне направление в Мызиновскую начальную школу на должность учителя начальных классов. Эта женщина была заведующей

Звенигородским РОНО. Так 1 сентября 1939 года я приступила к работе в школе.

Работа с детьми мне понравилась. Дети были добрые и послушные. Я любила их, а они меня. Часто в знак внимания приносили цветы. Квартиру нанимала недалеко от школы. Хозяйка была добрая и справедливая. По соседству жил мужчина, он часто заходил к хозяйке, потом познакомился и со мной. Хозяйка рассказала мне, что Андрей (так звали мужчину) уже год как разошёлся с женой. У них остался маленький ребёнок. Андрей сказал хозяйке, что хочет со мной встречаться. Однажды он сам заговорил со мной о встречах, о замужестве. Я ему отказалась. Потом меня перевели в Озирянскую школу на ту же должность.

Перед началом 1940-го учебного года меня вызвали в Звенигородский райземотдел. Зазвали в кабинет, а там стоят несколько столов в один ряд. За столами – всё районное начальство: директор МТС, главный агроном, плановики, и замполит. Секретарь парторганизации сразу начал меня отчитывать: «Вас советская власть выучила, а в дипломе ясно написано, что Вы должны отработать по специальности 5 лет, Вы же бросили работу агронома и пошли работать учительницей. Немедленно, завтра же идите в МТС, подавайте заявление и приступайте работать по специальности, а учительствовать будут другие». В отделе народного образования уже был документ о моем отзыве.

Работа в Звенигородской МТС. Сначала я пошла в агрохимическую лабораторию – там нужен был лаборант, написала заявление на должность лаборанта, но директор распорядился писать заявление на должность участкового агронома.

Мой участок был: Звенигородка, Тарасовка и Ново-Украинка. Чтобы ездить по колхозам, мне выделили лошадь: масть серая в яблочко, ножки тоненькие, головка красивая, кличка Голубка. Она всем нравилась. Прихожу как-то в конюшню, а моей лошади нет – её забрал другой специалист. Я пошла к главному агроному и попросила, чтобы мне возвратили

мою Голубку. Главный агроном распорядился, чтобы лошадь окончательно закрепили за мной. Рано прихожу на работу, а моя Голубка уже почищена, накормлена, напоена. Я запрягаю её в бричку и уезжаю в колхоз. Приезжаю к колхозной конюшне, даю указание конюху, чтобы распрыг лошадь, покормил, попоил и пусть отдыхает до моего возвращения. Сама иду в контору колхоза. Председатель мне выделяет повозку, запряжённую парой лошадей, и кучера. Мы едем на поля, и я выполняю свою работу. Работу старалась выполнять быстро и правильно. Все мои отчёты принимал главный агроном и оставался ими довольным. Если кто-то из агрономов неправлялся со своей работой, то меня посылали на помощь. Часто посылали на другие участки.

Однажды еду на бричке своей Голубкой через всю Звенигородку на Хлипновку. Навстречу идет парень и кричит мне: «Давай я сяду за кучера». Я ему отвечаю: «Я сама хороший кучер, так что не старайся». Он всегда встречал меня, когда я ехала в Хлипновку. Как-то еду, а он вышел навстречу, остановил лошадь и сел в бричку рядом со мной. Расспросил меня, где я работаю, потом посоветовал поступать в Киевский сельскохозяйственный институт.

Я боялась, что уже все забыла и могу провалиться на экзаменах. Всё же решила отвезти документы. Приехала в Киев, нашла институт. В приёмной сидел толковый мужчина, он взял мои документы, посмотрел и сказал, что согласно диплома я должна отработать 5 лет, и возвратил мне документы. Я, конечно, огорчилась, о своей поездке никому не рассказывала.

Квартировала я в Звенигородке. Если нужно было составлять производственные планы по колхозам, бригадам или проводить обучение звеньевых, то выезжала на 3-4 дня. Осенью, когда взошли озимые культуры (в основном, пшеница), я ездила в колхозы, брала монолиты (пробы) и определяла, в каком состоянии озимые культуры идут в зиму. Мне выдавали стандартные бланки, я их заполняла и сдавала главному агроному.

Когда я сделала эту работу на своём участке, главный агроном отправил меня в село Козацкое. Погода была ужасная, грязь, слякоть, мелкий дождик и замерзала. Агроном Шраменко говорил мне, чтобы я не ехала в такую погоду, но я всё-таки не решилась ослушаться и поехала, а потом очень жалела, что не послушала совета доброго человека. Ехать было очень трудно, грязь наматывалась на колёса и замерзала, колёса переставали вертеться. Я часто останавливалась и очищала колёса. Бедная моя лошадка еле тянула. Только к вечеру я приехала в колхоз. Председателя застала в канторе и сказала, чтобы он дал людей, лошадей поехать в поле. Он посмотрел на меня и говорит: «Сегодня уже поздно, вы не успеете сделать этой работы, как бы не старались. Завтра с утра я дам вам повозку и людей, а сейчас вам надо отогреться и просушить одежду». Голубку мою поставили в конюшню, меня отвели на квартиру. Я сильно промёрзла, одежда моя промокла насовсем. Хозяйка сказала, чтобы я ложилась спать на печке. Я очень хотела кушать, но попросить постеснялась, а хозяйка вместо того, чтобы меня покормить, рассказывала страшилки о своем муже. Я полезла на печку, укрылась каким-то тряпьём и долго не могла уснуть. Меня знобило, лихорадило, зуб на зуб не попадал. Я чувствовала себя очень плохо и рассказала хозяйки почти не воспринимала. Я вспоминала агронома Шраменко, корила себя за то, что не послушалась, когда он просил меня не ехать в такую погоду. Наконец, согрелась и уснула. Утром, хотя и плоховато себя чувствовала, пошла в кантору колхоза. Председатель, как и обещал, дал повозку и лошадей. Мы поехали в поле. Я сделала свою работу, взяла пробы, сделала отчёт. Председатель все документы подписал и дал распоряжение запрячь разъездных лошадей и отвезти меня в Звенигородку. Голубка моя шла за повозкой. Приехала я поздно вечером и сразу же пошла на квартиру. На следующий день отнесла отчёт о выполненной работе. Меня спросили, как я съездила. Я рассказала. Директор разрешил мне два дня отдохнуть, я удивилась, что начальство подобрело. Оказывается, агроном Шраменко ругался с директором и

главным агрономом за то, что меня послали в колхоз в такую ненастную погоду. Его поддержали и другие агрономы: «Какое вы имеете право посыпать её в такую погоду да ещё на другой участок? Она свою работу сделала, почему она должна работать за других?» После этого начальство стало относиться ко мне с уважением.

Однажды я шла на работу и ко мне подошёл парень. Мы познакомились. Звали его Володя. Он спросил, где я учусь, а я

почему-то ему соврала. Сказала, что учусь в агрономическом техникуме. Володя ходил в техникум, спрашивал обо мне, но ему сказали, что такая не учится здесь. Потом он тайком выследил, что я зашла в МТС. Я несколько дней была в колхозах, а когда пришла в МТС, то девушки мне рассказали, что приходил парень, расспрашивал обо мне. Он приходил ещё, но меня не заставал. Девушки сказали ему, что



я ставлю лошадь в конюшню и могу не заходить в контору, сразу идти на квартиру. Как-то я поставила лошадь, выхожу, а Володя стоит. Я поздоровалась и спрашиваю: «А ты почему здесь?» – «Тебя жду», – отвечает. Мы начали встречаться. Хороший парень, мне интересно было с ним разговаривать.

Не знаю, он ли сам рассказал своей матери обо мне или она узнала от кого-то другого, но его мать приходила несколько раз в МТС, и всё не заставала меня. А когда мы, наконец, встретились, разговор вышел не из приятных, но он меня не расстроил. Мать Володи сказала, что она против наших встреч,

что Володя еврей и должен встречаться с еврейкой, жениться он может только на еврейке, чтобы сохранять свою нацию, что она никогда не разрешит ему жениться на украинке. Я отвечала, что не собираюсь замуж за Володю и не принуждаю его дружить со мной. При встрече я ему передала этот разговор и сказала, что больше встречаться с ним не хочу и не буду. Ещё много раз я видела его около МТС, но делала вид, что не замечаю. Он больше не подходил ко мне, а только издали наблюдал за мной.

Я продолжала работать. Главный агроном МТС пригласил на собрание всех агрономов и дал задание составить севообороты и разворот стада на 5 лет по всем колхозам. Главный агроном провёл инструктаж, подробно объяснил, как правильно сделать задание. Агрономы разъехались по своим участкам. Я за неделю сделала задание, причём без единой ошибки. Главный агроном проверил все документы и принял отчёты.

Председатель колхоза из Скаливатки раза три привозил отчёты, но главный агроном их не принимал. Тогда он пошёл к директору с вопросом, что делать: у него не принимают отчёт, и он не знает, как его сделать правильно. Директор велел председателю: «Завтра присытай транспорт, я пошлю к тебе специалиста, и он всё сделает», а мне сказал: «Завтра ты поедешь в Скаливатку на три дня. Там сделаешь план прифермерского севооборота, бригадные планы и проведёшь обучение звеньевых».

За три дня я справилась со своим заданием и вечером третьего дня сказала председателю: «Завтра поедем сдавать планы по Вашему колхозу». Он обрадовался, но уверенности, что отчёты примут, у него не было. Он всю дорогу волновался. Мы зашли в кабинет к главному агроному. Я подала ему планы, он внимательно всё проверил и начал подписывать. Председатель стоял хмурый, но когда увидел, что главный агроном подписывает документы, сразу повеселел. Председатель поблагодарил меня – он дал мне несколько наволочек и простыней и попросил перейти к нему в колхоз агрономом – обещал платить такую ставку, какая в МТС,

продукты выписывать по себестоимости и ещё писать трудодни, а на трудодни ведь давали зерно. Я сказала, что не против перейти в колхоз, но не уверена, что директор меня отпустит. Он просил директора, тот ответил: «Нет, не отпушу, нам тоже нужны хорошие специалисты».

Я продолжала ездить по колхозам, проверяла работы, составляла документацию. Пришло время отчитываться за работу МТС перед колхозами. Меня тоже включили в список докладчиков, я выступала после директора и главного агронома. Мне нужно было отчитаться так, чтобы работу МТС оценили на «отлично». Я, конечно, хорошо подготовилась, собрала все необходимые данные. Когда вышла к трибуне, посмотрела в зал и испугалась, лицо покраснело, но я овладела собой и нормально сделала доклад. Ответила на все вопросы. Работу оценили «на отлично». Всё как будто складывалось хорошо, но грянула беда.

Начало войны

Вечером 22 июня 1941 года созвали всех работников МТС. Директор сообщил, что немцы нам объявили войну, и пришёл приказ всю технику эвакуировать за Днепр, всем работникам явиться в контору с вещами. Мы были напуганы и не знали, что делать. Когда я пришла в контору, там были : директор, главный агроном, лаборант, секретарь, телефонистка. Директор послал меня в село Княжу (вся техника из Звенигородки проходила через Княжу). При дороге стояла будочка, в ней был телефон. Я проводила учёт проходящей техники: записывала номер бригады, номера и марки тракторов, комбайнов и другой техники и даже фамилию, имя, отчество бригадиров и сообщала в МТС. Когда все бригады были зарегистрированы, мне позвонили, чтобы я возвращалась в МТС.

На дороге творилось что-то страшное – гнали технику, коров, овец. Всё ревело, гудело, плакало. Я увидела, что ведут заключённых. Все они измученные, уставшие, ноги в ссадинах,

из ног сочится кровь. Они голодные и мучаются от жажды. Я взяла ведро воды и подошла, чтобы дать попить, но конвоиры отогнали меня и даже грозились стрелять. У меня была буханка хлеба. Я разломала её на несколько кусков и бросила идущим людям. Яостояла, пока прошла вся колонна заключенных, всматриваясь в их лица и надеясь увидеть своего отца. Его среди этих заключённых не было. Мне очень жаль было этих людей. Я думала о своём отце, что и он где-то тоже страдает, стояла и горько плакала.

Добралась до МТС, сдала директору все бумаги на отправку техники. Директор и главные специалисты уже были готовы к эвакуации. Они загрузили машины своим добром, забрали всё, что могли забрать. Нам директор сказал: «Вы оставайтесь здесь. Мы узнаем, как там на переправе, и я пришлю за вами машину». Мы, наивные, поверили. Сидим в кабинете день, другой и ждем машину. Приходит наша уборщица Даша и спрашивает: «Почему вы здесь сидите? Бегите отсюда поскорей. По Звенигородке немцы на мотоциклах ездят». Мы испугались, поняли, что никакой машины не будет, схватили свои узелки и разбежались в разные стороны. Я направилась домой через село Гудзивка, но встречные сказали, что в селе уже немцы. Пошла по Тарасовским полям, потом перешла на Шевченковские. Домой добралась вечером. Мама встретила меня со слезами на глазах. Она волновалась за меня, не знала, где я и что со мной. В селе уже были немцы.

Переезд в Шевченково

Вернусь ненадолго в довоенное время. (На фото семья Красовитовых после рождения Оли – она на руках у мамы Груни, самый большой – Женя, рядом Нина, затем Юра; по разные стороны от мамы маленькая Аня и "большая" Маруся, - Л.Т.). Когда отца арестовали и осудили, мама старалась разыскать его, хлопотала о его невиновности, но всё было напрасно. Маме посоветовали обратиться к депутату, говорили, что он помогает людям. Мама пошла к депутату на приём и рассказала о своём горе, что мужа несправедливо осудили, что она многодетная мать. Депутат её выслушал и сказал, что насчёт мужа он не уверен, что поможет, а помочь на седьмого ребёнка должны дать.

Было такое Постановление "О порядке назначения и выплаты государственного пособия многодетным матерям" СНК СССР от 22 мая 1937 года. Депутат рассказал маме, какие нужно собрать документы и куда писать заявления. Мама собрала документы и отнесла депутату, их отослали в Киев. Долго она ждала ответа, и только 29 мая 1939 года пришло «Постановление президиума Киевского областного исполнительного комитета о назначении государственного пособия многодетной матери Красовитовой Г.И. на седьмого ребёнка Красовитову О.И. по две тысячи рублей с 10 мая 1938 года по 10 мая 1943 года. Мама, конечно, рада была хоть какой помощи. Получив деньги за два года, мама решает продать хату на хуторе Юрково и купить в селе, которое теперь уже называлось Шевченково. Причина – выехать из хутора, чтобы не встречаться с теми предателями, что оклеветали отца. Но была ещё одна причина. Женя был единственным трудоспособным мужчиной в семье. Он добросовестно работал в колхозе. За хорошую работу ему дали премию – жеребёнка. Жеребёнка продали и купили стельную тёлочку.

Как поощрение за добросовестный труд его катали на самолёте «кукурузник». Он был добрый, отзывчивый, красивый парень. Многие односельчане говорили маме: «Груня, какой у тебя добрый и красивый сын». Многим девушкам он нравился. Но на беду он понравился жене председателя колхоза. Она начала преследовать Женю. Она не работала, нянчила маленького ребёнка. Она встречала Женю с работы, находила его в клубе, встречала с ребёнком, давала ему нести ребёнка. Женя всячески избегал этих встреч, но от людей в деревне не спрячешься. Начали судачить, что жена председателя колхоза бегает за Женей. Мама сердцем чувствовала, что это может плохо кончиться для Жени, что муж может найти причину и упредить его в тюрьму. Надо было срочно уезжать.

Мама хотела купить хату над ставком, но сестра Василиса уговорила её купить хату ближе к ней, через гору. Жила в этой избушке Марченко Кристина. Муж её был военным, и она уехала к нему. Покупая эту избушку-развалюшку, мама не знала, что от нее будет так много ей горя и слёз.



Годовалая Оля и семья Красовитовых , 1938г.

Снова о войне. Все поля в колхозах были засеяны пшеницей, рожью, ячменём, сахарной свеклой. Когда началась

эвакуация, партийное руководство стало выгонять людей, чтобы сжигали посевы зерновых. Активисты пошли поджигать пшеницу. Когда люди узнали об этом, то вышли на защиту кто с чем – одни с граблями, другие с вилами, третья с тычками – не дали уничтожить урожай.

Когда пшеница, рожь, ячмень созрели, люди начали выходить на уборку урожая. Косили косами, жали серпами. Я тоже два дня косила ячмень. Очень устали. Всё накошенное повязала в снопики и перевезла домой. Дома снопики обколотили специальным деревянным прутом.



Семья Красовитовых (без Раи и Ивана М.) накануне войны

Потом начали хозяйничать немцы. Они выгоняли людей на уборку урожая. Зерно свозили в колхозные амбары, часть отдавали людям, а остальное вывозили. Потом начали забирать молодёжь в Германию. Большинство боялось ехать, но были и такие, что добровольно соглашались, даже выезжали под

музыку. Я пряталась, чтобы меня не угнали. Однажды меня вызвал в Звенигородку Сивоконь. До войны он работал агрономом в МТС и знал меня, потому что я сдавала ему отчеты. Когда я до него добралась, он мне предложил: «Если ты не хочешь, чтобы тебя угнали в Германию, то иди работать ко мне». Я подумала и согласилась. Он дал мне участок из двух сел Хлипновка и Майдановка. Работала я недолго и с немцами не сталкивалась.

В Киев к сестре Рае. Рая, моя старшая сестра, до войны жила в Ирпине у нашей тёти. С начала войны мы о ней ничего не знали, волновались за неё, особенно мама. Когда я была в Майдановке, то узнала, что одни люди хотят ехать к своим родственникам в Киев. Я им рассказала, что у меня там сестра, и мне бы хотелось её найти. Они согласились взять меня с собой. Я поехала к Сивоконю, он меня отпустил.

Добирались мы до Киева две недели. В основном, шли пешком. Нашла Раю и увидела, что она собирается домой. Своё имущество, нажитое в Ирпине, в том числе и швейную машинку, она спрятала, закопала в землю. Но, видно кто-то видел, как она прятала... Взяли с собой только то, что могли донести. Домой добирались, в основном, полями пешком. Расспрашивали людей, как нам правильно идти и не встретиться с немцами. Дошли целы и невредимы, только очень уставшие. Мама нам очень обрадовалась – ее тревожило то, что немцы все ещё забирали молодёжь в Германию.

Рая сначала никуда не выходила, чтобы её не видели, но от соседей не спрячешься. Вскоре за Раей пришли два наших полицая Марченко Борис и Гнатенко Игнат. Рая была в комнатке, а я – в сенцах. По голосам она поняла, что это за ней пришли, выпрыгнула в окошко и убежала в сад, где и пряталась в кустах до самой ночи. Потом Рая устроилась работать в больницу санитаркой и проработала там почти до своей смерти.

Второй раз Раю хотели забрать прямо из больницы, но я обратилась к Сивоконю, он переговорил с кем-то, и её оставили в покое. В Ирпине у Раи был парень, он ухаживал за ней, но

началась война, он ушел на фронт, а она в село. Так пути их разошлись.

Продолжение жизни в Звенигородке

После возвращения из Киева я вышла на работу. Зимой забрала к себе погостить Марусю и Галю. Однажды уехала на участок, а они сами остались в квартире. Зима была снежная, морозная. Я еле добралась до квартиры. Они меня ожидали. Мы поужинали, посидели и уже разделись ложиться спать, как меня кто-то позвал: Нина, Нина, Нина. Мне показалось, что это был голос моей подруги Марии. Меня как будто ветром вынесло. Я выбежала в одной рубашке, открыла дверь, а там такая вынужда, ничего не видно и следов никаких, снег лежит ровно. Я возвратилась и спрашиваю Марусю и Галю: «Вы слышали, что меня кто-то звал?» – «Слышали» – отвечают. Я рассказала об этом своей соседке, а она говорит: «По всей вероятности, вас выселят с этой квартиры». Так оно и случилось. После внеочередной поездки на участок я не застала в квартире Марусю и Галю, очень испугалась, но соседка мне сказала, что их перевели на другую квартиру. Сейчас уже не помню, сколько они у меня жили и когда я их отвезла домой.

Немцы у нас не квартировали. Зашли в нашу избушку и сразу же выскочили, как ошпаренные, и больше не приходили. А испугались, видно, они потолка – он висел дугой, казалось, что вот-вот рухнет на голову. И вообще, когда я работала в Звенигородке, то ни разу не встречала немцев на полях. Никакого контакта с ними не имела. Лишь отчёты сдавала районному агроному.

Уход немцев и приход чекистов. Как только освободили наше село, я сразу же возвратилась домой. Фактически в селе не было боёв, только проходили некоторые части. В село вошли красноармейцы и в нашей избушке поселили солдат. Они не испугались нашего потолка. Это были молодые парни и девушки. Они хорошо относились к маме. Мама готовила им обеды. Я ходила на разные работы, куда загадывал бригадир. Но

по соседству, у бабы Симихи, квартировал кагебист. Она ему все рассказала о нашей семье, завидовала, что никого не забрали в Германию, и настраивала против мамы. И вот этот кагебист начал приходить к нам в избу и издеваться над мамой. Требовал водки, жареную курицу, ложился на кровать и требовал меня или Раю, чтобы его развлекали. Мы убегали или к родственникам или прятались в кустах. Он, лёжа на кровати, прикладывал пистолет к своему виску и требовал кого-нибудь из девушек. Грозился, что если его условия не выполнить, то он застрелится, а виновата будет мама. Он все время пугал маму. Рассказывал, что он много людей погубил и что ему ничего не стоит застрелиться самому. Это был не человек, а садист и бандит. Он получал удовольствие от этого «спектакля». Мы уговаривали маму, чтобы она его не боялась, что он никогда не застрелится, а просто пугает. У мамы было больное сердце, и после этих стрессов она болела. Мы бегали в аптеку к Тихону Ивановичу, он давал лекарства, которые спасали её от смерти.

Путь к Юре

В 1944г. Юра начал служить в действующей армии, в кавалерии. Ему представилась возможность заскочить домой на несколько часов. Он успел сказать, что сейчас их направляют в Корсунь-Шевченковский.

В 1944 году советские войска перешли в наступление и взяли немцев в кольцо. Прошла жестокая Корсунь-Шевченковская битва. На это побоище из села забрали всех мужчин: и молодых, и зрелых, кто остался по какой-то причине в селе.

В село пришла женщина из-под Корсуни и сообщила, что мужья просят своих жён их навестить, повидаться перед боем. Женщина сообщила, что идти надо в село Квитки. Мама собрала сумку и говорит мне: «Нина, женщины идут к мужьям, пойди и ты к Юре». Собрались идти 15 женщин, я знала только своих соседок Смалько Федору и Кириченко Пелагею. Шли мы все вместе, по полям и оврагам. Был март, снег растаял и была большая грязь, такая, что обувку снимала. Пришли в Квитки, а

нам говорят, что солдаты ушли то ли в Переможенцы, то ли в Прутълци. Нашла я Юрю только через три дня в Переможенцах. Он очень обрадовался. Я привезла ему жареную курицу, сало, огурцы, чеснок, лук, пирожки и пряники, водки. Всеми этими лакомствами он угощал своих друзей и командира. Хорошо, что я нашла его здесь, потому что утром они уже переезжали к линии окружения немцев. Был вечер, и Юрь сказал мне, чтобы я здесь переночевала, а утром они будут ехать в сторону села Моринцы, и я с ними подъеду. Но даже до Шендеровки не доехали, пришёл приказ ехать в другую сторону. Я попрощалась с Юрай и пошла домой.

Путь домой через немецкое «кладбище». Сначала надо было идти на село Новая Буда. Я шла километров пять по длинному и глубокому оврагу. Весь этот овраг был покрыт убитыми немцами. Трупы лежали так густо, что их тяжело было обходить. Над трупами с криками кружили чёрные вороны. Мне было очень страшно, у меня болела голова и меня рвало. Я еле выбралась из этого «кладбища». Полями пришла в село Моринцы, откуда 15 км до Шевченково. Домой пришла в пятницу вечером. Рассказала маме о Юре, о своих страхах. Ожесточенные бои шли несколько дней. Особенно пострадали Комаровка и Шендеровка . Эти сёла почти полностью были сожжены. Много там погибло и немцев, и наших людей. Много немцев взяли в плен. (наверное, особисты их просто расстреляли – примечание В.Сокирко).....Я почти целую неделю не была дома.

Арест

При встрече мама мне сказала, что приходил бригадир Марченко Илья, звал на работу – чистить дорогу от грязи. Мама ответила, что меня нет дома, что я пошла к Юрье. В субботу я вышла на работу к мельнице, куда сказал бригадир. Пришёл Марченко отмерил мне две нормы площади, которую я должна очистить и сказал: «Выполнишь норму, сразу иди в сельсовет, тебя вызывает председатель». Я выполнила норму, пришла домой и говорю маме: «Сказал бригадир, что меня вызывает председатель сельсовета». Мама предположила, что они знают,

что я агроном и хотят снова поставить агрономом: «Покушай, тогда пойдёшь». Я ответила: «Пойду, узнаю, вернусь и поем». Переоделась и пошла в сельсовет.

Возвратиться домой в этот вечер мне было не суждено – начался мой тюремно-лагерный срок. Холодным февральским вечером 6 лет назад начал свой лагерный путь также ни в чём не виноватый наш отец.

Я пришла в сельсовет, ничего плохого не подозревая, ведь я не совершила никакого проступка. Зашла в кабинет председателя, поздоровалась, но он мне не ответил, а пошёл к двери, позвал двух стрелков с автоматами и приказал: «Арестовать», потом сказал, куда меня отвести. Привели меня в хату Тупчия, где уже было трое арестованных. Я сидела и горько рыдала – мне было обидно, я не понимала, за что мне такие мучения и испытания. Кому это нужно? Сначала мне было холодно (я была лёгко одета), а потом как будто окаменела и не ощущала ни голода, ни холода.

Суд

Когда мама узнала, что меня арестовали, то у неё случился сердечный приступ, она тяжело заболела. Ко мне приходила Раевская, принесла фуфайку. Два дня меня держали в хате Тупчия, на третий день под конвоем привели в сельский клуб. Там было полно народа, в основном, военные. Меня ввели и огласили, что сейчас такую-то будет судить военный трибунал. На сцене стоял стол, за ним сидели четыре человека: три военных и Марченко Илья. Перед ними лежали исписанные листы бумаги. Это было обвинение против меня, поданное Марченко. В этом обвинении было написана клевета на моего отца, моего брата и на меня. Марченко свидетельствовал против меня, что я не выходила на работу, что он несколько раз велел мне выходить на работу, а я не выходила. Я сказала, что только один раз не вышла по той причине, что ходила к брату на фронт, но мне не дали говорить. Меня осудили Военным трибуналом 29 Танкового Краснознаменного Корпуса 13 марта 1944 года по

ст. 59-6 УК РСФСР к лишению свободы на шесть лет исправительно-трудовых лагерей с поражением в правах на три года.

Причина моего осуждения

Я уже писала, что мама купила избушку в 1939 году у Марченко Кристины. Она была замужем за Игнатом – родным братом Марченко Ильи. Продав хату, она выехала к своему мужу.

Когда село освободили от немцев, Кристина вернулась и начала требовать, чтобы мама вернула ей избу. Она много раз приходила, а мама отвечала: «Ты ко мне не ходи, у меня есть документ купли -продажи хаты». Тогда они решили отобрать у мамы последнюю защиту – посадить меня. Когда меня забрали, Кристина снова приходила и требовала, чтобы выбирались из хаты, а то она подаст в суд. Мама ответила: «Подавай».

Суд проходил в райцентре Ольшана. Мама не смогла поехать, потому что была больна. Через некоторое время сделали выездной суд в Шевченково. Судьёй была женщина. Марченко Кристина насобирала лжесвидетелей. Все выступали против мамы, обвинения были те же: муж репрессирован, сын был в полиции, дочь в тюрьме. Судья выслушала всех свидетелей и дала слово маме, но мама плакала и не могла говорить. После совещания суда, судья сказала: «По решению суда хата остаётся за Красовитовой Г.И. и никто не имеет права выселить её с детьми из хаты. А то, что вы говорите о муже, сыне и дочери, то они несут наказание, что к данному делу не относится». **Как же хорошо знать, что справедливые люди есть!**

Ещё долго эта Марченко трепала маме нервы, но на хату уже претензий не предъявляла, а говорила маме, что она не имеет права занимать огород. Эти Марченки приспосабливались к любой власти. В период репрессий много людей по их милости отправили на Соловки. При немцах они служили им, вылавливали молодёжь и отправляли в Германию. Некоторые с

них удали с немцами заграницу. Когда зашли красные, они тут же перевоплотились, начали служить им, отправляя в тюрьму невинных людей. Обо всем этом я узнала, когда вернулась домой из заключения.

Путь в неизвестность

На следующий день после суда меня снова под конвоем отвели в хату Тупчия. Там было много военных. Один солдат подошёл ко мне, незаметно сунул мне в руку бумажку и сказал: «Это адрес моей матери, постарайся по дороге сбежать. Когда ты расскажешь матери, что видела меня, она обрадуется и примет тебя».

Нас троих, двоих мужчин и меня, под конвоем повели в тюрьму, но мы не знали куда, нам об этом не говорили, а разговаривать с конвоирами не разрешалось. Шли пешком, на ночлег останавливались у людей, кушать давали раз в сутки, а иногда раз в двое суток перед ночлегом. Я прочитала записку, данную мне солдатом. Там был адрес: Ивановская обл. Ильинский р-н село забыла Аскаков Николай Иванович. Но бежать не представилось возможности, уж очень они нас охраняли. Да и если я убегу, то будут тревожить маму, к тому же у меня не было ни денег, ни знакомств, ни сил. Мы шли месяц, пока нас не приконвоировали в Молдавию, в город Сороки.

Тюрьма

Конвоиры сдали нас тюремным надзирателям. Тюрьма была окружена 3-х метровой каменно-бетонной стеной. По углам на стене построены башни, где стояли конвоиры с ружьями. Меня отвели в камеру, где пять суток я оставалась одна. На шестой день в камеру посадили 10 человек.

Меня определили работать на кухню, которая находилась в углу тюремного двора около вышки. На кухне

стояли два большущих котла, в которых две женщины и я варили еду заключённым. Варили, в основном, фасоль неизвестно какой давности и мелкую картошку. Фасоль варилась целые сутки, она была твёрдая, хоть стреляй нею, а картошка мелкая и грязная. Чтобы её отмыть, нужно было менять воду три-четыре раза. Варили картошку не очищенной, чистить было запрещено. Всю эту баланду насыпали в специальные деревянные ёмкости. Две женщины закладывали палку в ушки этой ёмкости и несли баланду в тюрьму. Нести нужно было через тюремный двор. Когда там были на прогулке мужчины, женщинам не разрешалось даже посмотреть в их сторону. Однажды одна из женщин, несущая обед, посмотрела в сторону мужчин. Конвоир заметил: «Не смотреть, поверни голову». Женщина отвернула взгляд, но медленно. Конвоиру это не понравилось, и уже буквально через 20 минут эту женщину посадили в карцер на трое суток. Возвратясь из карцера, она рассказала, что чуть не умерла от холода и голода.

Через месяц тюрьма была переполнена заключёнными, особенно много было мужчин. На прогулку их выводили по несколько человек на 15 минут – одних заводят, других выводят.

Тиф

Заключённых под конвоем начали выводить в поле на посев ячменя. Поле засевали вручную, а потом нужно было парой лошадей его боронить. Мне досталась эта работа. Очень трудно было целый день водить лошадей по пахотной земле. Три дня я без отдыха работала, на четвёртый, пробороновав полдня, упала на пахотную землю в беспамятстве. Лошади сами протянули бороны по полю и остановились. Конвоир подошёл ко мне с криком: «Вставай, работай, чего лежишь?» Я попыталась встать, но не смогла, и больше ничего не помнила.

Очнулась я в камере. Заключённые мне рассказали, что со мной было: я целую ночь металась в горячке, пела (хотя петь я не умела), кричала, плакала. Заключённые стучали в дверь, требовали, чтобы меня забрали из камеры. Меня перевели в

другую, где была женщина в таком же состоянии, что и я. Я заболела тифом. Когда я пришла в себя, то меня стал пугать конвоир: «Выздоровливай, а то отрежу косу». У меня тогда была пышная русая коса, и мне не хотелось её потерять. Но после этой болезни волосы начали выпадать.

Когда я немного оправилась, меня перевели в общую камеру, где было тесно и неуютно. Заключённые ругаются, дерутся, виновников сажают в карцер. В карцер могут посадить за песню (если кто запоёт), за книжку, за иголку. Ко мне подсела женщина, хорошо со мной разговаривала, рассказывала о себе, и я ей тоже открылась. Рассказала ей, что у меня есть иголка и адрес одного солдата. Все это зашито в моей телогрейке. Этую женщину вызывали из камеры, и больше она не возвратилась. Через некоторое время меня вызвал конвоир и спросил, где я прячу иголку и адрес. Я отказывалась, что они у меня есть, но он взял мою телогрейку и точно указал место, где я прятала иголку и адрес. Я отдала ему все и поняла, кто меня предал. Конвоир хотел забрать меня в карцер, но все стали заступаться.

Чаще всего в карцер сажали мужчин. Однажды, идя по коридору, я услышала крик мужчины и его причитания: «Мамочка моя родная, зачем ты меня родила, почему маленьkim не утопила, зачем я терплю такие мучения?» Страшно слышать такие причитания. Карцер – это как каменный холодный мешок, в нём невозможно ни лечь, ни сесть, только стоять, и кушать не дают.

Я снова работала на кухне. Приехала комиссия с проверкой. Зашли на кухню и поинтересовались, по какой статье я осуждена. Я ответила. Проверяющие переглянулись, отошли от меня, и один сказал: «Даже не верится». Я не знала, что означает эта статья. Ведь когда меня осудили, то не объяснили, за что. Заключённые, сидевшие со мной в камере, сразу же заявили, что эта статья обозначает «Вооружённый бандитизм». Сидевшие за убийство начали относиться ко мне с уважением, приняв за правду статью, по которой я была осуждена.

В середине мая заключённых вывезли в поле на посадку помидор. Работали мы с раннего утра до позднего вечера. В четыре часа утра уже начинали работу. Для поливки помидор воду носили из оврага на гору. Еду привезли только на третий день. От тяжёлой работы и голода у меня начали опухать ноги. Привезли нам чечевичный суп с неочищенной картошкой. Суп был солёный и черный как смола, очень невкусный, но я кушала, чтобы хоть немножко поддержать организм. Потом привозили эту баланду через день. Местным заключённым привозили передачи, а мне никто ничего не передавал. Малолетки, сидевшие за воровство, как-то умудрялись украсть у молдаванок то кусочек мамалыги, то хлеба, и мне тихонько иногда подкладывали под подушку. Хотя здесь на поле не вовремя привозили еду, и работа была тяжелая, но конвоиры разрешали петь. После тяжёлой работы заключённые пели, изливали свою горечь и печаль. Пели в основном тюремные песни, пели и плакали. После окончания работ на поле нас снова отправили в камеры.

Путь в Сибирь

В Молдавской тюрьме я просидела почти год. Однажды нас погрузили в товарные вагоны и повезли на Север. Часто вагоны загоняли в тупик, и они там долго простоявали. На какой-то станции поезд остановился и поступил приказ выходить. Нас поместили в здание, напоминавшее мне чердак. Натрамбовали нас, как селёдок в бочке. Все лежали друг возле друга, и невозможно было шевельнуть ни ногой, ни рукой. Лежали, разговаривали, но разговоры сливались в общее жужжание, как у пчёл в ульях. Кормили плохо, и только раз в день. Через несколько дней нас снова погрузили в вагоны и отправили дальше на Север. Опять ехали долго. Вдруг поезд остановился, и снова команда выходить.

На этот раз нас привезли на повал леса. На этом лесоповале работали только женщины. Деревья толстые, высокие и срезали мы их ручными пилами. Кушать давали один

раз в день какой-то суп и 200 гр. хлеба. На работу и с работы – под конвоем. И на работе нас со всех сторон «охраняли» конвоиры. Спали в бараках на нарах.

Через некоторое время повезли ещё дальше на Север. Не помню, сколько мы ехали. На какой-то станции нас расселили в деревянных бараках и поставили копать котлованы и глубокие канавы под фундамент. Местность была болотистая, приходилось стоять по колено в воде. Кроме того, попадались булыжники. Я копала, плакала и вдруг услышала, как конвоиры говорили обо мне: и что я хорошо работаю, и что мне нужно дать другую работу. Вскоре меня перевели на уборку помещения, где кормили конвоиров. Зал был большущий, полы покрыты грязью, толщиной в палец, и я всё это должна была отмыть. Я мыла полы с утра до ночи. Мне показалась, что эта работа не легче предыдущей, но тут хоть не приходилось стоять по колено в воде.

Потом меня перевели на кухню, где я выполняла самую тяжёлую работу – из большущих котлов насыпала баланду в деревянные емкости. Эти посуду приносили к окошку, через него выдавали заключенным. Насыпала баланду черпалкой. Она была сделана из двухметровой палки, на конце которой закреплено 12-литровое ведро. Нужны были силы, чтобы его поднять. Я так уставала, что, придя в барак, моментально засыпала. Времени для сна было мало, приходилось стараться не уснуть на ходу.

Кроме того я выполняла разные кухонные работы: мыла посуду, убирала. Старшей поварихой была жестокая, злая, сварливая женщина. Она всё время чем-то была недовольна, и своё недовольство выплёскивала на своих подчинённых. Этот лагерь находится в Кемерово Мариинского округа.

Потом меня и еще одну женщину (немку по национальности) перевели на стройку. Было построено пять зданий, предназначенных для выращивания подопытных мышей. За этими тварями ухаживала женщина, у которой заканчивался 10-летний срок. У этой женщины была корова, она за ней ухаживала, кормила, поила, доила. Кому отдавала

молоко, не знаю, но иногда за пайку хлеба она давала нам кружку молока.

Нас определили на побелку всех пяти помещений и даже расконвоировали. Мы могли свободно ходить по территории, где находились здания, наблюдали за нами издали. Была осень, и на пахотной земле мы увидели картошку, оставшуюся после уборки. Мы стали тайком по очереди её собирать. Насобирали пять ведер. Варили в большом чугунке в мундирах и кушали досыта. Она нам и без соли была очень вкусной. Но конвой подстерёг, когда мы варили картошку, и отобрал её у нас. После этого мы собирали только, чтобы сварить и сразу съесть. Варёной пищи нам не приносили, выдавали только 200 граммов хлеба. Мы сами кормились, чем могли. От извести мои руки превратились в сплошные раны. После окончания побелки нас отправили в бараки. Ведь основная работа была на лесоповале.

Амнистия

9 мая 1945 года праздновали победу. Это радостное известие докатилось и до наших лагерей, и пошли слухи, что будет амнистия, что срок будет сокращаться на половину. Я очень обрадовалась. Оказалось, что сокращаются наполовину только оставшиеся годы. Действительно, такой указ вышел 7 июня 1945 года. По данному указу мне оставалось отсидеть 2 года 4 месяца 2 дня. Всего отсидела 3 года 7 месяцев 28 дней. Наконец, пришёл мой долгожданный день – 11 ноября 1947 года мне выдали справку об освобождении.

Дорога домой

Мне выдали продовольствие на 18 дней: одну ржавую селёдку и кирпичик хлеба. Освобождённых посадили в товарные вагоны, и поезд двинулся на Москву. Товарняки шли медленно, их часто загоняли в тупики, и они простаивали там по двое-трое суток. На остановках я не выходила. Сколько добирались до Москвы, не знаю, мне это время показалось

вечностью. В Москве милиция развела нас по поездам. Доехала до Киева и товарным поездом добралась до станции Городище. Автобусы в село тогда не ходили, нужно было добираться пешком или на попутке. Люди мне подсказали, что грузовые машины возят сахарную свеклу на завод в Ольшану. Я вышла на трассу и шла помаленьку, часто садилась отдыхать, потому что была голодная и обессиленная. Несколько машин проехали мимо, не останавливаясь. И когда я потеряла надежду, увидела приближающуюся машину, которая начала останавливаться. Подошла и попросила водителя подвезти меня, но сказала, что заплатить не смогу, потому что денег у меня нет. Он подумал, подумал и сказал: «Садись, подвезу».

Из Ольшаны снова пешком. Дошла до хутора Зирка, где жила мамина двоюродная сестра и моя тётя Марина со своим мужем Ивой. Их хата стояла над самой дорогой. Тётя Марина с мужем были около хаты, она узнала меня и зазвала к себе. Я с радостью зашла к ним, мне нужно было отдохнуть. Тётя Марина догадалась, что я голодная, и подала капусняк и хлеб. Я ела и не могла насытиться. Тётя увидев, что я ем с жадностью, остановила меня: «Немножко отдохни, тогда ещё покушаешь». Я отдохнула, поговорила с ними. Сил немного прибавилось, и я заспешила домой. Дорога мне показалась очень длинной. Но вот я уже спускаюсь с горки к копанке. Нужно подниматься на противоположную горку, но я решаю идти лужком, тропинкой, которая приведет меня в наш сад. Мне не хотелось встречаться с посторонними людьми. Вхожу в сад тётки Васьки, а там под горкой пасётся корова и около неё девочка лет девяти. Я подошла к ней и спросила:

«Девочка, как тебя зовут?» – «Оля». Я спросила её фамилию, но вместо ответа она быстро, как мотылек, убежала в гору. Когда я дошла до нашего сада и начала подниматься на горку, мне навстречу уже спешили мама, Юра и Оля. Оля догадалась, кто я, и побежала сообщить маме. Мама плакала от радости. Юра тоже был рад.

Так закончились мои хождения по мукам. Домой я прибыла весной 1948 года. В 1947 году на Украине снова была голодовка, но не такая страшная, как в 1933. Мама готовила разные блюда: варила сахарную свеклу, тёрла на крупной тёрке и добавляла сушёные вишни. Пекла блины из цветов белой акации и листьев липы. У нас была кормилица – корова. Когда я вернулась, то дома были все, кроме Жени. Рая работала в нашей больнице санитаркой, Юра возвратился с войны инвалидом с раной в бедре и свищём (из него всё время вытекал гной, и каждый день нужно было делать перевязки). Ходил при помощи костылей. Маруся работала в колхозе – сейчас пахала коровами колхозную землю, но не колхозными коровами, а теми, что были у людей. За работу в колхозе писали трудодни, но их не оплачивали. Если и насчитывали какие-то деньги, то их забирали на 3% займы. Галя и Оля учились в школе, пасли корову, коз, ходили собирать на уже убранное поле колоски ржи, пшеницы. Собирать колоски было снова опасно, охранники гоняли людей и даже за это судили. Мама рассказала, что до каждого двора доводили план сдачи молока, мяса.



Спор и суд о полкорове

По какой-то причине мы должны были сдать свою корову на мясо. Узнав о том, что мы отдаём корову в колхоз, к маме пришла Осаул Елизавета. Она попросила, чтобы за счёт

сданного нами мяса засчитали, что и она сдала, потому что у неё должны были забрать пороснью свинью. Договорились, что за свинью засчитывают сданное мамой мясо, а она продаст нам половину своей коровы. В бухгалтерии сельсовета тогда работали Гнатенко Артемон Романович и Шевченко Валентина Терентьевна, они-то и расписывали мясо сданной нами коровы на наш двор, двор Осаул Е. и еще на нескольких дворов. За проданную корову маме отдали деньги, их хватило, чтобы заплатить Осаулке за половину коровы. Держали корову по неделям: неделю она, неделю мы. Корова была молочная, она быстро привыкла к нашему двору. Даже когда была у Осаулки неделю, она как-то умудрялась приходить к нам. Однажды пришла к нам с другой коровой, с которой была запряжена в ярмо.

Прошло немного времени, и Осаулка решила не давать её нам. Началась борьба за корову. Однажды Осаулка чуть руки Марусе не покалечила. Мама запечалилась и не знала, что делать, ведь оставаться без коровы нельзя – она кормилица. Мама пошла в сельсовет, рассказала обо всём и ей посоветовали подать на Осаулку в суд. Осаулка насобирала свидетелей против мамы. Состоялся суд. На нем она говорила, что мама не кормила корову, не ухаживала, отказывалась, что мясо нашей коровы ей засчитано. И снова те же обвинения: муж репрессирован, сын был в полиции, дочь осуждена. На маминой стороне свидетельствовали Артемон Романович и Валентина Терентьевна. Они документально подтвердили, что мама зачислила за неё мясо. Суд присудил выплатить маме деньги за полкоровы, а все остальные обстоятельства признал не относящимися к делу. Долго Осаулка не отдавала деньги, но все же отдала. Мама в Ольшане на рынке купила стельную красивую чёрно-рябую тёлочку. Всё это рассказала мне мама после моего возвращения.

Поездка на Донбасс

После возвращения из мест отдалённых я решила немного отдохнуть – поехать в гости к Жене. Женя после окончания войны уехал в Донецк к своей невесте Ксении, женился и работал в шахте, в забое. Я его не видела с начала войны, а очень хотелось увидеть. Он ушёл на фронт и дошел до Берлина, был награждён медалью «За взятие Берлина».

Хотя семья ещё голодовала, мама собрала ему в дар лучшие продукты. Все гостинцы я сложила в мешок и добралась до станции Городище. Прежде чем становиться в кассу за билетами, нужно было пройти санобработку. Я целые суткиостояла в очереди, чтобы получить бумажку, что прошла санобработку. Потом целые сутки стояла в кассу за билетом, но когда дошла до кассы, вдруг объявили, что билетов на Донецк нет. Посоветовали взять билет до Днепропетровска, откуда легче поехать на Донецк. Я взяла до Днепропетровска.

Пока ждала поезда, ко мне подошла женщина моих лет, разговорились. Она сказала, что тоже едет в Донецк. У неё был такой же мешок, как у меня. Она была такая приветливая, всё рассказывала о себе, часто куда-то уходила и бросала на меня свои вещи. Предлагала мне, что она посмотрит за моими вещами. Я, если уходила, то брала вещи с собой. На днепропетровский поезд сели в один вагон. Приехали в Днепропетровск. Она оставила около меня свой мешок, попросила присмотреть за ним, а сама куда-то ушла. Не было её где-то около получаса, а когда пришла, то говорит мне: «Я уже прошла санобработку. Здесь за углом калитка, войдёшь во двор, там люди стоят в очереди. Очередь небольшая, ты быстро справишься, иди, а я посмотрю за твоими вещами». Я оставила на неё свои вещи и побежала, добежала до калитки, смотрю, а во дворе пусто, нет людей. Меня взял такой страх, я побежала обратно что было сил, но на том месте не было ни женщины, ни моих вещей. Я бежала по перрону и кричала. Шёл поезд, и я хотела броситься под него. Не помня себя, наскочила на встречного мужчину. Он схватил меня за руку. Я кричала, чтобы

он отпустил меня, а он ещё крепче сжимал мою руку и держал, пока не прошёл поезд. Потом мужчина стал спрашивать, что случилось. Я ему сказала, что меня обокрали. Он выслушал и сказал: «Разве можно губить жизнь из-за украденных вещей? Ты молодая, всё наживёшь». Так он спас мне жизнь.

Я немного успокоилась, взяла билет на Донецк и приехала к Жене. Когда я зашла в квартиру, то сразу же расплакалась. Они даже испугались, подумав, что кто-то умер. Я рассказала Жене и Сене о случившемся. Они успокаивали меня, но мне было так обидно, что я приехала без гостинцев. Жили они бедно, только на Женину зарплату. У них уже был маленький Юра, на иждивении были мама Сени, её брат и сестра. Я погостевала несколько дней. Даже толком не наговорилась с Женей, потому что, работая каждый день, он приходил домой уставший, и ему нужно было отдыхать.

Приехала домой грустная, растерянная, встревоженная. Сначала не рассказывала о том, что меня обокрали, но Раи спросила: «Что с тобой случилось? Я бросила карты, они мне сказали, что у тебя очень большая печаль и какая-то потеря». После Раиного вопроса я рассказала маме, Рае и Юре обо всём. Все меня успокаивали и радовались, что не произошло самое страшное. Я долго не могла забыть своей поездки в гости. И сейчас, когда вспоминаю об этом, то по моему телу пробегает дрожь.

На сезонных работах

Нужно было устраиваться на работу, но куда? Ведь сидевших в тюрьме презирали и старались не брать на работу, везде требовали автобиографию. В свой колхоз идти работать не хотела – мне неприятно было встречаться с этой сволочью Марченком, который испортил мою жизнь и молодость.

Недалеко от нашего села находится хутор Шампань – по трассе на село Моринцы. По правой стороне этого хутора тянутся хаты, а по левой – лес до Моринцы. Все эти земли, сад и лес принадлежали Шевченковскому лесничеству. На Шампани

работал лесником Кочерга Григорий Иванович. Он приехал в село набирать людей на разные работы, я записалась. Работа была сезонная, документов и автобиографии никто не требовал. Меня это устраивало. Лесник сказал: «Завтра же выходи на работу».

Так весной 1948 года началась моя работа в лесу(на фото Нина в середине). Каждый день ходила на работу пешком – километров пять в одну сторону. Обкапывали плодовые деревья на ширину кроны, проводили их обрезку, стволы очищали от старой коры и белили, собирали гусениц. Я старалась, чтобы заработать, и за первый месяц получила 82 рубля. Другие работники стали возмущаться – они заработали вдвое меньше, но ведь они не старались выполнять нормы. Я пошла в контору и попросила книжку, в которой были расписаны все нормы и расценки на выполненные работы. Например, за обкопку 35 яблонь (3,5 соток) положено 1р.45коп. Весной день был длинный, я старалась и подсчитывала, сколько заработала за день.

Было и такое, выгодное задание – заготавливать кору с корней бересклета. Я искала везде эти кусты, выкапывала, отбивала кору. За эту работу хорошо платили, и я заработала 300 рублей. Летом была уборка смородины, черешен, яблок. Работала до поздней осени.

Из лесничества приехал в сад обездчик Ямковой Никита Павлович. Он был доволен моей работой, разговаривал со мной, и я ему сказала, что по специальности я агроном, что закончила агрономический техникум и до войны работала в Звенигородской МТС агрономом. Никита Павлович сказал, что



в лесничестве есть должность агронома-садовода, он уточнит, поговорит и мне сообщит.

Работа в Шампани, в лесничестве

Действительно через некоторое время меня вызвали в лесничество. Сюда приехал директор лесхоза. Директор сказал, что есть должность агронома-садовода, и я могу написать заявление и принести следующие документы: автобиографию,



трудовую книжку и диплом. В автобиографии я написала, что отца нет, а мать работает в колхозе. О том, что была в заключении, я ничего не написала и очень боялась, чтобы эти Марченки снова не испортили мне жизнь. На этот раз всё обошлось. Через неделю в лесничество снова приехали

директор и главный бухгалтер лесхоза. Директор начал смотреть документы, открыл трудовую книжку и рассмеялся: «А это что такое?» Почти все листы в трудовой были изрисованы человечками. Я покраснела и сказала, что книжку нашла и изрисовала моя самая младшая сестра. Он забрал документы и велел приступить к работе садоводом. Так 26 января 1949 года меня назначили на должность садовода Шевченковского лесничества.

Основные сады были в Шампани, но были и в Журженцах, в Старо-Моринском. Для проведения работ нужно было искать рабочих. Я пригласила десять девушек и организовала садоводческую бригаду. Кроме садов в моём

ведомстве были участки полей, кузница, пилорама. В лесничестве было три пары лошадей, которыми мы выполняли все хозяйствственные работы. На пилораме пилили лесоматериал на штакеты.

На все работы, что выполнялись в садах и кузнице, на полях и пилораме, я составляла наряды. Нормы были большие, расценки на выполненные работы маленькие. Например, забороновать пять гектаров пахотной земли, а расценка за эту работу 1 р.58 коп. Никто не мог выполнить такую норму. Люди не хотели работать за такие гроши и бросали работу. Мне приходилось составлять такие наряды, чтобы рабочие могли заработать хоть какие-то деньги. В саду я выращивала новые саженцы, делала окулировку. Нужно было делать омоложение сада, сажать плантации смородины, малины. За всеми этими работами нужно было следить.

На каждое воскресенье я старалась приехать домой, чтобы помочь маме по хозяйству. Юра, несмотря на свое ранение, учился и закончил в августе 1948 года Шевченковский техникум рыбоводства. Его направили на работу в Сквирский райотдел с/хозяйства на должность зоотехника по мелкому животноводству. Проработал он недолго, всего восемь месяцев с 29 ноября. Уволился по состоянию здоровья: после тяжёлого ранения, неудачно сделанных операций, недостаточного лечения у него приключился остеомелит. Рана не заживала, сочился гной, нужны были каждодневные перевязки. Бинтов не было, для перевязок использовали тряпки, они за день пропитывались гноем, и нужно было каждый день стирать и тряпки, и кальсоны. Кроме того нагноения давали обострения, и нужно было ложиться в госпиталь, где ему чистили кость. Натерпелся он болей за свою жизнь.

Трагедия замужества Раи

В 1948 году Рая решила выйти замуж за Бондура Василия Ивовича. Мать Василия приходила к Рае на работу, уговаривала её выйти за ее сына. Василий был слепой – потерял зрение в семнадцать лет. Мама и Юра не советовали Рае выходить за слепого, но она сама решила свою судьбу. Пошла посмотреть на жениха, да так и осталась там.

Не знаю, как ей жилось сначала, но скоро её жизнь превратилась в ад. Свекровь начала издеваться над Раей, всячески настраивала Василия против неё. Рая была красивая, аккуратная, работящая. Перед тем, как идти на работу в больницу, она сделает всю работу по дому, приготовит кушать. Свекровь делала всякие подлости, когда Раи нет дома. Например, нальёт сыну борща в миску и бросит туда волосы, он не видит, кушает, а когда попадаются волосы, он злится, мамаша же наговаривает на Раю, что она неаккуратная. Начинаются скандалы. Рая приходила и рассказывала свое горе маме, мама переживала и советовала ей бросить мужа, забрать ребенка и вернуться домой, но Рая боялась осуждения, что она бросила слепого. Какая-то чёрная сила держала её там. И жить было невмоготу, и бросить не могла. К нам Василий не разрешал ей ходить, контролировал приход жены с работы, она не могла задержаться больше пяти минут. К ней домой мы не могли пойти, потому что её свекровь – эта усатая ведьма – обзвывала нас голодранцами, трубила, что мы хотим её обобрать. Мы никогда ничего не брали у неё, наоборот помогали Рае, ведь мы все работали: Маруся в колхозе, я в лесничестве, а мама во дворе и огороде.





Рабочие будни

Зарплата у меня была небольшая, но мне дали 15 соток огорода, полгектара сенокоса. Всё выращенное на своём огороде я привозила домой. Траву косила, в основном, сама, сушила и привозила сено домой для коровы. Оля и Галя гоняли пасти корову в лес, где я работала. Мне начали выписывать топнорму дров, и я их привозила домой. Теперь уже Гале и Марусе не приходилось таскать

дрова из леса на своих плечах. Собранные урожаи малины, смородины, яблок отправляли в лесхоз. В саду построили сушилку для яблок. Когда начинался сезон сбора яблок, то сорванные яблоки паковали и отправляли в лесхоз, а битые резали на сушку. Я собирала девочек, и они делали эту работу, Галя с ними.

Вскорости в лесничестве появился трактор. На тракторе работал мужчина из села Пединовка. Жена у него умерла. Он начал подходить ко мне и предлагать выйти за него замуж. Я насмотрелась на жизнь старшей сестры, и мне не хотелось замуж, к тому же этот человек мне не нравился, и я ему отказалась.

На сезон сбора урожая яблок, чтобы не разворачивали яблоки и свежие, и сушёные, я наняла охранника, мужчину из своего села, соседа Марченко Ивана Онисимовича. Он отличался крутым нравом и имел кличку Боцман. Он был любитель выпить, а когда напивался, то бушевал. Люди его боялись, и если слышали, что идёт Боцман, то закрывались в хатах. Он жил с женщиной намного старше его. У этой женщины были три дочери, старшая – Мария. Пожив некоторое время с матерью, он начал жить с её дочерью. Мать и дочь

постоянно ругались из-за него, иногда даже за косы водили одна другую. Обе приходили к нему на дежурство, приносили еду и выпивку. Наконец-то, дочь победила и вышла за него замуж. Охранником он был хорошим. Работы было много, часто даже в выходные, когда приходили указания нарвать начальству малины, смородины или черешен. Однажды пришёл приказ нарвать черешен. Я пошла в посёлок искать мальчишек, которые хорошо лазят по деревьям. Деревья были высокие. За то, что они нарвут черешен, я им не обещала платить деньги, а разрешила нарвать себе домой. Зашла к одной женщине по фамилии Бортник Анна. У неё были сын и дочь, Витя и Шура. Шура работала в саду. Я попросила Анну, чтобы отпустила Витю рвать черешни, Анна говорит: «Пусть и Шура идёт». Я отказалась: «Нет, Шура пусть отдыхает (было воскресенье), ведь ей в понедельник на работу». Мать Шуры продолжала упрашивать, но я наотрез отказалась.

Мальчики нарвали черешен, отнесли их в погреб и разбежались по домам. Я тоже поехала домой на велосипеде. В понедельник прихожу на работу, а мне сообщают, что Шура умерла. Я просто шокирована была этой новостью. Мне рассказали, что их корова паслась на пастбище, а вечером они загоняли корову домой. Шура попросила своего брата, чтобы он забрал корову с пастбища. Витя, видно, устал и не послушал её. Они поругались, и Шура сама пошла. Она почти пригнала корову – корова пришла домой, а Шура не дошла – упала на тропинке за окопом и умерла от сердечного приступа. Бог отвёл от меня беду. Согласись я взять Шуру рвать черешни, и с ней случись сердечный приступ, она упала бы с черешни, и меня бы обвинили в её смерти. Анна, встречая меня, плакала и спрашивала: «Как вы знали, что она умрёт, и нельзя ей на черешню?» Я отвечала, что ничего не знала, просто хотела, чтобы Шура отдохнула. С ранней весны до поздней осени я работала в саду, а зимой в конторе лесничества, ездила на ревизии в обходы, выдавала лесоматериал.

Неудавшаяся афера с продажей яблок.



Уже несколько лет я работала садоводом. Работа была налажена. Как-то меня вызвали в лесхоз и устно приказали, что надо приготовить не помню сколько, но много, ящиков с яблоками. Когда яблоки были нарваны и упакованы, в сад приехал заместитель директора лесхоза Булава. Он занимался отправкой яблок. Взвешивая ящики, Булава записывал меньше, чем в действительности

весил ящик. Так нагрузили одну машину, другую, а потом поставили взвешивать меня. Я, естественно, писала точный вес. Заготовитель нажаловался на меня Булаве. Он пришёл и начал орать, что я не исполняю его указаний. Я сказала, чтобы он мне дал указание письменно. Он ещё больше разозлился и ещё громче заорал. Всё это происходило при рабочих. Я расплакалась, охранник говорит мне: «Не плачь, они хотят денег наторговать, а ты плачешь».

Нагрузили и отправили машин пять-шесть. Прошло больше месяца. В сад приезжали три человека и попросили продать им яблок, потом стали настойчиво уговаривать. Я ответила, что существует порядок: надо обратиться в лесничество, в бухгалтерии им выпишут ордер, который они оплатят, по этим документам, я им выдам яблоки. Эти люди ещё несколько раз приезжали с такой же просьбой, но я твёрдо говорила, что отпускаю яблоки только по ордеру. Последний раз они сказали мне: «Нам известно, что вы продавали яблоки на машины». Я сказала, что был приказ директора лесхоза

заготовить и отправить яблоки. Они спросили, где этот приказ. Я рассказала, что приезжал заместитель директора и дал мне устный приказ отправлять яблоки. На отправку яблок я выписывала накладные в трёх экземплярах, третий экземпляр оставляла у себя.

Оказывается начальство лесхоза хотело сделать какую-то афёру с этими яблоками и меня хотело впутать. Несколько раз приезжала милиция и следователь, расспрашивали меня, как взвешивались и отправлялись яблоки. Я предъявила документы на вес и накладные на отправку яблок. Расспрашивали рабочих, охранника. Охранник и рабочие подтвердили, что взвешивала я правильно, что на меня даже ругался Булава, что я точно взвешиваю. Всё равно я боялась суда. На суд меня вызывали в качестве свидетеля, я говорила правду и даже выступала в защиту директора.

Строительство новой хаты

Мы долго жили в той хате, что купила мама ещё в 1939 году. Хата начала разваливаться. Нужно было строить новую. Я написала заявление, чтобы мне выделили лесоматериал на строительство хаты. Просьбу мою удовлетворили, но лесоматериал был в трудно доступных местах, в глубоких оврагах. Приходилось вывозить по одному дереву на места, где можно было погрузить брёвна на машину. Почти полтора года стягивали материал на строительство хаты. Чтобы выкупить стройматериал, нужны были деньги. Я выписывала их в счёт зарплаты. Из своего сада продавали яблоки, сливы, вишни, груши. Все вырученные за фрукты и сухофрукты деньги шли на строительство. Строили хату с 1953 по 1961 год. В это



время дома были только мама и Юра: Галя и Маруся работали в Закарпатье, Мукачево, Оля, проучившись в зоотехническом техникуме, уехала по распределению в Винницкую область. Я работала дома, и в лесничестве.

Осенью, когда наступал сезон уборки яблок, много людей приезжало с ордерами, выписанными и оплаченными для их получения. Приехали как-то двое мужчин, разговорились со мной, а через неделю наведались к нам домой, но меня не застали – я не приходила домой, нужно было закрывать наряды и начислять зарплату работникам. Мама и Юра пообщались с мужчинами. Они сказали, что один из них хочет жениться на мне. Мама и Юра ответили, что этот вопрос я решаю сама. Через неделю я приехала домой, и снова появился мужчина, который хотел на мне жениться. Мы поговорили, и я ему отказалась. Не понравился он мне, Юре он тоже почему-то не понравился.

Работая в саду, я посадила школку и вырастила молодые саженцы яблонь, малины, смородины. В Шампани жил мужчина, который был в Пединовке председателем колхоза. Он видел, что я хорошо работаю, покупал саженцы. Как-то мы с ним разговорились, и он предложил мне перейти работать в колхоз бригадиром садово-огороднической бригады. В колхозе платили больше, но я не согласилась, потому что в лесничестве мне выписывали топнорму дров. Кроме того здесь меня никто не беспокоил.

Последнее и опять неудачное сватовство

Когда работы в саду заканчивались, я работала в конторе лесничества в селе Моринцы. Там я познакомилась с пчеловодом Иваном Власовичем. Он жил в селе Моринцы со своей женой Дарьей Васильевной. У них было два сына, но они погибли на войне. Иван и Дарья всю жизнь их ожидали, выглядывали, надеялись, что сыновья вернутся. Звали сыновей Анастасий и Пётр. Анастасий был старше меня, а Пётр – моих годков. Иван и Дарья жили между собой очень дружно, уважали

друг друга, и один другого называл по имени-отчеству. Иван Власович был хозяин – во дворе и везде был порядок. Во дворе стояли хорошая хата, сарай, баня и своя пасека. Сад и огород был обсажен жёлтой акацией. Акация была ровно подрезана. Дышало уютом. Он всегда делал вино из яблок, смородины, малины и мёда.

Однажды Иван Власович позвал меня в гости. Дарье Васильевне я понравилась, и она меня звала заходить к ним. Дарья Васильевна болела, и мне было очень жаль её. Я ей помогала по хозяйству, делала побелку в хате, белила постройки снаружи. Они ко мне относились как к дочери, часто приезжали к нам в гости, даже с ночёвкой. Дарья Васильевна очень мне привязалась и начала меня уговаривать, что когда она умрёт, чтобы я согласилась выйти замуж за Ивана Власовича. Она рассказывала о его достоинствах, что он меня не обидит, что он со мной распишется и всё хозяйство перейдёт ко мне. Я слушала её, ничего не обещала. Вскоре Дарья Васильевна умерла. Когда спрвили все поминки, Иван Власович сделал мне предложение. Сказал, что сразу же пойдём в сельсовет, распишемся. Я ему отказалась. Я его воспринимала как отца, не как мужа, его наследство меня не интересовало. Кроме того, я не могла

оставить больных маму и Юру. Ведь дома в то время никого больше не было.

Л.Ткаченко: На этом закончились Нинины тетрадки, а Оля закончила оцифровывать написанное и править. Настала моя очередь заменять оставшиеся украинские слова на русские (ведь «Воспоминания» пойдут на наш сайт, а он русскоязычный) и ещё немного править. Но и Олю, и меня огорчало ощущение



недоговоренности – ведь у Нины не хватило сил описать вторую половину своей жизни и хотя бы пунктиром судьбы братьев и сестёр. И Оля продолжила работу. Сохранив номинально Нинино авторство, она дополнила Нинины воспоминания рассказами о судьбах родных, за что мы с Витей очень благодарны Оле и размещаем в них основную часть сканированных фото.

Нина умерла во вторую ночь после завершения её 93-го года жизни, 26 мая 2010г. На Нинино 90-летии собралась многочисленная родня, которую вместе и поврозь сохранил на память всем наш Тёма, приехавший на праздник вместе с женой Асей и дочкой Танечкой. Я размещу здесь некоторые из них.







О Рае и её семье

Жилось Рае плохо. Муж её Василий требовал, чтобы она на работе не задерживалась, а если задерживалась, то он устраивал скандал ревности. К матери тоже не пускал. Она могла заскочить к матери только, когда шла в аптеку за медикаментами. Аптека находилась недалеко от нашей хаты.

28 марта 1949 года Рая родила мальчика (на фото Рая слева). До рождения ребёнка Василий заявил Рае, что если родится девочка, то он этого ребёнка не признает, что это не его ребёнок. Рая очень переживала. Слава Василий был доволен. Начался спор за имя. Раю назвать хотела Алёшой, а Василий Лёней. В документах записали – Алексей, в быту и сейчас зовём Лёня.

Рая была с ребёнком только в свободное от работы время. В основном Алёша общался с отцом и бабой Настей. Раю старалась, чтобы Алёша учился, а баба Настя говорила Алёше: «Не учись, а то ослепнешь, как отец». Свекровь настраивала против Раи и мужа, и сына. Часто бывали скандалы. Муж ревновал Раю без основания, а сам связался с соседкой. Муж соседки из-за ревности поджёг их хату.

Тем летом у нас гостила наша двоюродная сестра по отцу Марина Яковлевна Случевская. Был день рождения Марины. Мама приготовила праздничный обед. Только собрались сесть за стол, как прибежала соседка и сообщила нам, что Раина хата горит. Мы все побежали туда, начали выносить всё, что можно было спасти. Свекровь Раи устроила скандал. Она кричала: «Злыдни пришли забирать моё добро». На ее ругань никто не обращал внимания. Все были заняты спасением имущества.



Нужно было строить Рае хату. Она обратилась ко мне за помощью. Собрали необходимые документы на строительство, я помогла с выпиской стройматериала, Василий ходил договариваться о транспорте для перевозки стройматериала. В строительстве хаты участвовал и маленький Алёша – отец везде брал сына с собой. Вся наша семья принимала активное участие в строительстве. Наконец-то, построили хату, потом сарай. Для свекрови сделали комнату с отдельным входом. Надеялись, что теперь она не будет вмешиваться в семейную жизнь сына. Но жизнь Раи не стала легче – свекровь хоть и жила отдельно, но продолжала делать Рае всякие гадости. Рая переживала, нервничала и, забежав к маме, всё ей рассказывала. А мама выслушивала и пересказывала мне и Юре. Я, мама и Юра уговаривали Раю, чтобы она бросила Василия, забрала сына и вернулась домой, но Рае отвечала: «Люди скажут, что я бросила слепого мужа, меня будут осуждать». Так и терпела неизвестно зачем.

Алёша закончил 7 классов и поступил учиться в Шевченковский гидромелиоративный техникум на механика. 20-го декабря 1965 года умерла наша мама. На похоронах мамы Раи была какая-то задумчивая. А в феврале Раи умерла, покончила жизнь самоубийством. Мы очень горевали и не могли понять, зачем она это сделала.

Через некоторое время Василий пришёл к нам и начал уговаривать меня выйти за него замуж. Он говорил, что Алёша нужна мать. Я ему, конечно, отказалась. Как я могла согласиться пойти за него замуж, зная что он и его мать довели Раю до самоубийства. Сначала Василий приходил к нам в хату, потом начал вызывать меня на улицу и уговаривать, потом подоспал свою двоюродную сестру, чтобы она меня уговорила. Я ей сказала, чтобы ни она, ни он больше не приходили. Василий рассердился, что я ему отказалась и начал настраивать Алёшу против нас, запретил к намходить.

Василий женился на Елене Мурзе (она была незамужняя и жила у своей сестры). Так у Алёши появилась мачеха. Между ней и бабой Настей тоже стали возникать скандалы, но Елена не

подчинялась свекрови и создала для неё такие условия, что та быстро отдала Богу душу.

Алёша закончил техникум, поехал на работу по направлению, с работы пошёл в армию, служил сначала в Ленинграде в ракетных войсках, потом его перевели в город Смела Черкасской области. Из армии писал нам письма и высыпал фотографии. Отслужив, возвратился домой и устроился радистом в Шевченковский узел связи. Изредка заходил к нам. Потом перешёл работать в Шевченковскую среднюю школу трактористом и преподавал вождение ученикам. Нам несколько раз вспахивал огород, помогал Юре ремонтировать машину.

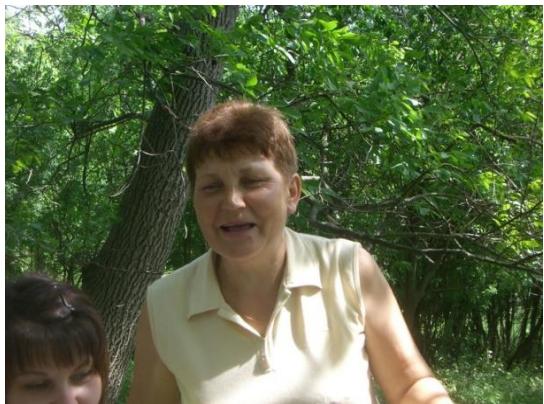
Алёша начал встречаться с одноклассницей Зиной Ялинской, и они решили пожениться, но отец и мачеха были против их женитьбы и всячески препятствовали этому браку. Они хотели женить его на девушке, какую выбрали сами. Будущей тёще наговаривали на Алёшу всякие гадости, но свадьба состоялась. На свадьбу были приглашены и мы. Алёша остался жить у тёщи, потому что Зина не захотела жить у свекрови. Через год Зина родила девочку. Назвали её Таней. Алёша уехал учиться в Волгоград в высшую милицейскую школу. Через два года Зина оставляет Таню бабушке и дедушке и уезжает в Волгоград к Алёше и живут они там до окончания Алёшиной учёбы.

Во время учёбы в Волгограде умирает Алёшин отец. Мачеха не сообщает сразу Алёше о смерти отца. Алёша приезжает, но отца уже похоронили. Мачеха испугалась, что Алёша скажет, чтобы она выбралась с хаты. А у Алёши и в мыслях не было выгонять её с хаты, наоборот, он хорошо к ней относился и думал, что будет приезжать и жить в своей хате. А она отобрала хату у Алёши и отдала её своим племянникам.

После окончания учёбы Алёшу направили в Черкассы работать экспертом-криминалистом. Зина поехала с ним. Она устроилась на работу в областную больницу медсестрой. Сначала снимали, потом Алёше дали однокомнатную квартиру,



а через несколько лет – двухкомнатную квартиру, где они живут по сей день. После возвращения из Волгограда мы по-родственному общались с Алёшой, Зиной, Таней. Таня вышла замуж.



Нанимают и комнатау.

Отца и мать навещают и помогают. Отец и мать Зины умерли в один год. Хату продали в 2007 году.

О жизни младших сестёр

В одно время случилось так, что дома остались только больной Юра и больная мама. Мне нужно было каждую неделю ездить домой, чтобы помочь по хозяйству. Маруся ещё несовершеннолетней пошла работать в колхоз. Сначала пасла тёлочек, потом доила коров, но её неокрепшие руки очень болели. Она оставила доить коров и пошла в поле полоть свеклу, выполнять разные сельхозработы. В



Маруся

колхозе только писали трудодни, но почти ничего не платили. Одна из работниц рассказала Маруси, что в Кировоградской области проживает её брат, и он говорит, что в том колхозе хорошо платят и можно заработать зерна.

Маруся поехала в тот колхоз. Председатель колхоза взял её на работу и остался доволен – она хорошо работала, заработала зерна. Маруся попросила председателя, чтобы он дал справку, что отпускает её из колхоза. Справка нужна была для того, чтобы получить паспорт. С паспортом Маруся в 1954 году уехала в Донецк к Жене. Там устроилась на работу в артель утильскупторга, где шила шапки и фуражки.

Гая в 1954 году закончила Шевченковский гидромелиоративный техникум и уехала на работу по направлению в Мукачевское управление гидромелиоративных систем. Устроившись на работу в контору, Гая позвала к себе Марусю. Маруся приехала в Мукачево в 1955 году и стала работать в конторе управления уборщицей и учиться в вечерней школе. После окончания восьмого класса она поступила в Мукачевский кооперативный техникум на заочное отделение.

Гая познакомилась с парнем



из Горловки – он служил в Мукачево в армии. В 1959 году она вышла замуж и уехала в Горловку. Маруся осталась работать в Мукачево.

Оля с 1956 по 1959 год учится в Златопольском зоотехникуме и потом по направлению уезжает в село Хутор-Чемериский Винницкой области Барского района работать зоотехником. Проработав в колхозе почти год, она заболела. Гая



перевезла её в больницу в город Бар, потом её перевезли в Винницкий тубдиспансер с диагнозом туберкулёз кости тазобедренного сустава. Через год Маруся перевезла её в Севериновский санаторий Винницкой области. Потом её направили в Киевский тубинститут на операцию. Я встречала Олю в Киеве и отвозила в тубинститут, где ей сделали операцию на тазобедренном суставе и через месяц отправили в тот же Севериновский санаторий для выздоровления. Все очень волновались за Олю, особенно мама и Юра, и ждали её возвращения домой.

Маруся в 1961 году рассчитывается с работы в Мукачево и приезжает домой. Я устраиваю её на работу в Шевченковское лесничество кассиром. Теперь мне легче: вдвоём ездим на работу и с работы, вместе выполняем работу по дому и огороду. Маруся заканчивает техникум (ездила на защиту диплома уже из дома) в 1961 году. В сентябре 1962 года Маруся забирает Олю из Севериновского санатория домой.



В 1963 году меня переводят в Селещанское лесничество, а Маруся осталась в Моринском лесничестве. Но в 1964 году Марусе пришлось уйти с этой работы – лесничий Глухенький начал приставать к Марусе, хотел, чтобы она была его любовницей. Маруся ему отказалась. Тогда он начал к ней по мелочам придираться, настраивал работников против неё, довёл её до такого состояния, что она заболела аллергией на нервной почве.

В 1965 году Маруся устраивается на работу кассиром в столовую Шевченковского



сельпо и работает там по сентябрь 1967 года. С октября 1967 года она работает счетоводом в Шевченковском сельпо. В 1972 году сельпо перевели в район, работников сократили, и Маруся пошла работать кассиром в Будищанский дом-интернат. С 1977 по 1981 год Маруся работает счетоводом в Шевченковском сельсовете. В 1981 году уходит на пенсию.

О жизни Юры

Во время войны Юра был дважды ранен. Первое ранение было в руку. Эта рана быстро зажила. Второй раз, 19 августа 1944 года, в Бессарабии, он был ранен тяжело. Был приказ взять высоту, силы же были не равные, почти все солдаты погибли, а у Юры разрывными пулями раздробило тазобедренную кость левой ноги. Правая нога тоже была ранена, но, слава Богу, кость оказалась не задетой. Санитары нашли Юру на поле боя еле живым. Тащили по оврагу пригибаясь, потому что немцы не прекращали стрелять. Юра был в шоковом состоянии. Он просил пить. Солдаты, проходившие мимо них, давали из своих фляг воду Юре, но она не задерживалась в его организме, а вытекала из раненных ног красными ручейками.

Мама получила с фронта открытку, на ней был нарисован наш солдат, который колет немца штыком. Содержания этой открытки никто непомнит. После никаких писем от Юры не получали. 9 мая 1945 года война закончилась, а от Юры нет вестей. Только в сентябре 1945 года к нам домой пришёл посыльный из сельсовета и сказал, чтобы мы ехали на станцию Городище забрать Юру. Маруся наняла конную повозку и привезла Юру домой.

Юра был сильно истощённым, еле-еле мог стоять на костылях . Рана не заживала, из раны всё время сочился гной. Юра рассказал маме, почему он не мог сообщить, что жив. Почти полгода он не приходил в себя, боролся за жизнь. После ранения его определили в эвакогоспиталь. Делали операции, вынимали осколки. Много вынули, а много и осталось. На протяжении всей жизни делали операции и вынимали осколки.

От не вовремя сделанной операции или от непрофессионально сделанной операции Юра остался инвалидом на всю жизнь.

Окружённый заботой мамы и сестёр, Юра начал восстанавливаться, молодой организм боролся с болезнью. Немного окрепнув, Юра в 1946 году поступает учиться в Шевченковский техникум рыбоводства и заканчивает его в 1948 году. При обострениях ложится в Шевченковскую больницу, подлечивается и снова учится. После окончания техникума Юра едет работать в Сквицкое сельхозуправление, но в мае 1949 годаувольняется по состоянию здоровья – сильное обострение болезни. Приезжает домой и ложится в районную больницу, откуда его направляют в Киев, в Республиканский госпиталь ИОВ. Здесь ему чистят кость, вынимают осколки. После госпиталя в 1951 году сразу же направляют на курорт в Славянск для укрепления здоровья. После курорта Юра устраивается на работу в Шевченковское отделение связи, но уже в ноябре этого года уходит связи с очередным ухудшением здоровья. В 1953 году районная больница направляет Юру в Киев в Республиканский челюстно-лицевой госпиталь, где делают операцию, чистят кость и снова вынимают осколки. Оттуда для укрепления здоровья направляют в крымский курорт Саки.

После многих операций, сделанных Юре, здоровье его не улучшается, а болезнь переходит в хронический остеомиелит. Много понадобилось сил, чтобы получить группу инвалидности – в 1953 году Юру вызывают на ВТЭК и назначают вторую группу инвалидности. Потом он начал просить, чтобы выдали средство передвижения. Долго получал отписки, но всё же его вызвали на ВТЭК и назначили мотоколяску. Юра очень обрадовался. Теперь он мог поехать в больницу, аптеку и



пообщаться с друзьями. Другом Юры был такой же инвалид Леонид Ткаченко, он также ездил на коляске. Леонид был инвалидом 1-й группы, у него были парализованы ноги, но ран не было, не испытывал он такой боли как Юра. Дружба прекратилась, когда Юре дали машину. Леонид почему-то обиделся, что не он первый получил машину, а Юра. Вскоре и Леонид получил машину, но с правом управления его опекунше.

Почти ни один год не проходил, чтобы Юра не ложился в больницу с обострениями. В 1954 году лечился в Шевченковской больнице и, немного подлечившись, устроился с моей помощью на сезон в Шевченковское лесничество пчеловодом. Летом ульи вывозили на медосбор на поля. В этот год их поставили близко от нашего села – в овраге под Боровиковым. Нужно было нанять работника, чтобы смотрел за ульями. Я попросила лесничего, чтобы взял Юру. Так Юра сезон ухаживал за ульями. Жил в курене, за продуктами и на перевязки ездил домой. Дома он тоже завёл ульи и с большой любовью ухаживал за ними. Мы ему во всём помогали. На лечение к Юре ходил его товарищ Бондур Григорий. Юра ставил ему пчёл, начиная с одной и до 10-ти и обратно. Ульи были у нас до 1987 года. После чернобыльской аварии пчёлы начали болеть и пропали.

В 1958 году Юру отвозим в Звенигородскую больницу с обострением. Ему пробивают свищ и вытягивают гной, немного

подлечивают, и мы забираем Юру домой. В 1960 году лечится в Шевченковской больнице, а в 1963 году снова отвозим в районную больницу.

Несмотря на то, что Юра всё время страдал от болей, он был юмористом, умел поднять настроение другим, много читал, был



интересным рассказчиком. Хорошо играл на струнных инструментах: мандолине, гитаре, балалайке. Ещё в юные годы он играл на балалайке для девушек и парней и они до утра танцевали. Когда собирались гости, Юра всегда играл разные песни: «Коробейники», «Яблочко», «Калинка», «Баламуты» и другие. Сочинял стихи, рисовал, занимался лепкой. Много было талантов, но они так и остались до конца не раскрытыми. (Слева Юра с сёстрами и Лилей, 1971г., справа – с племянницей Люсей).



Юра активное участие принимал в строительстве хаты, гаража, сарая. Физически он не мог работать, но помогал советами, нанимал людей, выпрашивал в



колхозе транспорт на перевозку материала. Ездил на базары торговать сушкой и яблоками .

В 1963 году Гая привезла к нам своего сына Сашу. Он был послушным ребёнком, знал много стихотворений

(запоминал их быстро и чётко рассказывал). Мы учили Сашу читать. Однажды Саша потерялся. Мы его искали везде: в хате, во дворе, ходили к Рае, ходили к пруду, заглядывали даже в колодец, хотя он был накрыт. Все очень испугались, а у мамы был сердечный приступ, чуть не умерла. Стемнело, мы уже не знали, что делать и где искать. Маруся случайно заглянула в кусты возле хаты, а Саша сидит там. Юра хотел его наказать, но Маруся, радуясь, что нашёлся, отнесла Сашу в хату. Оказывается, он залез в кусты и там уснул. Спал крепко и не слышал, что мы его звали. Контора Селещанского лесничества, куда меня перевели в 1963 году, находилась в селе Квитки. От Квиток до Ольшаны дорога шла через лес. Идти лесом страшновато. Однажды чуть не нарвалась на дикого кабана, еле успела спрятаться за деревом. А то преследовал какой-то мужчина, еле убежала. Всё же я старалась приходить домой, чтобы помочь по хозяйству.

Здоровье мамы становилось всё хуже и хуже. Она задыхалась, её мучила астма. Когда она помирала, мы всё были возле её кровати. Она попросила нас, чтобы мы жили дружно и помогали друг другу. Маме было очень плохо. Мы позвали медсестру, она сделала укол, но он уже не помог. Мама умерла 20 декабря



1965 года. Мы были все взрослые, но нам её было очень жаль. После поминок, когда все разошлись, я зашла в хату и увидела сидевшего на кровати и плачущего Сашу. Я спросила: «Саша, что случилось, почему ты плачешь?» – « Мне очень жалко бабушку Грунью», – ответил он. Не успели пережить одно горе, как пришло другое – Рая наложила на себя руки.

После смерти мамы дома остались Юра и Оля (Маруся ходила на работу). Потом и Оля нашла работу, Юра остаётся дома один. Здоровье его ухудшалось. В 1971 году, когда понадобилось помочь врачей, Маруся наняла машину и отвезла его в Шевченковскую больницу. Здесь делали ему перевязки, но улучшения не было, нужно было отправлять в Звенигородскую. Машина скорой помощи в сельской больнице была поломана. Маруся обратилась к председателю колхоза, чтобы выделили машину отвезти Юру в районную больницу. Председатель машину не дал. Маруся безуспешно обращалась за помощью ещё в несколько организаций. Тогда она решила поехать к Звенигородскому военкому. Он выслушал её и сказал, что у них нет транспорта. Маруся уже не могла выдержать этих издевательств. Она так разозлилась, что, не помня себя, нагрубила начальникам: «Сволочи, сидите здесь, морды наели, а брат умирает от ранения, и нигде не дают транспорта, чтобы отправить его в больницу» и, рыдая, выскочила из военкомата. Видно, всё-таки подействовало, потому что пока Маруся добралась домой, нашли машину, чтобы отправить Юру в Звенигородскую больницу.

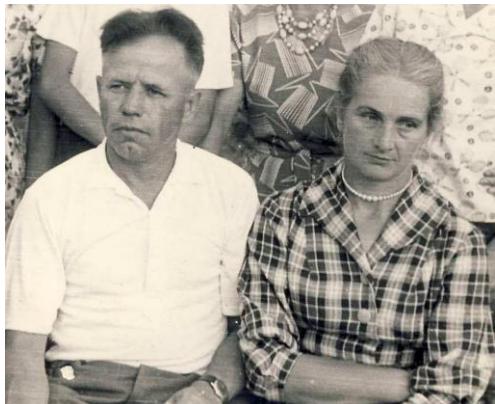
Пролежал он там недели две, но никакого улучшения не было. Ему нужно было делать операцию, чистить кость. Мы посоветовались и решили ехать в Киев к нашей двоюродной сестре по отцу Марии Митрофановне. Надеялись, что у неё есть какие-то знакомства, и она поможет нам устроить Юру в госпиталь на операцию. В Киев поехали Галя с Олей . Я сидела в больнице возле Юры. Мария Митрофановна подключила всех своих знакомых и договорилась, что Юру примет профессор Коломиец, дату она нам сообщит.

Повезли Юру в Киев машиной районной скорой помощи. Профессор посмотрел на Юру и сказал, что он только аппендицы вырезает и посоветовал везли Юру в Черкассы, там есть хороший хирург-ортопед Иванов. Юре профессор не понравился, совету его он не поверил и попросил Марусю везти его домой. Юру отвезли обратно в Звенигородку и положили в отдельную палату для безнадёжных, умирающих. У него от лежания образовались пролежни. Мы из дома привезли подушечки, мешочки с просом. Юра попросил, чтобы ему дали ещё один матрац. Просьбу его выполнили.

В это время в Звенигородскую больницу приезжает проверяющий из Черкасской областной больницы. Проверяющий делает обход по палатам и его заводят в палату к Юре. Проверяющий не спросил Юру о состоянии его здоровья, а завозмущался, почему Юра лежит на двух матрацах. Тут Юра Женя жил в Донецке, и он дважды ложится на операцию. Оба раза нагноение и чистка кости.

В августе 1972 года я ухожу на пенсию. Мне предлагали ещё работать, но я решила уйти, потому что видела: Марусе и Оле трудно работать, вести хозяйство и ухаживать за Юром.





На мои проводы на пенсию пришли все работники лесничества, были представители из лесхоза. Из родных была Оля, мой двоюродный брат Сергей Сокирко с женой Евгенией и наш ленинградский друг Сергей Арсеньев. Праздновали два дня. Подарили мне диван, чтобы я отдыхала, посуду и многое другое. Вещи мои домой перевёз Сергей.

Переезд в Богуслав Жени и Гали



После окончания войны Женя жил в Донецке, работал в забое (на фото Женя слева). Работа тяжёлая. Получил запыление лёгких. У него уже было трое детей: сын Юра, дочери Люба и Валя (на фото



маленькая Валя между Олей и Галей, 1956г). Решили они переехать из Донецка, купить хату в небольшом городке. Начались поиски места жительства. Искали на Винниччине — родине Ксении и в наших краях. Помогали искать и я, и Маруся, и Юра с мамой. Копили также деньги на покупку хаты, чтобы им помочь. Наконец нашли избушку-развалюшку на окраине Богуслава. В 1958 году Женя с семьёй переезжает в Богуслав и устраивается на железнодорожную станцию рабочим. В основном, приходилось быть грузчиком. Тяжело. Нужно было строить новую хату. На работе ему выписывают материал на строительство хаты, и он потихоньку строит сам. Мы помогаем материально и морально. Возим продукты, помогаем деньгами. Старшего сына Юру они оставили в Донецке у бабушки (матери Ксении), а дочери были здесь. В сентябре 1959 года родился сын Анатолий. Я часто ездила к ним. Когда Юра получил коляску, то он возил к нам маму.

маленькая Валя между Олей и Галей, 1956г). Решили они переехать из Донецка, купить хату в небольшом городке. Начались поиски места жительства. Искали на Винниччине — родине Ксении и в наших краях. Помогали искать и я, и Маруся, и Юра с мамой. Копили также деньги на покупку хаты, чтобы им помочь. Наконец нашли избушку-развалюшку на окраине Богуслава. В 1958 году Женя с семьёй переезжает в Богуслав и устраивается на железнодорожную станцию рабочим. В основном, приходилось быть грузчиком. Тяжело.

Нужно было строить новую хату. На работе ему выписывают материал на строительство хаты, и он потихоньку строит сам. Мы

Когда я вышла на пенсию, то поехала к Гале в гости в Горловку. Володя и Галя на работе, Саша в школе, а Вадика оставляли с бабушкой до прихода Саши из школы. Я решила забрать Вадика к нам, родители согласились, тем более что они сами намеревались перебраться к нам поближе. Галя часто болела, и врачи ей порекомендовали поменять климат. Прежде всего, для переселения рассматривался Богуслав — город, где уже жила семья брата Жени, и откуда до нашего села немного больше 60-и километров.



А Вадик с 1973 году начал жить в Шевченкове и закончил здесь десятилетку (на фото 1973г. Вадик в окружении сидящих тётушек Оли и Маруси, стоящей слева Нины и непосредственно над ним Женя Сокирко). Маленький, он знал много сказок, стихотворений. Стихотворения, как и Саша, запоминал быстро. Очень любил рассказывать о своём папке разные фантазии. Нам было с ним весело.

Как-то Вадик очень заболел. У него была высокая температура и из носа шла кровь. Мы очень испугались за его жизнь и уже хотели вызывать Галю, но детский врач Надежда Ивановна осмотрела Вадика и сказала, это у него грипп такой. Выписала лекарства, объяснила, что нужно делать и посоветовала не беспокоить Галю. Самое главное — следить, чтобы ребёнок не захлебнулся кровью, что шла из носа. Мы три дня не отходили от постели Видика, клали на переносицу

влажные повязки, постоянно их меняли, пока кровь не прекратила идти.

Я начала водить Вадима в школу на подготовку. В 1974 году Галя с мужем и сыном Сашей переезжают в Богуслав и встают на квартиру у Жени. Галя и Володя устраиваются на работу на гидробазу, которая достраивает дом для своих работников, и в октябре 1974 года они получают квартиру. Перед переездом Сашу привозят к нам на всё лето, а в конце августа забирают его в Богуслав. Вадим остаётся у нас, и я веду его в первый класс Шевченковской средней школы.

Юра был рад, что Вадима оставили у нас. Он любил его, занимался с ним, учил писать, читать, рисовать, играть на балалайке, катал на машине, везде брал с собой, проверял уроки.



Новый этап нашей жизни



У нас несколько лет не было коровы, но раз я вышла на пенсию, то решили купить корову. Не с первого раза, но всё же купили – на хуторе Шампани продавали первотёлку с маленьkim телёнком. Звали корову Малявка. Малявка была и вправду маленькой, молока давал мало, и её трудно было доить, но мы надеялись, что она

привыкнет и не будет бить ногой по ведёрку, когда её доишь. Началась моя трудовая жизнь дома: пасти корову, заготавливать сено, работать на огороде, вести строительство. Своего сена, что накашивали в нашем саду, было корове на зиму мало, приходилось искать дополнительные источники. Я и Маруся ходили по полям, по оврагам, искали, где можно косить. Косили

и в крутых оврагах, где мы еле удерживались, чтобы не поскользнуться вниз. Косили, сушили, нанимали повозки или машины и привозили домой. Покупали также сенокосы у людей. Однажды к нам пришла женщина из соседнего села Пединовка и предложила свой сенокос. Юра поклепал, настроил косы и повёз меня и Марусю в Пединовку. Действительно, там была трава в наш рост площадью 60 сотых. Мы работали два дня. Люди, видевшие нас, удивлялись, как женщины смогли выкосить столько. Мы тогда привезли две машины сена, на целую зиму. Кроме сена заготавливали свеклу, кукурузу. Той свеклы, что выращивали на своём участке, не хватало для кормёжки животных, и нам приходилось идти на колхозные поля. После уборки колхозом сахарной свеклы на поле ешё оставалась свекла. Мы искали её, выкапывали, складывали в кучки. Потом приезжал Юра и перевозил домой. Дома всю эту добычу мы приводили в порядок и кормили животных. Ходили на колхозное поле за кукурузой и подсолнухами. Собирать всё

это ходило много людей. Слава Богу, уже были не сталинские времена, и людей не гоняли с поля.

Из нас никто не работал в колхозе, и зерно нам не полагалось. Иногда (не каждый год) Юре выписывали в



колхозе 50 кг зерна за деньги. Этого было мало, потому нам приходилось скитаться по полям. Всё время тяжело работали и почти не отдыхали ни зимой, ни летом.

Мы жили бедновато. Всё зарабатывали своим трудом. Зарплата у меня была небольшая: сначала ставка была 65 руб., потом 70 руб., потом 75 руб. Такие же заплаты были у Маруси и Оли. Мне назначили пенсию 57 руб. 20коп. коп. На

строительство мы собирали всё до копейки: зарплаты, пенсии, выручки за проданные яблоки, груши, сливы, сухофрукты, бычки, телочки. Покупали всё необходимое в хату.

Промышленные товары не так-то просто можно было купить. В магазины товары поступали, но они сразу же распределялись работникам фермы, механизаторам и ещё многим и в свободную торговлю поступали не часто, со всего делали дефицит. Когда я работала в лесничестве, там тоже был спецмагазин, куда привозили промтовары для работников лесничества. Там я что-то могла купить. Чтобы купить бытовую технику, Юра писал заявления в сельпо, заявление рассматривали на заседании и выделяли как инвалиду ОВ. Благодаря Юре мы купили телевизор, стиральную и швейную машинки. Мы работали и радовались жизни, несмотря на трудности и необустроенност.

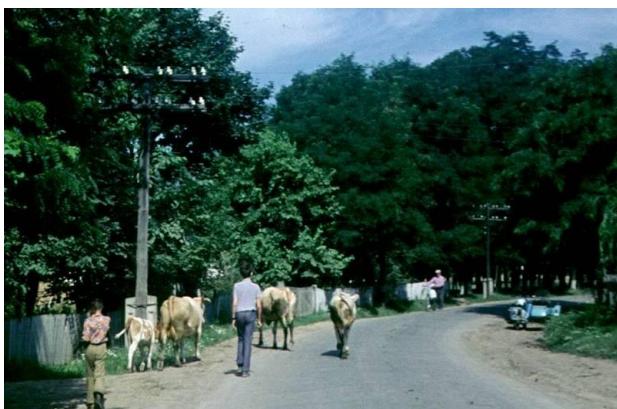
Всё было бы нормально, если бы не болел Юра. В 1975 году снова везём его в Черкасскую областную больницу на операцию. В 1976 году на лечении в районной больнице. На лечение тоже нужны были деньги. Хотя лечение считалось бесплатным, приходилось платить и хирургам и медсёстрам и нянечкам по своей воле, чтобы мягче обходились с больным.

О событиях 1977 -78 годов

В 1977 году к нам приехали наши родственники Витя и Лиля со своими детьми: Тё мой, Галей и Алёшой и Аней. Мы были очень рады их приезду. Витя и Лиля помогали строить – они ни минуты не тратили зря. Старались больше нам помочь. Тёма и Галя помогали Вадиму пасти коров. Витя и Лиля со старшими детьми уехали на недельку путешествовать, а трёхлетних Алёшу и Анию оставили с нами. Я и Юра



присматривали за ними. Они были послушными, интересными, самостоятельными, друг без друга никуда.



Как то взяли маленькие подушечки на плечи и пошли путешествовать. Хорошо, что мы вовремя спохватились. Я спросила Юру: «Где дети?» — «Только что были возле меня», ответил он. Я начала их звать, но ответа не было, тогда я спросила у соседей. Одна соседка сказала, что видела



мальчика и девочку — они шли вниз к копанке. Действительно, я их догнала возле копанки. Спрашиваю: « Вы куда собирались? » — « Мы идём путешествовать, как мама с папой ». Я их стала уговаривать, что мама с папой скоро приедут, и они вместе будут путешествовать. Они согласились, и мы пришли домой.

Аня просыпалась ранним утром и сразу шла к порослям и корове. Я или Маруся доим корову Малявку, а Аня стоит в сарае и приказывает: « Малявка, стой ». Витя и Лия много разговаривали с Юрой и просили его писать воспоминания о своей жизни. Юра согласился.

В 1977 году пришло время менять машину «Запорожец» на новую. Выдавали машину на 7 лет. Юра не думал менять, потому что на ней мало ездил, берёг её и она была как новая, но приехали представители из собеса и сказали Юре, что им нужно проверить техническое состояние машины. Юра разрешил. Они осмотрели машину, составили акт и велели Юре ничего не трогать в машине. Юра расстроился. Ещё несколько раз приез

жал
челов
ек и
смотр
ел, не
снял
ли
Юра
что-
либо
с
маши
ны.
Этот
челов
ек

был мужем заведующей собесом Гук.

Как-то приехала Гук и сказала, что Юра должен ехать в собес. Когда он туда приехал, то тот муж загнал машину в какой-то двор, поснимал с машины новые колёса, забрал новую запаску, а на машину поставил старые изношенные колёса. Юра, конечно, возмутился, но заведующая сказала, что если она возьмёт эту машину, то посодействует, чтобы Юру перевели на 1-ю группу инвалидности. И тут Юре не повезло. Когда начали переоформлять в МРЭО, то выяснилось, что номера на двигателе машины не совпадают с номерами в техпаспорте. Это просто ошарашило Юру. Ведь он каждый год проходил техосмотр. Как же милиция делала проверку, что раньше не



обнаружила ошибки? Возник скандал, и Юру чуть не обвинили, что это он перебил номера на двигателе. Экспертиза показала, что номера заводские, их не перебивали. В итоге, эта машина пошла под пресс. Юра был очень огорчён, ему жаль её было. Заведующая собеса разозлилась на Юру, что ей не попала эта машина и всячески задерживала и вызов Юры на ВТЭК, и подачу документов на новую машину. Юра получает машину «Запорожец» в конце 1978 года, причём не 40 л.с., а 30.

В 1978 году Саша заканчивает 10 классов, и его осенью призывают в армию. На проводы Саши ездили я, Оля и Вадим. Служит Саша на Туркменской границе. Пишет нам письма и высыпает фотографии. Все переживаем, потому что тогда не спокойно было на этой границе. В 1980 году Саша демобилизуется и возвращается в Богуслав.

Чем запомнились годы 1980-85

Юра ночью плохо спал, изнемогая от болей. Чтобы ночь проходила быстрей, он слушал передачи «из-за бугра» – радио «Свобода». Однажды рано он нам сообщил очень плохую новость – арестовали Виктора. Мы были в шоке, особенно я. Ведь я уже испытала на себе этот ужас. Мы все загрустили и стали надеяться, что это ошибка, что Юра не рассыпал или что-то не понял. Потом получили письмо от Лили, и всё подтвердилось. Витя провёл в Бутырском СИЗО больше 8-ми месяцев. Слава Богу, за неимением доказательств его вины Витю освободили. Это случилось в 1980 году. Приезжали к нам в тот год Тёма с Алёшой и Аней. Погостили немного. Тёма был занят шитьём рюкзака. Шил его из лоскутов. Я и Юра удивлялись его усидчивости. Когда Тёма решил ехать домой, заболел Алёша. У него была температура. Мы уговаривали Тёму остаться, но он все же настоял на своём – ехать. Оля ездила с ними в Киев. Посадила на поезд и возвратилась домой.

На следующий год в июле месяце мы уже встречали Витю и Лилю у нас. Мы очень радовались их приезду. Они гостили несколько дней, помогали нам в хозяйстве.

В августе 1981 года Маруся уходит на пенсию. Мне легче, все работы мы делаем вдвоём. Помогают нам Вадим, Галя, Володя, Лёня.

По приглашению нашего двоюродного брата Володи Галя, Оля и Женя едут в гости в Москву. Гостят там с 11 декабря по 20 декабря 1982 года. Принимают их очень хорошо и с радостью. Главная цель поездки была купить постельное бельё. У нас всё это было дефицитом, и купить было почти невозможно. В Москве тоже были большие очереди. Вот они и приставали целыми днями в очередях. Было время перемены власти, борьба за неё. Брежнев умер 10 ноября 1982 года, на его место Брежнева вышел Андропов. Он начал наводить свой порядок: вылавливали людей в магазинах и проверяли, почему они не на рабочем месте. Такие сообщения Юра слышал по радио, и мы беспокоились, чтобы наших родных не застопорили. Слава Богу, всё обошлось. Лиля и Витя старались поводить своих гостей по музеям. Были они в нескольких музеях, особенно понравилось в Третьяковской галерее. Женя восхищался Лилей, как она хорошо рассказывала о любой картине. Поездкой остались очень довольны. Благодарили Володю, Тамару, Витю, Лилю за гостеприимство.

В феврале 1983 года женится Саша. На свадьбу ездили я, Оля, Вадим, а в июне месяце я и Оля были на свадьбе Анатолия, сына Жени.

В 1984 году Вадим заканчивает 10-й класс. На выпускной вечер приезжают Володя и Галя. Выпускной вечер проводили в Доме культуры. На этот вечер ходили и я с Олей. Торжественно вручали аттестаты и называли учеников, которые должны получить золотые медали. В их числе был и Вадим. Мы все очень радовались, особенно Юра, ведь его труд не пропал – Вадим оправдал его надежды. В августе Вадим сдаёт письменный экзамен по математике и поступает в Запорожский машиностроительный институт. Это была ещё одна радость в нашей жизни.

В этом же году решили ремонтировать колодец: купили кольца и впустили их в колодец, чтобы не обваливалась земля. В

этом году Витя заезжает к нам только на один день. Мы рады его приезду, они много разговаривают (Юра и Витя).

Вадим учится в институте. Мы ему помогаем: высылаем посылки, деньги. В феврале 1985 года Вадим приезжает на каникулы и привозит с собой афганца. Имя его Мир Вайс. В это время были сильные морозы, больше – 20 градусов. В основном просидели дома. Погостили несколько дней и поехали к родителям в Богуслав. Вадим даже зачётку привозил. Все экзамены сдал на отлично, чем порадовал Юру. Мы решили, что нужно поехать в Запорожье, посмотреть как он живёт. Маруся напекла разных вкусностей, взяла разной еды и поехала в Запорожье. Нашла общежитие, где жил Вадим. Он её не встретил, потому что уехал на какие-то соревнования. Увидел её афганец Мир Вайс. Он устроил Марусю в общежитии, на следующий день возвратился Вадим. Маруся передала ему содержимое сумок и поехала домой.

Нужно было менять крышу на хате, потому что старый шифер поломался. Купили новый шифер, наняли рабочих и перекрыли хату. Потом нужно было строить новый сарай, старый уже начал разваливаться. Снова собирали разные документы и справки, чтобы купить камня, кирпича, дерева, досок. Я с Юрой ездили по всем инстанциям, чтобы эти материалы выписать, потом ходили в колхоз выпрашивать машины для привозки материалов. Когда все материалы привезли, начали копать траншеи под фундамент сарая. 21 июня



1985 года к нам в гости приехали Витя, Лилия с детьми Алёшой и Аней. Все они сразу же включились в работу. Витя подготавливал дерево на опалубку, Лилия и дети помогали копать траншеи под фундамент. Витя и Лилия уехали 26 июня, а дети остались на месяц. Фундамент строили сами: я, Галя, Володя, Саша, Вадим, Юра, Маруся, Лёня. На мурковку стен, делать крышу, крыть шифером, закладывать фронтоныанимали специалистов и подсобных рабочих. В августе 1985 года сарай был построен.

Новая Юрина болезнь

1986 год нам принёс новое горе. Здоровье Юры всё ухудшалось. У него заболел мочевой пузырь. Он начал мочиться кровью. Я сразу же пошла в больницу к врачу Медведеву и рассказала ему, как Юра мучается, а он мне ответил, что ничего страшного, такое у мужчин бывает. 13 марта мы отвезли Юру в больницу. Он пролежал здесь три дня, но облегчений никаких не было. 16 марта Юру отвезли в районную больницу в отделение урологии. Здесь ему сделали анализы и обследование, и врач-уролог по фамилии Близнюк вызвал нас на собеседование. Я приехала, и он сказал мне, что Юре немедленно нужно делать операцию, а для операции нужна кровь, нужно найти три человека, чтобы сдали кровь. Я приехала домой, рассказала всё, поплакали. Оля пошла позвонить Гале. Галя приехать не смогла, потому что она сама лежала в больнице с воспалением лёгких, но на следующий день приехали Володя и Саша. Поехали в больницу Маруся, Володя и Саша. Володя сдал кровь и уехал в Богуслав, а Саша остался нам помочь. Оля пошла с Сашей в Сельсовет, чтобы взять доверенность на «Запорожец», чтобы Саша мог ездить в больницу. В субботу поехали к Юре, и он нам сообщил, что операцию назначили на понедельник. Тем временем Оля искала ещё двух человек, чтобы сдали кровь. Через свою знакомую нашла двух студентов. В понедельник я и Саша утром подъехали к техникуму, взяли парней и поехали в больницу.

Ребята сдали кровь, мы им заплатили, и Саша отвёз их домой, а я осталась ждать. Юру взяли на операцию в 9 часов утра. Саша возвратился обратно в больницу, потом к 12-ти подъехала Оля. Втроём мы ожидали окончания операции. Привезли Юру с операции в четвёртом часу дня. Мне разрешили остаться возле Юры, а Саша и Оля уехали домой. Так с 24 марта по 7 апреля я и Маруся, сменяя друг друга, дежурили в больнице возле Юры. 7 апреля перевозим в сельскую больницу. Улучшения здоровья нет. Мучается бедный. Ходим к нему каждый день поочерёдно. Оля ездила к врачу Калинской, чтобы перевести Юру на первую группу инвалидности, но получила отказ: мотив – он ещё может прожить 6 лет. А то, какие мучения он терпел, их не интересовало. 25 апреля забрали Юру домой. Он уже почти не мог ходить. Выходит во двор, немножко посидит и идёт ложиться. Мы его перевязывали, нанимали медсестру, чтобы делала обезболивающие уколы.

28 апреля 1986 года случилась авария на Чернобыльской атомной станции. Взорвался реактор. Правительство этот факт замалчивало. В эти дни дул сильный ветер и разносил радиацию. Людям об этом не сообщали, наоборот, на майские праздники вывели народ на демонстрацию. Только когда радиация дошла других стран, и те подняли тревогу, сообщили о трагедии, начали рассказывать, что нужно делать, чтобы уберечься от радиации, эвакуировать людей из чернобыльской зоны.

2 мая приехал Вадим, сделал калитку. Я ему подсказывала, как и что делать, потому что Юре было настолько плохо, что он не мог даже советы давать. Вадим, наконец-то, сходил в школу и забрал свою золотую медаль.



Юре снова становится очень плохо – поднимается температура до 39 градусов. Он терпит страшные боли, болит мочевик, нарывается нога, задыхается. 18 июня мы снова отвозим Юру в урологию. Навещаем

Юру попеременно я, Маруся, Оля, Саша, Лёня. Вадим навестил Юру 29 июня и уехал в Богуслав проститься, т.к. его забирают в армию с 1-го июля. В институте есть военная кафедра, но вышел приказ забирать в армию из институтов. Мы расстроены – не везёт парню, не дали закончить институт, два года пошло наスマрку.

14 июля Юре снова делают операцию на мочевом пузыре. Вынимают камень. Когда делали первую операцию этого камня не было что ли или они его не заметили? На этот раз кровь не требовали, наверное, потому что хорошо заплатили врачу. С 14 июля по 7 августа я и Маруся постоянно по очереди дежурим возле Юры. 30 июля приезжают Витя, Лиля с Алёшой и Аней, они сразу же едут в больницу навестить Юру. На следующий день приезжает Галя. Витя и Алёша принимаются за работу – они делают накрытие над плитой и колодцем. Лиля и Галя занимаются стряпней. Аня помогает мне гонять корову на пастбище. 7 августа забираем Юру домой. Чувствует он себя не очень хорошо, боли не прекращаются.

Начался 1987 год. Юра чувствует себя плохо. Целый букет болезней: болят почки, мочевик, задыхается, нарывает нога. Мы ухаживаем, делаем, что в наших силах. Нанимаем медсестру, чтобы периодически делала обезболивающие уколы.

В марте приехала к нам заведующая собесом Гук Т.Ф. со своим мужем. Она сказала, нужно сдать «Запорожец», потому что Юре назначат новую машину. Юра не хотелось соглашаться на обмен, потому что плохо себя чувствовал и думал, что не дождётся новой машины. Юра еле вышел во двор. Они осмотрели машину и хотели забрать запаску, но Юра не разрешил, сказав, что успеют забрать. Они взяли документы: технический паспорт на машину, Юрино пенсионное удостоверение и Олины права. Сказали Юре, что приедет мужчина, который будет покупать эту машину. Через неделю приехал мужчина, привёз документы, которые взяла заведующая. Звали этого человека Василий Трофимович. Он повёз Юру и Олю в Звенигородское ГАИ снимать машину с учёта. Переоформили машину в ГАИ, потом поехали в магазин,

потом в собес. Юру и Олю привёз домой муж заведующей, чтобы забрать запаску. Юра отдал её скрепя сердце, ведь ему тоже нужна была запаска. Потом пришло сообщение из собеса, что Юру вызывают на 27 марта в Черкассы на комиссию и получение машины. Оля сообщила Лёне и попросила, чтобы он подошёл к облсобесу. Маруся поехала в Богуслав просить Сашу поехать в Черкассы за машиной. Потом начали искать человека, который повезёт Юру с Олей и Сашей в Черкассы. Юра очень волнуется, у него всё болело.

В Черкассах Лёня ждал их возле облсобеса. Пришли к кабинету, где нужно проходить комиссию, а там уже очередь. Юре плохо, он не может ни сидеть, ни стоять. Стали просить, чтобы пропустили вне очереди. Наконец, прошли комиссию и получили документы на получение машины. С этими документами поехали на станцию, где выдают машины. Там тоже ждали больше часа, пока пригнали машину. И тут Юра расстроился: почти всем инвалидам пригоняют сороковки, а ему пригнали тридцатку с обычным управлением. Ничего не поделаешь. Юру и Олю привёз домой человек, которого нанимали, а Лёня и Саша ехали новым «Запорожцем».



Витя и Гая у могилы Юры и Нины

Л.Ткаченко: Юра умер 28 декабря 1992г., на 70-ом году жизни. 48 лет отвоевали он и его сёстры у военной раны, он – силой своего характера, они – своей огромной любовью и неустанными заботами. Как бы мне хотелось, чтоб как можно больше людей узнали про наших Красовитовых и поверили в силу любви к ближнему.

Когда Нина извинялась перед сёстрами, что никак не умрёт, что отягощает их жизнь необходимостью заботиться о ней, Оля её спрашивала: «Вспомни, кому стало легче, когда умер Юра?», и Нина успокаивалась, возвращаясь к вере, что сёстрам важно длить её жизнь, она для них бесцenna.

Олины воспоминания закончились пока на 1987году. Я продолжаю надеяться, что бесчисленные хозяйствственные и прочие заботы, собственное и сестёр здоровье, позволят Оле ещё многое вспомнить, сидя за компьютером, а мне ничто не помешает довести ею написанное до нашего сайта.